90 коп.

23-1-14

Индекс 70327

В ВОСЬМОМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Август Четырнадцатого. Роман (продолжение).

Владимир КОРНИЛОВ. Демобилизация. Роман (продолжение).

Владимир НАСУЩЕНКО. И окликнул Господь. Рассказ.

Стихи Ильи ФОНЯКОВА, Майи БОРИСОВОЙ, Владимира БРИТАНИШСКОГО.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ЗВЕЗДЫ»

Норман КОН. Благословение на геноцид.

КРИТИКА

Статьи П. ВАЙЛЯ и А. ГЕНИСА, С. ЛУРЬЕ.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

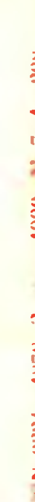
Стивен КИНГ. Способный ученик. Повесть (перевод С. Таска).

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

Петро ГРИГОРЕНКО. Воспоминания.

КНИЖНЫЙ УГОЛ

«Воля России» и «Мосты».

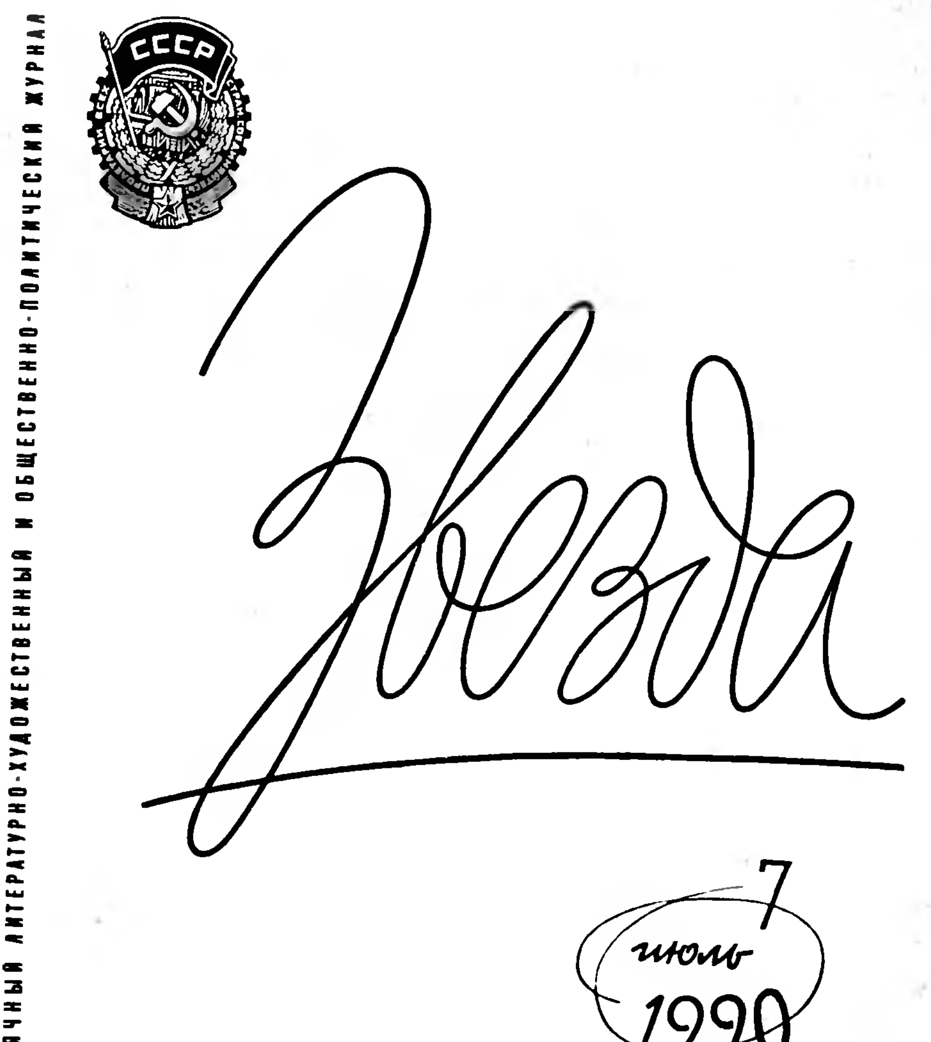

ISSN 0321—1878. Звезда. 1990. № 7. 1—208.

★ Звезда ★ 7 1990

ISSN 0321—1878

7

1990



ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20
Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместитель главного редактора — 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41
Издательство «Художественная литература»
Сдано в набор 21.03.90. Подписано к печати 11.05.90. М-28235. Формат $70 \times 108^1/_{16}$. Бумага кн.-журн. имп. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,47 усл. кр.-отт. 25,08 уч.-изд. л. Тираж 344 000 экз. Заказ № 259. Цена 90 к. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Виктор Максимов

ИЗ ЦИКЛА «ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ»

ДЕВЯТОЕ МАЯ

Контужен, стрелян, резан, пытан —
но жив! но весел!
— Во, дела!
Меня война спасла! — хрипит он.—
Нет, ты сечешь? Война *спасла!*
Война, старик!.. Ты чуешь?!
— Чую...

Он рыбью голову сосет.
— Тебя война спасла,— шепчу я.—
Какое горе нас спасет?..

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

А багряные тучи стремятся
на закат, на закат, на закат!
А кровавые лужи дымятся!
А немые деревья скрипят!
И не совесть, но высшая мера.
И не сердце, но камень в груди.
А в том камне, как в яблоке,— вера,
что расплата за всё —
впереди.

* * *

Ну, а ежели ты с кулаками,
да тем паче — с ножом в кулаке,
сыто, пьяно и нос в табаке,
ну, а ежели ты каблуками
Иванова топтало вчера,
дабы стал он добрее к Петрову,—
отвали подобру-поздорову:
я устал от такого добра...

ПО ВАГОНУ ЭЛЕКТРИЧКИ

По вагону электрички
шел мой пьяненький стыд,
наигрывал на гармошке,
запевал нехорошим голосом:
«Где вы, наши калеки,
куда запропали?
Где вы, наши увечные,
куда подевались?
Давние, послевоенные,
куда в одночасье сгинули?..»

По вагону электрички
за моим стыдом шла моя совесть —
худенькая, с протянутой ладошкой.
Подпевала совесть стыду
сиротливым таким голосом:
«Где вы, наши безрукие,
куда запропали?
Где вы, наши безногие,
куда подевались?
Тогда, в пятьдесят первом,
куда вы, калеки, сгинули?..»

И надел я черные окуляры,
чтоб не так стыдно было,
и надвинул я шляпу на брови,

чтобы совесть не так мучила,
и пошел я по электричке
с такой вот нескладной припевочкой:
«Там они, наши послевоенные,
все полтора миллиона,
за той самой колючей проволокой,
в которой саперы не делают проходов!
Там они, наши пропащие,
где даже полевой почты —
и той нету...»

Виктор Григорьевич Максимов (р. 1942 г.) — советский поэт. Впервые опубликовался в 1957 году в газете «Ленинские искры». Первая книга стихов — «Открытие» — увидела свет в 1966 году. За ней последовали и другие. Живет в Ленинграде.

КОМАНДИРОВКА

— Эй, товарищ,— шепчу я,—
постой-ка! —
(Ночь. Канава. Кругом никого.) —
Ну, и как тут у вас перестройка?
Демократия, гласность?..
— Чаво?!

Да никак он с копытьми, братцы?!
Ишь, своим притворяется, гад!..
А петлицы во тьме —
серебрятся!
А глаза, будто сверла, сверлят!

Что за край?! А дороги?! А цены?!
Носом шмыгаю. Время тяну:
— А у нас, брат, того —
перемены:
хрен на редьку меняют...
— Да ну?!

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Нас заживо похоронили.
Могильщик был мертвецки пьян.
...Но вот забрезжил свет в могиле —
нас выкопали, как армян.

В ушах земля, на ртах зажимы,
гербы на веках от монет...
И все-таки мы живы, живы!
Мы живы, слышишь или нет?!

Рот распахнешь — и дышишь, дышишь!..
Вот кто-то выкрикнул: «За мной!»
Живут! Зовут!.. Ты слышишь, слышишь?
...Не слышит. Пляшет, как шальной.

ТЕЗИСЫ К АВТОБИОГРАФИИ

В детском саду был влюблен
не на шутку.
Два с половиною года служил
в армии.
Был комсомольцем...
Минутку! —
Был или не был?
Кажется, был.

Пел, когда слышал из публики:
«Спойте!»
Творчески рос.
Референтом служил.
Жил под большим впечатленьем...
Постойте! —
Жил или не жил?
Кажется, жил.

Кажется, был за планету в ответе —
в мае, в Москве, позадавней весной...
Кажется, видел,
как на рассвете
кукиш багряный вставал над страной.

* * *

А слезынька — скользь по коже!
А кровушка — кап с пера!..
Про что мы?
Да все про то же,
про то же, про что вчера.
Про этот вот бред воочию,
про стыд и про Божий суд...
Про то, что однажды ночью
за нами еще придут.

СКАЗОЧНОСТЬ

Хряпну стакан и замру не дыша:
сгинь-пропади, икота!..
О, до чего ж эта жизнь хороша! —
сказки слагать охота.

Приподнатужусь, крикну: «Эхма!»
и сочиню устало
про то, как, вспять повернув, Колыма
в море Аральское впала.

Владимир Корнилов

Демобилизация

Роман

Даше

Часть первая

ПОЛК И ГОРОД

1. НА ХОЛОДЕ И В ТЕПЛЕ

Хотя в феврале День пехоты выпал на среду, с самого утра снег сверкал по-воскресному, и смерть неохота было загорать в казарме. Так и тянуло надраить сапоги и бляху и подкатиться к старшине за увольнительной.

Но полк был особый. Стоял на отшибе — в тридцати километрах от районного городка, в шестидесяти от столицы, и молодой командир части, красивый, невероятно длинноногий подполковник Ращупкин, не выпускал солдат за проволоку.

— Нечего им там делать,— вдалбливал Ращупкин своим офицерам,— всякое умаление пролетарской идеологии, учат нас, ведет к усилению буржуазной, и чем по избам самогоном надуваться, пусть налегают на спорт. Вам же самим спокойней,— улыбался подполковник всем своим вытянутым, точно у лошади, лицом.

Так что из всего полка за проволоку выбирались одни шофера да ефрейтор Гордеев. С прошлой весны определенный почтальоном, Гордеев каждый день, правда, не помногу, гулял в райцентре, и тот ему даже пообрыдл. Тем паче, что у Гордеева в самом полку завелась женщина.

Полк был не просто особый. Гордеев служил по третьему году, успел поменять прорву частей, а такой чудной не встречал. И лишнюю четверть тут прибавляли к жалованью (считалось вроде как за «молчанку»). И офицеров было больше, чем солдат (все сплошь технари или инженеры). И еще в полку (правда, временно, но и служба не навсегда!), к неудовольствию подполковника, жили вольные. Они чего-то химичили на двух объектах. Один стоял у самой дороги и звался «овощехранилищем». Второй был далеко в стороне, называли его по-всякому: считалось, что там самая сила.

Впрочем, чисто военные новости сейчас не занимали Гордеева. Прячась от ветра и жмурясь от яркого, будто смазанного солнцем снега, он жался в кузове попутной трехтонки и думал о своей крале, маркировщице с «хранилища». Она обещалась уйти оттуда пораньше и ждать его в финском домике, где жила еще с девятью девахами с того же «овощного» объекта.

Гордеев плохо спал ночь, ворочался на соломенном матрасе, прикидывал, как бы исхитриться не поехать за почтой. Но даже в полутьме спящей казармы перед ефрейтором вставало гладко выбритое лицо молодого бати.

«И не думайте,— скалился подполковник.— На губу, марать честь полка, я вас не сует. Гауптвахта у меня, пока я здесь, пустой будет. И в дисциплинарный батальон не сдам. Просто в такую дыру зашлю, где демобилизация на год позже, а в баню полдня шагают...»

В конце концов Гордеев решил в город поехать, но только перед самым обедом, чтобы

Владимир Николаевич Корнилов родился в 1928 году. Окончил Литературный институт. С 1950 по 1954 год служил в Советской Армии. В 1961 году в сборнике «Тарусские страницы» напечатана его поэма «Шофер». Издал книги стихотворений «Пристань» (1964), «Возраст» (1967), «Надежда» (1988), «Музыка для себя» (1988), «Польза впечатлений» (1989). В журнале «Дружба народов» (1990, № 5) напечатана прозаическая повесть «Девочки и дамочки».

утро было совсем свое и он бы побыл с женщиной по-человечески, а не наскоро, в закутке или на холоду в дровяном сарае. Нужно было только пораньше выйти из казармы, показать себя на КПП, а шагов через триста нырнуть в балку. Балка, заросшая сосняком, полуогибала военный поселок. Снег в ней был утоптан. В том месте, где она подползала к забору, две доски держались на верхних гвоздях. Гордеев не однажды глядел с завистью, как лейтенанты, раздвигая доски, сбегали на ночь из полка. А ему всего-то надо было незаметно вернуться в полк.

Сегодня могло пофартить, потому что после развода в полку ни души. Техники и инженеры на объектах. Штабные — в штабе. Рота охраны половиной спит, половиной караулит. А офицерских жен и вообще мало, да и времени у них нет глядеть за каким-то ефрейтором: печи топить надо.

Но зараза дежурный по части, техник-лейтенант, задержав Гордеева на контрольно-пропускном, попросил купить переговорных талонов с Москвой. Лобастый, лысеющий, он был какой-то чокнутый, образованный вроде, но не по технике, а по другой науке, истории или политике. Он сидел у окна дежурки, туго перетянутый поперек и наискось ремнем, и быстро чиркал на чудной, в полевую сумку спрячешь, пишущей машинке.

— И разом! Один сапог здесь, другой — там! — сказал дежурный.

Он был не строгий. На октябрьские праздники, когда Гордеева, единственного в полку баяниста, отпустили домой на десять суток, этот техник-лейтенант по фамилии Курчев, посланный ефрейтору вдогонку,— спохватились, что другой музыки нет,— выпил с Гордеевым в привокзальном буфете и посадил на поезд, за что схлопотал неделю домашнего ареста. Но сейчас, сам того не желая, лейтенант выказал себя последней падлой.

— Ладно,— крикнул он ефрейтору вслед.— Назад не торопись, а звякни с почты, назови номера талонов.

И пришлось позабыть про балку и лаз, топать по бетонке до шлагбаума, где кончались владенья полка, голосовать, лететь в город, покупать талоны и забирать почту. Звонить лейтенанту Гордеев из вредности не стал, а, поймав в городке машину, залез в кузов и теперь, замерзая, согревал себя мыслями о маркировщице, женщине вдвое старше его.

Ну и что! — отвечал, словно не себе, а звувидовавшим солдатам.— Жена она мне, да? На родине сам бы не стал. А тут и Сонька с довеском будет... Офицерья до фига... И все они в тот финский домик, чуть вечер, как коты, лезут. Девки из кого хочешь гада сделают, — рассуждал почтальон за кабиной трехтонки, вжавши голову между сапог в подол шинели. — Это точно. Курчев был человек, а теперь из-за Вальки чернявой полная зараза...

Валька, самая худая, но и самая красивая из монтажниц, по уши, как считал Гордеев, втюрилась в лейтенанта.

Только ей не обломится,— злился ефрейтор на Вальку.— У этого ученого в Москве еще одна есть. Не то б не гонял за талонами.

Он злился на чернявую монтажницу: та всегда норовила пораньше удрать с объекта, поваляться с книжонкой, мешая Гордееву и Соньке.

Не обломится тебе,— погрозился он Вальке и тут же начал барабанить в крышу кабины. Подъезжали к «овощехранилищу».

Был как раз полдень — шесть минут первого. Если наддать, по-быстрому раскидать почту, еще бы с полчаса осталось на Соньку. Маленький, косолапый, в буроватой шинели похожий на ржаную горбушку, Гордеев бежал по снежной, слепящей, как елочная мишура, дороге, а дымы из труб росли ему навстречу что-то чересчур медленно. Над штабом и над казармой курилось еле-еле. И невесело попыхивало над двумя дюжинами офицерских домиков. Но зато из трубы КПП дым валил, как из доброго паровоза.

Раскочегарил! — на бегу улыбнулся сквозь свою обиду Гордеев, представляя, как его земляк, толстый, ленивый вечный дневальный контрольно-пропускного Черенков, сует в топку березовые горбыли.

Гордеев не ошибся. Красномордый Черенков и впрямь совал в печное нутро метровое полено.

— Остановись,— взмолился лейтенант Курчев.

В ожидании почтальона он сидел за столом, сдвинув ушанку на самый затылок. Край ушанки почернел от пота, редкие волосы взмокли, и капли с большого лба падали в раскрытую тетрадь. Пишущей машинки на столе не было. Видно, опасаясь начальства, лейтенант сунул ее в ящик или унес домой и запер в чемодане.

— От тепла какой вред? — осклабился дневальный и полена не вытащил.

— Дурак. Лучше бы в деревню продавал,— прошамкал немолодой мужчина в синем драповом пальто и синей велюровой шляпе. Он сидел за столом, сбоку от лейтенанта, позевывая и щеря обломанные зубы.

— Я не спикуль, товарищ старший лейтенант,— отозвался солдат.

— Ну и дурак,— повторил мужчина в штатском.— Ни себе ни людям. Гляди, лейтенант мокрый, как в парной.

— Заткнись, Гришка.— Курчев вяло махнул рукой, зная, что тот не замолчит.

— А чего? Пусть солдат политэкономии понюхает. Эй, завпечкой, политэкономию понимаешь?

— Спекуляцию, что ли? — без интереса отозвался солдат.

— Валенок! Сказал тоже — спекуляция...— Несмотря на ранний час, мужик в штатском был под градусом.— Если бы спекуляция, горя б не знали.

— Кончай,— вздохнул Курчев.— Где этот собачий почтарь? А ну крутни,— приказал дневальному.

Солдат, не поднимаясь с корточек, два раза провернул ручку полевого телефона.

— Работвет,— отозвался с пола.

— Чего ж лопоухий не звонит? И кассира нет.

— Кассир без бати не вернется,— сказал истопник.— Батя хитрюга. Запретил башли рано привозить.

— Тебя не спрашивают,— отрезал лейтенант.

Было семнадцатое число, так называемый День пехоты, специально созданный для чрезвычайных происшествий. В такие дни тоска с самого утра грызла офицеров. Над штабными бумагами, конспектами уставов, над секретными схемами и включенными приборами витал дух пьянства, и Ращупкин, борясь с младшим и старшим офицерством, а заодно и с самим собой, сколько возможно задерживал доставку жалованья. К тому же нынче, 17 февраля 1954 года, в одном из финских домиков ожидался нешуточный выпивон ввиду увольнения из рядов Вооруженных Сил старшего техника-лейтенанта Новосельнова Григория Степановича.

Утром, уезжая с начфином в штаб армии, подполковник пожал Гришке Новосельнову руку и попросил держаться в рамках. Начфин усмехнулся: он не верил, что проводы пройдут всухую.

— Впрочем, я вас еще увижу,— сказал подполковник.

И вот солнце выкатилось на самую верхотуру неба, офицеры вот-вот должны были повалить с объектов, а аккуратного, кругленького, смешливого, пьющего только чужую водку начфина все не было.

— Езжай в Москву, завтра вернешься,— сказал Курчев.

Он понимал, что испытывает Новосельнов. Последние часы самые тяжелые. В лагерях перед концом срока иные зеки затевали побеги, а то и с ума сходили. А для Гришки армия была не легче лагеря, даже тяжелей. Амнистии в ней не объявляли.

— Подожду,— ответил Гришка и лихо заломил шляпу, но Курчев знал, что тот весь на нерве и отчаянно боится.

— Отвальную справлять будете? — спросил дневальный Черенков.

— Отолью тебе полстакана,— пообещал Гришка, заминая вопрос о большом выпивоне.

— За печкой следи,— бросил через плечо Курчев и насмешливо поглядел на Новосельнова.

Все-таки тот держался молодцом. «Меня бы, как эпилептика, трясло»,— подумал Курчев, который даже во сне мечтал вырваться на гражданку. Но из этих чертовых полков отпускали пока только ногами вперед. Гришка был первым, но сколько же ему пришлось потрудиться.

Старшему лейтенанту Новосельнову стукнуло тридцать восемь лет, но выглядел он на все пятьдесят. Два срочной, четыре года войны, водка, женщины, пять лет послевоенной гражданки, за которые он успел трижды, правда без отсидки, побывать под следствием, и снова четыре года послевоенной армии здорово поработали над его лицом и телом. Он обморщинел, пожелтел, как старая бумага, и обрюзг, как много рожавшая женщина. Волосы у него с висков поредели, а сверху вовсе вытерлись, ресницы тоже выпали, и красные опухшие глаза вечно слезились. Зубы он растерял, а мосты вставлять не торопился, считая, что так отпустят скорей.

До прошлого сентября Гришка держался в полку смирно, много спал, тихо пил и пристрастился к чтению — выискивал в книгах абзацы, а то и целые страницы про хозяйственные хищения.

Экономические темы были Гришкиным коньком; в финском доме, где он жил вместе с Курчевым и еще восемью холостяками, слушателей хватало. Гришка ходил у офицеров в двух ипостасях — отца родного и шута горохового. Хохот стоял там до полуночи, к неудовольствию парторга роты охраны Волхова, трезвенника и скваыги, который сам стирал исподнее и, несмотря на запрет Ращупкина, трижды в день снимал пробу с солдатского котла.

Но осенью, когда вышел указ гнать из армии всякую немощь и вообще необразованных, Гришка воспрянул, оставил книги и начал пить в открытую. Сбрасывая с себя шинель, а то и брюки, если день выдавался не слишком студеный, он ложился в канаву, оскорбляя тем офицеров и потешая солдат. Курчев, со жгучим любопытством и жалостью

следя за Гришкой, чувствовал, что тот зашел чересчур далеко: либо дойдет до трибунала, либо Гришка сопьется.

— Не было такого, чтоб кто-то косил психа и не свихнулся,— пытался он унять Новосельнова.

— Был. Революционер Камо. Знаешь, чего в камере жрал? — отмахивался Гришка.

Но с увольнением в запас не выплясывалось. Всеобщая офицерская демобилизация, как эпидемия охватившая Вооруженные Силы, никак не прилипала к полквм этой армии. И когда из других частей, несмотря на просьбы и рыдания, списывали поголовно, в этих держали, хоть ходи на голове.

На корпусном офицерском сборе командарм пачками называл провинившихся, и они стояли два часа навытяжку, как балясинки без перил, вызывая смех и сочувствие зала. Самый невинный из поднятых, надравшись, блевал в Большом театре с верхнего яруса в партер. Другой, назначенный старшим в рейс, напился и напоил шофера, после чего их трехтонка врезалась в другую, шофер погиб, четверо солдат разбились насмерть, а лейтенант даже не поцарапался и теперь стоял посреди зала с усталой и злобной ухмылкой. Ничего нельзя было доказать. Водитель мог пить на свои. Потому трибунал заменили гауптвахтой, но поскольку в ту осень на гарнизонной губе вроде бы содержался сам Берия, лейтенанта в Москву даже не возили, и он загорал пятнадцать суток на собственной койке.

Были и другие прегрешения. Кто-то уехал на Кавказ и провел там лишних четыре месяца, включая бархатный сезон. О пьяных дебошах командующий говорил вскользь, иначе пришлось бы поставить по стойке «смирно» треть зала и задержать сбор по крайней мере на неделю.

Но о Гришке ничего сказано не было. Ращупкин не собирался похоронить себя средь подмосковных лесов. Вернувшись вскоре после сентябрьского указа из отпуска, он тут же вызвал Гришку.

— Бросьте пить, Новосельнов, и я вас уволю,— сказал подполковник.

Гришка неторопливо почесал затылок и показал огрызки зубов. Разговаривать ему не хотелось.

Но молодой Ращупкин, который в тридцать два года командовал особой войсковой частью (по штатному расписанию должность генерал-майора), твердо решил рядом с поплавком Академии Фрунзе привинтить второй, генштабовский, и Гришка ему здорово мешал. Полк должен быть чист, как канал ствола. Ни одного ареста, ни одного ЧП, ни, тем более, валяющегося в кальсонах на виду у солдат и женщин офицера.

— Вот что, Григорий Степанович,— повторил Ращупкин.— Бросите фокусы — даю вам слово, уволю.— И Гришка почувствовал себя перед молодым подполковником еще беспомощней, чем некогда перед следователем.

— Эх, начальник,— вздохнул он, распустив живот и горбясь, как лагерник. И улыбка у Гришки была точь-в-точь как у зека.

Позапрошлый год и первые месяцы прошлого заключенных в этом поселке было раза в три больше, чем сейчас военных. Гришка нагляделся на этих бедняг, а кое с кем даже сдружился. Поселок и объекты — бункера и прочее — строили сообща стройбат МВД и лагерь. Гришка прибыл в полк раньше других офицеров и сразу попал, как кур в ощип.

На его долю выпало принимать нестационарное электропитание, и эмведешники из стройбата, спаивая и попеременно то уговаривая, то запугивая, заставили Гришку забраковать три дизельных установки. Две из них были тут же с удивительной ловкостью списаны и проданы в соседний район; третью списать не удалось, и ее отпускали то на ремонт дороги, то на пивзавод, то на молочную ферму, то еще куда-то — и от этих щедрот Гришка получал ежедневно бутылку «сучка» и полные штаны страха.

Наконец перед самой смертью Сталина в полк прибыл Ращупкин, вытолкнул временно командовавшего пьяницу начштаба в штаб и стал наводить порядок. Гришку он погнал на два месяца в отпуск, а когда Гришка вернулся, Сталина уже отхоронили, лагерь ликвидировали, да и стройбат был на последнем издыхании. Во всяком случае, стройбатовские офицеры в полку не показывались. Ращупкин не терпел посторонних глаз.

— Так как — договоримся? — спросил Ращупкин.— А то ведь за каждым какой-нибудь хвост есть. Умный человек его под себя поджимает. А? — И, считая дело решенным, добавил: — Советую пока госпитализироваться. Отдохнете, а я за месячишко все улажу. Начальник кадров в... (он назвал окраину Москвы, где стоял штаб армии) — мой командир взвода. Я у него курсантом начинал.— И снизил голос, как бы тем самым кончая уставную часть разговора: — Зверь я, что ли? По мне, Григорий Степанович, всех нерадивых надо гнать. Армия должна быть сознательной. И каждый офицер — этого до самой смерти повторять не устану! — должен иметь перспективу. Люди должны расти. А тот, кто не растет, тот, простите меня, смердит. Я бы таких хоронил без почестей. Демобилизовывайтесь на здоровье. Дизелист вы великолепный. Брачок в агрегате сразу определите,— не отказал он себе в намеке.— Дизелист что надо! И отпустить вас вроде жаль, но и держать нельзя. Самый свой главный долг перед родиной вы исполнили. Четыре года на войне, притом три — в блокаде! — это...— Подполковник запнулся, ища подходящее определение, и, не найдя, добавил: — Это много... Я так и напишу в ходатайстве: долг выполнил сполна. А офицеры из-под палки мне не нужны.

И вот сейчас, в День пехоты, Гришка досиживал в дежурке свои последние армейские минуты, ожидая законного двухмесячного пособия и не веря собственному счастью. Ращупкин оказался человеком слова, и по-человечески стоило его отблагодарить.

— Журавлю поставь,— тихо сказал Курчев.— Журавлю следует.

— Он белой не пьет,— вздохнул Новосельнов.— А другого я краснофлотцу не заказывал.

Военторговским ларьком командовал демобилизованный матрос Ленька. Водку он продавал из-под полы по тридцати рублей бутылка, а коньяка как продукта неходкого не держал вовсе.

— В ... смотайся,— назвал Курчев районный центр, куда прибывала полковая почта.

Гришка промолчал. Ему не жаль было денег. Он боялся судьбы. Он так долго и так небеспричинно ее боялся, что сейчас, когда вроде ничего страшного не грозило, сердце жутко толкалось под ребра и дрожали руки. Оттого-то, а не из жадности, он сидел на КПП, надеясь на ходу перехватить начфина и не справлять отвальной. Чемодан был давно собран. Армейское — сапоги, ремень, китель, бриджи с гимнастерками, подушка, матрас, одеяло — частью раздарено, частью спущено за четверть цены. А начфина все не было. Гришка сердился, подшучивал над собой, глотал с утра водку, но не помогало.

— На черта Журавлю мой коньяк? У него купюры несчитанные.

— Не заливай,— улыбнулся Курчев и без раздражения оторвал голову от тетради. Оставалось дописать три страницы, и реферат был бы готов. Собственно, он уже давно был готов и даже на две трети перестукан на пишущей машинке. Но для таких, которые читают не подряд, а вразброс — начало, середку и последние абзацы,— нужно было соорудить конец позабористей. Цитаты из классиков были уже переписаны. Оставалось их соединить поаккуратней, чтобы на кафедре истории поняли, что соображалка у лейтенанта как-никак, а работает.

— Не заливай,— повторил Курчев.— Сам ведомость видел. Тыща девятьсот — должность. Тыща сто — звание. Ну, ординарские, выслуга, «молчанка». Много ли наберется? Так жена не работает и двое пацанят. Ты бы с ним не махнулся.

— Я — нет,— кивнул Гришка.— Только ты не так его гульдены считаешь. Не каждую сотнягу в ведомость вносят.

— Не заливай.

— А ты что — вчера родился? «Севастопольские рассказы» читал?

— Так то когда было?! Тогда полковник или батарейный даже овес — не говорю про лошадей! — сам покупал. Продовольствие — и то сам... Ну, и простор для коррупции был. А теперь что? «Изделия» ему продавать?..

(«Изделиями» называлась огневая мощь полка.)

— «Изделия»? Пальцем, Борька, тебя изделали,— натужно съязвил Новосельнов.— Полгода с тобой бьюсь, а ты вон, как тот у печки...— Он кивнул на дневального.— Валенок валенком...

— А чего... Я понимаю,— отозвался солдат, не поднимаясь с корточек.

— Голос из провинции,— рассердился Курчев.— «Понимаю»... Интересно, чего понимаешь?..

— А то, что у начальства нею дорогу лишняя получка.— Истопник повернулся к офицерам, и улыбка расползлась по его широкому, красному от печного жара лицу.

— Хватит,— сказал Курчев. (Чего психуешь?! — оборвал себя.) — Хватит трепаться,— повторил вслух. Вести подобные разговоры при подчиненном не стоило, но раз уж дискуссия началась, затыкать человеку глотку неприлично, а главное, бесполезно.

— Ну чего он возьмет? — сердито спросил Курчев.— Чернила в штабе? Черняшку в хлеборезке? Пачкаться не станет. Ему в генералы светит!..

— Чудно мне на вас, товарищ лейтенант,— как на маленького, посмотрел дневальный на Курчева и для удобства разговора сел на свой топчан у окна, которое выходило на белое поле и бетонку.— Вы же сами, товарищ лейтенант, на картошку ходили.

— При чем это?

— При том, что за копку батя обещал добавки в котел. Колхоз пять кабанов дал за помощь. Где они?

— У тебя в пузе.

— В пузе у меня картошка,— спокойно растягивая слова, ответил дневальный.— А сала в нем не больше, чем министр выписал, а повар не украл.

— Молодец валенок! — расхохотался Гришка.— Яйца петуха учат. И правильно. Учи. Он глупее тебя. Ты осенью — аля-улю... а он тут темным помрет. А в аспирантуру сбежит — еще темней станет.

— Правда, товарищ лейтенант, вы вроде как не на земле живете,— воодушевился истопник.— Сами же, точно помню, за частями для «зиса» сто пятьдесят первого с Ишковым катались. Помните, в декабре «зис» разбило — а батя скрыл аварию...

— Ну и что?

Курчев считал, что про «зис» никто, кроме него, шофера и Ращупкина, не знает.
— А «зис» тыщ сто стоит.
— Вот вваленок,— веселился Гришка.— У печки спит, а шурупит! И правда, Борька, «зис» косых сто или даже полтораста потянет! Ну, пусть не весь. Пусть только кардан, радиатор, мотор...
— Мотор тоже не весь,— покраснел Курчев.— Ну чего пристал? Я в кабине сидел. Ишков обо всем договаривался.
— Понятно. Прикрывалом был. И помрешь прикрывалом. Чего тебе не скажешь, все сквозняком выдует. Историк дерьма-силоса... Измы, клизмы в голове, а в жизни соображаешь, как в арбузных обрезках...
— Ладно.
Курчев уже смирился с присутствием дневального и даже не злился на Гришку. Ему просто было жаль Ращупкина. Ращупкин нравился Борису, был с ним не по-армейски короток, обещал помочь демобилизоваться, и ездить по гаражам, вернее, по окрестным поселкам, где жили люди из гаражей, другому бы Ращупкин не доверил. А Курчеву доверял, потому что Курчев был человек порядочный и, стало быть, умел держать язык за зубами.
— А чего «ладно»? Ведь ездил,— не унимался Гришка.— Прикрывал покупку ворованного. К «зису» запчасти частникам не отпускают. Не «москвичонок».
— Слушай, сынь-ка отсюда,— пробурчал Курчев, и голос у него был, как у влюбленного, узнавшего, что девушка, которую он считал небесным ангелом, отдается направо и налево.
Далея в конце концов мне этот Журавль,— подумал Борис.— Что он, брат родной или друг любимый? Но и я хорош. Ездил, курил в квбине — не спрашивал. Или с той же картошкой и кабанами... Это ж надо уши развесить: добавка к рациону! Да за такую добавку распатронят Ращупкина за милую душу! Нашелся, скажут, добавлятель! Что же, товарищ подполковник, норма в Советской Армии не жирна?! Да его за одну эту фразу (он же перед строем в открытую сказал!) на Колыму загонят. Или из врмии вон. А что он без врмии? Не инженер — нуль без колышка. Как такое ляпнуть не побоялся? Или тут полк звкрытый, что хочешь трави — не донесут? А особист? Что ж, особист один на три полка. Может, они и особисту полкабана отрубили? Или он вегетарианец?
— Иди, Гришка,— сказал Курчев.— Сейчас начальство попрет.
— Батя в Москве,— подал с топчана голос дневальный.
— Батя, батя. Заладил. Какой он тебе батя? Батей раньше попов звали, а как попы в атаманы пошли — батьками стали. Махно, например.
— Махно учитель был,— уточнил Новосельнов.

Ну, чего злишься? — спрашивал себя Борис.— Тоже мне, исследователь душ. Верно Гришка сказал: дерьма-силоса историк... Хрена ты в людях смыслишь,— и он в сердцах хлопнул тетрадью.
— Где этот драный почтарь? Крутни еще раз,— кивнул дневальному.
— Да есть связь,— зевнул Черенков.— Связь есть, а Гордеева нету. Он, собака, может, в город не ехал. Может, он у Соньки, ежовый корень...
— Врешь...
— Пошлите кого-нибудь, пусть шугвнет. Или сам слетаю. Погляжу, как с перепугу в штаны не влезет.
— Чего разлегся, за печкой следи,— сказал Курчев.— Пусть побалуется, если охота. Одно плохо: сегодня среда. Если вечером не отвезу, четверг пропал, в пятницу брата на кафедре нету, субботв вообще не день, а на той неделе у него вроде бы командировка в Питер. Смотришь — и моя аспирантура одним местом улыбнулась.
— Ничего, примут. Ты по уму как раз,— зевнул Гришка.
— Вы бы своей машины не относили, товарищ лейтенант, точно бы до обеда управились. Вы это ловко, все равно как женщина в конторе, где справки заверяют. Раз постучит — готово, и два рубля с листка. Как родитель помер, мы с маманей в Челябе копию со смерти снимали. Так она, как вы все равно,— раз — и вся любовь. Два рубля с листка...
— Ходят тут всякие. Наработаешь с ними,— пробурчал Курчев.— Особняк уже интересовался, что у меня за машинка, марки какой и для чего...— Борис поглядел в глаза истопнику: не ты ли проговорился? Но истопник смотрел не моргая. То ли глуп был, то ли чересчур хитер, но на морде смущения не отражалось.
— Думают, все дело — отстукать,— снова проворчал Курчев, поворачиваясь к Гришке.— У ихнего брата грамотный, кто очки носит, а кто с пишмашинкой, тот полный академик. Все для показухи, а смысла не надо...
— Точно, не надо,— хмыкнул Гришка.— Ваша наука — один пшик. Пена без пива. Передери откуда-нибудь конец и вези кузену. Примут, не волнуйся. Там у вас все друг у друга воруют. Важно, чтоб не слово в слово. На бумаге ты болтать мастер.
Новосельнов знал, что двоюродный брат Бориса проталкивает Курчева в аспирантуру. Правда, дело упиралось в курчевское образование. Оно было жиденькое — даже не университет, а педагогический истфак, оконченный с кучей троек.
— Надо было в училище в партию подать. За руку водить вас, желторотых,— неожиданно повернул разговор Гришка.
— Вы, товарищ лейтенант, комсомолец? — спросил дневальный.
— Два месяца осталось, до апреля.
— Ну и дурак,— сказал Гришка.— Подавай сейчас.
— Поздно. Тогда уж точно не отпустят.
— Теперь, товарищ лейтенант, до двадцати восьми можно,— сказал дневальный.
— Знаю,— помрачнел Курчев. Ему не хотелось затрагивать эту тему. Она отравляла сладость будущей аспирантуры, и он хитрил перед собой — надеялся, вдруг примут без этого, вдруг реферат всех поразит. А нет — можно на два года продлиться... Но сейчас, когда дискуссия о Ращупкине вывела Курчева полным кретином, не тянуло думать об аспирантуре.
«Вечно влюбляешься в кого-то... Добро бы в Вальку... А то в начальство. Ну, чего тебе в нем? Службист и подлиза...» — и Курчев вспомнил, как месяца четыре назад на осенней инспекторской Ращупкин рапортовал корпусному командиру. Огромный, неправдоподобно длинный, гаркнул «Сми-ар-на!» на весь поселок, как репродуктор, и, по-журавлиному выбрасывая ноги, двинулся к середине плаца, где стоял укутанный в темно-лиловую шинель кругловатый низенький корпусной, на погонах которого было всего на звезду больше.
Та-ва-рищ на-ал-ко-ов-ник! — морщась, вспоминал Борис, и каждый слог рапорта нынче больно ударял по затылку.
Сознательная дисциплина! — передразнивал он Ращупкина. Каждый солдат обязан беречь дисциплину и отвечать за нее головой и честью. Каждый! Я понятно говорю?
Сознательность... честь... одно сотрясение воздуха,— подумал Курчев. И тут же дневальный закричал:
— «Победа», товарищ лейтенант. Чужая. Второй поворот проехала. И Гордеев, сучонок, из оврага вылезает. Значит, был в городе. Газеты тащит.
— Иди ворота открывай. Кого еще несет? Дуй отсюда, Гришка.
— Я пересяду,— сонно покряхтел Новосельнов и перебрался на топчан.
Бежевая, незнакомая Курчеву «Победа» терпеливо, не сигналя, ждала, пока толстый Черенков справится с воротами, а потом прошуршала мимо наклонившегося к ее стеклу Курчева. Рядом с шофером никого не было, а на заднем сиденье Курчев увидел полкового особиста и худого незнакомого полковника.
— Товарищ...— не слишком ретиво выдавил Курчев, собираясь представиться, но полковник махнул ему, дескать, не рви глотку, мы по делу.
— Кто такой? — спросил Борис истопника.
— Из корпуса. Главный «смерть шпионам».
— Почему знаешь?
— Да что он, первый раз?..
— Ладно, иди. У них свои глупости. Бензин переводят. Видел? — бросил Гришке, возвратившись с мороза в парилку КПП, и тут же заметил почтальона.— Ах, вот ты где? Что не звонил? Знаешь, за чем тебя посылать?..
— Ваши талоны,— скромно ответил Гордеев.
— Ладно, спасибо. Но, между прочим, мог бы и позвонить.
— Еще «Звездочка» ваша...
— Возьми себе. Я зимой газет не читаю.— Он стал вертеть ручку полевого телефона.— «Ядро»? Слышишь, «Ядро», дай город. Город, Москву, пожалуйста. Нет, по талону... В Москве? Дмитрий-два...— он назвал весь московский номер.— Все равно кого. Обратный, «Ядро», двадцать первый. Курчева.
Гордеев, для приличия с полминуты потоптавшись на пороге, неловко повернулся и выбежал из дежурки.
— Побыстрей давайте, а то уйдут,— крикнул в трубку Борис. Никто из московской квартиры не собирался уходить. Наоборот, могли еще даже не прийти, но у Курчева вышел весь терпеж. Бросив трубку, он сел на топчан рядом с Гришкой и приложился щекой к оконному стеклу. Вдалеке на бетонке были уже видны одинокие, вяло бредущие фигурки офицеров. Штатские еще не выходили.
Ладно, всего три страницы. Допишу как-нибудь,— прикидывал Курчев.— Хорошо бы сегодня отвезти и отделаться. А там — примут не примут — один хрен. Все равно демобилизнусь. Хоть через трибунал, а убегу. Такого не может быть, чтобы держали, если человек не хочет. И кому я нужен, старый и без нормального училища? (Борис окончил лишь годичные курсы.) Сбегу хоть без двух окладов и пенсии за звание. На черняшку сяду, а свое напишу...
При белом снеге и ярко отсвечивающем на снегу солнце будущее не казалось мрачным.
— Позвонили, товарищ лейтенант? Можно я в казарму покручу? — спросил Черенков. Он отвалился от второго окна, в которое был виден штаб и плац перед штабом. На

плацу было пусто, и из штаба никто не выходил. Только ефрейтор Гордеев протрусил по аллейке, не заследив белой торжественности плаца, и в конце, у офицерской столовой, свернул не к казарме, а вправо, к финским домикам.

Черенков, следя в окно за почтальоном, как жирный кот за мышью, бурчал в трубку:

— Дневальный? А, дневальный? Сержанта Хрусталева дай. Товарищ сержант, точно, как наметили... Попер туда. Прямо с почтой. Раз — и застукаете. Минуток пять погодьте...

Борис, поглощенный московскими заботами, прислушивался плохо. Он был не здесь, в натопленной дежурке, где храпел Новосельнов, а в четырехкомнатной квартире материного брата Василия Митрофановича Сеничкина, почти что министра. Отец Бориса погиб в 41-м, а мать умерла еще раньше при не слишком ясных обстоятельствах: то ли больное сердце не выдержало ревности (отец сильно гулял), то ли мать сгоряча чего-то наглоталась. Тогда еще Борька жил не у бабки в Серпухове, а с отцом и матерью ютился в Москве, в развалюхе на Переяславке, все ожидая комнаты, которую твердо, ну прямо вот-вот, «к концу квартала», обещали машинисту Ржевской дороги Кузьме Илларионовичу Курчеву и которой не дали до сих пор. Но развалюха стояла хоть бы хны, на той же Переяславке, невдалеке от Ржевской (теперь уже Рижской) дороги, и нынче Курчеву светило получить ее в личное владение.

Дело в том, что машинист Кузьма Курчев не так уж долго горевал по своей старше его восемью годами жене. Через месяц или около того он привел в развалюху путейского техника Лизку, настырную деваху, которой одного техникума было мало, и она, чего-то мудря, училась на вечернем факультете, а когда на Кузьму Илларионовича пришла похоронка, Лизка была уже Елизаветой Никаноровной, инженером, скоро тут же на железной дороге снова вышла взамуж, родила пацана и теперь, а 54-м году, по-серьезному, а не как ее первый муж, ждала твердо обещанной комнаты. Борис после войны в развалюхе уже не жил. Но Василий Митрофанович, родной дядя в ранге министра, получив в 48-м свое четырехкомнатное жилье, вспомнил племянника. Племяш, к тому времени студент, остался без кола и двора. Дом в Серпухове за смертью матери Василия Митрофановича, Борькиной бабки, был продан, и деньги разошлись сами собой, потому что обставить четыре комнаты куда как не просто. Тут никаких сверхокладов не хватит. А жена Василия Митрофановича, Ольга Витальевна, директриса образцовой школы, была женщина распорядительная и любила все делать на совесть.

Борька Курчев жил в общежитии истфака, и у старшего Сеничкина нет-нет да на душе поскребывало. Прописать племянника у себя он, понятно, не мог. Комнат было четыре, но и Сеничкиных тоже было четверо: он с Олей, Алешка, который вот-вот женится, и школьница Надька. Но и племяшу жить где-то надо. А если его, дурака, после окончания вуза отправят в деревенскую глушь и он там, как пить дать, сопьется, то Василия Митрофановича в свободное от службы время наверняка изведет тоска. И вот без ведома Борьки, но с ведома Ольги Витальевны, решил Василий Митрофанович нажать на Борькину мачеху Лизавету.

Он приехал в депо в летний полдень в своем длинном черном сверкающем, как генеральские сапоги, лимузине «ЗИС-110» и дал Лизавете честное слово коммуниста, что Борька не переступит порога ее развалюхи.

— Только пропиши,— сказал он, полагая, что на «ты» будет родственней и авторитетней.— Самой же лучше. Новую скорей дадут. Так на трех, а так на четырех получится, да и один чужой. Вроде как две семьи. И я при случае чего смогу — сделаю.

И Лизавета, решив, что по-хорошему оно вернее, сдалась и прописала Борьку. И он действительно не переступал ее порога. Только пришел осенью 50-го за военкоматской повесткой и еще раз зашел в прошлом году, когда Ращупкин разрешил ему прописаться в Москве. А в будущем месяце развалюха переходила Борису. Дело оставалось за ордером.

Но сейчас он думал не о развалюхе, а о Сеничкиных. Дядьку Борис видел редко. Тот с женой почти каждую субботу отбывал то ли на специальную дачу, то ли в особый дом отдыха. Двоюродная сестра, десятиклассница Надька, скорее раздражала Бориса. Пусть она пользовалась у своих сверстников несомненным сексуальным успехом, ему прыщавая Надька казалась толстой, нескладной и довольно противной. Занимали Бориса только двоюродный брат Алешка, двадцативосьмилетний доцент кафедры философии, и его миловидная, тоненькая, пухлогубая жена Марьяна, следователь московской прокуратуры по особо важным делам.

Если долго сидишь среди дремучих лесов, рубишься до ночи в преферанс или ходишь в домик монтажниц, где играешь во мнения или в бутылочку, московская квартира предстает землей обетованной, и из последних сил рвешься, ловчишь, выпрашиваешь у начальства лишние полсуток, прилетаешь сломя голову и видишь, что там преспокойно обходятся без тебя, что ты там не больно нужен, ну, в крайнем случае, выпьют купленный тобой по дороге коньяк или сходят с тобой в «кок» [1], а потом ждут, когда ты отвалишь. И ты наскоро переобмундировываешься в засаленный китель и бриджи, летишь к автобусу или на шоссе голосовать, еле поспеваешь к разводу, если ночевал в Москве, а чаще всего не ночуешь и тащишься от магистрали десять километров, валишься на кровать, не выспавшись топаешь в «овощехранилище», целый день клюешь носом, и назавтра полк тебе дороже всего на свете, пока не пойдет на убыль неделя и ты опять не начнешь тосковать по столице, по фонарям, улицам, витринам, незнакомым хорошо одетым людям, по снисходительной усмешке двоюродного братца, по кожаному чемодану, единственной собственности, в который уложен серый венгерский костюм, пара рубах, легкое весеннее пальто и черные модельные туфли фабрики «Парижская коммуна». И в субботу после обеда все начинается сначала, а бывает, что и не дотянешь до субботы, а иногда даже выдерживаешь полных две недели, но все равно в понедельник все кончается невыспанностью, головной болью от коктейль-холла и обиды, что никому ты там не нужен и провались ты под землю — никто и не заметит.

— Цирк будет, товарищ сержант... Проучим разгильдяя,— бурчал в трубку довольный Черенков.

— А ну кончай баланду! — Курчев оторвался от своих мыслей.— Куда звонил?

Он не понимал, чему радуется истопник.

— Да так, дружку...— не больно таясь, ответил дневальный. Жирная улыбка сияла на его широкой физиономии. Казалось, еще немного — и он начнет ее слизывать губами, как подливку.

Курчев снова попросил город. С Москвой не соединяли. По длинной белой бетонке, догоняя офицеров, брели штатские. Близорукие глаза Бориса плохо отделяли мужчин от женщин. Только офицеров он отличал по серым шинелям.

Прошлый год порядку было больше, думал Курчев. Собаки держали строй. Шаг влево, шаг вправо — и кранты... Так рассказывал Гришка. Сам Курчев ничего этого не видел. Сразу по прибытии в полк он отчалил в отпуск, а потом полгода провел в военной приемке на подмосковном заводе, больше, впрочем, сидя в Ленинской библиотеке и ночуя то в загородном при заводе, то в офицерском общежитии в Москве. Год назад ему казалось большим везением не видеть зеков; при них он бы чувствовал себя неловко. Так уже было в Запорожье — там лагерный оркестр за час до подъема будил их батарею, да еще по дороге в столовую или в баню нередко батарее приходилось стоять под дождем или мокрым снегом, ожидая, пока пройдут колонны в серо-синих или черных рваных ватниках, оцепленные охранниками и овчарками. В лагерях (теперь, в феврале 54-го, Курчев уже знал твердо) сидели миллионы. Но в реферате «О насморке фурштатского солдата» (с подзаголовком «Размышление над цитатой из „Войны и мира"») он этой темы не касался, отговариваясь незнанием материала, естественным страхом, а также желанием попасть в аспирантуру. Он вообще отодвигал ее от себя и тут был искренен и одновременно неискренен с собой. Видимо, не так уж и повезло в прошлом году, потому что для познания жизни военный завод давал меньше, чем лагерь и соседствовавший с ним строительный батальон, в котором совершались нешуточные сделки, также не отраженные в реферате. В реферате рассматривались люди абстрактные и безусловно чистые в смысле Уголовного кодекса, «дистиллированные», как думал сейчас Курчев, глядя на белую, сверкающую утоптанным снегом бетонку. Где-то среди идущих должна была быть Валька Карпенко, и Курчев хотел, чтобы телефонный разговор дали сразу или уже после того, как девушка пройдет КПП. Валька смущала его, мешала думать и писать, и он чувствовал, что стоит ему здорово напиться или начать пить регулярно — и сам не заметит, как его с Валькой окрутят, одолжат денег на свадьбу (целый год расплачивайся!), выделят комнатенку в трехкомнатном домике — и прощай все: белый свет, молодость и насморк фурштатского солдата. У Вальки были большие серо-черные глаза, которые глядели так чисто и преданно, как никто еще в жизни не глядел на Курчева, а Борис был вовсе не железный.

2. ЧП

Телефон неестественно взвизгнул, тут же звмолк, снова взвизгнул, телефонистка буркнула: «Даю Москву», и в трубке закричали:

— Боря! Боренька? Хорошо, что позвонил. Сама хотела тебя вызвать. Обязательно прибудь. Жду.

— Поздно смогу,— сказал Курчев, недовольно оглядывая дневального и очнувшегося от телефонного звонка Гришку.

— Постарайся, пожалуйста, Боренька. Это очень важно.

Женский голос был необычайно мягок. Никто бы не поверил, что он принадлежит работнику столичной прокуратуры.

— Постараюсь, Марьяшка, но раньше половины одиннадцатого — никак...

— Ну, прошу...— голос стал тише. То ли дома был брат, то ли Надька вернулась из школы и, валяясь в гостиной на тахте, связывала обрывки телефонного разговора.

— Хорошо, Марьяшка,— сказал Курчев. Ему вдруг стало весело, потому что здесь,

[1] Коктейль-холл.

в натопленной дежурке, пахнуло настоящим зеленовато-синим морем, и сама дежурка закачалась, будто стала палубой прогулочного катерка. Курчев уже сидел на его корме, на сваленных в кучу спасательных матрасах, а напротив него, на скамейке, переводчица, подруга Марьяны. Два часа спустя она уже лежала с Курчевым на одной койке. Этот роман, начавшийся прошлым августом на черноморском побережье, длился всего месяц и оборвался сам собой: переводчица вернулась в ГДР.

Они расстались скорее друзьями, чем пламенными любовниками. У женщины был какой-то малопонятный муж, то ли живший с ней, то ли не живший, во всяком случае развод оформлен не был. Да и переводчица сама была женщиной нервной, видимо, серьезно замученной базедовой болезнью. Но если отвлечься от койки, то Клара Викторовна была милая, по-своему щедрая женщина, и Курчев не жалел, что провел с ней отпуск. Все-таки кое-чего поднабрался. Хотя бы научился входить в ресторан не тюхой-матюхой, есть и пить без солдатской жадности, кутить, не жалея червонцев (Клара Викторовна никогда своих денег не жалела и норовила заплатить за всех). Такие женщины Борису еще не попадались, да и вообще женщин у него было немного. С восемнадцати лет он жил в общежитии, не имел за душой лишней пятерки, был некрасив, не больно развязен, к тому же ходил в братниных обносках. Даже в педагогическом вузе, где ребят раз-два и обчелся, успехи Курчева были ниже средних, и Клару Викторовну он вспоминал с благодарностью хотя бы за то, что все обошлось без истерики и врача, остался какой-то опыт и иммунитет к другим девчонкам, хотя бы к Вальке, с которой он до сих пор держит себя в узде и не кидается тигром с обещанием жениться.

— Значит, жду,— пропела трубка, и Москву отключили.

— Поедешь? — спросил Гришка. Он совсем проснулся и вызевывал последние капли алкоголя.— Хорошо соснул. Даже не верится.

— Вместе поедем. Глотни еще и ложись,— сказал Курчев и вдруг заметил, что дневального в дежурке нет.

Море по-прежнему покачивало КПП, но все это — и море, и качку, вернее память о прошлогоднем море и прогулочном катерке — стала вытеснять тревога: сначала исчез истопник, потом невесть откуда появилась Валька (а собственно, откуда ей было появиться, как не с бетонки?). Раскрасневшаяся, в цыганском платке и в дешевом пальтишке с цигейковым воротником, Валька всунулась в нагретый КПП и неуверенно улыбнулась Курчеву.

— Ну, чего тебе? — ласково, но машинально спросил он. Ему не хотелось, чтобы исчезало море, которое было лучше всего. Лучше летнего романа и лучше реферата и надежд на аспирантуру, которым вряд ли сбыться. Море — было море. И все. Море ничего не требовало. Только ты требовал, чтобы оно не исчезало, такое вечернее, уже даже не зеленоватое, а совершенно синее и прозрачное. Волны, мягкие и гибкие, почти сквозные, и между ними иногда взлетают дельфины. Но можно без дельфинов. Даже без дельфинов лучше. Только бы длить и длить тот вечер и морскую прогулку до дальней бухты и назад, и лежать на свернутых спасательных матрасах, глядеть на Клару Викторовну, с которой у тебя еще ничего нет и поэтому можно ожидать самого замечательного и необъяснимого.

Борис глядел в Валькино лицо, почти не думая о ней, потому что тревога нарастала, но отчего тревога, и он еще не догадывался.

— Ты занят? — спросила девушка. Она с робким бесстрашием стояла в дверях КПП, а за ее худенькой спиной проходили офицеры и штатские, смеялись, толкали ее, кто-то даже на ходу обнял, а она все смотрела на Курчева, а он на нее, но думал не о ней.

— Ты занят? — повторила девушка.— А то пойдем.— Только глухой не услышал бы, чего стоила ей просьба.— У нас сегодня знаменитый Сонин борщ. Она специально не ходила на объект...— Девушка смутилась, потому что знала, что не только из-за борща маркировщица осталась дома.

Но Курчев услышал другое. Как запальным шнуром вдруг все соединилось — перестарка Сонька, почтальон Гордеев, комполка Ращупкин, малопонятный разговор дневального по телефону и его исчезновение.

— Бежим! — Он вытолкнул девушку из дверей.— Присмотри! — крикнул через плечо сонному Гришке, забывая, что Гришка уже штатский.

— Ты не очень там,— буркнул тот, но Курчев не обернулся.

Приминая яловыми сапогами снег, он неловко бежал наискось по плацу, словно нарочно пятная нетронутую гладь. Девушка покорно бежала за ним, ничего не понимая. Легкая и стройная, она не хотела обгонять тяжелого лейтенанта. Хотя целовались они всего раз, да и то несерьезно, спьяну, она его уважала и боялась, как старого и склочного мужа.

Как бы не разбежались! — соображал на бегу Курчев. Несмотря на злобу и ярость, голова работала необычно четко.

Сволочи! Гады сознательные! — орало внутри, метрономом выстукивало: — Задержать! Задержать! Задержать!..

— Атанда! — крикнули в дворике монтажниц, когда Курчеву оставалось до него шагов тридцать.

— А-а-а! — заорал он, словно подбегал не к штакетнику, а к окопному заграждению.— А-а-а!..— Рука сама потянулась к кобуре — и вот уже наперевес с наганом, сам не зная как — на тренировке в одних трусах и то бы не перескочил! — Курчев перемахнул метровый штакетник, но левая нога подвернулась. Выбросив правую руку с револьвером, он растянулся на снегу. Шапка слетела, и голова нырнула в сугроб.

— Стой! — закричал он, смахивая шапкой снег с лица. От домика к дальнему забору бежали двое.— Назад! Стрелять буду! — заорал он и тут увидал еще троих. Все были без шинелей. Задыхаясь и прихрамывая, он побежал наперерез. Девушка Валя — он успел заметить — обогнула штакетник и вошла в калитку. Ему было стыдно, что солдаты, несмотря на его истошный крик, убегают на ее глазах. Но не только в ней было дело.

— Назад! — снова крикнул он севшим голосом и тут же, хоть и знал наперед, чем это обернется, выстрелил в воздух. Эхо раскололось над чистеньким военным поселком и уж наверняка докатилось до ушей двух особистов. Солдаты остановились. Теперь близорукий Курчев разглядел всех пятерых. Самым рослым был сержант Хрусталев, черноволосый красивый парень. Троих солдат Курчев знал лишь в лицо. Пятым был истопник.

— Смотри, Боря, чего сделали!..— раздался Сонькин вопль, и она сама, растрепанная, в разорванном сарафане, выкатилась из-за угла дома.— Смотри! — Она схватила Курчева за руку.

— Сейчас.— Он мягко оттолкнул ее.

— Давайте сюда.— Он махнул револьвером.

Только бы,— подумал,— не слишком быстро прибежали из штаба. Хотя сразу могут не сообразить, куда бежать.

— Давай, давай.— Он крутил револьвером и, когда сержант приблизился, толкнул его дулом под ребро.— Пошли поглядим.

Ефрейтор Гордеев, без шинели и шапки, сидел на ступеньке крыльца, прикладывая комья снега к раскрашенному лицу.

Девушка Валя растерянно глядела на ефрейтора — то ли не знала, как ему помочь, то ли боялась обидеть помощью.

— Иди в дом,— кинул ей Курчев.— Кто бил?

Сержант и солдаты молчали.

— Кто бил? — повторил жестко, понимая, что времени в обрез.— Сержант, отвечайте.

Сержант не ответил; вид у него был не запуганный, скорее брезгливый.

— Черенков, снимите пояс с сержанта.

Красномордый дневальный неловко потоптался, но с места не сдвинулся.

— Ну?

— У него кожаный, товарищ лейтенант...— пробурчал Черенков, будто действительно жалел чужую вещь.

— Поменяйся с ним. Своим свяжешь.

— Еще чего...— сплюнул сержант.

— Руки...— выдохнул Курчев и поднял револьвер, грозясь опустить рукоятку на темя сержанта.

Сержант снова сплюнул, но руки вытянул.

— Назад,— сказал Курчев.— Всем снять ремни. Затягивай как следует,— бросил Черенкову.

У всех, кроме сержанта, ремни были брезентовые.

— Отойди,— прикрикнул Курчев на Соньку.

— Так этого тоже надо. Меня держал. Вон пройма порвана.— Она толкнула локтем истопника.

— Шинель своему принеси,— сказал он Соньке и обернулся к сидевшему на ступеньках почтальону: — До казармы дойдете?

Тот неопределенно мотнул головой. Ему было обидно и стыдно, и кровь никак не останавливалась. Но сильней, чем солдат и сержанта, он ненавидел сейчас Курчева.

Ну и вид у него. Словно брился в первый раз опасной,— подумал Борис.— Интересно, успел ли... Бедняга... Но вы у меня, сволочи, попляшете!

— Ну как? Всех связал? — спросил дневального.

— Всех, товарищ лейтенант.

Всех, товарищ лейтенант...— мысленно передразнил Курчев.— Подлиза. Кого бы я с удовольствием изуродовал, так это тебя. И еще сержанта.

— Дистанция один метр. Направление — калитка. В затылок один другому, шагом марш! — скомандовал Борис.— Пойдете сзади,— кивнул почтальону.

Сонька уже вынесла гордеевскую шинель, ремень и шапку. Ефрейтор встал и осторожно поплелся за солдатами, словно не верил, что руки у них связаны.

— Валь, мне кранты,— тихо сказал Курчев. Он подошел к девушке и прижался к ее платку. От неожиданной ласки она вздрогнула и припала к Борису.

— Ты молодец. Все правильно.

— Все равно кранты. Пусть Сонька напишет, как было. Пусть надиктует, ты запиши.

— Ей будет стыдно...

— Чего уж... Все и так знают.
— Хорошо.— Она потерлась платком о его щеку.
— Смелей, смелей! Чего, как бараны...— крикнул он, отрываясь от девушки. Солдаты сгрудились у калитки.
— Открыть им нечем,— засмеялся истопник. Он теперь верил, что они с лейтенантом восстанавливают справедливость.
— Помоги,— сказал Курчев и пошел со двора.

Зрелище было из любопытных. Четыре лба гуськом плелись к штабу на глазах офицеров, офицерских жен и вольняшек. Выстрел наделал переполоху, и на плацу народу высыпало, как в праздники. Даже буфетчица офицерской столовки, шикарная Зинка, покинула свой пост. Для полного комплекта не хватало Ращупкина. Впрочем, вместо него под штабным навесом стоял тощий начштаба Сазонов. Наверно, уже бухой,— подумал Борис.

— Дуй на КПП,— сказал дневальному, вспомнил, что Гришка в штатском, и, значит, проходная пустая, прибавил шагу и, обогнав солдат, заспешил к штабному корпусу.

— Товарищ майор, за время моего дежурства...— срывающимся голосом выкрикивал Курчев сообщение о великолепном ЧП, но начштаба, майор с морщинистым перекошенным лицом, процедил:
— Отставить! — резко схватил Курчева за плечо и втолкнул в помещение.
— Е... твою...— рычал он в коридоре.— Ты что? Да я...— Держа за лацканы, он бешено тряс Бориса.
— А ну пустите! — Курчев оттолкнул майора.
— Абрамкин! — закричал начштаба.
Дверка маленького, врезанного в большую обитую железом дверь окошечка распахнулась — оттуда выглянула вихрастая воробьиная головка.
— Примешь дежурство!
— Так я еще того... не запитывался...
— Мать вашу, повторять надо. Снимай повязку.— Начштаба повернулся к Курчеву.
Крохотный Абрамкин вылез из своего святилища. Борис подставил ему левый рукав.
— Оружие тоже,— приказал начштаба.
— Почистишь,— с издевкой сказал Борис.— После стрельбы смазывают.
— Очень надо. Я свой возьму,— обиделся секретчик.
— Бери его. Арестованному наган не положен,— бушевал начштаба.— Запрaвься.— Он помог секретчику продеть в кобуру ремень.— В первый раз дежуришь, дармоед? Дуй за инженером, как его...
— Забродиным,— подсказал секретчик, навешивая на железную дверь замок и прихлопывая на воск печати.
— Пока семь суток получишь,— сказал начштаба Борису.— Ращупкин вернется, еще добавит.
Абрамкин в одной гимнастерке выскочил из штаба.
— Разрешите узнать, за что? — спросил Борис.
— А-а-а, сучонок, еще спрашиваешь? Да я тебя на губе сгною. Ты у меня ванькой-взводным век ходить будешь!..— Майор снова затрясся.
— А я, между прочим, техник,— разозлился Курчев. Но ему стало не по себе. Угар проходил, и надвигалась тоска ожидания. За выстрел и связанных солдат не поблагодарят. Начнется: честь полка и все такое... Тебе, скажут, хорошо, ты на гражданку метишь, а нам тут служить не переслужить... Пойдут выправление по струнке, явки на подъем, отбой и прочее.
Борис наперед знал, какие пойдут разговоры. Даже Гришка его не одобрит. Даже Гришка, валявшийся в нижнем белье на виду личного состава. Потому что кальсоны кальсонами, а жахнуть в воздух, когда в полку смершевцы,— это уже политика...
Высокий, плотный, уныло-красивый инженер Забродин ввалился в штабной предбанник и неумело козырнул майору. Это был лейтенант из штатских, взятый с последнего курса Института связи. Строевая подготовка ему не давалась, и он махнул на нее рукой, так же как на демобилизацию. На гражданке платили раза в три меньше, и у него никого там не осталось, кроме жены, а она год назад сошлась с его другом.
— Явился по вашему распоряжению,— сказал Забродин нечленораздельно, словно не дожевал лапшу и гуляш.
— Является черт во сне,— не удержался от подковырки майор.— Пишите записку об арестовании.
Инженер неловко потоптался у тумбочки посыльного.
— Что? Бланка нет? Вот, возьмите. Вечно у вас ничего нет. И вообще, вид у вас... Хреновый вид. «Победу» купили, а на китель жметесь. Пишите — неделя домашнего ареста.
— За стрельбу? — спросил инженер.

— Какую еще стрельбу? — рассвирепел майор.— За оставление контрольно-пропускного пункта без дежурного и дневального. Ясно?
— Соображать, Сева, надо,— улыбнулся Курчев и постучал пальцем по лбу инженера.— Разрешите идти? — козырнул майору.
— Иди, пока не повели.— буркнул тот.

В офицерской столовой было полно лейтенантов и штатских, и при виде Курчева все, как по команде, замолчали. Борис, чувствуя себя зачумленным, ни с кем не поздоровался, за стол не сел и прошел прямо к буфету.
— Сколько там за мной? — спросил румяную, полную Зинку-буфетчицу.
— До фига и больше. Плати наличными.
Лихая, ядреная Зинка жила с его соседом по комнате, лейтенантом Володькой Звлетаевым.
— Ладно, борща не надо. Давай одно второе. И посоли,— подмигнул Курчев.
Зинка не выдержала и улыбнулась.
— Ты все про одно, дурень...
— А твой умный? Ему бы тоже юшку пустили...
— Он офицер.
— А солдату что, не хочется?
— Им чего-то в чай подливают...
— Вранье... Не видишь, как они тебя глазами жрут?
— Ох, нагорит тебе, Борька.
— Поглядим.
Он стал есть прямо у стойки. Разговаривать ни с кем не хотелось. Поговорим дома. Там ждет Федька Павлов, забулдыга и умница, и еще напоследок припрется Гришка Новосельнов. А тут, в столовой, стоишь, как на суде чести или корпусном сборе.
— Вечно ты что-нибудь отчебучишь. Теперь из-за тебя холодное ешь,— уныло сказал за его спиной инженер Забродин и взял с буфетной стойки тарелку с остатками гуляша.
— Перетоскуешь.
— Не переживайте, товарищ инженер,— подмигнула ему Зинка.— Зато Бореньку — ушлют, и Валентинка ваша будет.
— А ведь точно,— поддакнул Курчев. Забродин сох по Вальке Карпенко почти так же, как Валька по нему. Курчеву стало жалко и девушку, и себя, и даже инженера — он тенью бродил за хорошенькой монтажницей, а дойди дело до ЗАГСа, заведет свои колеса и оторвется на третьей скорости. Все они, брошенные, такой народ. Сохнут и плачут, а когда девчонка соглашается, впадают в амбицию.
Но и ты ведь не женишься,— сказал себе.— Ну и что? Я же не сохну.— А терся об щеку зачем? — То-то и оно... Все мы так...— Нет — я не так...— Ври больше.— Ну, разве что самую малость...— Принцессу ждешь? — Никого я не жду,— зло ответил себе.
— Спасибо, Зина. Бабки подбей. Вечером рассчитаемся,— кивнул он буфетчице и ушел из столовой.

Теперь снег не сверкал, как в воскресенье, и никаким морем не пахло. Была обыкновенная зима плюс тоскливое ожидание взбучки. Гришка, привалясь к стене КПП, поджидал Бориса.
— Выгнал меня Абрамкин. Штатским на проходной не положено. Теперь начнут у вас болты затягивать.
— А тебе-то что? — отмахнулся Борис.
— Погоришь, парень,— вздохнул Гришка.
— Да ладно. Двух ЧП в день не бывает.
— Съедят тебя, парень.— Новосельнов подтолкнул его кулаком.— Зря я тебе про Журавля напомнил. Ты ведь ему назло стрелял? Я же тебя знаю. С такой невинной совестью по пятьдесят восьмой садятся. Да, забыл — твоя тетрадь. Абрамкин забрать ее хотел. Я отнял, конспекты, говорю. Хорошо, почерк у тебя хуже некуда.
Они пошли вверх по улице.
— Съедят тебя,— повторил Гришка.— Один шанс — на весь банк идти. Отступи прямо Маленкову. Так, мол, и так. Имею гуманитарное образование. К технике склонности нет. Боюсь загубить ответственное дело: матчасть сложная, а я ничего не смыслю. Кроме того, уже возраст, двадцать шесть, а училище не закончил. Бери на жалость. Приплети что-нибудь семейное: есть невеста, но жениться не могу, в полку для нее нет работы.
— Это можно,— засмеялся Борис.
— Ну и про аспирантуру: мол, хочешь поступать, реферат готов, и все в таком разрезе... Главное, в обратном адресе номер напиши без города. Если у них кавардачок, сразу не

смекнут, откуда ты, поставят резолюцию «отпустить», к иаши тогда хрен помешают. Только не разъясняй, какая техника. Просто для тебя, дурака, трудная, потому что ты гуманитарий с минус третьей близорукостью. Усвоил? Но шанец не большой — один на тыщу!..

Вместо ответа Курчев обнял Гришку, и шедшие сзади офицеры удивились: и где это историк успел надраться?

Тощенького, кучерявого, точно баран, Федьку Павлова замучили чирьи. Они прочно обсели загривок, не позволяли застегивать ворот. Потому Федька сидел дома, а еду ему отправляла с посыльным Зинка.

— Привет снайперам,— встретил он Курчева, отрывая голову от миски.

Посыльной, маленький неприметный солдат, сидел рядом с Федькой, ожидая, когда тот доест, чтобы лишний раз не бегать за грязной посудой.

— Дожуй сначала.— Курчев метнул недовольный взгляд на посыльного.

— Э, секрет полишинеля,— засмеялся Федька, но тут же сморщился: донимали фурункулы.

— Ешь быстрей,— прикрикнул Володька Залетаев. Забравшись с ногами на койку, он ждал, когда посыльной испарится.

В финском домике было три комнаты. В первой, отдельной, жили три младших лейтенанта. Большую, проходную, занимали пятеро: Курчев, Павлов, Гришка, Володька Залетаев и его однокашник, тоже связист,— он был в отпуску. Последнюю, запроходную, оккупировала аристократия — два лейтенанта, ветераны части: маленький плешивый Секачев и язвительный красавец с недолеченным триппером Морев. Все обитатели домика нынче валились на койках. Вряд ли кто собирался после обеда на объект в этот благословенный День пехоты.

Курчев вытащил из-под кровати желтый кожаный двухсотрублевый чемодан, близнец того, что хранился в кладовой у Сеничкиных, достал пишущую машинку.

— Опять за свое? — бросил в открытую дверь Морев.— Тарахти на коленях. Мы играть будем.

— Геть отсюда,— махнул Секачев солдату.— А ты завтра доешь,— сказал он Федьке и выдернул у него миску.— Пулю черти.

— На четверых?

— Будешь, Григорий Степанович? — спросил Секачев.

— Один хрен... Начфина нету,— отозвался Гришка.

Игроки заняли стол, Курчев поставил углом тумбочку, и началась привычная жизнь — преферанс под аккомпанемент машинки.

«Техник-лейтенант
Курчев Б. К.
в/ч...

Председателю Совета Министров
Союза ССР тов. Маленкову Г. М.

17.02.54» — быстро отстукивал Борис.

«Дорогой Георгий Максимилианович!» — Он передвинул каретку в центр.

Нашел тоже дорогого,— подумал Курчев.— Все равно читать не будет. У него тридцать тысяч курьеров, то есть секретарей. Хорошо бы к самому глупому попало. Чтоб разорался: что такое? Почему не пускают? Всех негодных гоним, а тут...— размечтался Борис, не отрывая пальцев от клавиш.

— Пас,— над столом объявил Секачев.

— Туда же,— отозвался Морев.

— Два паса, в прикупе...

— Колбаса! — докончил за Гришку Федька.— Открыть?

— Открывай. Играем, как в колхозе, без распасовок. Эх, поблядушка не того цвета,— удивился Гришка, открывая бубновую даму.

— Без шпаги будешь, Григорий Степанович,— зевнул Морев.

«Мною подан рапорт на имя командования...» — печатал Борис.

(Именно командования,— усмехнулся про себя.— Ни-ни, уточнять, какого... Выше командира корпуса он пока рапортов не подавал.)

«...с просьбой уволить меня в запас, так как я хочу честно работать и не краснея расписываться в денежной ведомости».

— Две да без одной — три,— считал аккуратный Секачев.

— За одну,— сказал Федька.

— Чего кропаешь? — заскучавший Залетаев подсел к Борису.

— Ерунду,— отмахнулся тот. Страница кончилась, Борис выдернул ее из каретки и сунул текстом вниз под машинку.— Не сиди над душой.

— Згордился, образованный, а нам тут пропадать, да?

— А убили бы почтальона, тогда как?

— Не убили бы, поучили бы слегка. Сам виноват. Зачем в самоволки бегает, других подводит?

— Слышал. Сознательная дисциплина...

— Точно, сознательная. Когда каждый знает, что делает.

— И метелит другого?

— За дело. А ты нарочно связал сержанта.

— Главную опору командира?..

— Да, главную... Не ты ночуешь в казарме! На то и сержант, чтоб стоял за тебя над солдатом от отбоя до подъема.

— Эту суку не связать — убить мало... И вообще отлезь. Мне некогда.

— Куда торопишься? Все равно будешь тут загорать, если на полигон не загремишь.

— Там поглядим. Отвалв.

Курчев сунул в машинку вторую страницу.

— Чего пишешь?

— Рапорт.

— Не поможет...— Залетаев махнул рукой, лег на свою койку, а Курчев стал достукивать письмо. Надо было допечатать еще дюжину страниц реферата, а три последних даже не были скомпонованы.

«...Пользы от меня как от техника — никакой. Условий для научной работы — тоже никаких. Мы живем скученно (впятером в проходной комнате), и вечером, когда выпадают свободные минуты, заниматься очень трудно. Книг, нужных мне для занятий историей, нет ни в части, ни в близлежащих городках, а ездить в Москву, в Библиотеку им. В. И. Ленина, я не имею физической возможности. Для подготовки реферата мне пришлось использовать отпуск».

(Может, я это зря? Да что там, проверять не будут. Скажу, мне Алешка помогал на Кавказе. На пляже!)

«...К тому же , в пользу моего увольнения имеется еще одно немаловажное обстоятельство: моя невеста учится в Москве в аспирантуре...»

(Валяй-шмаляй,— подбодрял себя.— Невеста — не жена.)

«...в конце года она заканчивает аспирантуру, но пожениться мы, по-видимому, не сможем, так как жить нам все равно придется врозь. В пределах части моя будущая жена работы не найдет, а забрать ее в часть, чтобы после восемнадцати лет учебы она сидела сложа руки, я не имею морального права.

Учитывая все вышеизложенное, прошу Вас помочь мне уволиться из рядов Советской Армии.

Техник-лейтенант (Курчев)

О себе сообщаю:

Курчев Борис Кузьмич, 1928 г. рождения, окончил в 1950 г. исторический факультет Педагогического института. По окончании института был призван в ряды Советской Армии. Служил год в батарее младших лейтенантов запаса, затем был направлен на краткосрочные технические курсы, по окончании которых (декабрь 1952 г.) в звании техника-лейтенанта был послан в в/ч..., где и служу в настоящее время».

— А, фиг с вами, трус в карты не играет! — петушился Федька.— Мизер!

— Дризер! На второй руке? — усмехнулся Морев.

— Все равно в долг,— сказал Федька.

— Сегодня сосчитаемся,— пробасил Секачев.

— Жалко мне тебя, Федя,— вздохнул Новосельнов.— Смотреть даже не хочу,— и, положив на стол карты, он повернулся к Борису.— Ну как, успеваешь?

Курчев глянул в окно — за ним чересчур быстро темнело — и помотал головой.

— Всего триста наверх, Григорий Степанович. Зря ты его пугал,— сказал Секачев.

— Курочка по зернышку, лысый по червонцу,— съязвил Морев.

— Уеду, не играй с ним, Федя,— сказал Гришка.— За год он с тебя на «Москвича» слупит.

— Слупишь с него, как же! — помрачнел Секачев.— Тут на одну передачу за зиму не навистуешь.

У него сидел отец, сапожник: утащил с обувной фабрики пять метров хрома, и Секачев каждый месяц отсылал домой половину жалованья.

— Жми на Ращупкина, поможет,— сказал Гришка.

— Карты возьми, Григорий Степанович,— ответил Секачев.— Не до меня теперь Журавлю: снайпер ему удружил...

Секачеву не хотелось обращаться за помощью к Ращупкину, потому что таких офицеров, как он, с полным училищем, в полку было меньше десятка, и ему светила академия. Отец со своим хромом здорово удружил, и академия грозила накрыться. Не мог, что ли, попасться до смерти Сталина, тогда бы по амнистии вышел. Но домой деньги Секачев слал аккуратно, и удалось бы добиться переследствия, на защитника отдал бы все, что накопил. Только теперь надо было брать хорошего, который не только бы сам взял, но и судье сумел бы передать. Гришка говорил, что таких адвокатов полным-полно, и потому Секачев пока-

2*

зывал ему письма из дому и даже величал — вроде бы в шутку, а на самом деле почтительно — Григорием Степановичем.

Зажимая карты в левой руке, в правой аккуратно записывая на краешке газеты, сколько у него набрано против каждого чистых денег (что считалось вообще-то неприличным, потому что преферанс — игра комбинационная и играют в нее не ради выигрыша), Секачев был невесел. Без Григория Степановича жизнь в полку будет не та. И преферанс не тот, хоть и проигрывал Гришка не много. Главными фраерами были Павлов и Курчев. Но про жизнь, хотя бы, скажем, про тот же вороваиный хром, из которого отец шил соседским девкам туфли, они рассуждали, как недоделанные: украл — сиди. Будто отец для собственной радости воровал, будто он мог прокормить семью на зарплату.

Глядя на склонившегося над тумбочкой Курчева, отчаянно колошматившего на машинке, словно не он, а полк заплатил за нее полторы косых, Секачев с тревогой думал: неужели все образованные такие дурни. Да я бы такому на своем дворе гальюн рыть не доверил. Идиот, а воздух нулял. Ничего, батя ему покажет. Батя сам образованный, с поплавком. Только поплавок у него на кителе, а не на глазу. Свет эта хреновина бате не застит.

— Ты чего, пидер, несешь? — рассердился он на Федьку.— Видишь, я крести кидаю.

— Не плачь, не корову...— отмахнулся тот и опять скинул вистовую карту.

Зажгли верхний свет. Пришел из караула парторг Волхов, покачал головой, глядя на Курчева,— тот, не отрываясь, печатал,— постоял над играющими, силясь в который раз понять мудреную игру, снова покачал головой, вздохнул:

— Ну и накурили,— и ушел назад в караулку.

Скоро уже сменялся гарнизонный наряд, а начфина все не было. Володька Залетаев давно храпел, накрывшись курчевской подушкой. Молодой, двадцати одного года, он вообще горазд был спать, а теперь с Зинкиной любви осунулся и спал всюду — в «овощехранилище», а КПП на дежурстве, даже на политзанятиях.

— Эй, летчик.— Морев толкнул спящего. Летчик послушно повернулся к окну, но храпеть не перестал.— То-то,— хмыкнул Морев и сбросил карту.

Он играл без интереса, никогда не проигрывая и не зарясь на чужие висты. И вообще казался каким-то сонным, по-видимому, неумным, хотя никаких глупостей не совершал. Для Бориса он был загадкой. Борис никак не мог определить, что же в Мореве главное, чего он хочет, куда гнет, на что надеется. Схватив два года назад, сразу после училища, невеселую болезнь, он до сих пор жаловался на рези и вечно ныл. Но Курчев подозревал, что ноет он от мнительности и триппера у него скорее всего не было. Пил Морев не больше других, но и не меньше, на машину не копил, помогать тоже никому не помогал. Его мать и тетка в Петрозаводске имели свой дом с огородом и еще где-то служили. В Москву Морев выбирался редко и, не доезжая до центра, оседал в окраинных столовках. Он был хорош собой, выглядел моложе своих двадцати четырех,— а вот поди ж ты,— ни черта не желал, никуда не стремился, даже в радиоакадемию. С женщинами после того обидного (реального или выдуманного) случая он, сколько знал Борис, дела не имел. Словом, это был не лейтенант, а сплошное «черт возьми!» — и Курчев, теряясь в догадках и сомнениях, все подбирал к нему отмычку, надеясь написать небольшую, страниц на двадцать, работу об Игоре Олеговиче Мореве, странном, ничего не желающем офицере. Это было куда интересней реферата, который с каждой страницей черствел, ссыхался и уже вызывал тошноту, как съеденный на четвертый день батон.

Теперь, после выстрела, Борису открывалось, как надо было написать реферат. Надо было делить мир не на начальство и неначальство, а на единицу и множество. Выстрел, оттолкнувший от Курчева офицеров, был как гром небесный, как 22 июня 41 года, как все грозное и реальное, что ставит жизнь с головы на ноги.

Курчев перенес машинку на кровать и нехотя стал прикидывать на отдельном листке, куда сунуть какую цитату. Занятие было не из приятных.

Если ты такой любитель правды,— подумал он,— оставайся в полку и качай права. А реферат пусти на подтирку... Слабо?

Открылась дверь, вошел посыльной, тот, что приносил Федьке обед, и встал у печки. Дальше идти ему было некуда — мешали играющие.

— Чего тебе? — лениво спросил Морев.— В штаб кого-нибудь? Лейтенанта Курчева?

Борис поднял голову. Посыльной мялся.

— Нет, не в штаб,— наконец выдавил он.— Мне до вас, товарищ лейтенант.

— Говори. Я не глухой,— сказал Курчев.

Солдат все еще мялся.

— Не пыхти над ухом,— рассердился Секачев.— Чего пришел?

— Да... это самое,— промямлил солдат и тут, словно махнув рукой,— мол, что мне, больше других надо — выпалил: — Капитан Зубихин велели у лейтенанта Курчева на полчасика машинку позычить.

— Чего-чего? — переспросил Федька.

— Достучался.— Морев покачал головой.

Зубихин был полковым особистом.

— Скажи, занята. Видишь, сам печатаю. Скажи, пусть в штабе возьмет.

— В штабе заперто,— ответил посыльной.— Младший лейтенант Абрамкин в наряде...

— Ну, и моя занята. Поищи Абрамкина, пусть отопрет.

— Начфин там не приехал? — подал голос Гришка.

— Приехал,— ответил солдат.— Только деньги вроде завтра давать будут. Батя заболел.

— Идите,— сказал Секачев.

— Порядок в танковых войсках! — закричал Федька.— Давай, старлей, отвальную!

— Придется, Григорий Степанович,— пробасил Секачев.

— Летчик, летчик! Па-адъем! — Морев тряс спящего.— А ну к ерам эту пулю! — Морев ожиаился и смял двойной тетрадный лист с росписью.

— Тише ты.— Секачев бережно разгладил лист.— Григория Степановича распишем, а сами доиграем завтра. Дуй за горючим, Григорий Степанович.

— Вы это без меня, ребята...— бормотал Гришка. К нему возвращались утренние страхи.— Я ж, бухой, до шоссе не дотопаю.

— А ты здесь переночуй,— сказал проснувшийся летчик.

— Не могу, ребята.

— Чего не можешь, Григорий Степанович? — Начфин толкнул дверь.— Налетай, подешевело! Расхватали — не берут! — и, растолкав сгрудившихся офицеров, он хлопнул об стол серым спортивным чемоданом.— С доставкой на дом! Батя бухой. Велел завтра давать. Но для своих я завсегда пожалста...

Он вытащил лкловатую ведомость и начал священнодействовать.

— Обманули тебя, Григорий Степанович. За «молчи-молчи», я узнавал, выходное не платят. Расписывайся. За февраль с надбавкой, а за март-апрель — без...

— Фью-ить! Полкосых долой...— сказал Морев.— Давай, летчик, за бутылками. Жертвую четвертную.— Он вытащил из кителя сложенную вдвое двадцатипятирублевку.

— Не надо. Я сам,— сказал Гришка.

— Ничего... Надо. А то гавриков до ениной матери. Ну, кто больше? Летчик? Так. Историк? Секачев? Пехота, пить будешь? — спросил он Волхова.— Не будешь? Тогда мотай отсюда.

— Ну, ты...— неуверенно пробурчал Волхов. По тону Морева никогда нельзя было понять, говорит в шутку или серьезно.

— Забирай сундук, начфин, и разом назад. Только соседа не приводи — зануда... Мне он и в «хранилище» офиздинел.

— Он непьющий,— засмеялся начфин. Его соседом был инженер Забродин.

— Ничего, пусть его... Я за ним забегу,— крикнул Гришка.— Вот, Володя, возьми еще.— Он сунул Залетаеву сотенную.— Пусть инженер посидит, зато до автобуса подкинет,— и Гришка побежал вслед за начфином.

— А мне что? Нам, татарам, все одно — что малина...— скривился Морев.— Чего кислый? — кинул Борису.

Тот возился на койке, закрывал машинку, складывал отпечатанные и чистые страницы в конторскую папку с завязочками, где уже лежал запечатанный конверт с письмом в правительство.

— Чего кислый? — повторил Морев.— Не дрейфь. Батя поднадрался, не вызовет.

— Чемодан у тебя большой? — спросил Курчев.

— Забыл? Вроде твоего.

— А у тебя? — Борис повернулся к Федьке.

— Спортивный.

— Тогда давай.

Федька высыпал на стол из такого же, как у начфина, серого чемоданчика несколько черных конвертов, видимо, с фотографиями, две пары толстых деревенских носков, толстую байковую рубаху и катушку ниток с блеснувшей иглой.

— К себе положу.— Курчев смахнул все добро со стола в свой кожаный чемодан. На дне Федькиного чемоданчика он уложил папку, придавил ее машинкой. Оставалось еще свободное место, и он засунул туда старые газеты, лежавшие стопкой на подоконнике.

— Ты чего? — с ленивым интересом спросил Морев.— Вот чудик, опер тебя везде отыщет.

— В Москву отвезу. Сломал. Ремонт нужен...

— Ну и правильно,— кивнул Морев.

— Так ты ж арестован? — удивился Федька.

— А вы ничего не видели. До рассвета я обернусь.

Только где бы,— соображал,— допечатать? У Алешки — нехорошо. Подумает, что я тяп-ляп. Я ж ему пел, что всю зиму корплю над рефератом.

— Секачев, не помнишь, когда из Москвы, от какой станции ближе, второй или первой? — крикнул в запроходнягу.

— От второй, там дуй по бетонке, а потом сюда до поворота. Натопаешься. Километров

восемнадцать...— Секачев вышел из своей комнатенки и стал расстилать на столе газеты.— Упьетесь ведь, как свиньи,— ворчал по-старушечьи.

— Стели, стели. Порядок нужен,— сказал Морев.— А это кто такой? — Он поглядел на фотографию в газете.— Подполковник Запупыкин. Молодец, товарищ подполковник. Повезло тебе.

— Это почему? — удивился Секачев.

— А потому, что Секачев не будет твоей мордой задницу вытирать. Скоро историк большим человеком будет... Тогда мы его тоже на подтирку пустим.

— Ему сперва батя этим самым морду вымажет,— усмехнулся Секачев.

— Смотри, Борис,— удивился Федька.— Оборотная сторона славы... От великого до смешного... Так что ты в газетах не печатайся.

Курчев, не отвечая, вышел в кухню — ваксить сапоги.

Входная дверь теперь хлопала, как вокзальная. В домик набились офицеры. Пехотный парторг Волхов выглянул из своей комнатенки, проворчал:

— Вот свиньи, снег бы хоть отряхали,— и уставился на Бориса.

Борис, чистивший сапоги волховской ваксой (никто в холостяцком домике ваксы не имел, но все знали, куда Волхов припрятывает свою), покраснел:

— Извини, последний раз попользуюсь.

— Ты это куда? — спросил парторг.

— К девчонкам. Мне ж пить нельзя, я — под арестом.

Парторг еще раз недоверчиво глянул на щетку и ваксу и прикрыл дверь. Снова хлопнула входная — ввалился Гришка, веселый сразу от всего: от общества, конца службы и выпивона.

— А где инженер? — спросил Курчев.

— Не придет. Велел через четверть часа ждать у ворот. В райцентр едет.

— Порядок! Я с тобой.

— Не повезет.— Гришка с сомнением покачал головой.

— Ничего, уломаю.

3. СУШЕНЫЕ АБРИКОСЫ

Борис выскользнул из дома и раздвинул доски за сараем. Было почти темно, но фонари не зажигали. Сильно похолодало, и, нырнув в балку, он развязал тесемки ушанки.

Замерзнешь тут, пока они там греются... И чего это Марьяшка меня вдруг заприглашала? — Чтобы согреться, он решил не думать об армейском.— Кларка, наверно, придет? — Переводчица должна была насовсем вернуться из ГДР. Но летние воспоминания нынче не согревали.

Он осторожно выбрался на бетонку, спасаясь, как бы не заметили из окна КПП, и посмотрел в сторону «овощехранилища» — не идет ли кто навстречу. Ветер сметал с бетонного покрытия снег, дорога просматривалась плохо.

Сзади, над забором и КПП, засветилось электричество, и почти тотчас же Борис услышал пыхтение мотора. Видимо, Черенков, отпирая ворота, заодно и зажег свет. «Победа» медленно двинулась к повороту, а затем поползла вниз по бетонке. Курчев стал посредине шоссе и вдруг с ужасом понял, что в темноте цвета машины не определишь. А если это не серая, забродинская, а бежевая, особистов?

Что им скажешь? Сломал малявку? Так они посмотрят. Попал ты, Борис Кузьмич! Еще чего! Моя вещь — куда хочу, туда везу,— возразил себе.

Ослепляя фарами, «Победа» надвигалась на него, но у водителя кишка, видать, была тонка. Не прибавляя скорости, он повернул машину влево, но и Борис тоже отпрыгнул влево. Тогда водитель вильнул вправо, но тут — скорость была малая — мотор, зачихавши, заглох.

— Ты что, пьяный? — раздался крик Забродина.— Это ты, Курчев? Да как ты...

— Боренька, а мы с Валюхой в магáзин,— послышался смех Соньки.

— И ты здесь? — удивился Курчев.

— Ты куда, Курчев? Домой иди,— занервничал Забродин.

— Тише, инженер. Мне до поворота.

— Не повезу. Ты арестован.

— А мы не скажем,— заступилась Валька.— Подвезите его, Всеволод Сергеевич.

— Подвези, чего уж, инженер. До поворота только,— пробурчал Гришка.

— А зачем свет испортил в салоне? — спросил Курчев, открывая дверцу.— Не бойся. Я тебя не видел. Ты меня не вез. Спрячьте меня, девочки,— и он уткнулся Вальке в колени.

Повезло,— подумал.— Надо же такой фарт, чтобы зануда их катать повез. Тоже мне, мотомеханизированное ухаживание.

— Ты не очень их спаивай, Сева,— сказал, когда проехали шлагбаум.

— Мы в магáзин,— снова засмеялась Сонька. Никто бы не поверил, что это она сегодня днем, воя в голос, бегала по двору в разодранном сарафане.

Машина тяжело поднималась по горбатой дороге. Забродин был неважным шофером, осторожничал, запаздывал переключать скорости.

— Не захотела диктовать,— шепнула Курчеву Валька.

— Бог с ней.

— Я боялась зайти. Два раза мимо прошла. Видела — ты сидел на койке. Печатал, да? Там у вас Игорь Морев этот. У него язык как бритва...

— Кончай шептаться,— прошамкал Гришка.

— Секреты на кухню,— бойко подхватила Сонька.

— Сейчас вылезем,— сказал Курчев.

Всем пятерым не терпелось добраться до поворота.

В полупустом автобусе Гришку начало укачивать. Он позевывал, клевал носом, но уснуть не мог — разгулялись нервы.

— Женись, слушай, на этой черненькой,— прокряхтел, разгоняя дремоту.— Ей бо, не прогадаешь. А то этому хмырю достанется.

Борис, оторвавшись от своих печалей, поглядел на Гришку и вдруг сообразил, что километров через сорок они вылезут из полутемного с замерзшими окнами автобуса и распрощаются навсегда. Полгода жил с Гришкой душа в душу, спал на соседней койке, а теперь, напоследок, занят своими пустяками.

— Куда мне ее? — улыбнулся Борис.

— А что... Свадьбу сыграешь. Все равно тебе в полку не жизнь. Так ли, эдак ли, а удерешь. У нее специальность. И потом чистая, аккуратненькая. А то женишься на какой-нибудь немытой, в очках.

— Иди ты...

— А ты не зарекайся,— расходился Гришка.— Валька, она в порядке. У меня друг до войны на такой женился. И, знаешь, чудно как... Идем, значит, с ним,— покашливая и отсмаркиваясь, Гришка стал настраивать голос, все равно как гитару,— с другом моим, по Невскому, как раз под выходной, в получку. Так, сами ничего, в галстучках, в чарльстонах. Я еще лысый не был, а приятель вообще «вейся чубчик кучерявый». Приняли немного. А Питер до войны совсем другой был. Тогда где чего — точно знали. Педерасты, те у Казанского собора прохаживались, а девочки подальше, у кино «Молодежный».

— И теперь все на тех же местах.

— Ходил туда?

— Слышал.

— Параша. Теперь все вперемешку. Уже не разберешь, где кто и которая какая. А до войны было строго, порядок. Подходим, значит, к «Молодежному», и вдруг стоит девочка. Ну, точно твоя. Одета чистенько, но бедно. Штопаное. Последнее. Носочки, помню, на ней были. А время — осень посередине. Стоит и ожидает. Ну, мы к ней — ля-ля, мол, то да се. Как вас, фройлян, по имени. Молчит. Приятель хвать ее повыше локтя. Не вырывается. Только дрожит. Мордашка такая — еще чуть-чуть и реветь начнет. «Чего стоишь здесь? — это я ее спрашиваю.— Тут,— говорю,— маленьким стоять не положено. Тут знаешь чья стоянка?» — «Знаю»,— отвечает. Это мы от нее первое слово услышали. И слезки сразу заблестели, а ресницы, как у твоей Вальки, даже еще длинней.

— Да оставь ты Вальку,— сказал Курчев. Ему не хотелось слушать эту бодягу. Он знал, что она надергана из разных чужих историй или даже книжек, но перебивать человека перед разлукой было невежливо.

— К инженеру ревнуй, а я тут при чем? — осклабился Гришка.— Я тебе точно говорю — женись. В отпуск к нам в Питер приедете. Жена как родных примет. Не хочешь?.. Тогда я к тебе... Ну, так вот. «Знаю»,— она нам ответила. Понимаешь, девчоночке, ну, шестнадцать, не больше, а знает. Собой — свежачок такой. Грудки еле-еле под жакеткой наметились. Ну, скажу тебе — мечта! Сколько лет прошло, а помню...

— Слюни подбери...

— А мне что? Я ее не трогал. Другу досталась. Он, понимаешь, раньше моего докумекал. «Ты что,— удивился,— такая?» — «Угу»,— кивает, а сама уже ревет по-серьезному. «Брось ты ее,— говорю.— Припадочная...» А она на меня с кулачками: «Идите отсюда, гадкий, противный...»

— Смотри, разглядела,— усмехнулся Борис.— Ну, и дальше что?

— «А квартира у тебя есть?» — спрашивает приятель. «Есть»,— кивает. Ну, и поехали они. А напослезавтра с утра пораньше, смотрим, друг в мастерской по тридцатке, по червонцу стреляет, трешкой и то не брезгует. «Женюсь! — орет.— Честной оказалась». Отца, понимаешь, взяли (как раз такое время было), мамаша померла, одна осталась и в первый раз вышла. И видишь, как повезло, на хорошего человека напоролась. И ему фартануло. Верной оказалась...

— И сейчас живут, мед попивают?

— В блокаду погибли,— не сморгнул Гришка.— И ты женись. Думаешь, философия или история тебя прокормят? Ну, а прокормят, так такого дерьма жрать заставят, что сразу гастрит заимеешь. Нервное это дело. Сегодня одно говори, завтра — другое. Нос держи по ветру и, чуть насморк схватишь, готовься с вещами на выход. Десять лет без права переписки!.. Это страшный мир, Борис Кузьмич, дорогой ты мой.— Гришка снизил голос до шепота.

— Почему знаешь?

— А что я, не в Питере жил? В Питере знаешь сколько раз людей сажали? Этих кампаний было — пальцев на руках и ногах не хватит. Дворян, немцев, чухонцев, профессоров, потом тех, которые с золотишком, потом кировцев, ну, и как везде — троцкистов, шпионов. И еще этих, после войны, писателей. А уж головку — этих подчистую...

— Какую головку?

— Обыкновенную. Смольный весь. Ты же одни журналы читаешь, а в них о том не пишут. Ну, пойми, о чем писать можно? Только чужое жевать-пережевывать. Ты жизни толком не видел, а увидишь — все равно правду о ней сказать не дадут. А теперь, как рябой подох, так вообще не ясно, кого хвалить, кого не надо. При нем хоть понятно было. Хвали усатого, перехваливай и только гляди, чтоб другой сильней тебя не перехвалил и на тебя же потом не наклепал. А теперь вот, году еще нет, как рябой в мавзолее, а уже поклевывают, и не ясно, кому задницу лизать. Так что бросай эту хреновину, женись на Валюхе и чини телевизоры. Хочешь, устрою?

— Спасибо, обойдусь и задницу лизать не буду.

— Тогда с голоду сдохнешь. Я всерьез, Борька. Я ж тебя, дурака, люблю. Парень ты свой, а что глупый, так это проходит. Я давно тебе сказать хотел: бросай ты эту хреновину. Опер уже за машинкой присылал. Зачем, думаешь?

— Хрен его знает...

— Пропадешь, парень. Машинку везешь? — Он кивнул на чемоданчик.

— Ага. Допечатаю и в Москве оставлю.

— А чего скажешь?

— Чего-нибудь придумаю...

— Не положено офицерам машинку иметь.

— Где это сказано? В уставе?

— Без устава голову иметь надо. Это множительный аппарат, понял? Ты на ней чего-нибудь этакого напечатал?

— Да нет. Только реферат...

— Значит, просто корпусной «СМЕРШ» взглянуть хотел. Привези назад.

— Разбежался! Получишь с них потом. Скажу, продал.

— Спросят, кому. Скажи, мне отдал, но уж тогда точно отдай. Или жалеешь?

— Мне надо допечатать три страницы.

— Поедем к одному мужику. Там допечатаешь.

— А удобно? Мне всего полчаса — не больше.

— Удобно. Все удобно. Это такой экспонат — девять лет отсидел, а хоть бы хны, прямо огурец парниковый! Я тебе не рассказывал? Фрукты сушеные. Абрикосы. В общем, ленинградская симфония! Чем только человек не занимался: и снабжение, и руководство (с перерывчиками — само собой!). Но выходил. В 41-м послали его в Грузию заготовлять что-то непродуктовое. А тут война. Ну, он, понимаешь, скумекал, что непищевое потерпит, оформляет документы и везет в подарок рабочему Питеру три вагона сушеных абрикосов. Война только разворачивается. А он парень головастый. Финскую помнит и знает, что Ленинград — город фронтовой, все может случиться. И вот повез он на север с Кавказа три вагона кураги. Два вагона у него оформлены, а третий, как говорится, в уме. Ехал он долго и чуть не последним эшелоном в Питер проскочил. Два вагона, ясное дело, героическому Ленинграду передал и еще благодарность заработал, к медали представили. А третий вагон на рельсах оставил и по-тихому разгрузил со своей бражкой. Вагон сухофруктов. Представляешь? Тут зима. Блокада. Миллион или больше на тот свет без пересадки. Рояль за полбуханки шел. На растопку, понятно. А тут тридцать с чем-нибудь тонн кураги!

— Подлость...

— Да погоди ты... Как он ее прятал, не знаю. Но за три года распродал. Трем сестрам где-то в Вологде или Вятке дома построил. Родителей обеспечил, жену, детей. А сам, понимаешь, сел — не повезло — на весь червонец.

— Слава богу...

— Не славкай. Сел по-глупому. Не сообразил транспорт оформить. Как блокаду сняли, так в Питер бумага пришла. Мол, так и так, все понимаем: вагоны вы, ясное дело, сожгли, но ходовые части, тележку с колесами — верните. И написано: три двухосных вагона. А в накладной — два. Ну — туда-сюда, завертелось! Куда третий дел? А он, может, его просто на рельсах бросил или в тупик угнал. Где через три года сыщешь? Но размотали, и десятку схлопотал. Однако сидел — к лопате не прикасался. Весь, понимаешь, срок в дежурке у печки или в сарае у дизеля филонил. «Казбек» покуривал и охрану угощал. Реформа в 47-м — один к десяти, а ему без разницы. Теперь жилищный кооператив купил. На дочь оформил. Две отдельные комнаты — дворец!

— Глаза б мои на него не глядели,— разозлился Курчев.— Ты же сам все это видел: голодный город, дети мертвые...

— Впечатлительный...— Гришка покачал головой.— Ну, хорошо. А привез бы он два вагона. Лучше, что ли? Так хоть вагон людям пошел, а так ни одного. Жданов — вроде философ. Так он, может, по литературе или по музыке ученый, а в жратве ничего не смыслит. Ленинград на голодовку посадил. Но кому-кому, а ему кураги хватало! Мы, бля, на передовой сухари сосали, а он в бункере под вокзалом, сам знаешь, не пайку грыз. От армянского коньяка, небось, не просыхал и для жажды икру ложками в хайло заталкивал. Да и фрукты — не сушеные, а свежие — ему с Большой земли возили.— Гришка потрепал Курчева по щеке.— Дурень ты, Борька. Ох и дурень. На полмиллиметра вглубь не видишь. Тебе бы стихи писать, а не историей заниматься. Я сам таким был, но только до пяти лет, ну до восьми, не дольше... Уже в 31 году, на фабзауче, все понимал. Бывало, иду по Питеру, хоть по Фонтанке, хоть по Дворцовой, гляжу на всю эту красоту и знаю: каждый камень, гвоздь каждый, даже хвосты у лошадей на Аничковом — все это не за так, не от Бога или начальства. Все деловым рабочим человеком добыто, и не прямо, а в обход и с умом. С начала мира того не хватало, другого. И не кто-нибудь, а деловой человек договаривался с кем следует и доставал, где другой в жизнь не раздобыл бы. Думаешь, царь, или там Сталин, или теперь Маленков подписали, так все — Днепрострой или Исаакий построен? Шиш... Это, Борька, все равно как если бы от загсовского свидетельства дети рождались... И обидно, что таких дураков, как ты, тьма-тьмущая. И самое чудное, что лопуха за версту видно. У идеалистов глупость на морде светится. Вон, как у тебя.— И Новосельнов незлобно пихнул Бориса локтем.— Все вы уверены, что стоит вам правду вытащить на свет, как люди в нее поверят, к груди ее прижмут. Мол, скажи вы им эту правдоху, и все работяги всемирной армии труда за руки возьмутся и начнут петь: «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай!» А что жрать человеку надо и что одной вашей правдой хрен его накормишь, про это забыли. Жратва же, между прочим, не от правды-матки растет, а от работы. И от дела еще. Жратву, ее сперва заготовь, да еще в магазин завези. А вы хрен ее заготовите. Вы нос дерете: мы, такие-этакие, честные, пачкаться не хотим. Честные...— рассердился Новосельнов.— Как же! Честные — это те, что пользу приносят, ну и себя, понятно, не забывают. А как забудешь? Кругом подмазывать надо. Что я — чокнутый, пальцем изготовленный?.. Я нос не деру, выше других себя не считаю. Мне тоже жить надо. Ну и живу. И польза от меня идет. Может, в Америке (не был — не знаю) на лапу не дают. Может, там они все сознательные. Но, думаю, просто берут аккуратней и сразу помногу. А у нас и без «помалу» нельзя. На зарплату только дураки живут. И то в самом низу. А кто чуть повыше, у тех всякие прибавки, пакеты, пайки именные. Не знаешь — дядьку спроси.

Автобус медленно плыл сквозь просвистанную ветром и слабо пробиваемую немногими тусклыми фонарями шоссейную темноту. У Курчева на душе было погано.

— Такие, как ты, самые вредные экземпляры,— не унимался Гришка.— И откуда на нашу голову свалились? В дерьме живете, но других учите, чертовы болячки. А вы сперва поглядите, что и как. Потом и самим учить не захочется. А то вдруг узнают чего-то, чему сто лет в обед, и разорутся: караул! грабят! — хотя давно все разграблено-переграблено. Живет такой слепой болван и вдруг очухается и начинает, понимаешь, в колокол бить. Вроде Герцена твоего. А зачем? Несправедливость всегда была, с первого дня, и если рассосется, то не от крика. А будут, вроде тебя, в воздух пулять, еще хуже станет. Знаешь, как в анекдоте: попал в дерьмо, не чирикай.

— Философия лежачего камня,— скривился Борис.

— Нет, воробья, которого обхезала корова. А он, чудик, расчирикался. Кошка учуяла, вытащила его оттуда и сожрала.

— Старо.

— А нового ничего и нет. Для меня. А для тебя — вагон с тележкой. Иначе бы в воздух не шмалял. Чего теперь Журавлю скажешь? Зачем, спросит, патрон тратил?

— Отбрешусь. Скажу, по близорукости. Я думал, чужие. Свои, скажу, считал — сознательные, не побегут от дежурного по части.

— Это годится. Умнеешь. Только нос затыкать не надо — пахнет, мол. Мировому дерьму две тыщи лет. Принюхаться пора. Ты уже взрослый. Многие до твоих годов не дожили... Поехали, покажу тебе мужика. Телевизоры ремонтирует. Скажу — тебя устроит.

— Больно надо.

— Ну, хоть достучишь свою фигню. И по рюмахе хлопнем. Ведь расстаемся.

— Ладно, погляжу на твоего монстра. Авось пригодится,— улыбнулся Курчев.

Вечерняя Москва в клубах пара и в ярких, слепящих, как фары автомобиля, фонарях была будто из сна или кинофильма. Хотелось остановиться, наглядеться, но все вокруг мелькало, спешило, не давалось и в то же время оглядывало тебя, чудного, в тесной ко-

роткой шинели, в тупых, яловых, плохо начищенных сапогах. А Гришка, который нынче в полку выглядел ряженым, вдруг в эту Москву вписался, просто прилип к ней, вечерней, шумной, фонарно- и неоново-черной,— и был тут свой, шел с чемоданом от автобуса, минуя огни метро, а какой-то людный проулок, словно всю жизнь здесь ходил и два часа назад не дрожал от страха, что не отпустят из полка.

Курчев хватал морозный, городской, пахнущий камнем, ржавчиной, копотью — чем угодно, только не небом и елкой — воздух и все не верил, что снова в Москве, в городе, где сплошная свобода и воля. Так бывало с ним всегда и всегда кончалось ничем. Москва никогда не давалась в руки, вроде строптивой девчонки, что ластится-ластится, но не дается... только изведешься понапрасну и со злобной тупой радостью уползешь назад в полк: да пропади ты все пропадом!..

Так бывало и раньше, когда Борис мальчишкой приезжал на выходной из Серпухова. Москвой никогда нельзя было наглотаться вволю, так, чтобы осточертела, обожраться, как до войны мороженым, а теперь — водкой.

И слава Богу,— думал Курчев, невесело глядя на круглые носки своих сапог. Они вышли на другую улицу, параллельную той, по которой ушел автобус.

— Только не тушуйся,— предостерег Новосельнов у высокого нового дома с вывеской «Парикмахерская». Из подъезда пахнуло свежей краской — этот запах прорезал плотный холод улицы.

— Не тушуйся только,— повторил Гришка, словно подбадривал себя.— Невысоко, так поднимемся,— робковато улыбнулся, обходя новенькую кабину лифта.

— Будто к генералу идешь,— пошутил Курчев.

— А что... Он все может! Связи большие... Захочет — меня в Москву перетащит.

— А чем дома нехорошо?

— Дружки,— вздохнул Гришка.— Боюсь, по-новой пойдет.

А как же благородная миссия деловых людей? — хотел было спросить Курчев, но не успел. Шедший впереди Гришка остановился на площадке у высокой, окрашенной под дуб двери.

— Погоди,— обернулся он к Борису.— Стань так, чтоб тебя видно не было, еще испугаешь.

Мильтон я, что ли? — подумал Борис.

Запел звонок, нехотя отползла дверь.

— Привет Игнату Трофимовичу! — подобострастно поздоровался Гришка.

— А, Григорий Батькович! Разоблачайсь. Ноги только сними. Паркет...

Дверь за Гришкой защелкнулась, но тут же отъехала вновь, и зычный голос позвал:

— Где ты там, вояка?

На пороге в пижамной куртке и брюках, вправленных в белые бурки, стоял кряжистый, крепко срубленный мужик.

Ого! — подумал Борис. Мужик вполне тянул на большого начальника.

— Проходи. Прахоря скинь. Паркет.

Пол действительно сиял, но прихожая и видная в распахнутые двери комната имели вид не жилой, показушный. Горка с посудой, диван, ковер над диваном, стол со скатертью — все было новым, нетронутым, словно люди не пользовались мебелью, а молились на нее.

У дяди Васи не шикарней,— подумал Борис.

Хозяин, не дожидаясь, пока лейтенант разденется, ушел в комнату.

Силен! — хмыкнул Борис. Те лагерники, которых он успел повидать в полку, были какие-то приниженные, угодливые.

Что ж, он у себя дома, а мой дом — моя крепость,— подумал Курчев, оглядывая квартиру.— «На каждом долларе комья грязи, на каждом долларе следы крови»,— вспомнилось неожиданно, но он оборвал себя: не пыли цитатами. Жутко этот хмырь кого-то напоминает. Вылитый генерал.

Из двух сидевших в креслах никак не хозяин, а облезлый и красноглазый Гришка выглядел недавним зеком. Лицо у Гришки было заискивающее, и глядел он на хозяина чересчур преданно.

— Куда мне приткнуться? — нарочито громко спросил Борис.

— Чего у него? — спросил хозяин.

— Машинка. Реферат допечатать,— просительно сказал Гришка.

— Тоже, контору нашли. Скатерть не помни,— проворчал хозяин.

На кого он все-таки похож? — думал Борис.

— Ты там недолго. А то вас кормить надо,— буркнул хозяин.

— Подождем, Игнат Трофимович,— сказал Гришка.

— А чего ждать? Время не раннее. Или заночуешь?

— Как посоветуете. Разузнать хотел. Вы обещали...

— Что обещал, сделаю. От своих слов еще не отказывался. Только тут, понимаешь,— он слегка приглушил голос, но Курчев и за стуком машинки все равно слышал,— возможность назревает. Судимость с меня снять хотят.

— Так у вас же амнистия?

— Амнистия — само собой. А тут возможность и вовсе чистяком. Судья, что мне срок впаял, гадом оказался. Из тех, что наш Ленинград врагу сдать хотели.

— Вот это да! — вскрикнул Гришка, словно не он час назад рассказывал Курчеву про ленинградскую «головку».— Скажите пожалуйста!

— Да. Выходит, меня оклеветали. Девять моих годов по ветру пустили. Девять годоа,— повторил он с некоторым даже надсадом, словно это ленинградские начальники сбывали курагу.— Я, понимаешь, расти мог. Здоровье какое имел!

— Да у вас и сейчас здоровье ого-го!

— Не скажи...

— Переследствие будет?

— Умные люди соображают, как провести. Дочь — тоже юристка — выясняет. Полоса, говорят, скоро такая пойдет — уже помаленьку начинается. Пересматривают кой-кого. Кто сидел невиновно. Момент уловить надо. Тогда место получу и тебя пристрою. Квартира в Ленинграде большая?

— Две комнаты.

— На одну сменяешь. А чего в Москве не видел? Супружница хворает?

— Да, врачи велят... Климат...— соврал Гришка.

— Что ж, устроишься. Я тебя хоть сейчас могу в ателье, только ты дизелист...

— Дизелист,— с сожалением кивнул Гришка.— Поздно мне на телевизоры. Вы этого возьмите...— Он кивнул на быстро печатавшего Курчева.

— На хрен мне грамотных,— процедил хозяин.— Квитанцию я и сам оформлю. Паяльником он умеет?

— Умеет. Головастый. Не примут в аспирантуру, к вам придет. Не прогоните?

— Вообще-то на хрен нищих. Но, если просишь, пусть...

Борис со злостью тарахтел на малявке. Цитаты из классиков под эту беседу казались музыкой.

Убьет и сам не заметит,— подумал о хозяине.

Кончив печатать, Курчев ушел, отказавшись от выпивки и закуски. Гришка, растерянный и робкий, в одних носках выбежал на площадку.

— Попрощаемся хоть!

Курчев обнял его, чмокнул в губы. Пахло от Гришки скверно — гнилыми зубами и утренним спиртным, но все же это был людской запах.

— Будь.— Борис толкнул его в плечо, никак не мог настроиться на прощальный лад.

— Не дрейфь,— шепнул Гришка.— Обойдется. Слышал, Игнат сказал, другая сейчас полоса. Выпускать начали.

— С тобой бы обошлось. Ты с ним осторожней,— сказал Курчев.

— С ним-то? Да он теперь на воду дует...

— На воду дует, а на тебя плюнет и разотрет.

— Не тушуйся. Еще увидимся.— Гришка боязливо оглянулся и, боднув Бориса, юркнул в дверь.

— Проводились? — улыбнулся Игнат. Он развалился в кресле, расстегнув пижаму на две верхние пуговицы и распустив живот, вид у него теперь был куда благодушней и человечней. То ли потому, что на столе возникли закуска и запотевший хрустальный графин, то ли оттого, что ушел лейтенант.

— Он ничего парень. Тоже деру дать собирается,— хихикнул Гришка.

— Не спорю, не спорю,— ответил хозяин.— Но вдвоем веселее. Слушай, Григорий Батькович. Тебе этого... ну, того, финансов, одним словом, башлей не требуется?

— Да что вы, Игнат Трофимович? — Гришка от неожиданности покраснел.

— Не стесняйся.

— Я компенсацию получил.— Гришка хлопнул себя по кителю. С левой стороны солидно оттопыривалось.

— Могу для симметрии добавить,— загоготал хозяин.— Совсем как баба будешь.

Чтоб ты меня, как бабу...— подумал Гришка.

— У жены дома кое-что есть,— ответил хозяину.— Так что пока обойдусь...

— Это ты правильно говоришь «пока». Телефон мне вот куда запиши.— Хозяин кивнул на совершенно новый бювар, лежавший возле нетронутой пепельницы на полированном журнальном столике. Видимо, в доме не писали и не курили.

— А вообще взял бы,— повторил хозяин.— Или сразу на работу пойдешь?

— Не знаю.— Гришка пожал плечами. Устраиваться в Ленинграде ему не хотелось.

— На одну комнату — это я тебе в месяц организую. Сейчас уже поздно, завтра с утречка обзвоню кой-кого. Вас двое?

— Теща третья,— снова покраснел Гришка, словно чувствовал себя виноватым.

— Ну, трое еще сойдет. В Москве сколько угодно таких, что вшестером на пяти метрах кувыркаются.

В детстве Борька Курчев обожал дядю Васю.

Но в последние годы говорить ему с дядькой было не о чем.

«Как служба, солдат?» — «Полный порядок!» — И все. Спросить, что там у них, наверху, неловко, да и дядька отшутится, не ответит. Он и Алешке ничего не говорил. Кое-чего в семью просачивалось только через тетку Ольгу Витальевну. Та иногда любила пофорсить перед сыном и невесткой. Бориса же она не жаловала. Просто так, ни почему. Места он много не занимал — разве что чемодан ставил к ним в кладовку. Но все равно он был посторонний и видел, как живет дом. Небось еще в своем полку выбалтывал, что Василий Митрофанович книг не читает, а все вечера сидит в гостиной один на один с телевизором.

Сколько дети изводили ее из-за этого ящика: переставь его на кухню или в спальню. Но стояла насмерть, хотя телевизор терпеть не могла.

— Пусть смотрит,— отвечала,— работа у него тяжелая.

Эту свою работу дядя Вася от нее не скрывал. Все секретное и несекретное в спальне, как на исповеди, выкладывал. С кем ему еще было советоваться? Она и журналы по его отрасли читала, и подумывала даже совсем бросить школу. Все-таки техника — это не то что директорство или язык с литературой. Техника была самая передовая и почти вся за нулями. Под приглядом Василия Митрофановича трудились два полных академика, три член-кора, с десяток докторов, а уж кандидатов наук и не счесть. Чуть ли не каждый месяц люди защищали диссертации. Народ у Василия Митрофановича рос быстро. Но сам В. М. Сеничкин был всего лишь инженером, да притом, честно сказать, не сильно образованным: институт заканчиаал в тридцать пять лет без отрыва от службы. Давно надо было сделать ему диссертацию, но тут имелась одна закавыка.

В своей технической области он был самым главным. Выше не было никого. И потому его пост был приравнен к министерскому, а управление — к министерству.

Так что двигаться здесь Василию Митрофановичу было некуда. Только вниз... И возраст у него был неопределенный — пятьдесят два года. А время после смерти товарища Сталина стояло не приведи Бог. И хоть академики под началом и техника очень существенная, но все же не основная, вспомогательная. И вспоминали наверху о Василии Митрофановиче нечасто. «Зис» у него был черный, но без дополнительных фонарей. Дача была в два этажа, но стояла не отдельно, а в общем поселке, где ни один полный министр не жил, хотя поселок был за забором, имел проходную, на которой спрашивали, к кому идете, и справлялись по телефону — пускать или нет.

Могло, конечно, повернуться колесико удачи, как однажды повернулось шесть лет назад. Могло повернуться еще, и недавно чуть было не сдвинулось на ползубика. Предлагали перейти в главк одного сверхсерьезного министерства и дали бы даже генерала (войну Василий Митрофанович закончил полковником). Перспектива, конечно, имелась — можно было через год сесть в заместители, а зам этого министерства — побольше обыкновенного министра. Но начальник главка — хоть и перспективно, но поначалу не так-то много: «зим» вместо «зиса», зарплата ниже, и дача в другом, еще не обжитом месте. Три ночи супруги прикидывали, переходить или нет,— и не решились. Лучше бы уж не спрашивая перевели. Приказ он и есть приказ, но самой решить: «Переходи!» — Ольга Витальевна не могла. А вдруг бы не потянули?

И остался Василий Митрофанович у себя в управлении при Совмине, на той же даче, при том же «зисе», и так же сидел вечерами перед своим телевизором «Темп-1». И диссертации ему тоже не написали.

— Совесть коммуниста не позволяет,— отнекивался он, когда Алешка советоаал выбрать тему и засадить кого-нибудь из толковых инженеров за две параллельные работы: для себя и начальстаа. «Нет, не позволяет совесть»,— вздыхал Василий Митрофанович, но, честно говоря, кривил душой. Не нужна была ему эта диссертация. Если стремиться наверх, она аовсе ни к чему. Ведь брать-то будут не ученого, а опытного администратора.

Шесть лет назад занимал его кресло не кандидат и не доктор наук, а полный академик, на всю страну прославленный молодой красавец-генерал с кучей орденов и Звездой Героя. Собственно, для него еще до войны создали это управление, преобразовали из какой-то махонькой конторы — и он как раз пришелся к месту, хотя академиком был липовым. Но слааа у него была своя, заработанная, и талант тоже. А у Василия Митрофановича до войны была только жена с характером, да две коммунальные комнатенки не в Москве. И вот каким-то чудом красавец-генерал оценил Василия Митрофановича и перетащил в столицу. И стал расти Василий Митрофанович тут, в управлении, не так чтобы быстро, но надежно. Не быстро, потому что за счастливчиком-генералом не было видно простого русского рвботягу.

Но всему приходит срок, и, когда боролись с низкопоклонством, красавец зарвался. То ли одним махом хотел выше взвиться, то ли вожжа под хвост попала, но потребоаал генерал новой техники и, поскольку отечественной не было, предложил купить за рубежом и перехвалил чужой товар. Тут и завертелось. Нет, не хотел Василий Митрофанович съесть красааца. Честно говоря, не решился бы. Но генерал сам в рот лез и еще для съедобности горчицей себя намазывал. Не хотел его губить Василий Митрофаноич, и Ольга Витальевна тоже не советовала. Никакого зла супруги против красавца не держали, напротив, испытывали к нему одну благодарность. Ведь не угляди их тогда красавец, не жить бы Василию и Ольге Сеничкиным в столице, не учиться бы Олиному сыну Алешке в самом престижном институте. Нет, не копал под генерала Сеничкин. Приказали. Не сам посадил себя председателем суда чести. Назначили. Не хотел съесть красавца — в рот запихнули. И тут уж Василий Митрофанович взялся за него как следует, иначе нашлись бы доброхоты и Василия Митрофановича пристегнули бы к генералу.

И все раано не хотел Сеничкин садиться в генеральское кресло. Посадили. И только сев туда и получив «зис» и квартиру в четыре комнаты, только тогда рассердился на генерала Василий Митрофанович. Останься на прежнем месте — зла бы не таил. Случись им встретиться, первым бы подошел и сказал: «Не сердись, брат. Это спор идейный. Сам видишь, не для себя старался».

А теперь с дачей, с квартирой и машиной — выходило: для себя. И понимая, кем их отныне считает Герой, стали Сеничкины тоже считать его врагом и не прочь были сжить его со света, потому что нет людей страшнее недобитков.

Но хоть и сила была теперь у папы Сеничкина и руки длинней стали, а дотянуться до Героя не мог. Если челоаека не зажарили сразу, то снова раздуть костер непросто. А красавца не только не зажарили, но выпустили, лишь чуть подпалив. Звезду Героя ему оставили. И академика с него не сняли. И вместо управления дали лабораторию, небольшую, но все ж таки. И сидел красаагц в ней, носа не высовывал. Что он там делал — неизвестно. Василию Митрофановичу туда лезть не полагалось. Но Ольга Витальевна через наробразовских и других знакомок узнавала: в саоей академической лаборатории красавец вроде затих. Держит себя с народом скромно. Говорили даже, что, придя на ноаую работу, сразу сказал: мол, товарищи, никакой я не академик, и не доктор, не кандидат даже; знания мои равняются аспирантским. Так что буду учиться как аспирант.

А лет, между прочим, было красавцу уже сорок.

И он засел в своей лаборатории. Сидел, не двигался, будто действительно наукой занялся. Короче, уцелел человек. И уже подниматься начал. За границу на конгресс съездил. В газете его упомянули. Потом еще раз и еще. А потом осел в одной подкомиссии ООН. И это был тоже высший пост, предел. Дальше по этой линии двигаться красаацу было некуда.

И вот теперь, когда помер Сталин, который когда-то обнимал красавца и пил за его здоровье, а через десять лет подписал бумагу о разжалованье, могло быть асякое. Впрочем, и при Сталине люди бог знает откуда возвращались. А ныне наступила неясность, и в этой неясности было аидно: за шесть лет папа Сеничкин ни на метр не продвинулся (даже по нерешительности пропустил шанс уйти в серьезный главк), а Герой, начав по новой чуть не с нуля, прошел свою трассу чисто, и скорость у него не убавилась. И если бы решили менять Василия Митрофановича на Героя, то кандидатская диссертация не то чтобы не спасла, а даже рассмешила бы. Герой-то был доктором и академиком теперь уже не липовым, а с запасом набранных за время опалы нешуточных знаний.

Правда, у Сеничкина-старшего имелся один козырь, даже не козырь, а всего лишь козыришка: он был вице-президентом некоего международного технического сообщества. Руководство этой организации сменялось каждые четыре года, и как раз нынешней аесной должны были состояться перевыборы. Англичанин и американец уже сидели на этом посту, и теперь вся штука была в том — кого изберут, француза или Василия Митрофановича. По всем статьям очередь была советского представителя. но ведь империалисты народ подлый, и В. М. Сеничкин мог пасть жертвой холодной войны.

Пост этот был еще дорог тем, что аыбирали не просто представителя страны (что тоже приятно), а конкретного человека. И если бы а Совете Министров захотели заменить Сеничкина Героем или каким-нибудь другим прытким типом, то Советский Союз лишился бы президентского кресла в этой негромкой, но все-таки всемирной организации. Как-никак дело шло к международной разрядке, и дядя Вася мог получить четыре года спокойной жизни.

Так что никто не угадал бы, от каких мыслей он отдыхает, сидя в гостиной один на один с телевизором. Вот почему не треаожила его Ольга Витальеана и племяннику тревожить не позаоляла.

К тому же она была сердита на Борьку, поскольку своих родичей не привечала. Всех разом как отсекла!.. А этот, сеничкинский, используя свое сиротстао, вечно вертелся у них в доме.

Но если говорить начистоту, тут была самая заурядная ревность. Борька Курчев приходился родным племянником Васе, даже внешне походил на него, а ее любимец

Алешенька, хоть и считался Васе сыном и фамилию его носил, и отчество, но сын был приемный. И ревновала Ольга Витальевна как бы за двоих: за себя и за сына, в чем никогда бы себе не призналась. Видела, гордится Вася Алешкой, любит его, почти как Надьку, и по доброте душевной одаривает даже больше, чем родную дочь. Из-за границы одежду не себе — Алешке привозит; но нет-нет да взглянет Вася на дуболома-сиротку, потреплет по плечу — и настроение у Ольги Витальевны сразу идет насмарку, и давление прыгает.

И надо же было этой курице Клавке замуж за пьяницу выходить и потом травиться...— сердилась Ольга Витальевна.

О своей несчастной родне и о погибшем в год великого перелома Алешкином отце она не вспоминала.

И Курчев не любил тетку. Всегда, сколько себя помнил. Наверно, нелюбовь перешла по наследству от матери и бабки. Бабка ревновала сына, а мать, должно быть, завидовала невестке. Тетя Оля была образованная, учительница старших, а не младших классов, и сумела скрутить своего Василия. Бывший плотник дядя Вася не пил, не гулял на стороне и при всей своей тупости (так в семье считали!), окончив с грехом пополам институт, стал первым ученым в роду Сеничкиных.

Такая она была тетка, рослая, давно уже не молодившаяся женщина. Черный костюм с орденской ленточкой или черное платье с меховой накидкой по торжественным дням и с белым тонким пуховым платком по будням. Четкий римский нос. Сильно поседевшие, подвитые волосы. Заслуженная учительница РСФСР, депутат райсовета. Кавалер ордена Трудового Знамени. Без нее дядя Вася сейчас бы уже пошабашил в столярке и лежал бы бухой в серпуховском доме. А с ней?

А с ней он сожрал Героя Советского Союза, мирового парня, которого до войны вся страна высыпала на улицы встречать...— подумал Борис и прибавил шагу.

Хотя в доме жили люди особые, лифтерша почему-то отсутствовала и свет на нижних маршах не горел.

Дверь открыла Курчеву Надька, десятиклассница с грудью знатной доярки и плечами боксера-средневика.

— Чао! — сказал Борис.

— Чао прощаясь говорят.

— Это я авансом. Уйду, ты уже бай-бай будешь...

— Я позже тебя ложусь. Это у вас живут по команде.— Надька скривила безбровое лицо. Прыщей на нем уже не было.— Чего уставился?

— Ну и молодчага,— сказал он.— Сразу похорошела. Мать в курсе?..

— Не твое дело.

Но он состроил смешную рожу, Надька не выдержала, прыснула и, подобрев от смеха, взяла у него шинель.

— Дядя Вася спит?

Двустворчатые зеленоватые стеклянные в пупырышках двери гостиной поблескивали холодно и темно.

— Ложатся. Хочешь дербануть?

— Забыл! Честное слово, забыл. И гастрономы по дороге были!.. Понимаешь, навалилось сегодня всякого... У Алешки что — гости? — вовремя оборвал себя, глядя на толстую без стекол дверь молодых Сеничкиных.

— Лешкина новая, Марьянка взъсиховалась. Оставить одних боится. Будто места другого не найдут. А ты на офицера не похож. Китель мятый-перемятый и сапоги какие-то дурацкие.

С нашим братом шьется,— подумал Курчев.

— Ты что завтра делаешь? — спросил, на мгновение обманутый ее добротой.

— В ресторан позвать хочешь? Не могу. Занята.

— Да нет...

Надьке нельзя поручить письмо. Вскроет и мамаше покажет... Они меня уже однажды спихнули в армию... Значит, я... вызвав на отвлечение... Он снова покосился на дверь Лешкиной комнаты, и тоскливое чувство обиды, обычно появлявшееся под конец московской побывки, на этот раз пришло сразу.

— Кто такая? — Он кивнул на дверь.

— Средний из себя кадр. Аспирантка,— скривилась Надька, как будто уже была доктором наук, но Курчев вздрогнул.

Неужели? — пронеслось в голове.— Вот оно — соврешь, а выходит взаправду. Накаркал...

— Это что? Знаменитая малявка? — Надька заглянула в приоткрытый чемодан. Пришлось вместе с синей папкой достать машинку, которую он хотел незаметно спрятать в кладовой.

— А?! Приехал?! — Марьяна открыла дверь.

— Смотри, какая у него машинка! — сказала Надька.— Боренька, дашь попечатать?

— Я не слышала звонка,— извинилась Марьяна.

— Ври больше,— обрезала ее Надька.— Все твои хитрости дурацкие. Не клюнет она на «сиротку».— Надька высунула язык и, нахально покачивая бедрами, удалилась к себе.

— Вот дрянь. Не обращай на нее внимания. Есть хочешь? — Марьяна неуверенно посмотрела на Курчева.

— Я бы лучше помылся.

Он знал, что с кормежкой у Сеничкиных сложно.

Черт, четыре года не слышал я от них «сиротки»! Это, разумеется, заслуженная учительница пустила. Сиротка! Производное от сирота. «На столе лежала тыква, круглая, как сирота»,— вспомнились чьи-то смешные стихи. Ничего у них не берешь, и все равно ты для них «сиротка». Подохнешь с этой кличкой. Надо бы хлопнуть дверью и гуд бай! Но тогда труба аспирантуре.

— Я бы вымылся,— повторил он.

— Зайди, поздоровайся. Эти, наверное, легли.— Марьяна кивнула на дверь Сеничкиных-старших.

— Пусть Алешка сразу поглядит,— буркнул Борис и ввалился в комнату молодых.

Собственно, это была не комната, а кабинет Василия Митрофановича. Но так как министр дома делами не занимался, то кабинет отдали молодым, и в результате кабинет кабинетом не остался. Но и жилой комнатой не стал; Марьяна Сеничкина чувствовала себя здесь не хозяйкой, а приезжей родственницей. Даже подкрашивать ресницы приходилось выбегать в ванную. Зеркала в кабинете не полагалось. Зато тут стоял отличный раздвижной диван, на котором сейчас сидела аспирантка. Она сидела скромно, словно присела на минуту, как в троллейбусе. В рассеянном свете торшера Курчев заметил, что аспирантка молода, худощава и одета неброско.

Разговор, по-видимому, не клеился, и Алешка даже обрадовался Курчеву.

— А, явился! — Алешка работал иностранца и сидел на полированном столе без пиджака и посасывал короткую незажженную трубку. Директриса дыма не выносила, и Алексей Васильевич со своей пустой трубочкой изображал джентльмена, бросающего курить.

— Прочти. Я добил,— прикрывая застенчивость грубостью, буркнул Курчев.

— Медведь. Познакомься сначала.

— Инга,— сказала гостья. Голос у нее был глуховатый, в ладонь тонкая и холодная.

Везет же доцентам! — позавидовал он Алешке.

— Ты прочти, а я под душ полезу.— Грязным, взмокшим не хотелось стоять рядом с такой девушкой.

— Извините, Инга,— сказал Алешка Сеничкин.— Фронтовик приехал. Казарма. Пехота-матушка. Толстая что-то,— деланно вздохнул он, развязывая тесемки.

— Два экземпляра,— сказал Борис. Покрасиев, он все еще торчал с машинкой посреди кабинета, чувствуя, что занимает чересчур много пространства.

— Да поставь ты свое гуттенберговское сокровище,— усмехнулся Сеничкин.

— Это машинка? — удивилась девушка.

— Да выпусти ты ее из рук. Покажи человеку,— сказал Алешка, радуясь, что можно разрядить неловкость.

— Пожалуйста,— пробормотал Борис и раскрыл машинку. Но не отдал девушке, а поставил на диван. Он боялся, что девушка учует скисший запах армейского пота.

— Я пойду.— Он кивнул в сторону ванны.

— Кто про что... Ладно, иди. Мы пока поглядим. Вот вам, Инга, первый экземпляр,— протянул доцент гостье пачку страниц.

— Не берите. Скучища...— сказал Курчев.

— А мне можно? — спросила пухлогубая Марьяна.

— Читай. Только скучища,— повторил Курчев.

Горячая, чуть ли не крутая вода снимала, как щелочь ржавчину, всю дрянь дня, невыспанность и усталость.

— Так, так,— приговаривал Борис, надеясь, что за шумом воды в спальне не услышат.— Раз! Взяли! Еще раз — взяли! — Он тер себя, как будто был огромной зениткой и весь орудийный расчет драил его в банный день. Ничего не было лучше горячей обжигающей воды, рваной мочалки и красного, таявшего на глазах мыла.

А все же пузо наел,— подумал Борис. Отпаренное от кислых казарменных запахов тело не стало стройней. Боров,— сказал он себе.— Худеть надо. Вон Алешка какой.

И вспомнив, что Алешка читает сейчас вместе с девушкой его реферат, Курчев застыдился. Реферат был такой же нескладный.

В дверь постучали.

— Ты, Борис? Открой, я один,— услышал Курчев сквозь шум кранов дядькин басок.

Огромный, в пижаме, Василий Митрофанович втиснулся в просторную ванную, и в ней сразу стало тесно.
— Заматерел ты, Борис,— сказал он, оглядев племянника.
Расслабленный от душа, умиротворенный, Курчев не находил в дядьке сходства с абрикосочником, хотя пижамы были одного рисунка и даже лица в чем-то отдаленно схожи.
Сколько раз до войны, при жизни отца, пацаненком, мечтал Борька Курчев: а вдруг его отец не этот сухонький пьяница и гуляка, машинист маневрового паровоза Кузьма, а непьющий степенный инженер дядя Вася. Дядька иногда приезжал в Серпухов и брал с собой племянника на рыбалку. В эти блаженные часы у жидкого попыхивающего костерка, когда они сидели, накрывшись дядиваасиной телогрейкой, Борьке казалось, что дядька и сам не прочь взять его в сыновья, потому что Алешка хоть и отличник и собой хорош, а все-таки не свой, не сеничкинский.
Борька знал, что это мечты стыдные, но засыпать с ними было сладко. Только весной 42-го, когда в Серпухов пришла первая пенсия за погибшего (похоронка пришла к Лизавете в Москву), повзрослевший Борька бросил такие игры и перед сном думал об убитом отце, а не о дядьке, который хватает большие чины и ордена не на самом фронте. Даже в захолустном Серпухове при своем огороде жилось голодновато, и социальные контрасты сами собой вытеснили любовь к дяде Васе. А через год Алешка, счастливо избежав призыва, поступил в знаменитый, только что созданный Институт международных отношений, и зависть к Ольге Витальевне и ее детям, раздуваемая бабкой, заразила и Бориса. Но детская привязанность к дяде Васе, видимо, не вовсе ушла, и даже сейчас, в ванной, Курчеву было радостно глядеть на здорового рослого мужика, единственного родича. Так и подмывало попросить лично передать письмо в Совет Министров.
— Давно не виделись. На буднях не выбраться, да? Что ж, служба — ничего не попишешь,— покряхтел министр, как бы сгибаясь под тяжестью долга, но на самом-то деле гордясь общей ношей.— У Лизаветы был?
— Нет. Но там порядок. Она сообщит.
— Не прозевай. Сразу в отпуск просись. Прописка — дело серьезное.
— Будет сделано.
— Давно тебя не видел,— снова повторил дядя Вася.— Демобилизовываться не раздумал?
— Не знаю...— Курчев пожал плечами. Его не сердили вопросы. Он понимал, что дядька не желает ему зла.
— Подумал бы еще,— сказал дядя Вася.— Хитрая это наука...— Он кивнул в сторону кабинета, где Алешка с женой и любовницей сейчас читали втроем реферат.— У нас, брат, с тобой таких мозгов нету,— нечально пробормотал он, отделяя себя и Бориса от приемного сына.— Алешка — талант. Ничего не скажешь... И образование... А получится ли у тебя, сам знаешь, неясно.— Он развел руками, и Курчев снова не обиделся.— Непостоянство в их науке наметилось. Трудно им теперь. За Алешку, прямо скажу, не беспокоюсь. Он хоть и не стреляный, а вывернется... Ты, Борька, попроще будешь...— улыбнулся дядя Вася и хлопнул племянника по затылку, как когда-то на рыбалке. Тогда это называлось «дать макарону». И Курчев снова не обиделся.
— Ты здесь, Васенька? — спросил грудной голос за дверью.
— Сейчас.— Министр оглядел племянника, тот застегивал китель.
— Вы что, курите? — Даже в халате и шелковом платке, прикрывающем бигуди, тетка выглядела как на выпускных экзаменах.— Ты почему не здороваешься, Боря?
— Извините,— покраснел Курчев.
— Что это у вас — банная идиллия? Четверть одиннадцатого, Васенька.
— Сейчас,— повторил министр и встал. Лицо у него было раздосадованное — он словно силился что-то вспомнить.— Так ты не проворонь.— Он снова хлопнул по шее племянника. Получилось ненатурально, поскольку он хотел сказать совсем другое. Но, взглянув на жену,— величественная в своем шелковом синем длинном, до полу, халате, она высилась в дверях ванной,— он четко и резко, словно в управлении, добавил, как припечатал: — Пропишешься, денег дам на обстановку,— и нарочно для жены уточнил: — Три тысячи с тетей Олей дадим. Так что рассчитывай,— и ласково погладил племянника по мокрой негустой шевелюре.

Вот кого дядька напоминал — заготовителя. Как раз, когда вспомнил о деньгах. Не нужны были Курчеву их три тысячи. То есть еще как нужны, но платить за них пришлось бы втрое, хоть и не деньгами. Сиротка!
Он поглядел в зеркало. Лицо было нескладное, но совсем не сиротливое.
— Бывают же такие вывески! — вздохнул он, вспомнив, что за стенкой девушка читает его реферат. Кажется, красивая...— попытался представить себе сидящую на диване гостью. Она была в сером домашней вязки свитере с высоким воротом и в длинной шерстяной юбке. Туфель он не запомнил. Кажется, ботинки, отороченные мехом. А лицо? — спросил себя.— Вроде бы овальное, продолговатое. Нос прямой, не длинный. А волосы? Каштановые, что ли? — Словесный портрет не получался. Но сейчас, содрав пот и усталость, Курчев чувствовал, что девушка ему нравится.

Но вот про лицо, которое смотрело на него из большого зеркала, укрепленного над умывальником, он этого сказать не мог. Лицо никуда не годилось. Его сработали словно бы наскоро, и оно ничего не могло выразить, хоть очень хотело, и его раздирало, как от немого крика. Такие лица, наверное, бывают у солдат, когда они раскатывают «ура!» вблизи колючей проволоки. Но, если солдаты остаются живы, лица их принимают обычный вид. А его лицо, казалось Курчеву, молча кричало и кричало. Даже большой лысоватый лоб не прибавлял ему ни доброты, ни мудрости.
— Женись, дурак, на Вальке и Бога благодари,— сказало зеркало.— И не заглядывайся на аспиранток. Они не для тебя.
— А я не заглядываюсь,— ответил он зеркалу, закрутил краны и вошел в кабинет.

4. ИНГА

Девушка сидела на том же месте и читала рукопись, складывая рядом с машинкой прочитанные страницы. Алешка и Марьяна либо реферат уже прочли, либо не стали читать. Страницы второго экземпляра были рассыпаны по полу и креслу, а супруги о чем-то негромко спорили.
— С легким паром! Наконец-то...— сказал Сеничкин-младший чуть громче обычного.— Выкупался, Спиноза? Ну, пойдем! — И он зло, совсем как днем начштаба Сазонов, схватил Курчева за плечо и втолкнул в темную, смежную с кабинетом гостиную.
— Да ты понимаешь, что делаешь? — Сеничкин щелкнул выключателем.— Россия выстрадала марксизм, а ты что несешь?.. На Тайшет захотел? Да кто ты такой? Недоучившийся фендрик? Наполеончик от вольтерьянства? Заткни свой реферат себе в одно место взамен экстракта красавки.
— У меня нет геморроя.
— Ничего, будет. От таких потуг непременно будет. Сидел тихий как мышь, а тут вдруг высунулся. Тебе учиться надо, а не изобретать велосипед... «Фурштатский солдат...» Тебе не в науку надо, а сочинять стихи. Лирику для бедных. «У бурмистра Власа бабушка Ненила починить...», дальше не помню. Отдельная личность. Индивидуй. Марксизм рассматривает личность как?.. Сначала условия для всех, затем для каждого. А ты каждого, одного, молекулу какую-то во главу угла ставишь. Так в мире сейчас три миллиарда людских молекул. Ну, перебери всех. Знаешь задачу с шестьюдесятью четырьмя клетками? На одну клетку кладут зерно, на вторую два зерна — и так далее... На последней — какие-то нули в энной степени. Земля раньше от атомного взрыва в нуль обратится, чем ты до второй тысячи доедешь. Отдельные особенности личности! Учудил! Поистине страна большого кретинизма. Подумать, где-то в глуши, среди лесов дремучих, сидит недоучившийся техник, который и пробок починить не может, и изобретает теорию отдельного человека.
Алексей Васильевич ходил из угла в угол, как в аудитории, и с удовольствием прислушивался к своему голосу, жалея, что его слушает один Курчев.
А впрочем, зачем сердиться ему, доценту, надежде и гордости кафедры философии, Алексею Сеничкину, на этого балбеса, который-то ни бельмеса (как сошлось в рифму, а?! Не забыть бы...) не соображает и думает, будто философия — это наука, которой может заниматься кто попало, стоит ему только чуть поднатужиться. Балбес, неуч, не прочитавший даже того, что положено в их наробразовском институте по кастрированной программе. Дурак, который еле полз на тройки и без шпаргалетов не приходил на экзамены. Лентяй, которому самое место в этом Богом забытом полку, а он вон на что замахнулся. Сиротка... Все они, сиротки, такие... Их только пригрей, себя тут же покажут. Но Алексей Сеничкин не злыдень. Черт с ним. Пусть идет в аспирантуру. Пусть не думает, что ему завидуют. Там дурь из него выбьют. В конце концов складывать слова сиротка умеет. Фраза у него получается. По-настоящему дурака надо было бы отправить на филфак. Но туда он бы по конкурсу не прошел. А слог у него есть. Эта охламонская статья написана не так уж плохо.
— Это никуда не годится,— сказал Алексей Васильевич вслух.— Лучше порви. Неровен час попадет к вашему особисту, сам он скорее всего не раскумекает, но наверх стукнет, а там уже разберутся. Порви, а через неделю привози что-нибудь путное. Хотя бы такое...
Он вышел в кабинет, открыл левую тумбу полированного стола и из нижнего ящика вытащил три брошюрки и переплетенную рукопись.
— Вот, возьми,— сказал, возвращаясь в гостиную.— Через неделю притащишь. Передери как следует. Цитаты замени. Или место оставь — вдвоем заменим. Перепишем так, что сами Юдин, Митин и Константинов не докопаются. Ну, пошли. А то перед девочками неудобно.

Курчев сидел на подлокотнике массивного кресла, красный сразу от стыда, злобы, безнадежности, но еще и от гордости: все-таки я допек доцента! Но обидно было, что все труды пошли коту под хвост; снисходительное же — передери — обтяпаем,— не обнадеживало, а обижало. Курчев считал себя не глупее доцента. То, что Сеничкин писал, было вовсе никуда, хотя среди своих Алешка считался философом, позволяющим себе вольности.

Но аспирантура накрылась. Завтра надо было явиться пред ясные очи Ращупкина и — еще не ясно зачем — пред не менее ясные очи полкового особиста. И отстуканное послание в правительство, где главным козырем была аспирантура, оказывалось бесповоротным враньем. Короче, безнадёга была полная.

— Значит, договорились? — спросил Алешка, приоткрывая дверь в кабинет.

— Да иди ты...— прошипел Курчев.

— Самолюбие,— вздохнул Сеничкин-младший,— я думал, ты умнее.

Он стоял худой, стройный, хорошо подстриженный, с короткой трубкой в зубах. Суженые по самой последней моде брюки, импортный пуловер. Шерстяная рубашка без галстука. Вид домашний, но строгий.

— Понимаю, неприятно, но сдерживаться надо,— сказал он.

— Да, конечно,— ответил тот.— В наш век сдерживаться просто необходимо. В наш век, когда все дороги ведут к коммунизму, когда сфера господства...

— Что? Что? — насторожился Сеничкин.

— То самое. Я наизусть знаю,— нехорошо усмехнулся Курчев и, поднявшись с кресла, встал в позу Гамлета. Это он уже не раз проделывал в финском домике, веселя офицеров.— В наш век, когда все дороги ведут к коммунизму, когда сфера господства монополистического капитала все более и более суживается,— завывал Курчев, будто это была не статья в философском сборнике, а душераздирающие стихи,— американо-английские империалисты, панически напуганные гигантским ростом сил лагеря мира, демократии и социализма...— для разнообразия в этом месте Борис перешел на сталинскую интонацию и даже согнул для убедительности указательный палец,— видят единственный путь к сохранению своей власти в новой мировой войне...

— Это подло,— сказал Алешка и вышел из гостиной.

Опять я в дерьме,— подумал Курчев.

Круглый стол и восемь стульев, полированная горка с чайным и столовым сервизами, вымеренные сантиметром пейзажи на стенах и два слоновых кресла презрительно обступили неудачника. Только телевизор, покрытый черным плюшем, был безразличен, как клетка с уснувшим щеглом.

Застрелиться, что ли? — подумал Курчев.— Так я наган сдал.

Он рухнул в огромное кресло, закинул ногу на ногу.

— Лучше бы пожрал у заготовителя,— сказал вслух и ощутил голод.

Сволочной дом. Поесть дадут только в праздник, либо обжирайся, либо голодай. И Алешка хорош. Пригласил женщину, а вместо еды — ля-ля. Директриса небось доктора наук еще покормила б, а ради аспирантки нет расчета снимать скатерть... Он брезгливо поглядел на толстый, зеленый, расшитый шелковыми цветами плюш. Впрочем, аспирантка перебьется. Завтра доцент ее в ресторан потащит. Теперь у него гонорары незаприходованные... Ладно, не психуй. Ехать надо... На вокзале заправишься. Только куда деть машинку? Здесь — Надька сломает, в полку — особист заберет. Отнесу Елизавете. Точно, Елизавете? И письмо ей отдам. А Зубихину скажу: малявка мои, никому ее не доверю.

Он вовсе успокоился и снова оглядел гостиную. Стулья, кресла, стол, горка и пейзажи были по-прежнему величественны, но уже не раздражали.

— А вы — застрелиться! — И он состроил рожу. За дверьми о чем-то переговаривались молодые супруги. Голоса девушки не было слышно.

Елизавету бы не разбудить — встает рано,— подумал Борис.

Он погасил в гостиной свет и вышел через стеклянные двери в прихожую. Рядом с его шинелью висела длинная дубленая выворотка.

Везет охламонам! — вздохнул Борис, напялил ушанку и влез в шинель. Хорошо было бы улизнуть не прощаясь, но в кабинете остались реферат и машинка. Тихо, чтоб не услышала Надька (из-под ее двери пробивалась полоска света), он вошел в ванную и завернул в газету полотенце и мыльницу с мочалкой. Засунул сверток в чемодан и сверху положил письмо, надеясь, что оно не промокнет.

— Ты что, уже?..— удивилась Марьяна, когда он, перетянутый ремнем, словно собрался на развод, вошел в кабинет.

— Завтра опаздывать нельзя.— Он закрыл малявку.

Инга, по-видимому, реферат уже прочла, потому что он лежал на диване аккуратной стопочкой.

— Очень удачная машинка,— сказала Инга.

— Машинка ничего. Работа могла быть получше,— сказал Алешка.

— Тебе бы все ругать,— возразила Марьяна.— По-моему, даже неплохо. Не слушай его, Боренька.— Она обняла лейтенанта. Тот, нагнувшись, собирал рассыпанные страницы.

— Не изображай оскорбленное самолюбие,— сказал Алешка.— Книг не взял? Не валяй дурака — за неделю напишешь новый.

Курчев сунул реферат в папку и положил ее в чемодан вместе с машинкой.

— В другой раз,— ответил Сеничкину.

— Зря ты Борю ругал,— сказала Марьяна.— Не так уж он плохо пишет. Не хуже тебя.— Она ткнулась Курчеву в плечо.— Ведь, правда, не плохо? — Она посмотрела на Ингу.

— Мне понравилось,— твердо сказала та.

Курчев с досадой оглядел гостью.

— Понравилось,— повторила она.— Читать исключительно интересно.

— Но какая же там философия? — улыбнулся Сеничкин. Так он улыбался слабо успевающим студенткам.— Чистая самодеятельность. И цитаты плохо подобраны. Нет, это никуда не годится.

— Может быть... Я в философии слаба...— Инга пожала плечами.— Но читать интересно, и ассоциаций много.

— По-моему, просто хорошая работа,— сказала Марьяна. Но Курчев чувствовал, что она не дочитала рукописи — просто ей хотелось позлить мужа.

— А вообще, Алексей Васильевич,— аспирантка снова пожала плечами, словно так ей легче было искать слова,— ...это очень самостоятельно, ни на что не похоже.

— Чистейшей воды дилетантизм,— фыркнул Алешка.— Ни в какие ворота не лезет. Разве такое можно принести на кафедру? В самом оптимальном варианте — засмеют.

— Да, для кафедры это не годится — тут вы правы... Зато читать исключительно интересно.

Курчев почувствовал, что и гостья задирает доцента. Она встала и оказалась не очень высокой, хотя и выше и худее Марьяны.

Марьяна ее не удерживала.

— Нет, нет, не беспокойтесь,— сказала она Сеничкину, который доставал из стенного шкафа пиджак.— Меня... ваш брат проводит.

— Вам на метро? — спросила она Курчева. Он кивнул.

Выдержка! — удивился Борис, понимая, что его используют, как подручные средства при переправе. Но зачем ломать комедь, приглашать домой девчонку, с которой живешь? Или это не доцент ее пригласил, а Марьянка? Скорей всего ее штучки. Зазвать домой разлучницу, показать ей что к чему. Ну, деточка, решайся! Слабó, а? Марьянкин почерк. Что ж, каждый сражается как может. Во всяком случае, не по-страусиному. Без обмана и самообмана... И Курчев ткнул Марьяну в плечо.

— Медведь,— фыркнула она, словно радуясь, что он ее разгадал.

Что ж, первый раунд был за Марьяной. Впрочем, Курчев не сомневался, что она выиграет схватку, если не нокаутом, то по очкам.

В прихожей доцент подавал Инге выворотку и тихо — громко разговаривать здесь не полагалось — разглагольствовал о вступительной главе ее диссертации, которую, очевидно, пообещал написать:

— Нет, нет, это вовсе не трудно...

Курчев видел, что Инге не по себе.

— Заходите, заходите,— приговаривала Марьяна.

— В комендатуру не попади,— вдруг, прервавшись, сердито сказал Сеничкин.

— Я натощак не пью,— поддел его Курчев, но тот и бровью не повел.

— Книги не забудь,— бросил свысока Алешка.

— В другой раз,— отмахнулся Курчев.— Эта неделя у меня — не продохнуть.

Не хотелось препираться в дверях. Он спиной чувствовал, как Инге не терпится выскочить из этой квартиры.

— Ну, так как? — шепотом спросила Марьяна, едва захлопнулась дверь.— Бедненький Лешенька.— Она подошла к мужу и погладила его по затылку.— Бедный, бедный дурашка. Нет, это не то, что вам нужно, Алексей Васильевич. Нет, Алексей Юрьевич Сретенский, это совсем не то.

Она стояла перед ним, ладная, аккуратная, пухлогубая, невероятно уверенная в себе Марьяна Сергеевна, старший следователь по особо важным делам. Нежная, удивительно понятливая, уступчивая, снисходительная, она иногда срывалась и тогда возникала другая Марьяна — лихая, грозная, безоглядная, и Сеничкин тут же поджимал хвост. В решительные минуты она преображалась, впрочем, не исключено, что она всегда была такой, только держала свой норов на запасном пути. Обычно ее не тревожили измены мужа. «Хороший левак укрепляет брак»,— задорно острила она в компании. Но настоящую опасность Марьяна ощущала издали. Прошлым летом, когда из ГДР приехала в отпуск ее подруга, расфуфыренная в пух и прах переводчица Клара Викторовна, и Алешка, приве-

денный в восторг разнообразием ее туалетов, решил было с ней переспать, Марьяна спешно вызвала из Подмосковья Курчева.

Но сейчас опасность была посерьезней. Аспирантка была куда красивей Кларки, а Аленька так втрескался, что, по подозрениям Марьяны, не спешил с пересыпом.

— Не такая женщина вам нужна. Не такая, не такая, не такая,— шептала Марьяна — она доставала рослому мужу лишь до подбородка,— и в глазах ее сияли презрение и любовь, твердость и уверенность; привстав на носки, она уверенно, как судебное определение, впечатала в губы мужа свои и не отрывала их, вся вминаясь в струсившего Сеничкина. Она вминалась в него в полуосвещенном коридоре, вдавливалась требовательно и нежно, и Сеничкин — или Сретенский, все равно! — чувствовал, что раскисает, покоряется, сдается и уже плывет, как в нокдауне, голова затуманена, Инга куда-то скрылась, а в Сеничкине растут гордость и тщеславие и наконец возникает самое простое, но почему-то необыкновенное желание обладать влюбленной в него женой.

— За перила держитесь! Темнотища...— крикнул Курчев, обгоняя девушку. Проклятые сапоги по-милицейски стучали подковками. Дверь наверху захлопнулась.

В окна лестничной клетки светили два фонаря из сквера, но все равно в подъезде было жутковато. Курчеву хотелось поскорее на мороз. Да и вообще надо было спешить к Лизавете.

— Вы около какой станции живете? — крикнул он вверх. Молчать было так же неловко, как бежать впереди.

— У вокзалов. Возле Домниковки.

— Соседи.— Он, осмелев, толкнул сапогом дверь. Мороз убавился или после тепла не ощущался. Ветра в закутке тоже не было. Два фонаря над сквером не раскачивались.

— Мне на Переяславку,— быстро, как пули, сажал он слова.— Сейчас на стоянке словим...

— Зачем? Вон шестерка...

Действительно, по тихой черно-белой бесшумной улице, желтея окнами, плыл медленный, как рок, автобус. Курчев удивился его величавости. Он был в точности такой, как загородный, но загородный подходил к остановке замерзший и словно бы виноватый: мол, опоздал, простите! А этот плыл будто по собственной прихоти, будто не он для пассажиров, а они для него.

— До библиотеки,— сказала Инга и остановилась в проходе, ожидая, пока лейтенант, позвякивая мелочью, расплатится с кондукторшей. Пожилая сонная женщина оторвала длинную узкую полоску от бумажного ролика. Пальцы у кондукторши были сморщенные, черные, словно она всю жизнь чистила картошку, и сиротливо выглядывали из обрезанной перчатки. Митенки,— зачем-то вспомнил Курчев.

В автобусе никого не было. Инга придвинулась к окну, опять зябко повела плечами и улыбнулась, как бы объясняя лейтенанту, что устала в министерском доме и здесь, в пустом позднем автобусе, ей куда проще и уютней. Курчев стал рядом. Лицо у него было мрачным — он злился на Алешку.

Инга молча улыбалась. Нахмуренное лицо странного офицера не мешало ей радоваться, что вынужденный визит наконец окончен и можно расслабиться, даже напевать в уме какую-то чушь. Ей жаль было этого нескладеху-лейтенанта в тесной шинели и в огромных сапогах, и, преодолев застенчивость, она сказала:

— В одном ваш кузен прав — а аспирантуру с таким рефератом не примут.

— А ну его...— Курчев оторвал руку от поручня и едва удержался на ногах. Автобус круто поворачивал на Арбатской площади. К кому относилась реплика — к реферату или к Сеничкину,— осталось неясным.

— И зря,— сказала Инга.— У вас интересная работа. И что необычно — минимум жвачки.

— Вы всерьез?

— Угу,— кивнула девушка.

— Работа — туфта! — отрезал он, представив, как завтра за укромным столиком окраинного ресторана девушка будет корить Алешку за разнос реферата, а потом милостиво простит и смеясь расскажет, как утешала нелепого военного.

Ну их к лешему,— решил Борис.— Кто кого осилит — Марьяна вас или вы Марьяну,— мне без разницы. И плевал я на всех Сеничкиных и на подачку в три тысячи гульденов.

— Реферат — туфта,— повторил он.— На жизнь не похоже. В жизни дерьма — ого-го! А у меня чисто, как в аптеке.

Инга, прижимаясь плечом к стеклу, глядела из-под алого вязаного башлыка на чудно́го офицера. Капризный, надутый, он походил на неловкого некрасивого ребенка. Хотелось потрепать его по ушанке, успокоить. Говорил он сбивчиво, его трудно было понять и не верилось, что это он написал любопытную по мысли и свободную по языку работу.

— Вам выходить,— пробурчала кондукторша. Автобус остановился.— Все лалакают... Спешить дармоедам некуда...

Курчев хотел огрызнуться, но, покосившись на Ингу, покраснел и не сдержал улыбки.

— А вы о чем пишете? — спросил, когда они спрыгнули на снег.

— Об одном английском романисте прошлого века, Тéккерее,— ответила без всякой интонации, как телефонистка. Чувствовалось, что ей порядком надоел этот вопрос.— Подальше от туфты, как вы говорите.

— Такси! — крикнул он. Мимо проехала «Победа» с зеленым глазом.

— Бросьте! — Инга схватила его за руку.— Вот же метро.

Машина не остановилась.

— Вы, оказывается, брéтер?

— Бретёр,— поправил Курчев, не догадываясь, что она говорит на английский манер.— Я спешу.

— Метро всего быстрее. Я каждый день сюда езжу.

— Ах да! Третий научный... Нашего брата туда не пускают...

— А вы напишите другую работу, и пустят.

Они спускались по мокрой гранитной лестнице. Девушка весело помахивала рукой в варежке.

— Нет,— сказал Курчев,— с меня хватит! Тьфу ты, черт, опоздал! — Он взглянул на часы над кассой.— Опоздал,— повторил, зачем-то сверяясь со своими.

— Вам сейчас на работу? — спросила девушка, протягивая билетную книжечку контролеру.

— Да нет... К мачехе. Они рано ложатся.

Времени было четверть двенадцатого.

— Я на вашем месте все-таки подала бы в аспирантуру,— повторила девушка.— Или вам светит удачная карьера?

— Карьера? Какая там карьера, не выше капитана. А теперь и вовсе трибунал корячится,— добавил, сам не зная, прихвастнул или нет.— Мачехе письмо везу: чтоб в Кутафью башню отнесла, на имя Маленкова. Теперь по почте придется...— Он оборвал себя, потому что получалась сплошная жалобная книга.

— Большие неприятности? — спросила Инга уже на перроне, вежливо поддерживая разговор.

— Да так... В общем, я решил рвать когти...

— Вот и подайте в аспирантуру...

— Нет. Для аспирантуры писать — себе дороже... Про девятнадцатый век еще куда ни шло, но мне про сегодняшнее охота...

— С сегодняшним сложнее,— согласилась Инга.— Даже с меня сегодняшнюю туфту требуют. Не знаю, как выкрутиться.

Подошел поезд.

— Спасибо, ваш брат обещал написать самые идейные страницы.— Инга не давала затухнуть разговору.

— Он умеет,— сказал Курчев, не желая ругать Алешку.

— Да, это неприятное занятие,— согласилась Инга.— Но у Алексея Васильевича как-то получается.

— Вранье, как его ни переворачивай, оно все равно вранье.

— Скажем лучше — общие места. Их трудно изложить так, чтобы звучало не унизительно.

— Да, унижений вагон,— согласился Курчев.— А все от вранья.

— Нет, скорее от скованности. Я чуть не ревела: слова все выходили какие-то нечеловеческие...

— Точно,— улыбнулся Курчев.— Но на это есть мастаки. Я на гауптвахте встретил одного такого. Я в позапрошлом году по глупости попал на гарнизонную губу под Питером. Вдруг выключили свет. А в этот день как раз печатали газету-дивизионку, и меня как самого грамотного послали в редакцию крутить наборную машину. Я ручку верчу, а в кабинете пропагандист из Ленинграда инструктаж толкает, как писать передовицы. Я, говорит, товарищи, покупаю тетрадки, очень удобные, в переплетах. У меня их уже больше двадцати набралось. Вам тоже советую не пожалеть денег и купить. В эти тетрадки я заношу всякие образные выражения, например: «твердыня мира», «бастион социализма», «оруженосцы американо-английского империализма», «пропагандистская машина» и другие. Он их насчитал штук сто. Я всех не упомнил,— улыбнулся Курчев, потому что все примеры взял из Алешкиной статьи.— В общем, у него был полный набор с прицепом. Все это, говорит, товарищи, я заношу в тетрадку. И передовицу сначала пишу своими словами, но потом вынимаю тетрадки и смотрю, что можно заменить на научные, красивые и образные словообороты.

— Шутите? — засмеялась Инга.

— Честное слово, нет.

— Вы считаете, что у вашего брата тоже заведены тетрадки?

— А ему зачем?..— начал Борис, но вовремя осекся. Ему хотелось сказать, что у Алешки и без тетрадок голова набита дрянью.
— Все равно спасибо Алексею Васильевичу,— сказала Инга.— Если, конечно, не подведет.
— Не подведет...— вздохнул Курчев, посмотрел на часы и нахмурился. Инге стало неловко, словно это она его задержала у Сеничкиных.
— Совсем опоздали? Вам, наверно, стоило попросить родных... Или в башне большая очередь?
— Нет, никакой. Сдаешь в окошечко, и все дела. Расписки не нужно. Это напротив, в Президиуме, у Ворошилова очередь. А Кутафья башня как почтовый ящик. А, ладно, плевать! — Он махнул рукой: долго расстраиваться не умел.— Наклею марку и пошлю.
— Хотите, я передам? — спросила вдруг Инга.
— Вы всерьез? — обрадовался он.— Да нет, неудобно...
— Отчего? Я каждый день бываю напротив.
— Ах да, третий научный!..
— Он самый,— улыбнулась девушка.— Дайте письмо.
— Ловлю на слове! — осмелел Курчев и достал из чемодана белый конверт. Хорошо, что заклеил,— подумал он и вдруг, вовсе расхрабрившись, спросил: — А машинку, случаем, не возьмете?
— Тоже туда отнести? — улыбнулась девушка.
— Нет. У себя оставьте. Мне ее сейчас деть некуда, а с ней тоже непросто...
— А вы сдайте в камеру хранения,— нашлась Инга.
— Нельзя. Там только пять дней держат, а мне дали неделю ареста и еще, наверно, добавят,— сказал Курчев и смутился, вдруг Инга решит, будто он хочет ее закадрить с помощью малявки.
— Что ж, давайте,— согласилась девушка.— Запишите мой телефон — только я редко бываю дома.
— Мне не к спеху. В полку она мне не нужна.
— А вдруг вы передумаете и решите написать другую работу?
— Нет.— Курчев покачал головой — и тут поезд остановился на станции «Комсомольская».

Запахи позднего пустого метро — резкие запахи подтаявшего снега, влажного сукна, мокрого меха, смерзшейся резины и сырой кожи — были последними для Курчева запахами города. А сейчас то ли от скованности, то ли от голода эти запахи ощущались еще острей и навевали тоску.
— Все-таки как-то неловко,— сказал он, поднимаясь с девушкой по желтой от снега и опилок лестнице.
— Вам решать...— сказала Инга.
Он посмотрел в ее лицо, охваченное темно-алым башлыком. Правильные черты, длинные, почти как у Вальки Карпенко, ресницы, но вся она была другая, и Курчев ее побаивался.
— Я всегда считала, что военные — народ решительный,— улыбнулась девушка.
— Какой я военный? Я ни то ни се. А вам спасибо. И за письмо, и за машинку — не то мне ее хоть в урну кидай.
— Я думала, вы ее жалеете...
— Вообще-то жалею. Но сегодня я, как Епиходов... Двадцать два несчастья.
— Запишите телефон и дайте ваше сокровище,— сказала девушка.
— Я вас провожу...
— Зачем? Вы торопитесь, а она не тяжелая. Мне близко.
— Теперь не тороплюсь. Только узнаю, когда последний паровик. Вы очень спешите?
— Да нет.
Они прошли вдоль вокзального здания.
— До...— буркнул Курчев в сонное окошечко пригородной кассы.
— Вы там живете? — вежливо спросила девушка.— Или это военная тайна?
— От этой военной тайны еще восемнадцать километров, и все пехом.
— Ого! И вы еще не хотите в аспирантуру?
— Рад бы в рай, да грехи...
— Какие еще грехи? Вы написали отличную работу. Я даже хотела у вас попросить экземпляр для мужа.
— Вы замужем? — спросил Борис, повеселев.
— Разве непохоже?!
— Да нет. Просто чудно́ немного... Извините...
— Не пойму, вас это радует или удивляет,— сказала Инга.
— Сам не пойму...— Курчев засмеялся.— Правда не торопитесь? Может, посидим? — кивнул на длинное здание вокзала.— Или это неудобно?

— Отчего же, вполне удобно. Просто мне трудно следить за переменами вашего настроения.
— Это от зажатости,— улыбнулся он.— Тогда пошли. А то я сегодня не обедал.

Теперь ему было с ней легко, почти так же, как с Гришкой Новосельновым или с Федькой. Не надо было искать слова. Они сами выскакивали, как патроны из автоматного рожка, когда его разряжаешь, и весело раскатывались по квадратному столику меж тарелок и фужеров. В грязноватом, заставленном пыльными пальмами ресторане было пусто и тускло, и Курчев, не стыдясь засаленного кителя, сидел напротив Инги так же непринужденно, как в финском домике. Официант работал споро, выбирать было особенно не из чего — и теперь в ожидании бифштексов с луком они запивали холодную осетрину красным вином.
— Выбирайте вы. Я не голодна,— сказала Инга, и Курчев с опозданием вспомнил, что к рыбе положено белое.
— Извините, у нас обычно пьют полтораста с прицепом. Это я от Сеничкиных кое-чего поднабрался... А Теккерея,— он ударил на предпоследнем слоге,— честно сказать, и не читал.
— Прочтите. Вам понравится.
— Если он не слезливый.
— Нет, слезливый — это Диккенс.
— Я слезливых не люблю. Я больше по насморку...
Ему теперь хотелось, чтобы Инга поговорила о реферате.
— Я хочу показать ваш реферат мужу и еще одному приятелю,— сказала она, словно услышала его мысли.— Они понимают, много чего прочитали...
— А я мало...— вздохнул Борис.— В институте — он, простите, у меня бабский был...
— Педагогический?
— Угу... четыре года пошли коту под хвост. Даже не помню, на что их угрохал... Если что стоящее прочел, так это Толстого...
— Это он-то стоящее?
— По мне — еще как! Логика какая!..
— По-моему, злобный старик,— усмехнулась Инга.— Ханжа. Я где-то читала, что теорию непротивления мог придумать и Наполеон, но лишь на Святой Елене.
— Не знаю,— смешался Курчев.— В его учении я не смыслю, но Наполеона он здорово прикладывает, хотя несправедливо...
— А женщин как ненавидел! — продолжала Инга.— Сплошные комплексы. Элен — какая-то кукла. Мстил, наверно, какой-нибудь отвергшей его красавице. И вся эта нудятина о комильфо! А Наташа? Эпилог он явно написал для Софьи Андреевны, чтобы не огорчалась из-за вечных беременностей.
— Из двоих всегда один страдает,— перебил ее Курчев.— Муж и жена, как два стебля в одной банке,— кто из кого больше высосет.
— Оригинальный взгляд на супружество. Вы женаты? — Она тряхнула головой, словно хотела откинуть прядь со лба.
— Нет. Бог миловал. А что — я неправ? — Он поглядел ей прямо в глаза, выпытывая, так ли у нее с мужем.
— В реферате вы проповедуете равенство,— уклонилась она от ответа.
— Реферат — дистиллированная вода. Движение без трения. Про семейную жизнь я не знаю, а про обычную — скажу: нету в ней ничего химически чистого. Даже разложите доброту, и составных у нее выйдет больше, чем цветов в спектре.
— К концу суток это для меня чересчур сложно,— сказала Инга.— Лучше выпьем за ваш успех.— И она погладила свою кожаную сумку, где лежало письмо в правительство.
— Хорошо. За вашу легкую руку! — обрадовался Курчев.
Звон толстых вокзальных фужеров был еле слышен, но Курчеву хотелось верить, что это колокольный звон судьбы.
Он чувствовал себя легко и свободно, а после жаренного с луком мяса даже беспечно. Разговор с Ращупкиным и особистом был где-то далеко — за ночным поездом и долгим маршем — сквозь снег и темноту лесного шоссе. А пока что напротив сидела молодая женщина, от которой ему ничего не нужно, пусть только сидит, пока длится ужин.
— И все-таки вам надо в аспирантуру,— повторила Инга.
— Не возьмут. Я беспартийный.
— Я тоже.
— Вы молодая, а мне через два месяца билет сдавать.
— Теперь можно продлиться,— сказала Инга, и Курчеву показалось, что все это уже было, но тут он вспомнил, что эту же фразу сказал в дежурке Черенков.
— У меня с этим всегда неприятности выходят. Я даже в армию загремел оттого, что не достал партийного поручительства.

— Как? — Инга вскинула голову.— Я даже хотела спросить, почему вы там оказались? Не получили диплома?
— Получил. Только у нас в женском монастыре не было военного дела, и меня загребли солдатом.
— Простым солдатом?
— Простым.— Он усмехнулся.— Меня уже брали на радио, в монгольскую редакцию, но нужно было два поручительства. Одно дала мачеха, а второго я не достал. И тут как раз повестка.
— А разве Сеничкины беспартийные?
— Лешка тогда в кандидатах ходил или только перешел, а дядька... Знаете, родственные отношения... Впрочем, демобилизнусь, жалеть не буду. Армия кой над чем задуматься заставляет.
— Жаль,— сказала Инга.— Вам надо учиться. Давно вы в армии?
— Осенью будет четыре года.
— Разве теперь столько служат?
— Служат по двадцать пять лет и больше. Я ведь офицер. Выпил за здоровье саксонского курфюрста.
— Как Ломоносов?
— Точно,— обрадовался он.— Нас, понимаете, загнали на Азовское море. Жара была зверская. Гимнастерки от пота, прямо как сапоги, торчком стояли, пилотки у всех сплошь белые. Мы в них воду из ручья носили, а была она соленая, как в Азовском. Пить жутко хотелось. Это были летние лагеря, стрельбы. А меня, как назло, за близорукость из наводчиков, первых номеров, турнули в телефонисты. Старушечье занятие. Кричал в трубку: «Шамолет пошел на пошадку». Бани не было, в море мылись. Вот у меня и волосы вылезли...— Он тронул макушку.— И тут прибегает в наш окоп лейтенант из штаба дивизии, в легких брезентовых чувяках. Высший шик считался. Не всем носить разрешали. «Кто хочет,— кричит,— учиться на лейтенантов-радиолокационников, подавайте на годичные курсы. Училище под Ленинградом...» Я соображаю — туда ехать через Москву. И прямо в окопе пишу рапорт. Глаза, думаю, у меня минус три. Съезжу туда, а Москве покантуюсь... А под Питером разберутся, что у меня зрение никуда,— и назад отправят. Глядишь, месяц долой. В армии дорога — самое милое дело. Ни подъема тебе, ни нарядов на кухню...
— Плохо в армии? — спросила Инга.
— Тоска. Кто сидел, говорят, похоже на лагерь, только дисциплины больше.
— А как же ваша близорукость?
— Никак. Медицинской комиссии не было. Сказали: раз в солдаты годишься, то и в техники годен. В общем, ношу шкуру...— Он хлопнул себя по серебряному, изрядно потемневшему погону.
— А вы не слишком серьезный, скорее импульсивный...— сказала Инга.— Зато пишете хорошо.
— Какое там хорошо!.. Вы лучше о себе расскажите, а то я вам слова сказать не дал.
— У меня ничего импульсивного, все зауряд-обычно. Поздно уже. Пора.
Курчев расплатился. Вышло за все про все меньше шестидесяти рублей.

За время ресторанного сидения мороз усилился, да и ветер стал резче. Но согревшемуся лейтенанту мороз и ветер пока не мешали. Он даже не опустил ушанки. Впрочем, до Ингиного переулка было рукой подать. Они прошли под железнодорожным мостом мимо похожей на отрезанную половину гигантского костела высотной гостиницы на темную Домниковку. Разговор сам собой оборвался в гардеробе ресторана, и начинать его на холоду было не с руки, тем паче, что скоро все равно прощаться. Но и молчать было неловко, хотя эта неловкость как раз говорила о каких-то пусть еще непрочных, а все-таки наладившихся отношениях. Два человека, ничего не зная друг о друге, случайно столкнулись в чужом доме, разговорились, выпили легкого красного вина и теперь идут по замерзшей спящей Москве — и идти им осталось не больше трехсот шагов.
Курчев даже не пытался понять Ингу. Она явилась в конце сумасшедшего дня, когда от усталости голова ничего не соображала. И что толку спрашивать о муже, если из расспросов ничего не узнаешь. Лучший способ — раскрыть себя в разговоре, тогда, бывает, и собеседник распахнется. Но в ресторане от голода, замороченности, неудачи с рефератом и от армейских неприятностей Борис ошалел, стал выдавать на-гора собственную биографию и проворонил миг встречной исповеди. Он словно забыл, что напротив сидела замужняя женщина, которая — от жалости ли к нему, от тоски ли — съела за компанию бифштекс с луком и выпила за его удачу. Тогда он о ней почти не думал. Теперь же, на холоду, он вдруг очнулся и понял, что сейчас он ее доведет до дому — и все, больше он ее не увидит.
— Инга...— начал он.

— Тише...— прошептала она, схватив его под руку и вжавшись в него плечом, словно пряталась от кого-то.
Они собирались свернуть в проулок, но она потянула его дальше по темной Домниковке.
— Муж, что ли? — не удержался от вопроса Курчев, близоруко вглядываясь в спускающегося по переулку тощего невысокого мужчину в осеннем пальто.
— Нет. Потом, потом...— Смеясь, Инга быстро тащила Курчева дальше по улице. На следующем углу торчало псевдоготического вида здание из красноватого кирпича. «Монастырь,— подумал лейтенант.— Отсюда, наверно, и — Домниковка». Они свернули в проулок. Он тоже поднимался горбом, как предыдущий, по которому спускался тощий мужчина.
— Приятель,— пояснила Инга, когда они отдалились от Домниковки.— Очень милый человек. Но...— и она оборвала фразу.
Караульщик,— хотел сказать Курчев, а вместо этого брякнул:
— Холодно сегодня...
Это могло относиться и к мужчине, который намерзся в переулке, ожидая загулявшую Ингу, и к своим восемнадцати километрам от железнодорожной станции до полка. Инга, видимо, восприняла его слова как проявление мужской солидарности.
— Наверно, что-то передать хотел. Очень начитанный. Обещал помочь с диссертацией.
— Да на вас целый комбинат работает!
— Да. Еще бывший муж консультирует,— засмеялась Инга.
Теперь уже и ежу было ясно, что она свободна от мужа и, по-видимому, от ожидавшего ее в переулке начитанного доходяги. Значит, оставался один Алешка.
— Сюда,— сказала Инга.— Они вошли в проулок с параллельной Домниковке Спасской и остановились у кирпичного дома старой постройки.
— Давайте ваше сокровище и реферат.
— Для начитанных? — спросил Курчев.
— Угу,— кивнула Инга.— И для меня тоже.— Голос у нее все еще был веселый.— Хотите вынесу вам Теккерея? Или вам надо бежать?
— Еще нет.
Она вошла в подъезд. Борис отвернул рукав. До последнего поезда оставалось двадцать четыре минуты. В крайнем случае, голосну на шоссе,— решил, чувствуя, что его разбирает любопытство.— Тебе недолго увлечься,— ругал себя.— Ну, куда с твоим суконным рылом?
В проулке перед подъездом ветер гулял вовсю, но войти в парадное было неловко.
Дверь отворилась. На пороге стояла Инга с двумя толстыми зелеными книгами. Выворотки и башлыка на ней уже не было.
— Простудитесь! — испугался Курчев и попытался втолкнуть ее в подъезд.
— Ничего. Я на минуту,— сказала она.— Не выношу стоять в парадных.— Она снова зябко повела плечами, возможно, теперь уже от холода.— Счастливо. Письмо завтра передам. Вдруг принесу вам удачу? Звоните, когда будете в городе! — махнула рукой и тут же отпустила дверь — та гулко хлопнула.
Курчев поглядел на номер дома. Под цифрой по белому кругу даже при тусклом электричестве легко прочитывалось название проулка — Докучаев.
Ну и ладно,— вздрогнул Борис — в названии ему почудился намек.— Я не навязывался.
Он спустился на Домниковку, быстро дошел до вокзала, купил у телеграфистки два конверта. На первом вывел адрес части, на втором — адрес мачехи.
На обороте лилового телеграфного бланка печатными буквами, чтобы было разборчивей, написал: «Елизавета Никаноровна! Извините за назойливость. Если я Вам понадоблюсь, напишите. Адрес на конверте. Привет Славке и Михал Михалычу.
Еще раз простите. Ваш Борис.
Я был в городе недолго.
18 февраля 1954 г.»,— кинул письмо в высокий деревянный, с аляповатым государственным гербом ящик и вышел на платформу. За тусклыми окнами ночного поезда людей не было видно.
Остановок небось не объявляют,— подумал Борис и залез в первый от паровоза вагон.

Инга поднялась на третий этаж, отпустила на замке собачку и осторожно закрыла дверь. Квартира спала, света в прихожей не было. Инга взяла с сундука реферат и машинку, прошла к себе в комнату. Двоюродная бабка Вава спала или притворялась, что спит, и от скрипа двери не шелохнулась. Инга засветила ночник над своим узким диваном и развязала тесемки конторской папки.
Шрифт у машинки был мелкий, но четкий.
Подтянув колени к подбородку, Инга уютно свернулась на жестком диванчике и стала перечитывать реферат.

Борис Курчев

О НАСМОРКЕ ФУРШТАТСКОГО СОЛДАТА

(Размышления над цитатой из „Войны и мира“)

> Вопрос о том, был или не был у Наполеона насморк, не имеет для истории большего интереса, чем вопрос о насморке последнего фурштатского солдата.
>
> Лев Толстой

Надеясь унизить Наполеона, великий писатель приравнял его к самому последнему обознику. Толстой не прав. Но в данной работе мне не хочется полемизировать с ним в оценке способностей французского императора. Задачи реферата гораздо уже. Я хочу весьма приблизительно, хотя бы пунктиром обозначить границы самой малой человеческой величины и определить место этой личности в многомиллионном людском ряду.

Если человеческое общество вообще можно с чем-то сравнивать, то и позволю себе сравнить его с очень длинной десятичной дробью, где самый главный член общества будет стоять слева от запятой, а самый ничтожный справа от нее, замыкая весь ряд.

С чисто математической точки зрения — это, конечно, несерьезно, так как в практических расчетах последние знаки зачастую отбрасываются и измерения ведутся с известной долей приближения. Но в расчетах человеческих такой метод приемлем.

Безусловно, в донесениях с Бородинского поля потери давались округленно до тысяч или даже до десятков тысяч, то есть счет велся слева направо, причем каждый левый арифметический знак был важнее последующего. Но если на минуту забыть о реляциях, посланных в Петербург или в шатер Наполеона, а представить себе реального обозника с оторванной ядром ногой, то для этого раненого солдата подобный отсчет покажется бесчеловечным. Живое округлять нельзя.

Правда, есть некое, иногда чуть ли не мистическое родство между последним и первым знаком нашей десятичной дроби. К этому родству я еще вернусь, но пока лишь замечу, что это родство явно не равнозначно, то есть привязанность последнего знака дроби к цифре, стоящей перед запятой, гораздо сильней, нежели этой цифры к последнему знаку. Недаром реляции с Бородинского сражения писались весьма округленно, и точное число потерь неизвестно и по нынешний день.

Все мы помним английский детский стишок „Гвоздь и подкова“.

> Не было гвоздя — подкова пропала,
> Не было подковы — лошадь захромала.
> Лошадь захромала — командир убит.
> Командир убит, армия бежит.
> Враг вступает в город, пленных не щадя,
> Оттого что в кузнице не было гвоздя.

Казалось бы, этот стишок восстает против округления потерь и защищает важность и весомость самого последнего знака (в данном случае — гвоздя) в нашей десятичной дроби. Но это защита мнимая. И счет здесь идет опять-таки слева направо, так как стихотворение (конечно, очень наивно и общо) пытается определить полезность малого с точки зрения целого. Но самоценности малого оно не определяет.

Могут возразить, что в стишке речь идет о неодушевленном предмете, то есть о гвозде и не более чем о гвозде. Но как часто в литературе, и не только в литературе, прибегают к сравнениям личности с гвоздем, винтом, болтом, гайкой и прочей скобяной мелочишкой.

Всякое сравнение обедняет, если не обесценивает, сравниваемое. А сравнение живого с неживым и вовсе уничтожает жизнь. Живое самоценно, но никому не придет в голову рассуждать о самоценности колесика или болта. Да и смешно говорить о часовом механизме с точки зрения гайки.

Гайку в механизме можно заменить, дробь округлить, то есть отбросить последние знаки. И такие замены и округления вполне правомерны под углом всеобщей пользы или пользы первого знака дроби. Но вряд ли они правомерны со стороны замененного или округленного (т. е. отброшенного человека).

«Главная идея „Войны и мира“ — идея народная», — писал Лев Николаевич.

Но что такое народ? Чисто арифметически — это совокупность отдельных малых и больших величин — личностей. И опять-таки это нечто общее, большое, целое, которому не страшна потери малого, то есть округление. В понятии „народ“ существуют реальные связи и связи чисто мистические, которые помогают скрыть или, наоборот, выпятить связи реальные.

Когда-то в детстве мне на глаза попалась литография „Николай I хоронит солдата“. Снег. Страшный петербургский холод, и император в кивере то ли идет за гробом, то ли даже несет гроб — сейчас уже не помню. По-видимому, литография эта — не что иное, как попытка мистически передвинуть последний знак нашей десятичной дроби к самой запятой. Мертвых вообще передвигать легче, чем живых. Живой, перенесенный от конца ряда к началу, уже не будет ничтожным знаком. Пирожник Александр Меньшиков, когда стал временщиком, не на шутку кое-кого потеснил. А мертвого передвигать дело плевое, так как мертвый, не теряя своего самого последнего звания и должности, в то же время мистически приближается если не к Богу, то к королю или премьер-министру. В Париже у арки Неизвестного солдата горит Вечный огонь (подведен газ), и президент или глава правительства склоняются перед этой могилой, едва ли не лобызая плиту.

С мертвыми всегда проще. Мужичку Жанну д'Арк, чтобы возвести в святые, пришлось предварительно сжечь. Видимо, существовала реальная опасность, что эта бесписьменная девушка захочет перекроить математический ряд, заменить его первые цифры.

Мнимые, то есть нереальные, мистические связи смазывают настоящую картину взаимоотношений и взаимозависимостей в общем ряду, затемняют механику принуждения и угнетения последующих чисел предыдущими и в то же время цементируют, скрепляют, казалось бы, несоединимое. То есть в конечном счете они-то и создают весь ряд — нашу десятичную дробь.

Всякое сравнение, как я уже писал выше, обесценивает или даже уничтожает сравниваемое. Поэтому я считаю, что нам пора отойти от понятия „ряд“ и далее оперировать названиями — „общество“, или „людская совокупность“, или — для конкретности — „государство“. Но даже эти понятия не могут дать точной и четкой картины человеческих взаимоотношений.

Каждое государство соседствует с другим, и отношения с соседями затемняют, искажают или изменяют механику внутренних отношений. Внешний враг почти всегда — внутренний союзник в деле соединения, сплочения, цементирования дроби, то есть в угнетении наших последних людских рядов предыдущими. Причем самому последнему знаку нашего ряда, нашему фурштатскому солдату, не дают возможности самому разобраться в степени опасности внешней угрозы для него как личности.

Вообще задача каждого императора, полководца, диктатора, предводителя и так далее — превратить нашего обозника в гайку, винт, болт и тому подобную мелочь, уверив его при этом, что он-то и есть основа всего механизма.

Вместо истинного понятия о зависимости, свободе и воле последнего члена общества в него вбиваются красивые фразы о долге, мистической или божественной связи его со всем рядом и самим главой ряда, вбиваются доводы о необходимости жертвы ради всеобщего блага и так далее. Как в армии солдат всегда должен быть занят и ни на минуту не может быть предоставлен себе, своим мыслям и раздумьям, так последний член общества должен быть всегда зависим, всегда готов к самопожертвованию и всегда обуян страхом исключения из ряда.

Но самый последний фурштатский солдат, самый глупый и ничтожный человек — все-таки личность, а не болт, гайка или винт. И пока он жив и крутится в общем механизме страны или общества, он должен иметь какой-то зазор, какой-то отличный от нуля минимум свободы выбора, свободы воли духовной и свободы воли физической.

Итак, в этой работе я хочу попытаться, сколь возможно снимая мистику, определить контуры личности самого ничтожного обозника.

Безусловно, это всего лишь попытка, и попытка со слабыми средствами. Отдельной личности никогда нигде не было, разве что в романе Дефо. Всегда человек связан еще с одним человеком, а тот в свою очередь с третьим, и все трое соединены между собой и еще с бесчисленным множеством других людей. И все-таки, насколько я знаю, основное внимание всегда уделялось именно этим связям или путам. Тех, кто были связаны или спутаны, всегда хотели связать или спутать еще сильней.

Так свободен ли, и если свободен, то насколько, наш фурштатский солдат? Есть ли у него возможность выбора действия или бездействия, возможность неподчинения и протеста, возможность, наконец, выпутаться совсем или хотя бы частично, в то же время не теряя своего последнего места в ряду, то есть оставаясь самым распоследним фурштатцем?

Наш несчастный солдат должен есть, пить, дышать. Должен быть защищен от непогоды, дождя, ветра, холода. Он должен воевать или работать, то есть обеспечивать существование тех, кто сам не воюет и не трудится. Кроме того, наш солдат не бессмертен и поэтому должен быть заменен во времени следующим обозником. Словом, наш солдат должен размножаться, а поэтому обязан иметь жену и как минимум двоих детей, которым тоже надо дышать, есть, пить, во что-то одеваться и т. д.

Следовательно, у нашего солдата кроме государственных или общих обязанностей есть еще немало своих сугубо личных, тем не менее чрезвычайно для него важных. Причем его семейный долг редко может быть заменен мистическим. Высшая общая польза никак не может затушевать или скрыть насущности его семейных задач. И в какой бы опасности ни было отечество, дети должны быть накормлены и босыми в сорокаградусный мороз их из избы не выпустишь. Как бы ни был приучен солдат жертвовать собой ради

родины, он, если не полный кретин, жену свою или малолетних детей не поведет под пули или на минное поле ради не очень ясного ему дальнего всеобщего блага.

Об этом, кстати, замечательно сказано у Толстого. Даже посредственность из посредственностей — Николай Ростов — и тот правильно оценил значение подвига генерала Раевского в Салтановском сражении.

«Офицер с двойными усами, Здражинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здражинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними пошел в атаку... Ростов молча смотрел на него. „Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого него,— думал Ростов,— остальные и не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что что́ им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре?“»

Я прошу извинить мне эту длинную цитату, но уж очень велико было искушение ее привести, хотя она, возможно, и уводит слегка в сторону.

Итак, личные обязанности нашего фурштатского солдата сталкиваются с его обязанностями общими, гражданскими и зачастую мнимыми. В данной работе фурштатец рассматривается мною, естественно, не столько как солдат, обозник, сколько как *последний* член некоей людской совокупности. Возможно, что некоторые военные сравнения затемняют смысл данного реферата, за что прошу прощения у читающего.

Нашего обозника приучили жертвовать собой, но жертвовать детьми не приучили. Вот как раз-то в его отношении к детям, к семье и пробивается его естественная, то есть человеческая сущность. Привязанность к детям — это, видимо, тот личный плацдарм, который еще не полностью захвачен государством или обществом, то есть — это то реальное, что еще не побеждено и не уничтожено мнимым, мистическим, религиозным.

По-видимому, здесь мы нащупываем первое противоречие. Солдат-обозник, то есть наш последний горемыка, нужен обществу (государству), вернее, его правителям как несомненно реальная величина, но они опутывают его помимо реальных, физических пут еще путами и цепями мнимыми — фантастическими, религиозно-патриотическими и прочими.

Желая выжать из него побольше и заплатить ему поменьше, они превозносят нашего обозника до небес, но не его, конкретного фурштатского Жана, Пьера, Франсуа, а его как жана, пьера, франсуа с маленькой буквы и в то же время как нацию с буквы большой.

Итак, личная свобода нашего фурштатца ограничена не только его реальной слабостью, подчиненностью вышестоящему капралу, незащищенностью перед миром и обществом, а еще и мистическим нереальным страхом несуществующей угрозы, страхом перед остракизмом, отлученностью его, реального, от нереального целого (государства, сообщества и т. п.).

Но так ли страшно оказаться отлученным?

Страшно. Но опять-таки можно определить четкие пределы этого страха, то есть беспредельность привести к чему-то более или менее определенному.

Наш фурштатец обладает самым минимумом прав, самым минимумом благ, и в то же время на нем держится все общество. Во время войны он к тому же находится в непосредственной близости от смерти. Так страшно ли фурштатцу исключение из ряда?

Да, страшно. Страшно, потому что фурштатец связан со своей семьей, и в случае его выхода из ряда (сообщества, группы и т. п.) — возмездие неминуемо и если не настигнет самого обозника, то уж во всяком случае не обойдет его семью. Но страх за семью — страх реальный, а всякое реальное имеет свои границы как в пространстве, так и во времени. Не потому ли так часты среди фурштатцев случаи дезертирства (или эмиграции, бегства в мирное время). Что такое дезертирство или бегство, как не попытка выбора, как не сравнение двух страхов, двух опасностей? Нисколько не оправдывая беглецов и дезертиров, я в данной работе просто рассматриваю самую возможность бегства как такового.

„Пролетариату нечего терять“,— писал Маркс. Нашему фурштатцу — тоже. Если поезд остановился или повернул не в ту сторону, то спрыгнуть легче всего безбилетному пассажиру. Он ничего не теряет и может найти себе другой поезд, который движется в нужном направлении. Человек, заплативший за билет, да еще первого класса (купейный или спальный), во всяком случае будет надеяться, что поезд наконец двинется и повернет на нужный путь, как было обещано. Обознику никто ничего не обещал. Вернее, обещали, но что-то очень неконкретное, вечную славу например. И поэтому покинуть состав ему легче, чем пассажиру спального вагона.

Фурштатец почти всегда на нуле, и поэтому ему проще сызнова начинать с нуля.

Но стоит ли брать крайние формы протеста, как то: дезертирство, бегство и т. п.?

Ведь кроме этих крайностей есть еще формы промежуточные, как то: нерадивость, леность, разболтанность, филонство (т. е. итальянская забастовка). Человека убежавшего

легко подвергнуть остракизму, легко наказать его или его семью. Человека нерадивого наказать труднее. Как вызвать сочувствие у последних знаков ряда, наказывая нерадивого соседа, если каждый видит, что сам наказыватель ни черта не делает, то есть тоже нерадив?!

Вполне допускаю, что мое соображение ненаучно, но мне кажется, что все исторические формации лопались не вследствие дезертирства или бегства низших рядов, а как раз из-за их ничегонеделанья, из-за саботажа наших фурштатцев. Равнодушие к своим общественным обязанностям, то есть к производству, приводило к гибели всей формации, а точнее — к перестановке знаков во всем нашем ряду и к модернизации реальных и мистических пут и цепей.

Итак, мы замечаем, что, как бы ни был угнетен наш обозник, в известном смысле он даже более свободен, чем знак, стоящий ближе к запятой. Отказаться что-либо делать для других куда проще, чем отказаться что-либо делать для себя. Поэтому в каждой новой формации должна была увеличиваться доля получаемого обозником от его труда продукта. То есть фурштатец „богател“ и несколько „освобождался“, но поскольку его богатство и свобода увеличивались не в пространстве, а во времени, он их ощутить не мог. Сравнивать ему было не с чем. Ведь он по-прежнему оставался распоследним знаком в нашем ряду.

Правда, следует оговорить, что богатство не только относительно. Всякое улучшение условий бытия чревато разного рода последствиями. Французы, которые в прошлом веке были отличными солдатами, в нашем столетии оказались ни на что не годны. Впрочем, это предвидел еще Толстой в своей великой эпопее.

„Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до $^{1}/_{3}$ части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам... Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой-нибудь квартал Москвы не осталось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам; в погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией; на дворах такие же люди отпирали и отбивали ворота сараев и конюшен; в кухнях раскладывали огни, с засученными рукавами пекли, месили и варили, пугали, смешили, ласкали женщин и детей. И этих людей везде — и по лавкам, и по домам — было много; но войска уже не было“».

На этой цитате Инга оборвала чтение, взглянула на часы и поняла, что устала и хочет спать. Но на душе у нее было все еще легко, и она вдруг, неожиданно для себя, встала на голову и перевернулась на узком, еще школьных времен диванчике.

Тише, Ваву разбудишь! — одернула себя, тихо разделась, накинула халат и пошла в ванную. Стоя под горячим душем, она с улыбкой вспоминала нескладного лейтенанта и худого унылого человека, который одиноко спускался по Докучаеву переулку.

О бывшем муже и об Алеше Сеничкине, с которым у нее назревал роман, думать ей не хотелось.

Продолжение следует

Роман Солнцев

1978 ГОД

Ах, где я был позавчера?
В зеленом дачном Подмосковье.
На хлебе — красная икра
(иль комары вздулись крови?).
Вино, как сказочный кристалл,
блестело мне из стеклотары.
Таких и женщин не видал
и не курил такой сигары...
Среди икон, среди лаптей,
у самовара тихим гостем
средь рослых, в потолок, детей
сидел я, ниже многих ростом...
Здесь говорили про тоску,
про Третье авеню в Нью-Йорке,
про допотопную Москву,
про милой Франции пригорки...
Здесь знали всех — и за едой
всех походя критиковали:
Уланову... наш хлеб златой...
Твардовского с его женой...
И пудель, средь конфет, седой
лежал и плакал на рояле.
Потом полезли на чердак,
где колокол у них... звонили.
По очереди, просто так.
Трезвонили и слезы лили.
Казалось им, что в этот час
они мессиры и мессии,
спасают вас, спасают нас,
спасают бедную Россию...

* * *

«Тяжела ты, шапка Мономаха!..» —
слышу среди всяческой лузги.
Ну, а Мономахова рубаха?
Да и, прямо скажем, сапоги?
Ты попробуй, посиди, поцарствуй...
Что там шапка? Если в дверь скулят,
подними попробуй синий, царский,
двухпудовый, исподлобный взгляд!
Иль, под звезды выскочив стальные,
в лай собак, без шубы, истомясь,
ты попробуй, подними Россию —
хмель опутал и налипла грязь...

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Чтоб власть не взяли люди поумнее,
мы выбрали из сереньких вождя.
Нам льстило поначалу, как, робея,
он с нами говорил... Хотя, хотя
потом, и сами не заметив, стали
все угождать угрюмцу у рули...
И вот поднялся маленький наш сталин
средь маленького местного кремля.
И вот уж мы его вниманья жаждем,
и милостей замедленных его.
И вот уж мы следим вокруг за каждым:
как, любит ли владыку своего.
И странно, те коротенькие фразы,
что вызывали смех позавчера,
сегодня потрясают, как алмазы,
их учит, запинаясь, детвора.
Он выше ростом стал, огрузло тело,
взгляд — как у льва, вздымает вверх
кулак...
Вдруг кто-то буркнул тихо: «Надоело!..»
Все оглянулись — кто там смеет?
Как?!
«Нет, правда, надоело!..— повторяли
два-три безумца.— Это ж истукан!..»
Он рыкнул, но уверен был едва ли,
что испугает... И — не испугал!
Убрали! Он теперь пойти боится
за хлебом в магазин — ведь он слетел.
А не вчера ль еще, как говорится,
вещал про грандиозность наших дел.
Таблетки пьет. Он постарел, конечно.
И жаль его. Но как тот страх забыть,
когда нам показалось — будет вечно
такая жизнь... иной не может быть...

Роман Харисович Солнцев (р. 1939 г.) — советский поэт, прозаик, драматург. Первая книга стихов вышла в свет в 1961 году. За ней последовали многие другие, а также книги прозы и пьесы. Народный депутат СССР. Живет в Красноярске.

* * *

Ах, уйти бы за поля, леса и горы,
отдышаться от тяжелого испуга!
Мы, свидетели взаимного позора,
мы теперь возненавидели друг друга.
И отныне смотрим только лишь на запад,
и читаем том запретный про аресты,
и слетают с дальних звезд мильоны шапок,
что бросали мы под громкие оркестры!..

* * *

В Сибири ненастное лето.
В июле и дождь, и ветра.
Картошка не выдала цвета.
Трава поднялась, как гора.
А в небе лишь мрака движенье,
рожденное зябкой воды...
А если и вспыхнет свеченье —
то свет самолетной звезды...

Александр Солженицын

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

Роман

45

Только утром испытал Саша Ленартович это дико-радостное, скотски-радостное ощущение *победы* — победы над кем?.. победы — зачем? Он долго не простил бы себе этого животного чувства, если б само оно не улетучилось в час-другой.

Что дала их полку эта победа — взятые орудия, и колонна пленных в полторы тысячи, которую теперь надо таскать за полком? Ничего. И дать не могла. Только продлила мучения, увеличила жертвы. От этой победы не прекратились бои и нисколько не легче прошёл день, напротив, тяжелее: целый день теперь с яростью била по ним немецкая артиллерия, немцы не тратили людей на контратаки, а били и били из орудий. И насколько ж они крупней калибрами, богаче снарядами! — целый день просидели утренние победители живыми мишенями, не раз ожидая себе верной смерти, и под обстрелом глубже вкапывались, и бросали выкопанное, оттягивались, а раненые отползали, уходили, их уносили.

И всё время обстрел был не редкий, а порой учащался в шквальные налёты. Опустошённый, умственно усталый, вялый, сам себе чужой, Саша отчаивался дожить до вечера. Скрючась в окопчике неполной глубины, он сидел, презирая себя как пушечное мясо, презирая в себе — пушечное мясо. Что ж можно было ждать от других, неразвитых и неграмотных, если вот он, активно-мыслящий человек, ничего не мог придумать, противопоставить, а сидел в мелкой ямке, для безопасности загнав голову меж колен, и весь день ожидал только — шмякнет или не шмякнет, пассивно ожидал, и даже уже без воли к жизни. Он пытался собирать свои мысли на чём-нибудь умном, интересном,— но ничто не входило в голову, а пустая костяная коробка свисала на шее и ждала: попадут в неё или не попадут.

Да при всеобщей воинской повинности никакой другой и не может быть война, вот только такой бессмысленной: людей гонят насильно, не спрашивая с них ненависти, гонят против неизвестных им, подобных же несчастных. Такая война не имеет оправданий. Другое дело — война добровольная, война против твоих действительных извечных социальных врагов: ты сам этих врагов узнал, ты сам их выбрал, ты — хочешь их уничтожить, потому тебе не страшно, что могут убить и тебя.

Если б десятую часть этих потерь, десятую часть этого терпения да половину этих снарядов потратить бы на революцию — какую прекрасную можно было бы устроить жизнь!

Один такой день пережить под обстрелом — постареешь. Вот этот один день пережить последний — и что-то надо менять. Твёрдо понял Саша: менять! Сегодня же ночью, как стихнет обстрел.

Но как — менять? Не в силах Саши было остановить всю войну. Значит, остановить её для самого себя. А для себя — как? Разумнее всего было — эмигрировать, упущенная блаженная возможность — эмигрировать, как многие друзья. Там, в Швейцарии, во Франции, у них, не взирая на войну, конечно, продолжается свободная партийная жизнь, обмен идеями, живая работа. Но отсюда, из прусских окопчиков, *эмигрировать* можно только через линию фронта. То есть сдаться в плен.

Можно! Сдаться в плен и разумно и можно: сохраняется главное — твоя жизнь, твои знания, общественные навыки. Потом ты возвратишь их трудящимся — и предосудительного ничего нет. Сдаться в плен — можно, но трудно. Под обстрелом открыто — не пойдёшь. Ночью — заблудишься, запорешься, убьют. Сдаться в плен — это нужно счастливое сильное перемешивание войск. А — сдавшись? Где уверенность, что немцы поверят, увидят в тебе социалиста? Какой-нибудь кайзеровский офицер — будет много разбираться? Да вообще — нужны им социалисты? Они и своих воевать гонят. В Швейцарию не отпустят, пошлют в лагерь военнопленных. Конечно, всё-таки спасение жизни. Но как перейти?..

Эти логические звенья трудно давались голове, словно распухшей. День — кончится когда-нибудь? Обстрел — кончится когда-нибудь? Откуда у немцев столько орудий? столько снарядов? Безмозглые наши дураки — как же смели войну начинать при таком неравенстве?

Но солнце спасительно опускалось, опускалось за немецкие спины — и кончился, всё-таки, день 15 августа. И обстрел стих. Не весь, ещё пулемёты раздирающе стучали долго в темноте. Но — пришла ночь. И Саша был жив.

Постепенная ночная свежесть. Подъехали кухни, кормили. Много было разборки по взводу — строевая записка, имущество убитых, всё это Саша поручил унтеру. Все постепенно распрямлялись, разминались, голоса громчели. Перебирали событья от ночи до ночи, кто ранен и кто убит, как всё было,— и вот уже смех раздался там и здесь — неисправимый народ! Не спешили спать — дышали, жили наступившей ночью. Навещали друг друга офицеры.

Час прошёл, два прошло — а Саша ничего не предпринимал, поужинал и в каком-то окостенении сидел просто так на чурбаке под разнесенным забором. Трудно было собраться, начать. А надо было просто — уйти. Опасно, но не опасней, чем на рассвете бежали в атаку.

Сила слухов. Не было передано никакого распоряжения, извещения, полк стоял в темноте, но откуда-то и по солдатам, и по офицерам просочилось: начали отступать...— мы отступаем...— Кременчугскому полку уже приказали...— Муромский и Нижегородский тоже готовятся...— генерал Мартос уехал...— фон-Торклуса нигде не могут найти...— скоро и нам...— скоро и нам...

Это ощущение разливается сверху: начальники бегут! нет их! Откуда становится известно, что их нет? Может быть убиты, в плен попали? Нет, слух как зараза: бегут начальники! Скоро и мы.

И сердце Саши заколотилось: верный момент! именно теперь! Нет, не ждать, пока прикажут полку отходить: и отведя, положат его под такой же обстрел, только деревней дальше. Но — уходить самому. Чем он хуже фон-Торклуса? Началась общая путаница, и оправдаться будет легко.

Взять кого-нибудь с собой — не приходило в голову. Вестовым Ленартович почти не пользовался. А вообще солдаты во взводе были замкнутые, запуганные, идейного пути к ним не было. Даже самых развязных спросить под вид шутки — а не сковырнуть ли нам начальство? — губы сожмут, молчат.

Не было у Ленартовича карты. Сейчас он пошёл к штабс-капитану с каким-то предлогом, и в доме при свече смотрел, запоминал. Улица Витмансдорфа переходила в дорогу на восток. Версты три... перейдёшь железную... ещё две... свернуть на церковь... дальше развилок трёх дорог... можно ещё и к передовым позициям назад угодить... а там — речка... там деревня Орлау... Что-то названье знакомое.

Ленартович ловко всё это высмотрел и ушёл.

А больше у него дел не было: во взводе всё знал унтер. Самое дорогое —

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1—6.

записная книжка с мыслями, она в кармане. Глупая палка — шашка, хоть сейчас её выкинуть по дороге. И револьвер, из которого Саша стрелял неважно.

Совсем уже стало тихо, почти мирно: после пулемётов одиночные ружейные выстрелы не угнетали, а успокаивали. Темно, а дорога жила: скрипели колёса, цокали подковы, хлопали кнуты, на лошадей ругались. Кто-то времени не терял, уходил.

И не возвращаясь ко взводу, шагом освобождённым, Ленартович зашагал туда же. Не связанный ни строем, ни колёсами, он легко обгонял поток. На случай задержки придумывал отговорки, почему идёт.

Но никто не проверял дорожного движения, все лились, куда им надо было. Ползли тяжёлые санитарные фургоны. Грохотали зарядные ящики, призванивая цепями постромок. Сперва в один ряд, а там вливались сбоку, и шло уже дальше в два ряда, занимая всю дорогу. При встречных — матерились, не пропускали, теснились. А вереницею двигались мирно, ездовые шли рядом в разговорах, попыхивали цыгарочные огоньки.

Никто не проверял, и радостные ноги несли прапорщика дальше. Ещё было время вернуться, ещё б отлучки его не заметили, но он верно решил, что не имеет права бессмысленно так погибать за чужое. Он твёрдо отталкивался от твёрдой дороги — и укреплялся в достоинстве не быть пушечным мясом.

Но не так просто оказалось на дороге, как по карте, и это мешало рассвободиться мыслям. Подъёмы, спуски, мосты, дамба — этого всего он не заметил, когда смотрел. Церковь он нашёл, но дальше опять шли дома, а Саша забыл, как скоро главный развилок. Какой-то развилок нашёлся, но вела дальше обсаженная дорога, а он ждал полевую.

Никого спрашивать не хотелось. И совсем темно. И вот когда утомленье разобрало, сказались черезсильные сутки. Саша отошёл, в копну лёг. Пить хотелось очень, но фляжки не было, и искать воду негде.

Он проснулся на рассвете — пробрало холодком и в соломе. Обобрался и возвращался к дороге, как увидел на ней казаков, проходящих шагом, малыми отрядами, через перерывы,— и вернулся в копну. Это было сильней разума, как врождено. Каждый казак ощущался с детства инстинктивным врагом, их строй — сомкнутой тупой силой. И даже наряженный в офицеры (а впрочем, форма хорошо к нему пришлась, говорили), всё равно Саша чувствовал себя перед казаками студентом.

Миновали казаки, покатил длинный обоз, и Саша выходил на дорогу. Наткнулся на сваленную кучу, это оказался хлеб, армейский печёный хлеб — уже чёрствый и даже заплесневелый. Наступали без хлеба, а вот — выкинут хлеб! — кто-то повозку освобождал для другого.

А есть хотелось! Но странно бы офицеру нести буханку под мышкой. Он шашкою разрезал одну, рассовал, пожевал — и пошёл.

Взошло солнце. Всё так же никто никого не задерживал, не спрашивал. А во всех, кто ехал и шёл, было новое, сразу даже не назвать: будто при оружии, при амуниции, по делу или в составе части, будто ещё не бегство, ещё подчинённая своим командирам армия, а уже не та: не так оборачивались на офицеров и на лицах появилось выраженье *своей* озабоченности, не общего дела.

Отлично! Тем безопаснее было Саше.

Дорога оказалась верная, на Орлау, и спускалась к мельничной плотине, но тут из лесу вливалась и другая, и по двум дорогам набралось столько пушек, ящиков, телег, конных и пеших, что не обогнать было по краю и дождаться очереди не просто. Павших заморенных лошадей подстреливали, выпрягали. Ближе к плотине тесней стояли, зацепливались повозки. Один зарядный ящик с раскату врезался дышлом в спину передней запряжке и убил лошадь. Перепрягали, кричали, чуть не дрались. Ожесточались солдаты и офицеры, маленький штабс-капитан, перевязанный по лбу, свирепо кричал высокому командиру батареи:

— Штыками вас задержу, а не пропущу!

а командир батареи намахивал на него длинной рукой:

— Колёсами буду вашу пехоту давить!

Каждый старался пропускать своих, а чужих никого. Но тут провалились две доски на плотине — и стали скликать на ремонт. Из солдат выдвинулись и плотники-охотники. Сверху видно было, как там столпились офицеры и каждый

показывал и учил, как надо делать. Но старший плотник — дородный старик с богатыми седыми усами и в рубахе навыпуск без пояса, отстранял без разбору хоть офицеров, хоть солдат, и показывал и делал по-своему.

А солнце уже высоко стало, накаляло эту тесноту. И в речке — неширокой, а глубиной по грудь, стали лошадей поить и купаться до полного взмучиванья — сперва солдаты, там и офицеры.

А по ту сторону, на откосе и на высоте, как раз и было место знаменитого боя, здесь-то и положили первые несколько тысяч, набившие найденбургские госпитали,— и тем бессмысленнее показывала себя война: для того и клались тысячи, чтобы немного потеснить немцев на север; из-за того теперь скоплялись, голодные, злые, хлестали друг другу лошадей и лезли к морде, что немцы по тому же месту теснили нас на юг.

Но никакие беды, никакая кровь не может разбудить русского терпения. Из тысяч полутора, стеснившихся перед плотиной, никто этого не понимал, никому нельзя было объяснить.

Уже не от одного слышал Ленартович, что Найденбург этой ночью сдан. Куда ж тогда лился весь поток и на что сам Ленартович надеялся? Он плохо понимал. Он посмотрел дорогу только до Орлау, а дальше не представлял.

Наверху, в стороне, ожидая очереди на переправу, стояли лазаретные линейки, в одной из них лежал раненый приветливый подполковник. Разговорились, подполковник достал карту, развернули поверх его тела и смотрели вместе. Что-то плёл ему Саша, зачем он послан и куда, а сам смекал: большой лесной язык... если его пересечь по просеке... деревня Грюнфлис в сторону Найденбурга... Отбиться в лесу и дождаться немцев? Но теперь уже — жалко в плен, в этом хаосе можно и чистеньким выйти. Да выйти ли? Огромный лес зеленел на пути отступающей армии — а уж за ним, наверно, пулемёты. «О к р у ж а ю т» — откуда-то все вывели и знали.

Раздеваться и вброд по топкому дну Саша не захотел, много времени потерял на плотине.

Близ Орлау на поле беспорядочно скоплялись части и чего-то ждали. На огородах копали, что придётся,— репу, морковку, ели. Через это скопище и приходилось Саше идти в намеченный лес. Но теперь вполне бесстрашно он пробирался, зная, что уж в этом расстройстве и перепутанности никто его не спросит, не задержит.

И ошибся. Хотя это было скопище, однако его как на параде объезжали, здоровались, что-то говорили. И Ленартович узнал командующего армией (он близко видел его в Найденбурге).

Да, это был генерал Самсонов! На крупном коне и крупный сам, как олеографический картинный богатырь, он медленно объезжал цыганоподобный табор, словно не замечая его позорного отличия от парадного строя. Никто не подавал ему «смирно», никому он не разрешал «вольно», иногда брал руку к козырьку, а то не по-военному, по-человечески снимал фуражку и прощался этим движением. Он был задумчив, рассеян, не влёк при себе главной силы командира — страха.

Он близко уже наезжал, а прапорщик Ленартович не поспешил посторониться, он глаз не мог оторвать от этого зрелища, радостных глаз! А-а-а, вот как с вами надо! — и какие ж вы сразу становитесь добренькие. А-а-а, вот когда вы смякаете, иконостасные,— когда вас трахнут хорошо по лбу! По-до-ждите, подождите, ещё получите!

Так он смотрел с зачарованной ненавистью — а командующий ехал прямо на него. И прямо как будто его, только что не назвав по чину, но прапорщику в глаза своими коровьими, покорными, отсутственными глядя, отечески спросил:

— А здесь? А вы?

Вот так сплошал! — и думать некогда, и уйти нельзя, все соседи ждут от него, а — что сказать? Соврать? — тоже нельзя... Так чем выпалительней, тем лучше.

— 29-го Черниговского, ваше высокопревосходительство! — и какое-то там движенье рукой как рыбьим плавником, вместо чести. (Когда-нибудь Веронике и друзьям петербургским рассказывать, если уцелеть!)

Не удивился Самсонов. Нисколько не задумался: откуда ж тут Черниговский

полк, его быть не должно. Нет, улыбнулся, тёплый вспоминающий свет прошёл по его лицу:

— А-а, славные черниговцы!..

(Ну, влип! Вот начнёт расспрашивать?)

— ...Вам, черниговцы, особенное спасибо...

И кивнул — отпускающе. Понимающе. Благодарно.

И поехал шагом дальше.

Конь его тоже как будто закивался, глубоко опустил шею.

И в широкую спину ещё больше был похож командующий на богатыря из сказки, понуро-печального перед раздорожьем: «вправо пойдёшь... влево пойдёшь...»

46

Как бы игрой нарочитой был загнан 13-й корпус, чтобы наинеудобнее ему отступать. Так легли озёра, чтобы не проскочить корпусу по единственному пути спасения. Ему надо было уходить косо на юго-восток — но сразу же навстречу семивёрстное озеро Плауцигер, два дальних плёса как две останавливающих руки раскинув, голубой глубиной зло мерцало ему: «не выпущу!». За кончиком левой руки зыбилась двухсаженная плотина Шлага-М — и тут же цепочкою малых озёр и снова раскинутыми шестивёрстными крылами озера Маранзен закрывала дорогу корпусу враждебная прусская вода. Дорого отдав за Шлагу-М и прорвавшись всё-таки на юго-восток, имел корпус опять единственную лазейку у Шведриха — мост и дамбу, и должен был узкой ниткой проскочить через неё. А проскочивши, попадал не на простор своему искосному движению, но оказывался загнан в северо-южный коридор между двумя водными заградами: позади — цепью пройденных озёр, впереди — десятивёрстным озером Ланскер и ожерельем мелких, соединённых заболоченною рекою Алле. А и эту, вторую, заграду проскочив, упирался корпус в третьи водные объятия — снова в шесть вёрст запретно раскинутых крыл разветвлённого хвостатого озера Омулёв. И — никак уже не мог идти, куда ему надо, а должен был покорно ссовываться на юг, на столкновенье с соседним 15-м корпусом, и далее, где дороги уже будут пересечены неприятелем. И даже обогнув озеро Омулёв, попадал он в бескрайнем грюнфлисском лесу так, что единственная прямая мощёная дорога Грюнфлис-Кальтенборн шла ему точно поперёк, а пробираться оставалось извилистыми лесными.

Именно этому злосчастному 13-му, уж и так отшагавшему более всех, досталось от Алленштейна за 40 часов сделать 70 вёрст, без куска сухаря и с лошадьми некормленными, нераспрягаемыми.

Но разве только лошадью и не понимается особенность этого вида боя — бегства. Чтобы слать низших в наступление, приходится высшим искать лозунги, доводы, выдвигать награды и угрозы, а то и самим непременно идти впереди. Задача же бегства понимается мгновенно и непротиворечиво сверху донизу всеми, и нижний чин проникается ею несопротивительней корпусного командира. Всем порывом готовно отзывается на неё разбуженный, больной, раненый, тупоумный,— и только тот безучастен, кого уже нельзя добудиться. В ночь ли, в ненастье, единая эта идея ухватывается всеми, и все готовы на жертвы, не прося наград.

Ещё прошлою ночью 13-й не мог идти на выручку 15-му, потому что был утомлён и снабженье отстало. А в следующую — никто не ворчал об отставших кухнях, не спрашивал о днёвках, но со скоростью необычайной из чужих лесов и озёрных проходов убирал своё распущенное тело корпус.

Кроме только арьергардов.

В русской армии Четырнадцатого года арьергарды — не спасали себя сдачею. Арьергарды — умирали.

В хохенштейнской котловине Каширский полк и два батальона отставшего Невского были вкруговую атакованы подошедшим корпусом фон-Бёлова, а две русских батарейки заглохли под шестнадцатью тяжёлыми немецкими орудиями и семью десятками полевых. Но и без артиллерии бились каширцы до двух часов дня, ещё контратаковав вокзал, и ещё до вечера держались одиночки в зданиях.

Убитый при знамени полковник Каховской выиграл время, как было ему приказано.

В межозёрном суженьи у Шведриха окопался наиболее пока уцелевший Софийский полк и тут кровопролитно бился до трёх часов дня, так искупив и свою вину двухлетней давности: с 1912 года лежало на нём пятно и не был он выводим на парады за то, что в столетье Бородина, на бородинском поле, один солдат-софиец бросился с челобитной к царю. Теперь но три роты его сводились в одну, и то не набиралось сотни. Но отстали и преследователи.

Изо всех опасных дальних мест убрался 13-й корпус.

Однако не помогла ему доблесть его арьергардов: он и дальше не мог растечься широким фронтом, а шло уже к концу 16-е августа. За ночь надо было ему проскользнуть за спиной 15-го корпуса, а тот сам теснился, сбивался на те же дороги. Да и корпус уже не был корпусом, редкий полк — полком, а то — в нескольких ротах. Правда, ещё сохранялась сотня орудий и не отбилась парковая бригада со снарядами, а близ полудня представился генералу Клюеву — 40-й Донской полк, целёхонький, бодрый, только что из России, в отличном виде,— та самая корпусная конница, которой не хватало всё сражение...

Генерал Клюев не обрадовался этой ещё новой обузе и не придумал, что с Донским полком делать. Ещё меньше обрадовался он привезенному Пестичем приказу принять командование всеми тремя корпусами. Вот это ловкачи! — они все бежали, а Клюева оставили погибать в мешке. И где эти чужие корпуса искать, когда своего не досчитаешься?

Одна была выгода: до сих пор Клюев считал, что Мартосу отвели на отход более удобные западные пути, а ему — лесные, глухие. Теперь же он мог перераспорядиться.

И перед вечером, от озера Омулёв, не разведав дорог, ни — кто на них, свернул всем корпусом не налево, как ему было велено, а направо. И врезался в тылы 15-го корпуса.

А 15-й за предыдущие дни так изнурил противника, что обеспечил теперь себе в меру беспрепятственный отход: только артиллерия постреливала ему вослед, и занимали немцы лишь те места, которые корпус уже покинул. Но отступал он уже не как целое — без штаба, без многих старших командиров, убитых или исчезнувших, и отступал на полдня раньше, чем требовал «скользящий» план, тем самым разрушая его: боевые участки, заграждающие с запада, таяли. До темноты держали «щит» только остатки 23-го корпуса, неведомо какой ещё кровью, а 15-й, из-за перехвата немцами дорог под Найденбургом, всё более втягивался в необъятный Грюнфлисский лес, чёрно-мрачный задолго до сумерок.

Тут-то и столкнулись корпуса под прямым углом на роковом перекрестке в непроглядной уже черноте лесной ночи; тут, где днём четыре телеги разъехаться не могли, должны были ночью пройти с к в о з ь друг друга два корпуса! Если до сего часа ещё как-нибудь существовала Вторая русская армия — с этого перекрестка она перестала существовать.

Что́ там выкрикано было, взахлёб и матерно, что за поводья, за дышла схвачено, отведено, по лошадиной морде бито, в сторону отжато, в хруст веток вломлено — только те знают, кто сам на фронте попадал. Во главе колонн не оказалось, конечно, старших командиров, а те, младшие, что были, не сразу друг до друга докричались, опознались и придумали: стать на перекрестке, как врытые; солдата каждого, за плечи схватив, спрашивать, из какой он части; и весь 13-й корпус направлять на восток, на Кальтенборн; а 15-й и 23-й — на юг. Так руками перещупать оба корпуса и пустить их не вперекрест, а вразводку.

Показался адовой чёрной щелью тот лесной перекресток, где днями светило мирное солнце через мирные сосны. Горло своё на перекрестке довольно поупражняв, а всё не прихрипнув, замолчал Чернега, только пересчитавши, что все его колёса повернули,— и не узнал, что на этом-то перекрестке пять дней назад их уже подталкивала пехтура услужливого веснушчатого подпоручика Харитонова. И в той заглотной чёрной дороге, какою они потянулись дальше, тоже не признавалась прежняя дневная, прохладная в зной, по которой они уже тягались раз из Омулефоффена и возвращались в него же.

Разведенные двумя дорогами массы потекли по лесу наудачу, наощупь, то и дело останавливаясь. Брели солдаты, двое суток не евшие; без воды в баклажках, а во рту пересохло, хоть грязь сосать; без веры уже в своих генералов и в то, что ро́зум есть, как их гоняют; и уже скрывая свои номера рот, не давая себя разбирать; и просто отваливаясь в сторону, да на земле засыпая.

И только конница, чья подвижность и скорость не приходилась к месту все эти дни, теперь использовала свою способность. Потянулся конный к конному, а пуще — донец к донцу: кто видел, узнал, успел — собирались к одной конной колонне. Дошла до них та непоправимая сдвижка частей и сдвижка в умах, после которой уже не восстанавливается армия. И конница пошла туда, где, как понимала, ещё есть выход: у самого дальнего завяза мешка. Роковой перекресток, где всё смешалось, обошли они прежде, засветло. Деревни, где на рассвете и завтра достанется биться российской пехоте, прошли они, опережая немцев. И двадцативёрстную лесную дорогу до Вилленберга, какая завтра будет пехоте бесконечней пути на небо, бодро отмахали кони. По пути прихватили донцы легендарного фон-Торклуса, кого своя дивизия найти не могла, а драгуны — армейский штаб. Вилленберг уже был у немцев, ещё раз свернули, прорвали в лесу, поставили у Хоржеле арьергардную переправу, а сами уходили дальше.

Не так-то мало: сюда, батареи! сюда, парки! сюда, пехота! Пробивайтесь, мы ждём, мы держим.

Да что-то ребятушки не шли, не катили. Только завтра, уже при свете, они будут выбираться из лесу — и немцы коварно будут выпускать их на километр на голое пространство — а потом повально расстреливать из пулемётов и пушек.

К вечеру 16-го уже не существовала Вторая армия, а — перемешанная неуправляемая толпа. Утром 16-го донские казаки были верной частью общероссийского воинства, к вечеру самостийно смекнули они, что своя донская рубашка к телу ближе.

С Россией-матушкой пропадёшь к этой самой матушке!.. У донцов — своя судьба, айда пробиваться, казачки!

И не в упрёк им, ибо не с них началось.

Так в разряде школьной магнитной катушки предвещательно умеет явить себя несравненная небесная гроза.

* * *

ЦАРЬ И НАРОД — ВСЁ В ЗЕМЛЮ ПОЙДЁТ

* * *

47

Ощущение чистоты мягко вливалось в отдыхающее тело. Как он заснул — он не заметил, и как проснулся — не заметил, и даже он ещё не проснулся. Он только имел силы разможить веки и увидеть близко перед глазами эту травку — такую нетронутую, ровную, шёлковую, от которой и вливалась в тело чистота. Может быть ощутил он себя на боку, может ещё угол поляны видел, но не доясна, а травка заняла всё его размягчённое ненаправленное внимание.

Травка его детства. Такая точно, как сеянная, ну может с подмесью калачиков, росла в их поместном запустелом дворе в Застружьи, и такая же — по широкой улице деревни: густая, сильная, а короткая, не для косы. Дворов было в Застружьи мало, скот на улицу не выгоняли, и так редко по ней ездили, что ни дороги, ни даже вдавленных травяных колей не оставалось, а сплошная мурава, по которой они с деревенскими ребятишками катались.

Он силу нашёл только пальцами нижней руки пошевелить, потрогать травку. Да, такая.

А больше — не было сил. Спасительно, охранительно не было сил даже вспомнить: которое число, какое место, отчего он здесь, почему так покойно? А вот от муравы легко-легко скользила память.

К часовне. Каменная часовенка на той улице, за особым заборцем. Даже не часовенка, потому что и один человек, войдя в неё, не мог бы распрямиться. Как бы — деревенский алтарёк под крышей.

К молебнам. Их служили и перед часовней и просто в поле, когда за пять вёрст из приходской церкви к ним приходил крестный ход в храмовый праздник Успения, по костромскому лету может быть и выбранный так, чтобы кончать собой уборку хлеба.

Успеньин день — когда? Это — было, будет?.. Не вспоминалось. Предупредительно загорожено было всё, что вело к приближению, к пробуждению.

Седовласый почтенный батюшка никогда не приезжал в тарантасе, а всегда шёл пешком, с непокрытой головой. И две иконы несли, по две бабы каждую. Но главный добровольный состав шествия был — подростки. Двое-трое старших напряжённо-важно несли хоругви, а горохом вокруг — головастые, голостриженные ребятишки в белых и тёмных рубашёнках под поясками, со снятыми картузёнками в руках, без смеха, без шалостей. И девочки — в длинных-предлинных юбках и, до самой малой, всегда в платочках: женской голове не полагалось бывать открытой. Приходили в лапоточках и босиком, но в чистенькой всегда одежде, и столько доверия простодушного (обязывающего), столько чистой веры было в лицах, разлитая мягкость смывала озорную остроту. И две одинокие хоругви двигались праздником на всю распахнутую окрестность.

Щемит всякая память о том месте, где ты взрос. Пусть оно другим безразлично, ничем не отменно,— а тебе всегда лучшее на Земле. Неповторимые тоскливые изгибы полевой дороги в обмин оградных столбов. Покоселый каретный сарай. Солнечные часы посреди двора. Изгорбленная запущенная неогороженная теннисная площадка. Безверхая беседка, сложенная из берёзовых прясел.

Когда делилось между пятью детьми оскуделое имущество деда, отец отказался от всяких долей и просил только отдать ему Застружье — для души, для одиноких прогулок-размышлений о неудавшейся жизни, потому что угодий там уже тогда не оставалось никаких, пользы хватало только чтобы прокормить семью управляющего (он же и конюх), лишь на Рождество и Пасху присылали в Москву хозяевам двух-трёх индюшек да круг топлёного масла. А когда-то строил их каменный двухэтажный доампирный строгий дом поручик-конногвардеец Егор Воротынцев, о пожаловании которого именной указ Елизаветы хранился у них на московской квартире, каллиграфический.

От того указа, от того поручика конногвардейцев и протянулась жизнь нового Георгия — в армию опять, после двух поколений гражданских. (Смутно был он уверен в большем: что они — какая-то линия от угасшего рода бояр Воротынских на Угре, от славного воеводы Михайлы Воротынского, сожжённого Грозным на костре, из-за того что видел в нём соперника престолу. Но — не хватало звеньев, недоказуемо.)

Глаза уже полностью были открыты и видели всю поляну, вкрапленье нескольких дубов в замкнутое меднохвойное море, предвечерний свет,— а тут отложило разом и уши, и услышалось погромыхивание артиллерии, не так далеко и не редкое. И — одним рывком унесло всё расслабленное успокоение, опять загудел пустой котёл души, вступило раскалённым кузнечным ковом:

Самсонов — прощался с армией! Это было сегодня, несколько вёрст отсюда. Всё пропало, помочь нельзя.

И его эстляндцев уже не было с ним — убеждённых им, возвращённых им и не зря ли погубленных?

И коня уже не было при нём. Коней, их двое. Арсений?..

Воротынцев на локте поднял ломотное тело, посмотрел вправо, влево — не было Арсения. Через спину, шею изворачивая, в плече и в челюсти боль, окинулся — здесь. Лежал на спине во всю растяжку, головой на чурке. Если спал, то с недокрытыми глазами. Нет, не спал, посматривал, но лицо покойно, как у сонного.

Этот один и остался на нём. Рвался Воротынцев повлиять, помочь целой армии. И остался с одним солдатом.

— Мы спали? — тревожно проверил.
Арсений не сразу, не по-военному, сладко рот растянул:
— А-га.
— Как это? Мы не должны были спать! — изумлялся Воротынцев, а всё ещё не было полной силы вскочить, и он только перевалился на другой бок, к Арсению. Вытянул часы, но и глядя на них, не мог точно сообразить.
У тела свой ритм, свой допустимый темп. Как быстро ни завихривались полки и дивизии, воронкой втягиваемые в пропасть поражения,— комочек тела не мог начать в этой круговерти своего самостоятельного противного движения, пока в нём что-то предыдущее не замкнулось и не отпало через сон неподвижный и ленивое это лежанье с разглядыванием близких былинок. Какой-то срок оцепенения и самовозврата должно было перебыть тело от прежней скорости с одним смыслом до новой скорости с другим.
Как же можно было спать? И едва ль не четыре часа! На пять минут прилегли... Армия гибнет, кого-то можно выводить, что-то делать,— а он спал!
— Почему ж ты меня не разбудил? Ты же знал, что спать нельзя?!
Арсений чмокнул, вздохнул, зевнул:
— Так и я же спал, ваше... ваше... Я — три ночи не спамши. А вы вон пятую. Куды ж нам идти?
Ну, сон ладно, он прав, тело лежит, придавленное к земле, благодарное, и ещё сейчас не может подняться. Но не знает солдат, что полковник свалился на землю не от усталости. Пятеро суток от Остроленки он скакал, убеждал, призывал — а тут свалился. От отчаянья. Вот отчаянья он за собой прежде не знал, вот этого и не мог простить. Лежал, мямлил, вспоминал прошлое — а прошлое не помнится в добрый час.
Возвращалось ошеломлённое сознание, но и сейчас Воротынцев не мог охватить всех размеров катастрофы — необъятной, неуправляемой. Ни всего, ни большей части спасти уже было нельзя. Но что-то же можно? что-то же делать! Да-а-а, вспомнил он,— карта пропала, с конём и карта. Так он ослеп.
Воротынцев промычал, кулаком постучал по лбу. Через немочь тела — благодарного, благодарного за отдых, подтянул колени, обнял их. Хоть бы карту! хоть бы карту!..
Осталась голова — осталась в голове и примерная общая конфигурация, но это не то.
Воротынцев больше повернулся на Арсения. Под вниманием полковника нехотя приподнялся и тот, руками сзади подпёр туловище, а длинные ноги так и не пошевелил. Фуражка его опрокинулась на землю, волосы были залохмачены и вид хмурый, как с перепоя. Моргал.
— Завёл я тебя,— сообразил Воротынцев.— Остался бы ты там, не окружили.
— Може б там уже и без головы,— уступчиво шатнул её Арсений.— Что выпито, что пролито, того не разделишь.
Ещё раз удивился Воротынцев самодостоинству этого солдата: как он умел, не выходя из подчинения, быть и сам по себе особо. Без офицерской снисходительности, как человеку своего круга, тихо сказал ему:
— Но мы выберемся, ты не думай.
— Ещё б не выбраться! — выпятил шлёпистые губы Арсений.— По такому-то лесу!
— Да он к шоссе, кажется, не подходит. А по шоссе — немцы.
— Ну, так и здесь переосенюем. Пока цепь снимут.
— Как это переосенюем?
— Да в шалаше сокроемся, до зимы. Кореньями да ягодами всегда живы будем.
— Три месяца?
Благодарёв сощурился важно, будто вдаль:
— Жива-али люди. И годами.
— Кто такие?
— Да хоть и в пýстынях.
— Да мы ж с тобой не пустынники! Мы — подохнем.
Со знанием покосился Благодарёв из своего подпёрто-высокого положения:

— Коли надо — всё можно.
— Но мы не монахи, мы военные. Мы пробиваться будем. И как можно скорей, пока силы ещё. Ведь живот грызёт?
— Да уж и отгрызло,— пустыми зубами жевнул Арсений.
Этот сон вповалку придал силы им. Уж не батальоны собирать, а — самим пробиться. Ему, Воротынцеву, пробиться в Ставку, правду найти и правду рассказать. И тогда вся поездка будет не зря! Вот и долг его, и во всей окружённой армии — его одного. А батальоны собирать — есть офицеры кроме.
И вновь — как отложило уши. Воротынцев услышал — тишину. Артиллерия не била больше. Иногда — ружейный дальний выстрел. Иногда — очередь из двух-трёх.
Это могло значить: кончено всё!
И он оперся — вскочить! (Да не той рукой, кольнуло плечо.) А получилось — насторожился вслед за Арсением: тот, кажется, ушами шевельнул отдельно и, скинув отупенье, живо смотрел между деревьями.
Хрустя, шли сюда.
Шёл — один. Неуверенно.
— Наш,— определил Арсений.
Раз один — не могло быть иначе.
Но остались у земли.
А тот — шёл. Брёл. Офицер. Худенький. Не молодой даже, юный. Раненый? — так шашка ему тяжела. Что-то знакомое.
— Подпоручик! — узнал, крикнул, поднялся Воротынцев.— Ростовский?
Из испуга — и сразу в радость перекинуло безусого дитятного подпоручика:
— О-о, господин полковник!
— А вас — не эвакуировали? Вы что ж, пешком из госпиталя? — Но ответить не дав: — А карты — нет у вас случайно, а?
На подпоручике — не портупея, но с особой важностью вертикальные подпогонные ремни с пряжками — от каждого плеча и прямо к поясу. А при узенькой фигуре — офицерская сумка самого большого размера, и набитая.
— А как же! — ещё просиял бледный подпоручик и расстёгивал сумку. И, похвалы ища: — Да какая чёткая, немецкая! Я в Хохенштейне нашёл! А в госпитале подклеил.
Но говорил — с усилием. И стоял с усилием. Тошнило ли, лечь хотелось?
— Ах вы, молодец! ах вы, молодец! — потрепал его Воротынцев по спине.— Вы куда ранены? Да, вы контужены. Голова? Ну всё-таки проходит? Вы вот что, шинель на землю и ложитесь пока, вы бледный!.. Я сказал — ложитесь!
А сам уже разворачивал, раскидывал карту по траве — надвое, надвое, надвое. И уже нависал над ней, наклонился как сокол над жертвой. Что он спал полчаса назад, что он вообще способен успокоиться и лежать — было непредставимо.
— Арсений, подай сучков, углы придавить. Так, подпоручик, объясните, как вы шли.
Воротынцев стоял перед картой на коленях, а Харитонов лежал на животе, скрутку шинели держа под грудью и тем возвышаясь. Иногда он отдышивался, а то глаза прикрывал, но старался говорить без перерывов, чётко и пободрей. Он рассказывал и тут же показывал по карте, пальцами без всякой отделки и отроста ногтей, как вчера вечером вышел из Найденбурга, как уже было перехвачено шоссе. Как он приближался к нему, и отходил, и где ночевал. А сегодня пошёл на деревню Грюнфлис, по...
— Как, и Грюнфлис? Когда они вошли?
— Да не соврать... часа три назад...
Пока тут спали...
...Как он думал найти свой полк при 15-м корпусе...
— И где, по-вашему, мы сейчас находимся?
— Вот здесь точно. Если дальше идти, должна быть вырубка справа, а потом край леса и должно открыться Орлау.
— Правильно, подпоручик! Мы оттуда, всё правильно. Только вам уже полка не искать.

Карта — была, исходная точка — была, остальное — на свой глаз и свой ум. Мысли быстро собирались к нужному, как прислуга к орудию, как рота «в ружьё!». Там, где зев большого мешка,— туда бросятся все русские: ещё, может быть, не завязано. Все постараются выходить *дальше* от немецкой западной стенки, а мы выйдем как можно *ближе*. Немцы тут тоже не очень задерживаются, они гонят дальше — закруглить, замкнуть кольцо. И нет тут езженых дорог, тем лучше для малой группы. А просеки идут как раз на юго-восток, как нам и надо. Только сделать петлю версты на три, обойти безлесный грюнфлисский треугольник. И — всё лесом, и дальше. Железная дорога в густом лесу, по ней никого не будет. И опять просеками. И вот единственное малое место, два раза по полуверсте, у деревни Модлькен, где лес подходит к шоссе вплотную, совсем вплотную. Вот здесь и переходить! И ещё хорошо получается: как можно меньше вёрст. Меньше вёрст — меньше сил, быстрей выходить. Отсиживаться в лесу и ждать, что с шоссе разойдутся,— ложный расчёт, они ещё и колючую проволоку натянут. Нет, как можно скорей! Но сегодня ночью уже не успеть. Значит, завтрашней ночью. А за сутки подобраться к шоссе. Вот и маршрут, и время, и место, и план — готовы.

На раскинутой карте зеленел перед Воротынцевым Грюнфлисский лес — огромный, но всё же расчерченный аккуратно на четверть тысячи прямоугольных пронумерованных кварталов, подсчитанный, исхоженный, подчинённый бежавшим лесникам — почему же не Воротынцеву?

Из своих рассуждений он часть выговаривал вслух Харитонову. Контуженный — это будет слабое место. Но так неотклонен военный порыв подпоручика, с таким сияньем и освобожденьем слушал он план старшего офицера, ещё от травы, от земли набирая сил, что не было сомнений: он не поддаст.

— А какого вы училища, подпоручик?

— Александровского.

— Нашего??

Обрадоаались оба. Да вспоминать некогда.

Благодарёв босиком, нежа крупные лапы в траве, стоял рядом в рост, вольно извалясь на одну ногу. Он как бы с высоты аэроплана поглядывал на распростёртую Пруссию. Теперь она была схвачена, была — их.

Несколько часов назад в тупом упадке и бессилии свалился Воротынцев на этом месте. Час назад он не имел силы даже подумать о том, что́ надо было делать. А сейчас просверкнул и выстроился бессомненный план — и уже казалось Воротынцеву немыслимо минуту упускать, а разжимались и выталкивали пружины: скорей! скорей бы!

— А ну-ка, Арсений, возьми за два угла.

Прокрутили и по компасу сориентировали карту. И маленькая их затерянная полянка стала в строгую систему леса. И поперечная просека показала, как надо начинать идти.

— Ну что ж, ребята? — не терпелось Воротынцеву.— Пошли? — И с опасением на подпоручика: — Трудно? Ещё полежать?

Да, ему бы полежать, но:

— Я готов, я готов, господин полковник!

Арсений чмокнул громко и стал обуваться.

Воротынцев бережно сложил карту, соображая, какие ближайшие развороты понадобятся, и прокладывая новые сгибы, чтоб обтёртые старые береглись.

На запад от них ближе всего был простор, но даже оттуда не пробивалось солнце, канувшее за лесную глубь. Бронзово-шелушистые лесины стояли тёмные, и только хвойные головки их, за десятой саженью высоты, отзолачивали ещё.

— Так! — решительно скомандовал Воротынцев, оглядывая, как на больном подпоручике болтается шашка.— Бросьте её!

— Как? — не понял Харитонов. Изумился: — Как?

— Кидайте-кидайте! — властно показывал Воротынцев.— Я вам приказываю! Я отвечаю. Я и сам свою скоро брошу.

Однако оставил.

— Тогда я... сломаю, господин полковник?

— Силы нет ломать. Ты, Арсений, пойдёшь последним. Возьми у подпоручика шинель.— И пальцем ответил Харитонову на протест.

Пошли гуськом. Теперь только с сумкой полевой и револьвером, в ременной «шлее», худенький юноша старательно, прямо, с головой неопущенной, пошёл между коренастым легконогим полковником и загребающим редкими шагами солдатом. Кроме двух шинелей, двух винтовок, заспинного мешка, котелка, баклажки, ещё нёс Благодарёв свинцовый патронный ящик нераспечатанный, и била сапёрная лопатка по бедру,— а всё как будто налегке.

Прошли они намеченные три квартала, свернули. Ещё с полквартала прошли. Тонкий лунный серпик тоже запал, преждевременная темнота уже наступала в лесу, но Арсений заметил в стороне от просеки, деревьев за десять, человека на пне.

— Хо! — как в бочку гакнул он.— Сидит!

Весь лес теперь так, каждый куст мог ожить.

Всмотрелись и офицеры. Сидел. Не стрелял. Не бежал. Не прятался. Но и не бросился навстречу землякам.

Встал. Медленно пошёл к ним.

На просеке ещё хватало света увидеть, что всё на нём землёй измазано, и лицо грязное, а гордо-поставленное и строгое. Прапорщик. Тоже без шашки. Заметил полковничьи погоны, колебнулся, отдавать ли честь. Не отдал, не подтянулся особо. Ну да по-лесному. Хмурился. Как будто задумавшись или в груди его кололо, сообщил не сразу:

— Прапорщик Ленартович, Черниговского полка.

Воротынцев за эту минуту уже разглядел на груди под расстёгнутой шинелью — университетский значок. И, как всякого солдата и офицера привык примерять, что́ б он был у него в полку, примерил и этого. И ещё додумывал донесенное ушами: Черниговского полка, вот уж какого наверняка близко не было. А впрочем, всё перемешалось.

— Вы ранены?

— Нет.— Хмуро, независимо, а добавил: — Но чуть не убит.

— Не понимаю,— резко поправил Воротынцев.

Мало ли кто «чуть» не убит, об этом бабе после войны рассказывают.

Ленартович показал назад через плечо:

— Я думал на деревню выйти. А там уже немцы. Меня в картофельном поле прижали пулемётом, не знаю, как отпола.

— А где ваш взвод? — торопился Воротынцев. Ночь терять нельзя. Растянулась по небу полоса клочковатых оливковых тучек, но не обещала непогоды. И — пропустил, что тем временем ответил прапорщик, да может и не поверил бы его объяснению, да смешалось и падало больше и крупней, чем судьба этого прапорщика. Не хотел бы он себе такого в полк, а впрочем угадывал, как и из этого студента, с его презрением к военной службе, ещё какого военного человека можно было бы отработать. Статен, голова хорошо стоит.

Быстро:

— Останетесь тут? Или идёте? Мы — на прорыв.

Миг колебания, и вот живей прежнего и вполне готовно:

— Если позволите.

Полковник — резко, жёстко:

— Предупреждаю: все наряды и обязанности у нас будут без чинов. Есть здоровые, есть раненые, вот все различия.

— Хорошо, хорошо! — живо соглашался Ленартович.

Да он ведь был и демократ, его-то особенно мучили эти «высшие» и «низшие».

— Марш! — кивнул своим Воротынцев.

И пошли.

Ленартович и правда был рад, что попал, видно, в верные руки. Сейчас, ртом изъев крупитчатую землю у картофельных клубней, осыпанный брызгами земли от близких пуль, уже простясь со всей своей жизнью — неисполненной, почти не начатой, такой любимой жизнью! понятным червячным движением выелозив из бесконечной борозды, ни разу голову не отняв от земли,— он беспамятно пробродил по лесу и, оглохший, с оцарапанными дрожащими руками и вывихну-

тым пальцем, доплёвывал и доплёвывал землю изо рта, выбирал из носа и ушей.

Сдаться в плен оказалось ещё опаснее, чем биться до последнего. Вот она, война! — её и бросить нельзя, от неё отвязаться нельзя. И если здесь не заподозрили, не упрекнули, обещали вывести — оставалось идти, стрелять, воевать. Если тебя хотели убить, почти убивали — ты вправе ответить тем же, а то дошутимся.

Он у солдата заметил баклажку, горло обмело и трескалось от жажды,— а попросить попить почему-то не решился.

48

Его — вели, везли. Его тело двигал не он сам. Сам он только размышлял. Пласты окончательно рухнули, пыль осела, прорвало, и расчистило,— и кончились все смутные неопределённые движения. И с ясностью предстал мир нынешний и всех прошлых лет.

Снялась тугая пелена с разума — и с сердца тоже свалился камень: с того часа, как под Орлау он объехал солдат и благодарил их и попрощался с ними,— свалился камень, облегчилась душа. Хотя немногие те солдаты на холме под Орлау не могли простить его за всю армию или за всю Россию, но именно их прощения жаждала душа. О суде чиновном не думал он много: не бывает судов над теми, кто поставлен высоко,— упрекнут, подержат в резерве, дадут другое назначение, стыд не выедает глаз. И хотя назначат, быть может, следственную комиссию, но вотще будет ей разыскать — этого уже никому не разобрать, не разложить, поздно. Был на то — замысел Божий, а понять его не нам и не сейчас.

Не гордым верховым уже, а тележным ездоком, подбиваясь на корнях и кочках, отталкиваясь плечом с Постовским, но нисколько с ним не беседуя, а даже совсем о нём забыв, Самсонов вёл и вёл свою думу.

О штабе фронта, о Жилинском не думал он, не перебирал обид и оскорблений, в недавние дни так травивших ему душу. Не изыскивал, как доказать, что во всём произошедшем виноват Жилинский больше, чем он. Охладело и осветлело внутри него, и уже не саднило, что вот Жилинский сумеет теперь извернуться, выйти сухим. Было странно, что упрёк в трусости от этого ничтожного человека ещё недавно так задевал Самсонова и влиял на его решения относительно целых корпусов.

Пожалуй, вот о чём думал он: как нелегко Государю выбирать себе достойных помощников. Ведь худые корыстные люди ретивее добрых и преданных, они особенно изощряются выказать перед Государем свою мнимую верность, свои мнимые способности. Никому не достаётся видеть столько лжецов и обманщиков, как царю,— и где ж ему, человеку, набраться божественной проницательности разглядеть чужие потёмки? Так и становится он жертвой ошибочных выборов, и эти корыстные люди как черви истачивают крепкий русский ствол.

Мысли его приличествовали всаднику возвышенному, а трясло и качало его — в телеге.

Так спокойны и общи текли самсоновские размышления, не сообразованные с целью движения штабной группы: найти просвет в окружении и выскользнуть. И в перерыве думы не сразу понял, что́ ему докладывали: дорога на Янув, как едут они, перерезана, на шоссе перед ними — немцы, и обстреливают выход из лесу. Предлагали штабные: сменить южное направление на восточное, предпринять крюк с дальним плечом на Вилленберг, зато уж Вилленберг должен быть наш, у Благовещенского. Самсонов кивал, Самсонов не возражал.

Пришлось возвращаться, теряя вёрсты и время, потом сворачивать подходящей просекою на восток. И в выбор просеки, и в потерю времени и расстояний Самсонов опять не вникал. Как бы защитная духовная стена оградила его от всяких возможных неприятностей и раздражений внешней жизни. И чем быстрей и непоправимее текли внешние события, тем медленнее всё текло в теле Самсонова, тем обстоятельней оставивались его мысли.

Он хотел только хорошего, а совершилось — крайне худо, некуда хуже. Но если при лучших намерениях можно вот так до пера распушиться — что ж про-

истечёт в этой войне от действий корыстных? А если поражения повторятся — не возобновится ли в России смута, как после японской войны?

Страшно и больно было, что он, генерал Самсонов, так худо сослужил Государю и России.

Уж было и к вечеру, невысоко солнце. Возобладало среди штабных попробовать свернуть ещё раз к югу и поискать проходного места тут. Командующий кивнул, кивнул, не очень вникая.

Какие-то места пошли здесь заклятые: покинули они сухой высокий красный бор и ехали местностью низменной, закустарненной, вязкими песчаными просёлками и через многие неожиданные ручьи и канавы, канавы, перебирались только вброд.

Несколько раз казачья разведка выезжала вперёд, но вскоре слышался пулемётный стук, и разведка возвращалась: занято. Занято и здесь.

Да что́ то были за казаки, в конвойной сотне штаба? — второй и третьей очереди, трухлявые, боязливые, при первых выстрелах спешивались в кусты. Как будто и казаками иссякла Россия — семиреченский и донской казачий атаман сотни добрых казаков не имел при себе!

Командующему требовалось — думать, ещё много сегодня думать. Могли бы Постовский или Филимонов заменять его в руководительстве хоть штабной группой, но оба смякли они, и жадно-заглатывающее выражение как смылось с лица Филимонова, а стал он нахохленный, сопящий, будто инфлуэнцей болен. И у деревни Саддек, всего 4 версты по шоссе, молодые штабные просили самого командующего дать разрешение атаковать казачьей сотней на прорыв.

Больше версты было от их опушки до пришоссейных высоток, открытая местность мало обещала успеха, но офицеры горячо настаивали хоть раз попробовать, и Самсонов разрешил. Как во сне, не вникая достаточно.

Полковник Вялов уговаривал негожих казаков к атаке, они мялись, не выходили из леска, возражали, что лошади истомлены. Тогда штабс-капитан Дюсиметьер с криком «ура» и выхваченною шашкой поскакал один в сторону пулемёта, за ним Вялов, ещё два офицера — лишь тогда двинулись и казаки. А уж ринулись нестройной толпой, беспорядочно стреляя в воздух, с гиком, криком, не столько врага пугая, сколько подбадривая себя. Однако сбило троих с лошадей, и за пятьдесят шагов до пулемёта свернули казаки в боковой лесок.

Вид этого позора возвратил Самсонова к действиям и решениям. Он всех отозвал, запретил офицерам вторую атаку, теперь уже спешенную, велел возвращаться на север и опять поворачивать на восток, к Вилленбергу.

И снова они въехали в бор, уже темнеющий, выбрались на каменистую дорогу и беспрепятственно, быстро двинулись к Вилленбергу. Но в трёх верстах от него, на выезде из лесу, в сумерках, встретили крестьянина-поляка, спросили: «Много ли русских солдат в городе?», он за голову: «Не, панове, там фцале нема росьян, тылько немцы, дужо немцув джись пшышло.» *

Штабные так и обвисли. Сидели в отчаянии. Где же мог быть корпус Благовещенского?..

А Самсонов сел на широкий пень, опустил голову бородой в грудь. Если опаздывал прорваться даже штаб армии, то что могло ждать саму армию завтра?

Штабные советовались: надо ночью где-то прокрасться, эта ночь — последняя надежда.

А Самсонов подумал: то Божий перст. Кто затемнил его, чтоб он покинул свою армию? То перст!

И объявил твёрдо:

— Я отпускаю вас всех, господа. Генерал Постовский, возглавьте прорыв штаба. Я возвращаюсь к 15-му корпусу.

(Где 15-й, где 13-й — именно в эти минуты сумерок, в двадцати пяти верстах за спиною командующего на роковом лесном перекрестке необратимо перемешивалось и переставало существовать.)

Однако все чины штаба в едином приступе окружили командующего и в еди-

* Нет, панове, там совсем нет русских, только немцы, много немцев сегодня пришло.

ном говоре, каждый своими аргументами, стали доказывать ему невозможность, ошибочность, абсурдность, недопустимость, недодуманность его решения. Он командовал *всею* армией и не меньше обязанностей имел... перед фланговыми корпусами... и перед штабом фронта... только он один мог в краткие часы объединить оставшиеся силы... охранить Россию от вторжения неприятеля...

Ещё вчера, при несогласии ехать из Найденбурга в Надрау, они не смели так настойчиво возражать ему. Да многое сдвинулось за эти часы.

Самсонов сидел на своём природном лесном пониженном троне, слушал их и закрывал глаза. Он думал, какие все в штабе ему чужие, все до одного — случайно собранные, умами и душами — другие. Один Крымов был свой, а услан.

Аргументы штабных складывались прочно, да не слышал Самсонов чистого звона в них. Не упрекнул открыто, но расслышивал: не о нём они заботились и не об армии, а о себе: никто не хотел идти с ним назад, а выйти без него было для них служебно невозможно.

Но и сил уже не было у Самсонова спорить с десятком наседающих подчинённых. Хуже: сил не оставалось тронуться сейчас одному с ординарцем Купчиком в дальнюю темноту, назад.

А чего-нибудь третьего — созвать сюда боевые части, прорываться с боем, как-то не предложил никто. В голову никому не пришло. И оставалось: к а к же выйти? «С этой бандой мы не выйдем»,— едино думалось о казачьей сотне. И объявили им вольную: выбираться самим, а штаб дальше пойдёт пешком. Представлялось разумным, что ночью по бездорожью будет легче выйти без коней. А живут в этой местности поляки, они сочувствуют.

Самсонов сидел на пне, бородой в грудь, как забывшись. Проигравший полководец, он был самый спокойный среди штабных.

Он ждал конца суеты, отвлекающей от мыслей. Он ждал, когда опять начнётся ровное движение, и можно будет спокойно думать.

Но и от казаков освободясь, и коней разнуздав и отпустив, штабные ещё не были готовы к ночному походу, ещё возились. При последнем сером свете с присветом месяца смутно видно было Самсонову, что копается ямка и туда кладут офицеры что-то из карманов. Он видел это, но не придал значения, он уже не чувствовал себя командиром над ними — указывать или запрещать. Он ждал, когда, наконец, его поведут.

Но — услужливо-настойчивая фигура Постовского приблизилась, приклонилась к нему:

— Ваше высокопревосходительство! Разрешите вам заметить... Неизвестно, что с нами будет... Если мы попадём в руки неприятеля,— может быть, лишние документы или знаки?.. Зачем доставлять им такой успех?..

Не понял Самсонов: какой ещё успех? какие знаки?

— Александр Васильич, всё лишнее мы прячем в землю... Это место мы замечаем... Мы вернёмся потом, пришлём... Если документы... всё, что выдаёт имена...

С той вершины понимания, которой достиг Самсонов за этот длинный день,— лепетны показались ему такие заботы. А вот и молодые сошагнули к нему и заговорили уверенно: что нельзя дать врагу понять, к о г о они взяли в плен, пусть думают, что упустили; что так и полковое знамя, если вынести его нельзя,— разрезается, сжигается, закапывается, только не отдаётся...

Как это повернулось быстро: четверть часа назад он ещё мог согласиться или не согласиться вообще идти с ними, только об этом они умоляли его. А вот — они уже и не очень его спрашивали, что им делать. Как золотого идола, как божка дикари, они только статую его доставят с собой, и тогда проклятие не падёт на головы их.

А — на его.

Вот они уже — шли. Шли гуськом, Самсонов где-то в середине, а Купчик позади него нёс чепрак с отпущенного коня. Несильный свет месяца, проникая в лес там, где было реже, позволял различать стволы, заросли, кучи хвороста или свободное пространство, но лишь в самой близи, и фигуры только ближайшие. Потом не стало его. Впереди шли со светящимся компасом, полуощупью, останавливались свериться, и все тогда останавливались. Прямо идти никак не

удавалось: то надо было обойти ямину, то мокрое место, то чащу, а потом опять выверять направление.

Освободилось генералу Самсонову — думать. Теперь-то, без разговоров, без помех, он мог додумывать.

Однако... нечего оказалось додумывать. Да, нечего. Всё было уже дорешено и додумано. Очищено, поднято. Разве что оставалось — вспоминать.

Но и вспоминалось — не екатеринославское сельское детство. Не военная гимназия. Не кавалерийское училище. Не многие-многие места служб, события, сослуживцы. Всё обойдя, надвигался опять почему-то — мощный, грозный, а с затейной кирпичной кладкой, войсковой собор на горе. Родился в Малороссии, бывал в Москве, живал в Петербурге, в Варшаве, в Туркестане, в Заамурьи,— нет! неуроженного дончака, несло его на обширный новочеркасский холм! Сюда прилетать привольно душе! И не на верхнюю сторону, где взнесен Ермак, а на нижнюю, к спуску Крещенскому, где лишь немного поднимается гранит над булыжником, и на нём покинута литая бурка с папахой, а сам хозяин, Бакланов,— вот только что был, сбросил, ушёл.

В могилу, в подвальную церковь.

Так — хоронят солдат.

Когда есть победы, чтоб на граните высечь...

А идти было трудно: ноги отучились ходить хорошо, сильней же того захватывала одышка, астменная задышка от простой ходьбы, без бремени.

Проверяется наше тело, когда мы теряем возвышение над другими людьми, и средства передвижения, и средства охраны, и вот уже не генеральские погоны оказываются выражением твоей сути, а — сердце непоспевающее, неполный объём лёгких, как будто заложило две трети их, и — ноги слабые, ноги ненадёжные: ступают неровно, упинаются, спотыкаются о кочки, о мох, о хворостяной завал.

И радуешься не успешному проходу, не тому, что мы выскользнем, может быть, а — всякой задержке впереди, когда остановились, и можно к стволу прислониться, продышаться немного.

Самсонову стыдно было просить об отдыхе, но, в оглядке ли на него, останавливались каждый час, садились. Купчик, тут как тут, проворно расстилал под командующим чепрак. Ноющие ноги рады были протяжке и покою.

Да много времени нельзя было сидеть: уходили краткие ночные часы, последние возможности. К полуночи заволакивало и звёзды. Совсем стало темно, ничего уже не видно, лишь по хрусту, сопенью да наощупь чуяла бредущая цепочка друг друга. А дорога портилась, то чавкало болотце под ногами, перегораживал дорогу непродёрный кустарник, частый ельник. Полагали опасным сбиться в сторону Вилленберга. Опасно было наскочить на немецкий разъезд. Опасно было растеряться. Собирались кучкой, шёпотом перекликались. Привалов не было больше. Когда попадались канавы — Купчик и есаул под обе руки помогали Самсонову перейти. Перетаскивали...

Что тяжело было у Самсонова — это тело. Единственно — тело. Только оно и тянуло его в груз, в боль, в страдания, в стыд, в позор. Освободиться же от позора, от боли, от груза — всего и требовало: освободиться от тела. Это был переход свободный, желанный — как первый полный-полный вздох во всю заложенную грудь.

Ещё вечером — искупительный идол для штабных, он пополуночи уже становился жерновом неуносимым, каменной бабой.

Трудно было ускользнуть только от Купчика: он всё время держался за спиной своего генерала и притрагивался то к спине, то к руке. Но при обходе частых кустов обманул Самсонов вестового казака: отступил и затаился.

И хруст, и лом, тяжёлый переступ — миновали. Отдалились. Затихли.

Повсюду было тихо. Полная мировая тишина, никакого армейского сражения. Лишь подвевал свежий ночной ветерок. Пошумливали вершины. Лес этот не был враждебен: не немецкий, не русский, а Божий, всякую тварь приючал в себе.

Приваляясь к стволу, Самсонов постоял и послушал шум леса. Близкий шелест отрываемой сосновой кожицы. И — надверхний, поднебесный, очищающий шум.

Всё легче и легче становилось ему. Прослужил он долгую военную службу,

обрекал себя опасностям и смерти, попадал под неё и готов был к ней — и никогда не знал, что так это просто, такое облегчение.

Только вот почисляется грехом самоубийство.

Револьвер его охотно, с тихим шорохом перешёл на боевой взвод. В опрокинутую фуражку наземь Самсонов его положил. Снял шашку, поцеловал её. Нащупал, поцеловал медальон жены.

Отошёл на несколько шагов на чистое поднебное место.

Заволокло, одна единственная звёздочка виднелась. Её закрыло, опять открыло. Опустясь на колени, на тёплые иглы, не зная востока — он молился на эту звёздочку.

Сперва — готовыми молитвами. Потом — никакими: стоял на коленях, смотрел в небо, дышал. Потом простонал вслух, не стесняясь, как всякое умирающее лесное:

— Господи! Если можешь — прости меня и прийми меня. Ты видишь: ничего я не мог иначе и ничего не могу.

49

(Обзор действий за 16 и 17 августа)

Шоссе Найденбург-Вилленберг как будто и прокатано было для того, чтобы скорей протянулись по нему подвижные части Франсуа ва соединение с Макензеном. Это шоссе, без предчувствий пересеченное центральными русскими корпусами несколько дней назад, теперь за спиною их обратилось в стену, в закол, в ров. Недолго для ночёвку, передовые части Франсуа ещё до рассвета 16-го поспешили дальше, к Вилленбергу, местами громя обозы и случайные русские части. Сопротивляться тут было некому, и к вечеру Вилленберг заняли. Правда, ва пройденных сорока шоссейных километрах остались лишь прореженные чёрточки застав и патрулей — окружение пока пунктирное. Более суток ещё предстояло одной из дивизий Франсуа растекаться по этому шоссе и занимать его.

Так же и от Макензена, по дорогам худшим, спешила передовая бригада, для облегчения сбросив ранцы на обывательские подводы, а то и сами на них. С севера ва юг свисал Макензен к тому же шоссе, ещё выставляя отряды в бока — к Ортельсбургу и вглубь лесов, к окружаемому центру.

К вечеру 16-го если клещи и не сошлись захватами вплотвую, то оставался между ними десяток вёрст непрохожего бездорожного дальнего леса, о которых русским и не догадаться было и не доспеть туда. Но Гинденбург, подписывая вечером приказ на 17-е, ещё не мог быть уверен в успехе окружения: в остальном полукольце, такие острые накануне, бои стали аялыми. Несколько схваток у межозёрных проходов вполне задержали преследователей. И не было никаких сил защититься, если бы русские 16-го прорывали кольцо извне.

Но они не пробовали.

Сквозь пунктир окружения прорвалось последвее донесение Самсонова от вечера 15-го августа — и поступило в Белосток утром 16-го, как раз перед завтраком Жилинского и Орановского. Сообщал Самсонов, злополучный упрямец и неудачник, что отдал приказ всей армии отходить на линию Ортельсбург-Млава, то есть почти на русскую границу. Этот жребий он и заслужил, этого и можно было ожидать, и очень хорошо, что инициативу и позор отхода он взял на себя, не спрашиваясь у штаба фронта. В благоприятное утро за завтраком (когда в Хохенштейне был уже окружён обречённый Каширский полк) Жилинский-Орановский решили, что напрасно они вчера понудили Ренненкампфа наступать в пустое место, откуда Самсонов, теперь очевидно, уже ушёл. И тут же телеграфировали: «Вторая армия отошла к границе. Приостановить дальнейшее выдвижение корпусов на поддержку.»

А Ренненкампф только вакануне после обеда и тровулся, его корпусам до сегодняшнего сражения по недостижимо-ровной прямой было сто вёрст, коннице семьдесят. И он охотно тут же в полдень распорядился: корпусам — остановиться, а завтра отходить.

Но некая новая тревога проскользнула к Жилинскому-Орановскому в Белосток. И в два часа дня они послали Ренненкампфу противоположную телеграмму: «Ввиду тяжёлых боёа, которые ведёт Вторая армия, направить выдвинутые корпуса и кавалерию на Алленштейн.» (Почему — на Алленштейн? Как можно было в треавом состоянии направить *восемь дивизий* туда, где уже вторые сутки наверняка никто в их помощи не нуждался?)

Это почасовое передёргивание приказов как успешно отозвалось на движении войск, могут судить люди с военным опытом.

Распорядясь такими огромными массами вдали от поля сражения, Жилинский-Орановский уже не стали утруждать себя передвижкою фланговых корпусов поблизости от сражения, да и не порядок был вмешиваться в их жизнь, минуя командующего армией. Тем более, что Благовещенский стоял на днёвке, вот разве кавалерийской дивизии от него — для приличия куда-нибудь наступать.

И пришлось кавалерийской дивизии Толпыги среди дня выступать в поход. По пути её оказался заклятый Ортельсбург, ещё вчера пустой (когда велел Самсонов удерживать его во что бы то ни стало), а сегодня с рассвета оттуда постреливали. Поэтому кавалерийская дивизия обошла город стороной и покинутою местностью осторожво продвигалась в указанном зачем-то направлении — пока опять не показался противник. А уж темнело, и лес — невыгодные для кавалерии условия. И рассудил генерал Толпыго, что лучше всего воротиться к своему корпусу. И хотя ворочáться ночью тоже было нелегко и небезопасно, однако к утру вернулись. Чтó во всём этом рейде случилось забавного: спугнули немецкого генерала, командира дивизии; сам он ускочил в автомобиле, а шинель осталась, а в ней карта, а на карте пометки, как Макензен окружает центральные русские корпуса. *Никакого хода этой карте не было дано* (так спокойней).

А вот 1-му корпусу ве было благовещевского покоя: как ни далеко откатился он, но и туда в ночь на 16-е добрался капитан от Самсонова с приказом: для облегчевия положения центральных корпусов, окружённых противником, немедленно наступать на Найденбург!

(И если бы тамошние полтора корпуса действительно *немедленно* двинулись бы на Найденбург, то а середине дня 16-го при подавляющем преимуществе они беспрепятственно бы в него вошли, и не только бы развалилось окружение, но, как это случается в маневренной войне, корпус Франсуа оказался бы в тесвых клещах с угрозой ответного окружения.)

Однако, и ясвый приказ получив, дюжина сведенных генералов из разных дивизий и отдельных частей ве могла так просто собраться и выполнить его. И полковник Крымов, кого Душкевич избрал себе начальвиком штаба корпуса, не мог сплотить генералов. Понятно было, что приказ придётся кому-то выполнять — но кому? В отсутствие безусловно высшего начальника всякий генерал мог отстаивать, что: не его часть пойдёт и не под его командованием. *И весь день 16-го августа* шёл во Млаве генеральский торг: из кого составить сводный отряд и кому вести. Выходило так, что единственный совсем нетронутый был лейб-гвардии Петроградский полк из раздёрганной гвардейской дивизии, а остальные батальоны, эскадроны и батареи будут уже добавочные, и потому вести отряд в отчаянное это предприятие выпадало командиру варшавской гвардии петербургскому генералу Сирелиусу.

После всех споров и сборов Сирелиус выступил в шесть аечера, и то лишь с голоаою отряда,— с тем, что и остальные поочерёдно следом пойдут. Вечер и ночь, никем не замеченный и никем ве препятствуемый, отряд Сирелиуса проходил свои 30 вёрст — и первое столкновение с немецким заслоном имел 17-го поутру в пяти верстах от Найденбурга.

А в небе над ним появился германский аэроплан.

Генерал Франсуа уже две ночи пробыл в Найденбурге, уже два вечерних приказа Людендорфа здесь получил и посмеивался: Людендорф еще не чувствовал окружения, он больше готовился против Ренненкампфа. Ночь на 17-е не давали спать Франсуа по его же приказу: на рыночную площадь на выставку тянули и тянули трофейные русские пушки. Франсуа просыпался и записывал удачные фразы для мемуаров. Утром «прекрасного гордого дня» своей жизни он вскочил напряжённо-свежий, хорошо позавтракал, выслушал донесения, послал торжествующую телеграмму Людендорфу и, вот-вот прославленный на всю Германию и всю Европу победитель при новых Каннах, вышел на крыльцо идти смотреть трофеи. Но раздался в небе моторный гул: это возвращался разаедывательный аэро, посланный проследить, как отступают русские. Не томя генерала ожидать посадки и доставки, пилот тут же, на мостоаую перед отелем, аккуратно сбросил пакет. Франсуа улыбнулся, похвалил. Адьютант кинулся, поднёс пакет генералу, распечатали: «Аппарат... лейтенант... маршрут... сброшено... Колонны всех родов войск... голова — 5 км южней Найденбурга, хвост — 1 км севернее Млааы...»

И — как а той игре, где от верхней клетки неудачным броском кубика свераются на исходную первую, сияющий победитель тут же принял строгий вид ученика, у которого всё впереди. Перекинул донесение штабистам, но и без их расчёта понимал, что колонна в 30 километров — это корпус. Взрыв решений! — распоряжения только устно, для письменных времени нет. Резерв — два батальона? идти навстречу противнику и принять бой! Ещё батальон в караулах? — снять караулы! Южней города ни одной германской батареи, севернее — две? перевести на юг! А с шоссе никого не снимать, окружение должно остаться! В городе русские пленные? — вести их на север. Там под Сольдау осталась ландвериая

бригада? — гнать её сюда. Откуда ещё можно снять? Телефонный доклад в штаб армии. Обстрел города — и связь прервалась. Ничего, автомобилей много, снесёмся на них. Рвутся над городом русские шрапнели. Падают фугасы. Штабу корпуса более здесь не место. Отступать? Нет, наступать! По шоссе на Вилленберг!

На радиаторе — жёлтый лев. Сын — записывает мысли полководца. А во встречном автомобиле везут русского генерала, взятого в плен на рассвете. Остановка, выводят. Он измучен, одежда рвана лесом и пулями, губы запеклись. Но хотя ему лет 60 — строен и легкоподъёмен, какими не привыкли видеть русских генералов. В руке задержалась бездельная тросточка. Это — полный генерал, и можно догадаться, какого корпуса: того, который целую неделю лупил Шольца. Выйти ему навстречу, пожать руку, сказать несколько слов похвалы и утешения: смелый генерал никогда не застрахован от плена.

Посланный к Найденбургу как бесполезный посыльной, Мартос уже сутки бродил по окраине Грюнфлисского леса, не имея никого для атаки города, неделю назад им же и взятого. Казачий конвой разбежался, накрывала Мартоса близкая шрапнель, с четырёх сот саженей, ночью у шоссе поймал его прожектор. Ружейный огонь в упор, начальник штаба корпуса убит. Переломлена шпага Мартоса и переломки отданы немецкому офицеру.

Но с удивлением и надеждой прислушивается сейчас Мартос, что по Найденбургу бьёт артиллерия русская с ю г а. Так ещё неизвестно, кто кого окружает?.. С радостью видит он беспорядок в немецких обозах и нервность пехоты.

Франсуа:

— Скажите, генерал, как фамилия того командира корпуса, который сюда идёт, я ему предложу сдаться?.. Да не возьмётесь ли вы поехать предложить им сложить оружие?

Мартос оживился и сразу:

— Поеду!

Франсуа, охлаждаясь:

— Нет, не надо.

Мартоса посадили в автомобиль между двумя маузерами и погнали по шоссе через Мюлен, так и не взятый им. В маленькой гостинице в Остероде к нему вышел Людендорф.— «Скажите, в чём заключалась стратегия вашего генерала Самсонова, когда он вторгся в Восточную Пруссию?» — «Как корпусной командир я решал только практические задачи.» — «Да, но теперь вы все разбиты, и русские границы открыты для нашего продвижения до Гродно и до Варшавы.» — «Я — был в равных силах с вами, а имел перевес в бою, много пленных и трофеи.»

Вошёл Гинденбург. Видя Мартоса глубоко расстроенным, долго держал его руки, прося успокоиться.— «Вам, как достойному противнику, возвращаю ваше золотое оружие, оно будет вам доставлено.»

Но — не было возвращено. А посажен был Мартос под конвой и повезен в Германию в плен до конца войны.

До утра 17-го крепился Людендорф, а как раз утром 17-го доложил в Ставку, что совершено крупнейшее окружение! — и через полчаса телефонный звонок Франсуа взвыл о помощи, и связь прервалась. Тотчас были отобраны у Шольца с преследования три дивизии и за 20, 25 и 30 километров посланы на помощь к Найденбургу. В следующие часы пришло донесение, что несколько конных дивизий Ренненкампфа углубляются в Пруссию! Ещё один авиатор донёс, что русский отряд идёт и к Вилленбергу!

Окружение затрещало.

Но генерал Сирелиус против восьми комендантских рот простоял десять часов, ожидая подхода всего корпуса. К вечеру 17-го он вытолкнул немцев из Найденбурга, да уж поздно было ему прорываться к своим ещё несколько вёрст: уже сто орудий поставили против него, и со всех сторон шли германские подкрепления.

А Жилинский-Орановский в далёком Белостоке узнали обо всех событиях не от лётчиков, не от разведки, не из донесений командиров действующих частей, но: от генерал-дезертира Кондратовича. Кондратович, ещё 15 августа сняв с передовой полдюжины рот для собственной охраны, бежал за русскую границу в Хоржеле, и день 16-го провёл там в тревожном ожидании конных ординарцев: возьмут ли верх наши или немцы? В ночь на 17-е стало ему ясно, что победили немцы. И тогда, изобретательно покрывая своё дезертирство, он подошёл к телеграфному аппарату, доложился как только что прибывший и благодарному штабу фронта дал о центральных корпусах те разъяснения, которых тому неоткуда было получить.

В неурочное время были подняты из постелей Жилинский-Орановский (может быть, близко к тому, когда Самсонов заводил для выстрела свой револьвер) — и после спокойного дня свалилась на них ночная обязанность спасать, решать, выходить из положения. Накануне представлялось, что за проигрыш операции, за отступление Второй армии ответит Самсонов: ведь это *его* был приказ отступать. Теперь же оборачивалось так, что Жилинский не распорядился вовремя Второй армии отступить,— и как бы часть вины за окружение не пала и на него. Какой же выход? Составить такую телеграмму: «Главнокомандующий приказал отвести корпуса Второй армии на линию Ортельсбург-Млава...», и не помечать её точным часом, и будто бы она послана была Самсонову, а не наша вина, что линия туда не доходит.

А теперь — Ренненкампфу снова: «организовать поиск конницей для выяснения положения генерала Самсонова». Благовещенскому: сосредоточиться к Вилленбергу (не надо прямо, что — *б р а т ь*). Кондратовичу: имеющиеся у него силы (его охрану) собрать к Хоржеле (где он и сидел), откуда в связи с Благовещенским *д е й с т в о в а т ь п о о б с т о я т е л ь с т в а м*. Лётчикам: искать штаб армии, 13-й и 15-й корпуса где-нибудь между Хохенштейном и Найденбургом, и все эти приказы сообщить словесно, ни в коем случае не бумагою. А уж 1-му корпусу: *п о с т а р а т ь с я з а н я т ь* Найденбург!

Да бишь, и с 1-м корпусом как бы не было неприятности: ведь с 8-го августа есть разрешенье Верховного выдвигать его дальше Сольдау, а мы не использовали, спросят с нас.

50

Если б не чёткие просеки, в таком лесу двигаться ночью было б никак нельзя. Но счёт и расположение просек точно совпадали с немецкой картой, и, проверяя карту при редких спичках, и сам проходя лишнее для сверки, Воротынцев обвёл свою группу в обмин безлесного треугольника и привёл точно к тому отдельному двору в лесу, который и намечал.

Это — не домик лесника оказался, а что именно — они без света не поняли. Тут были сложены какие-то плоско загнутые твёрдо-мягкие предметы, на них натыкались. Лишь потом, найдя и засветя лампу, увидели, что измазались шароварами, сапогами, а кто и руками — в кровь. То были скотьи шкуры, здесь забивали скот. Зато ж был и колодец — напиться, отмыться, ещё напиться. Зато было вяленое и копчёное мясо — больше, чем они могли съесть и унести, хлеба немного и огород. Благодарёв нашёл набор тесаков и длинных ножей с негнутыми полотнами. Выбрал себе. И Воротынцев взял за пояс маленький ладный топорик. Всё это они искали и добывали, остерегаясь со светом, а потом, сытые, повалились и поспали немного — трое, Воротынцев же был на часах.

Со своим характером он бы и не заснул: план выхода, расчёты и надежды выхода сверлили его, и теперь, пока это не сбудется, не мог бы он расслабиться и заснуть. Забегáли мысли и дальше: что и как он расскажет в Ставке, если выйдут. И как это подействует.

Не подбодрять себя от засыпанья, но умерять от нетерпенья надо было. Воротынцев прохаживался по просторному травяному двору, лишь отступя обставленному овалом дружного высокого леса, чёрной стеной. А над поляной он оставлял шире себя овал неба в звёздах, потом через него потянулась полоса лёгких клочковатых облачков, а они были чем-то осветлены, неизвестно откуда, давали общий нежный свет, на этом свете отдельно ясно вырезывались ближние высшие вершины. Ни вид, ни дробность, ни малая скорость облачков не предвещали непогоды, и хорошо! Близ полуночи заволакивало небо даже сплошь, но потом опять расчистило. Ночь попрохладнела, а роса была невелика.

Рядом рушилась целая армия, гибли полки, дивизии — а грохота не было. От Найденбурга и со всего немецкого запада не слышалось ни выстрела — как будто немцы остались довольны уже достигнутым, насытились, не собирались преследовать.

Оставалось меньше звёзд. Из глубокого ночного цвета небо серело и, если б не звёзды, казалось бы пасмурным сплошь. Наступал час, когда цвета вообще нет: серое небо, а всё остальное обще-тёмное. И если б никогда не видел, например, зелёного, то не мог бы его вообразить ни по деревьям, ни по траве.

Не ждать было дольше. Воротынцев пошёл будить. Харитонов проснулся легко, как не спал, а только ждал, когда послышатся шаги. Ленартович от касания вздрогнул, как от удара, но поднялся без промедления. Арсений мычал, неразборчиво не соглашался, пришлось его рвануть за два плеча — проснулся, но лежал, отдуваясь.

Ещё подгруженные теперь мясом и скотобойным оружием, они вышли снова гуськом. Ветку или фигуру или ствол можно было увидеть только на просвет неба. Всё остальное виделось слитно-густо, неразделённо.

Недолго досталось поспать, но сегодня голова Ярослава была свежей и твёрже вчерашней. Каждый день ему было лучше, только оставались вдавленными уши, и оттого на слабых шорохах онемел, огрубел для него лес. Ещё в госпитале он позавидовал, что не служил у такого быстрого сообразительного полковника с летучим светлым взглядом,— и так освободился и обрадовался, когда набрёл опять на него в лесу, да ещё оказал ему услугу картой. Худо было с армией, с полком, и свой взвод он потерял, но сам не мог попасть в лучшие руки, чтобы вернуться в свою единственную, любимую, ни на что не обменимую жизнь.

По светлеющему, безлюдному, но настороженному утреннему лесу они прошли с проверкою пересечений два квартала и повернули по просеке же, а та перешла в уширенную изгибистую вырубку. Светлело быстро, удлинялся просмотр до ста, до двухсот саженей — и тут они увидели, как тою же вырубкой поперёд их шли люди. Военные. Не в касках, в фуражках. Свои. Медленно. Нагруженные, несли тяжёлое на плечах.

Другой и дороги не было, нагонять их. Заметили и те, отстали двое с винтовками и расходились по краям вырубки, но Воротынцев поднял фуражку, помахал. Опознали. Четверо сзади нагоняли быстро, легко. И восьмеро передних поставили на землю двое носилок.

Прутяные носилки, оплетенные по жердям и с привязкой чурочек как ножек,— быстро сработано в лесу топором и мужицкой рукой, Ярослав таких и не представлял никогда, не знал, что сделать можно.

На задних носилках лежал покойник — большое, плотное тело. Белым платком с узелками покрыто лицо, а погоны — полковничьи. На передних — поручик с толсто-обинтованным коленом при отрезанной штанине шаровар. Все же десятеро пеших были нижние чины, ни одного унтера, и почти все в возрасте, запасные. В серо-голубом рассвете, вблизи, уже и лица были видны — охудавшие, вваленные, кто с кровяными запеклинами, и в одежде ошмыганы все. Восьмеро носильщиков не были налегке: у всех винтовки, и отвисали с поясов тяжёлые подсумки, не по одному; а двое свободных солдат нагружены были и сверх.

Откуда же? Кто? Воротынцев и поручик Офросимов представились, поздоровались. Обе руки поручика были здоровы, вся верхняя половина его, он мог и командовать, и стрелять, лишь не мог идти. Смоляной шерстоволосый грубоватый поручик говорил с хрипотой, не очень складно, не очень и охотно, как будто устал рассказывать, будто всю лесную дорогу их задерживали и расспрашивали. Поручик приподнялся на носилках на локоть, но при земле было и это, Воротынцев присел к нему на корточки. А все десять солдат Офросимова не отошли от офицерского разговора, как полагалось бы, но обстали и обсели кругом тесно, равными соучастниками дела, и даже, один, другой, вставляли по несколько слов. (И Ярослав подумал: как хорошо! да ведь так бы и надо всегда с солдатами! Если уж поровну смерть делить — так и всё остальное!)

Все они были — из Дорогобужского полка, позавчера оставленного арьергардом. И т а м они отбивались. До темноты. Штыками больше, патронов не достало. Сильно не достало. (Теперь, наученные, что патроны нужнее хлеба, они и нагрузились по пути от брошенного другими.) Т а м полк их лёг. Сохранилось из рот, ну, по дюжине человек. Да где по дюжине...

А полкового командира их, Кабанова, они взялись в Россию снести. В России похоронить.

Вот только это они рассказали. Раненый угрюмый поручик. И десятеро солдат. Из тех офицеров поручик, каких Ярослав не любил: наверняка картёжник и матерщинник с анекдотами сальными, несмешными. Но сейчас: как, значит, солдаты его любили, если с кряхтеньем и передышками, через моченьку несли! Что за герои! И что за бой это был, со штыками против пулемётов, против пушек! Сколько ещё в том бою надо было угадать, что Ярослав не мог!

Только это они рассказали. В круговой сплотке ещё минуту молча постояли, посидели. И вот-вот должны были разойтись по своим местам поднимать носилки: разный был путь на выход. Вот-вот должны были разойтись, но ещё одну доверчивую минуту медлили. (И задумал Ярослав, чтоб любимый его полковник взял под свою руку и этих дорогобужцев тоже, ну куда они сами? ну что ему стоит!)

А Воротынцев, и сам с такой же ссадиной кровяной на челюсти, ловя не именно эту доверчивую минуту, но ловя недознанное им в операции, уже раскладывал карту по иглам и шишкам, уже тянулся руками и мыслями к тому неизвестному дальнему погибшему полку:

— Т а м — это где ж вы могли стоять?.. Какой же дорогой вы прошли? Сколько вёрст?

И ещё раньше, чем от поручика, услышал от солдат:

— Да вёрст сорок будя...

— Може и больше...

(Сорок вёрст! — и несли! И как же веру их, силу их не поддержать?!)

Не много и поручик мог по карте, потому что все эти дни был без карты, знал только Деретен и компас на юг с расчётом на тот узкий межозёрный проход, которым и наступали прежде. А дальше и солдаты вперемежку не меньше могли объяснить: дубососновым лесом шли, горки да горки; *линию* переходили; хутор разорённый; лес долгий; перешеек, заросший сплошь; село с церковью; реку бродом; а дальше наших войск — тьмотемно, поперёк текли; да только...

Да только дорогобужцы из мёртвого полка уже как бы не относились к своему корпусу — расплатились с ним за всю войну. В тот Успеньин денёк они как бы уже перебыли все в мертвецах, и у кого ещё ноги двигались — вольны были теперь уходить, как хотят. Они своими животами небронеными уже прикрыли раз отход всех остальных и больше не были перед ними в долгу. Они не объясняли этого прямо, может и сами этого не охватили, но так выступало из их слов сказанных, а ещё — промолчанных, из их особого соучастья, как они разговаривали с чужим полковником, минуя своего поручика и — из двух пар носилок, по отшибным лесным местам пронесенных без ропота сорок вёрст. (По меридиану тридцать, а с извилинами натягивало больше сорока.) И так со своим бывшим корпусом они не смешались, его дорогу переступили, видимо, тайком — и просекали лес по своему отдельному замыслу, не подневольному, не по команде и погонке унтера и явно не по команде Офросимова, ибо не мог он приказать себя раненого сорок вёрст нести на плечах. Что там было до третьего дня между ними — взаимное порицанье ли, досада, недоброжелательство, теперь всё было прижжено тем смертным днём.

Так нехотя они свою тайну выговаривали, что лишь к концу сказали — а от кого бы скрывать? — что выносят они и знамя Дорогобужского полка. Оно обмотано по телу поручика.

У Ярослава защекотало в горле. Он завидовал Офросимову: вот именно так с народом слиться! вот с этой надеждой он и шёл на военную службу! А у него орёл Крамчаткин оказался и дурень, и стрелять не умеет, а Вьюшков — плут и вор. Если б смел, Ярослав шепнул бы сейчас полковнику, теребнул бы его тихонько: «давайте возьмём их с собой! какие благородные сердца!».

И кажется — полковник догадался! Уменьшая карту в подворотах, спросил громко:

— А когда вы ели, ребята? Есть будете?

Промычали. Будем.

— Вот хорошо, и нам нести меньше. Отходи-ка все вон туда, под деревья, и с поручиком, на просвете не надо. Арсений! Раздавай мясо дочиста́.

Благодарёв посмотрел, брови изогнул, кашлянул — так ли понял. Оттащил и свой большой цыганский узел. На колени к нему опустился, развязал, стал скотобойным ножом мясо отхватывать и раздавать.

— Да-а-а, тряхануло вас, мужички! Я смотрю — тряхануло.

Дорогобужцы оказались яро голодны, и лопатки говяжьей не должно было хватить на завтрак. Да было и кроме.

А Воротынцев отходил и смотрел в лицо покойного, поднимал покров. Тянуло и Ярослава подойти, посмотрить в лицо героя, уже отменное ото всего живого, а какими-то чёрточками ещё и то, с каким позвал он дорогобужцев в последнюю контратаку. Но неловко было соваться, не посмел.

Небо над соснами голубело, а там, где остался дымок нерастянутых облачков,— их забирало розовым. Опять занималось погожее тихое утро, не ведая никакой войны. Да близкой стрельбы и не слышалось, смутная далеко была.

— Я и чую — ты не тамбовский ли,— говорил Арсению пожилой, борода веником, рассудительный.— А уезда какого?

— Да Тамбовского ж! — всё на коленях, со всегдашней своей охотой отзывался Арсений.

Дивилась борода, но чинно, у него были повадки грамотного:

— А — волости? а — села?

— Из Каменки я! — радовался Арсений.

— Из Каменки?? Да чей же ты?

— Благодарёв.

— Какой Благодарёв? Не Елисея Никифорыча?

— Его!! Меньшой! — скалился Арсений.

— Так-таак,— одобрял старший земляк и достойно, не по-солдатски, оглаживал бороду.— Так я тебя знаю. А Григория Наумовича Плужникова знаешь?

— Ну как же! — чуть не обиделся Арсений.— Его и все батькой зовут, голова-а-а! А ты?

— А я — туголуковский.

— Туголуковский!! — раскидал Арсений ручища и всех звал подивоваться.— Так оттуда ж все кони добрые. И мы там покупали.

— Лунцов я, Корней.

— Да вас там пятьсот дворов, не перезнаешь.

И — все заулыбались, как породнились обе группы, и всем от того радость. Что́ там в одном полку, если деревни рядом!

— А вон ещё у нас тамбовский — Качкин! — показывал Лунцов на мрачноватого боровка лет тридцати, с широкой головой, слишком широкими плечами, короткими руками, а спина и грудь — подлинно колесом, но не по-бабьи выпирающая грудь, а по-мужичьи, хоть в соху его запрягай.— Только он дальний, иноко́вский.

— Хо-о-о,— отмахнулся Арсений,— й-иноковский! Это с Вороны, что ль?

— Ну. Слышь, Аверьян, вот с волости соседней парень.

Качкин исподлобья, но одобрил:

— Хорош землячок, подкормил.— Сощурил глазки, и без того маленькие, а хваткие: — А нож — кинь!

— Зачем тебе?

— Немца колоть.

— Так и мне!

— Так у тебя не один.

Не один был у Арсения, да, он с запасом взял. Но и — чужим солдатам отдавать? Оглянулся на своего полковника.

А Воротынцев — на Качкина, на колесо его от груди к спине.

— Дай.

Не — дал Арсений, не — встал подать, не — протянул. А как стоял на коленях шагов за восемь от Качкина — размахнулся и метнул нож мимо плеча чьего-то,— и у самой Качкина ноги, обдирая сосновый вздутый корень, врезался нож в землю стоймя.

Качкин выдержал, не убрал ноги. Вытаскивая нож, сказал:

— Ничего, подходяво. За танбовского сойдёшь.

И посмотрел лезвие на свет, с жала.

— А костромских нет? — спросил Воротынцев.

Нет. Воронежский. Новгородских двое.

Медленно, внимательно пересматривал их всех полковник. Один гусак насупленный в счёт не шёл. Один ласковый, услужливый так и просился — встать, доложить, ответить.

— А ты откуда?

Подскочил, засиял:

— Архангельский, ваше высокоблагородие, Пинежского уезда. Монастырь Артемия Праведного у нас, может, слыхали?

— Сиди, сиди.— Дальше смотрел. И увидел крупноокого запасника с той бородой, какую бороной расчёсывают.— А ты?

Не вставая, как беседуя, ответил с важностью:

— Олонецкий.

Он и ел непроворно, глаза переводил неторопливо.

Воторынцев выглядел озабоченно.

— Поели? А вода дальше будет, озерко малое. А ноги как у вас? — Отвечали, но он не об этом думал. Объявил, но как-то некатегорично: — Если хотите, можете с нами идти.

Харитонов просиял. Да не могло же быть иначе!

— Выходить придётся н-ночью,— всё озабоченнее объяснял Воротынцев и не на поручика глядел, а пересматривал солдатские лица, больше — на Олонецкого, на Лунцова, на Качкина.— Сегодня же, ночью. Придётся шоссе переходить. Это сложно будет. А после шоссе, наверно, бегом бежать.

На отдалённом пне сидел прямоголовый сообразительный Ленартович и в испуге смотрел на Воротынцева: слишком рано он составил о нём мнение как об умном человеке. Он не спятил ли? Если от шоссе бежать — как же тащить этого поручика на носилках? А уж труп зачем волочить, что за обряд дурацкий? Ну и перестреляют всех. Живым погибать для мёртвого? Неужели он так их и возьмёт?

Именно это и восхищало Ярослава, это нерасчётное упрямство и было самое трогательное: что мёртвого они несли, что полкового командира даже мёртвого не хотели оставить чужой земле! И почему полковник мялся, тоже понимал Ярослав: тут странная была группа, не армейское что-то, отношения не подчинённости, но доверия, не поручик Офросимов командовал ею, а как бы сама собой она командовала, оттого и спрашивать надо было самих солдат.

Воротынцев оглядывал их. Солдаты молчали.

Ну, правильно, понял Ленартович, тут сложность в том, что поручик Офросимов всю дорогу не мог велеть полковника бросить, а себя нести: если подрубить это наивное убеждение, его и самого могли бы оставить. Но Воротынцев-то волен приказать похоронить, да и поручика нести ещё подумать надо.

На пнях, на земле, на скатках — вразброс сидели дорогобужцы, и было бы это как собравшийся деревенский мір — если б не две пирамидки винтовок. А Воротынцев — деятельный, уверенный, непреклонный полковник — стоял обмявшись, на расставленных ногах, руки плетьми, из-под козырька поглядывал. Поглядывал на дорогобужцев. И молчал.

И солдаты молчали, не все смотря на полковника — кто и в землю, кто на носилки одаль.

Когда полковник, ещё раз обглядывая всех, остановился на Корнее Лунцове, тот провёл по серой веничной бороде, всю её никак одной рукой не захватывая, и спросил со значением:

— А — сколько ещё до России вёрст, ваше высокоблагородие?

Далась им Россия, чучелы, будто немцы туда прийти не могут! Пулемётов они не понимали, только вёрсты. Если полковник уступит, надо Саше эту группу бросать.

А Качкин короткоухий какую-то кривулину корневую с руки на руку перебрасывал. Так — и так. Так — и этак.

Ещё проверил Воротынцев стоялый озёрный взгляд Олонецкого — и вот уже выпрямился из колебаний, вскинулся и, чётко:

— Хорошо, выступаем! Прапорщик! — сощурился на гордую голову Ленартовича.— Мы с вами сменим двоих под покойным.

Как пришпилил. Вздорная игра, а состояние безвыходное, ничего и не возразишь. Саша повёл головой, как бы не веря. Плечами пожал. Поднялся медленно. Ступнул не сразу, к носилкам. Погребальное шествие, идиоты.

— Я тоже, господин полковник! — беспокойно вытянулся Харитонов, но Воротынцев рукой отклонил.

Вместе с Ленартовичем они взялись за передние жерди — и подняли, лучше и хуже угадывая хватку задних. По росту ровни, пошли, попадая в общий лад, чтоб раскачки не было. Вчетвером не очень было тяжело, но неудобно, спотычливо.

Хотя и неприязненно, с видимым подозрением, принял вчера полковник Ленартовича, но Саша за вечер и за ночь оценил как удачу, что встретился с ними. *Этот*, пожалуй, выведет. Такие изнурительные часы настали, все силы отбирая движеньем и опасностью, что отдаться умелой воле успокаивало и отуп-

ляло: не искать, не беспокоиться, а делать и шагать, как скажут. К тому же с первых минут Саше нетрудно было заметить, что этот яснолобый полковник — какой-то редкий среди офицеров тип: по-настоящему, кажется, интеллигентный, образованный человек. А с другой стороны, если он истинно-образованный, да ещё имеет власть,— как же мог он поддаться тёмному немому завету этих диких запасных из нечёсаных углов России? Ну, пусть как серьёзное что-то выносили знамя — тряпку казённую, никому не нужную, всеми уже осмеянную, но она хоть не весила ничего, да вот что: она была хороший предлог для Офросимова, чтоб его самого тащили. Но:

— Господин полковник! Зачем же всё-таки мёртвого нести? Ведь это дикость.

Они шли впереди, и слышать их только и могла бы третья голова за самыми их плечами, затылком вниз, покачливая на ходу.

Воротынцев не возразил.

— Какая ж это современная война? — смелел Саша.

Живые, умные у него были глаза, перед которыми не отделаться тупой армейской отговоркой. Но имел Воротынцев тон, чтоб и такие глаза моргнули:

— Современная война встретит нас на шоссе, прапорщик. Вы бы прежде подумали — чем будете стрелять? Этой пукалкой не настреляешь.

Может быть и верно, но всё это увёртка. А вот на главное возвращал его Саша:

— Сейчас вы заставляете нести труп, потом прикажете нести этого поручика, наверняка черносотенца, по лицу вижу.

Саша рассчитывал — полковник расседится. Нет. Так же отрывисто, и даже думая будто о другом:

— И прикажу. Партийные разногласия, прапорщик, это рябь на воде.

— Пар-тийные — рябь?? — поразился, споткнулся Саша, извернулся под жердью. Два-три пути возражений сразу открылись перед ним, но наступательный был наилучший: — А тогда что ж национальные? Не рябь? А мы из-за них воюем? А какие ж разногласия существенны тогда?

— Между порядочностью и непорядочностью, прапорщик,— ещё отрывистей отдал Воротынцев. И внешней свободной рукой приподнял, расстегнул планшетку, на ходу смотрел то под ноги, то в карту.

Да не из принципа только, не из принципа даже, а: совсем не просто, очень трудно было нести носилки, как будто двойной человек на них лежал, резала жердь плечо, всего тебя клонила пригнуться, и уже задний солдат окликнул:

— Повыше, ваше благородие!

Саша всю жизнь развивал мозг, то было важнее, а тело — некогда. За эти последние дни он ещё истощился. Зубы сжимая, он нёс и загадывал, до какого дерева донесёт, а там попросит его сменить. Потом добавлял ещё прогон.

Между тем слева приоткрылась поляна — и солнце уже почти открыто ударило в них поверх дальних вершин. Опять вступили в просеку, темноватую от частых сосен. Просека стала подниматься, подниматься, ещё труднее нести, сердце выколачивалось,— а полковник направил и с просеки свернуть и ещё круче подниматься, прямо лесом идти, между соснами,— правда, они реже стояли здесь, расчищено было от хвороста, от подроста, и повсюду свободно идти по мягкому ковру игл, только от шишек неровному. Не на подъёме ж было отказываться, терпел Саша дальше. А когда поднялись, то и сам полковник чуть раньше скомандовал:

— Стой! Опускаем.

Они оказались в глуби леса на открытой гряде, в утреннем солнечном боковом просвете. Сосны стояли здесь редко, на бронзовых, иногда дуговатых стволах, на возвышенных раскинутых ветвях держа свои сквозистые крупнохвойные шапки. Раннее солнце уже теплило стволы — и до позднего вечера весь обход не должно было уходить отсюда. Должны были белки любить это место, в весну — тянуться сюда зверьки на первые обсохи: здесь быстрее всего сходит снег, и никогда не стоит вода. А назад, откуда пришли они, гряда спадала просторным длинным склоном в просторную же впадину, и туда по чистым иглам между чистыми соснами хоть боком прокатывайся.

А ещё выступал из гряды отдельный холмик. К нему-то и поднесли носилки.

Ничего не объясняя, Воротынцев постоял, осмотрелся и дал другим осмотреться. И тогда уже не в колебании и не тоном упрашивания, но уверенно объявил дорогобужцам:

— Ребята! Полковника Кабанова мы похороним здесь. Лучшего места не будет. А немцы — не нехристи.

И — пересмотрел, пересмотрел дорогобужцев. Добавил тихо:

— Иначе нельзя. Не выйдем.

Что не выговаривалось и не принималось на серой рассветной вырубке в низине и при первой встрече — то здесь, на радостной высоте, в ласковом утреннем солнце, в первом разогревном смольном запахе, и от того, кто сам эти носилки понёс,— принялось, уложилось. Та сумрачная тень на лицах — вины, не вины, отчего бы вины? оттого ли, что столько умерло, да не они? — ту тень прорвал им чужой полковник. И вот — не было сопротивления на лицах.

Олонецкий снял фуражку, повернулся к востоку; про себя молясь, перекрестился истово; поклонился поясно; отпустил:

— Бог простит.

И другие иные перекрестились.

Воротынцев, ни мига не медля, окликнул:

— Арсений, где твоя лопатка? Начинай. Вот тут.— Показал на холмик.

Всем снабжённый, ко всему приспособленный, на всё всегда готовый, Благодарёв безунывно отстегнул сапёрную лопатку, как если б к этой работе только и шёл сюда, взошёл на холм — там был простор и всем собраться, стал на колени, хоть сколько-то ноги укорачивая, и врезался, где не было корней.

И у дорогобужцев оказалось две лопатки. Давно самый готовый к делу из них, подкатился быстро Качкин тяжёлым комом и, начиная тоже с колен, стал бить и выбрасывать, бить и выбрасывать землю — с дикой силой, без всякого передыха.

— Здóрово, Качкин, берёшь! — отметил Воротынцев.

Качкин задержался, оскалился с колен:

— Качкин, вашвысбродь, по всякому может. И — так могу.

И вот увальнем, из силы последней, с недохваткой дыхания, больной толстяк, еле-еле ковырялся, еле-еле вынимал на кончике лопаты.

— И ничего не докажете! — кольнул кабаньими глазками. И тут же опять — пошёл, пошёл долбать, только земля замелькала, как будто сама та сказочная лопата ходила, что за ночь воздвигает дворцы.

И так — и так мог Качкин. И так — и этак.

А Лунцов с напарником пошли нарубить и сплести крышку для носилок, чтобы сделать их гробом.

Такой был цельный обширный лес, что война, бушуя вокруг, сюда, в эту глубь, за всю неделю не заглянула ничем: ни окопчиком, ни воронкой, ни колёсным следом, ни брошенной гильзой. Разгоралось мирное утро, сильнел смоляной разогрев, приглушённо перещебетывались, молча перелетали августовские успокоенные птицы. Обнимало и людей безопасное вольное чувство: будто и окружения никакого нет, вот похоронят — и по домам разойдутся.

Могила готова была. И крышка к носилкам готова.

Но как-то надо ж было отпеть? какой-то кусочек панихиды? Слыхивал Воротынцев панихиды не раз — а повторить или другим указать ничего не мог, дело это было офицеру стороннее, священское, не запоминалось.

Его нерешительный взгляд перенял Арсений — он рядом стоял и потягивался, спину разминал. Перенял — и сообразил ведь! — никаким образовательным развитием не созданная, такая уж была быстрая сметка у парня. А ещё за эти трое безмерно наполненных суток установилась между ними бессловесная неоговоренная взаимная область разрешенья и прав, вообще невозможная между полковником и нижним чином, да ещё при разнице в годах. И вот, ни слова приказания не получив, ни слова предложенья не высказав, Арсений, уже принимавший столько разных выглядов, для каждого дела свой, ещё принял новый: выпрямился, приосанился, переимные от кого-то важность и строгость появились в лице и в голосе.

Фуражку снял, швырнул за себя, не глядя. Спросил у всех, ни у кого, брови нахмуря, как имеющий власть, голосом не будничным, возвышенным:

— Как покойника звали-то?

А солдаты — и не знали, солдатам — «ваше высокоблагородие» сунуто. И никто б не знал, если б не Офросимов. От земли, со своих носилок, ответил взнесенному нижнему чину:

— Владимир Васильевич.

И тут же шагнул Благодарёв к покойнику, наклонился, снял платок с лица — за пять минут до того не дерзнул бы. С выпяченною грудью, с головой прямой обернулся к восходу, к солнцу — и чистым сильным голосом и точною дьяконской манерой воспел до высоких сосенных вершин:

— Миром Господу по-мо-лим-ся!

Так это было властно, сильно и точно по-церковному, что приглашенья не требовалось больше,— и Олонецкий, и Лунцов, и ещё человека два сразу поняли и тут же отозвались, закрестились, поклонились востоку каждый на том месте, где стоял:

— Господи поми-луй!

И первым же, всех зычнее, пел среди них Арсений, из дьякона тут же перейдя в первый голос церковного хора. А отпев — перешёл снова в зычного, сочного дьякона, с удивительной мерою ритма, интонации, речитатива,— не умея повторить, Воротынцев узнавал с несомненностью:

— О новопреставленном рабе Божьем Владимире — покоя! тишины! блаженныя памяти его, Господу по-мо-лим-ся!

И уже всех захватывая, и офицеров, уже все собираясь к покойному, с головами обнажёнными и лицами к востоку:

— Господи поми-лу-уй!

Сколько ж сторон и объёма во всяком человеке, вот в молодом крестьянине из глухого тамбонского угла: три дня с ним вместе идёшь через смерть, потом бы потерял навсегда, так бы не узнал, не догадался, не задумался, если бы не случай: он в церковном хоре поёт, и не один же год, наверно, и к службе прислушан, и это нечто важное в его жизни, любит, знает — эк ведь выгоаривает до точности в каждом звуке и в каждой паузе, с полным смыслом, все интонации верные:

— О неосужденну предстати у страшного престола Господа славы, Господу помолимся-а-а!

Поднесли и Офросимова, поставив лицом к востоку. Он сидя крестился и тоже пел. И Харитонов, теперь увидевший загадочное лицо героя, пел, ощущая слёзы, но слёзы освобождающие:

— Господи поми-и-лу-уй!

И дальше властно вёл дьяконский голос, не стесняясь чужбинным лесом:

— О яко да Господь Бог наш учинит душу его в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу по-мо-лим-ся!

Отчасти уже сбывалась молитва: для тела уже вот и было учинено такое светлое покойное место.

Все на восток, только и видели в спины друг друга — и невидим был лишь последний, самый задний, не подпевший ни разу, с кривоватой улыбкой сожаления, но всё же голову обнаживший Ленартович. Зато перед всеми стояла, в поясных поклонах нагибалась и распрямлялась гибкая сильная спина Благодарёва, лишь потому не широкая, что ещё и длинная. И привольны, отсердечны были крестные взмахи его сильной длинной руки, готовой и к работе и к ночному бою за жизнь:

— Милости Божия! Царства небесного! И оставления грехов испросивши тому и сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу пре-да-дим!

И — выше солнца, выше неба, прямо к престолу Всевышнего четырнадцать грудей мужских напевом проверенным, голосом слитным, вознесли уже не просьбу свою, но жертву, но отречение:

— Те-бе-е, Гос-по-ди-и-и!..

51

Потеряв командование, перепутавшись родами войск и частями, заняв лесные дороги во всю ширину и по обочинам, в глубине леса русские двигались ещё спокойно. Но всякий выход на просвет, на большую поляну, на перелесье, к деревне — был встречаем стрельбой. Одна стрельба вызывала другую: приняв своих за немцев, стреляли и по своим.

На рассвете 17-го августа голова беспорядочной колонны вчерашнего 13-го корпуса была встречена на опушке, за пятьсот шагов до деревни Кальтенборн, орудийным и пулемётным огнём. Утверждённого сводного командования не было, но оказался в авангарде полковник Первушин, и с доброхотными случайными помощниками от разных частей развернул на выходе из лесу несколько пушек, оказавшихся тут, они открыли огонь, а сам он пошёл со сводною ротой и развёрнутым знаменем Невского полка в атаку на деревню. Немцы бежали, оставив четыре орудия.

Однако вся завоёванная кальтенборнская поляна была — верста на версту, и снова предстояло углубляться в лес. А через две версты — опять выходить на просвет, к деревне, опять под обстрел, уже точно расставленный по просекам и дорогам. Михаил Григорьевич Первушин, со службой и годами нисколько не утративший солдатского естества, стал душой и следующего прорыва. Он так всегда был слитен с солдатами, что не мог вести их на невозможное, а если уж вёл — не могли за ним не идти. В первушинском авангарде была перемесь невцев, нарвцев, копорцев, звенигородцев. Две неполных батареи следовали за ним, средь них и Чернега.

Вновь расставили свои немногие снаряженные пулемёты и пушки, открыли внезапный беглый огонь — и так же бросились в атаку. Опять Первушин бежал впереди и получил штыковую рану. Неожиданный прорыв русских и тут оказался так крепок, что немецкий заслон, силою в полк, кинулся в бегство, оставив многие пулемёты и двадцать орудийных стволов, иные с полной запряжкой.

В этом ратном труде, как выражались наши предки, у первушинского авангарда прошёл весь день. Дорога на выход ещё была длинна, лесные вёрсты, немецкие заслоны один за другим, завалы, колючая проволока; пулемёты по просекам и пушки на проходах поджидали свои столпленные нестройные жертвы. Едва высовывались русские на прогляд, на прострел — немцы окатывали их всеми видами огня. С каждой удачей становилось русским всё труднеей и труднеей: меньше телесных сил, больше голод и жажда (колодцы завалены), меньше снарядов и патронов, больше раненых, сильней заслоны, а надежда вся — только на штыковую атаку.

Было уже за полдень далеко. Многолюдная с утра, колонна обтаивала. Безумеющие люди теряли разум действий и надежду.

Перед последним рывком полковник Первушин, уже раненый дважды, и всё штыком, приказал подпрапорщику...

экран

= а тот — с полковым знаменем, сейчас свёрнутым.
Это такой человек — сам никогда не откажется, с ним и ляжет.
= Первушин, одна рана перевязана, другая нет, машет неповреждённой
рукой: снимай!
Стрельба. Рвутся поблизости снаряды.
= А знамя — георгиевское, вделан крест в прорезную пику древка.
= Знаменщику — жалко. Душа болит. Крестится.
Снимает знамя. Древко передаёт
помощнику. Тот отламывает овершье. А палку,
палку простую — бросает...
= С лопатой они понуро уходят
= закапывать. Роют ямку,
оглядываются на приметы, деревья.
Вершины деревьев вздрагивают
при взрывах. Гудит всё. И в этой музыке
= Первушин сидит на пне,

просто так сидит, думает.
Мы близко видим
= его, и его движенья, осторожные из-за ран. Кровь на лице, на шее, на кителе.
Фуражка пробита. Набекрень, неуставно.
Совсем опущены его диковатые усы. И выкат глаз уже не дерзкий, не шутливый — безнадёжный.
Ни с кем он не разговаривает, никто к нему не подходит. Минуты думанья, может быть последние за пятьдесят четыре года жизни.
Разрывы. Гул стрельбы.
Поворот головы
на знаменщика. Тот докладывает: всё в порядке. Закопал. Как сердца кусок.
= И с усилием (себя-то самого как поднять?!):
— *Штабс-капитан! Грохолец!*
= Вот и знакомый наш Грохолец, без фуражки совсем, и видно, как он лыс: всё голо, только на макушке гладкий островок да два на теменах. Ведь он далеко не молод, откуда ж эта подвижность, готовность? Да у таких худых бывает. Всё так же взвинчены усы, но может быть — с отчаянием.
Первушин ему:
— *Ну что ж, попробуем? Собирайте, кто винтовку держит. Командуйте пулемётам.*
Грохолец. Хорошо, попробуем. Сейчас. Ничего. Мы можем.
Поднимается Первушин. А — не мал уродился. А — грозен.
Отец! За этим пойдут.
И фуражкой — два взмаха.
= пушкам. Две пушки, уже готовы к бою, но
в глубине за деревьями, и облеплены усиленной прислугой — чтоб выкатывать их на край леса.
Тут и Чернегу видим, он гол до пояса. Как наложенные, как налепленные змеи плечевых мускулов,
а всё та же головка сыра с короткими усами, но свирепая:
— *Взяли, браты! пá-катили!*
Покатили! Покатили!
Хруст, лом, топот. И — отчаянный голос, его, не его:
— *Беглый! А-гонь!*
Ударили! И пулемёты наши, где-то близко. Уж сколько есть, уж чем осталось.
Сзади, в спины,
= через крайние деревья видим: по мелкому подлесью, промеж сосенок мелких
побежали наши, побежали.
Офицерики, конечно, впереди — и шашечками поднятыми струят над головою —
жест беспомощный, совсем не опасный врагу, а для своих: не отстаньте, ребята, мы же все заодно!
И рядом с бегущими.
= Не атака — а спотычка.
А кричат, что от «ура» осталось:
— *А-а-а-а-а...*
Тащат винтовки со штыками, но еле тащат, где уж ими колоть!
Вот один — кувырк.
Убит? Нет, отдохнуть лёг за сосенным молодняком: бегите уж без меня, я — весь, сожду судьбы и так.
И шашки офицерские — трепещут как подбитые, сейчас свалятся.
Пулемётный тук.
= Падают наши! Ах, падают, винтовки роняют... Как случилось? Одна штыком в землю воткнулась, а прикладом качается,
прикладом качается.
= Грохолец трогательно бежит, по лысине сзади

узнаём.
Неужели подобьют? Бежит!
= А ещё впереди, всех обогнав,— высокий
Первушин. Снова грозный,
на нас!
с усами страшными,
с винтовкой, штык наперевес!
И споткнулся
о низкую проволоку, незаметную.
= А из окопчика, из укрытия, навстречу,
немец здоровый, штыком
подсадил
его, верхнего, страшного полковника!
Третья штыковая! Это надо же!
Рухнул полковник Первушин.
Пулемётами, пулемётами
= разрежается русская атака,
посеклась,
завернулась.
= И на краю леса озверённый кругломускульный Чернега видит: уже не стрелять надо, а тикáть.
И, вспрыгнув на пушечное колесо,
выаинчивает панораму, а по знаку его
отнимают замки от орудий —
= и с ним побежали
все в лес,
в глубину! назад...

52

Сам генерал Клюев не был ни в голове корпуса, где Первушин, ни в арьергарде, где Софийский полк отбивался в стошаговом лесном бою,— он держался середины колонны, и путал, и метался, мотал её, от каждого заслона отворачивая. Кольцо окружения казалось ему неразрываемым, и некому было собрать полкорпуса на прорыв.

Остатки нашей артиллерии действовали сами собой: меняли позиции, стреляли прямой наводкой, где видели противника, при бегстве оттягивали орудия или покидали их. А тут ещё широкая болотистая речная полоса со многими канавами перегораживала русским путь там, где расступался грюнфлисский лес, и в этой болотистой низине тонула артиллерия, тонули обозы. И хотя по прямой уже видно было шоссе, и дойти до него было три версты,— уклонялись части опять на восток в сторону недостижимого Вилленберга, искали переход по сухому. Поток отступающих таял, каждый час исчезали куда-то не сотни, но тысячи. Беспорядочная толпа вокруг Клюева выкатилась на поляну близ Саддека, попала под перекрестный шрапнельный огонь, шарахнулась назад в лесок.

И тут — исполнилась чаша терпения единокомандующего окружёнными центральными корпусами. *Во избежание напрасного кровопролития* велел генерал Клюев поднять белые флаги — при двадцати батареях, протащенных, прокруженных черезо всю Пруссию! — и против восьми батарей противника. С рассыпанными десятками тысяч по лесам — против шести батальонов в этом месте.

Золотые слова: «во избежание кровопролития». Каждый человеческий поступок всегда можно огородить золотым объяснением. «Во избежание кровопролития» — благородно, гуманно, что на это возразишь? Разве то, что надо быть предусмотрительным и во избежание кровопролития не становиться генералом.

Но — не оказалось белых флагов! Ведь их не возят по штату вместе с полковыми знамёнами.

Это было на поляне, близ выхода из лесу.

экран

= Всё, что колёсное есть — обозное, артиллерийское, санитарное, забило поляну без рядов, без направления.
На двуколках, фургонах — раненые,
сёстры и врачи.
Что попало на телегах — оружие, амуниция, вещи, может и захваченные у немцев...
Пехота стоит, сидит, переобувается, подправляется...
Верховые казаки стеснёнными группами...
Разрозненная артиллерия...
= Обречённая военная толпа.
= А вот и генеральская группа, верхами.
И казачья конвойная сотня при ней.
= Генерал Клюев. Напряженье держаться с внешней важностью. Смотреть с важностью, бровями двигать (а иначе ведь и слушаться перестанут):
— *Вахмистр! снимите нательную рубаху.*
Вздеиьте на пику! Выезжайте медленно
к противнику.
= Вахмистр — как приказано. Пику передал соседу, снимает рубаху верхнюю, снимает рубаху нательную...
= и вот уж одет, а рубаха — белым флагом на пике. Ехать?
Но что-то гул.
= Это — казаки между собой гудят.
= Вахмистр смотрит на них, замер.
И Клюев на них оборачивается.
Тише гул.
Клюев машет,
и вахмистр с белым флагом отъезжает.
Громче гул.
= От другой казачьей группы, подальше:
— *А мы — сдюжаем!*
— *Казакú не сдаются!!.. где это видано?*
Да не Артюха ли Серьга, плут забиячный, кругловатый, фуражка кой-как, из-за чужой спины кричит дерзко, разносисто:
— *Вилять — не велят!*
= Клюев — черезсильным окриком (а уверенности — никакой):
— *Кто там командует?*
= И выезжает вперёд с капитанским беззвёздным погоном изгибистый, стройный, вьющийся в седле офицер. Лицо литое, черноглазый,— никакого почтения! — ах, сидит! ах, избочился, пальцы на сабельной рукояти:
— *Сорокового Донского е-са-ул Ведерников!*
Посмотрел на генерала — добавлять ли?
И ничего не добавил.
Новый гул, новые восклицания.
= Клюев оглядывается, оглядывается...
на пехоту, на столпленье людское.
Кто как, кто слаб, кому хоть и сдаться,
а этот солдат кричит, за затылок взявшись, фуражка сбилась, где вся дисциплина? Где форма? —
— *Чего это? в плен? а мы — не изъявляем!*
Поддерживающий гул.
соседних с ним солдат.
И их подполковник идёт, прорезая толпу, обходя телеги,
к верховному генералу,

оборот:
= сюда, к нему, снизу вверх, как покуситель на царя, вот выхватит пистолет и застрелит. Руку вздёрнул —
нет, честь отдаёт:
— *Подполковник Сухачевский, Алексопольского полка! Вы приняли командование и 15-м корпусом тоже! Вы обязаны выводить нас... генерал!*
Снизу вверх — простреливающе, с презрением.
= Уже и — не превосходительство... И нет твёрдости возражать. Клюева мутит. Глаза закрыл, открыл —
стоит Сухачевский, не уходит.
Да разве генерал не понимает! Да разве ему самому легко? Но — во избежание кровопролития?..
Ну, да он ни на чём не настаивает. Со слабостью:
— *Пожалуйста... кто хочет — пусть спасается. Как умеет.*
Вынул платок, лоб отереть. А отерши, смотрит:
= платок! он — белый! он — большой, генеральский платок!
= И, взяв его за уголок, подальше от неприятностей с этими подчинёнными, перед собой спасительно помахивая,
шагом конным поехал к опушке, сдаваться,
вослед вахмистру с рубахой.
= И — весь штаб за ним, кавалькадой.
И — потянулись, кому скорей бы конец...
скорей бы конец...
скорей бы...
= А близ лазаретного скопленья
врач с лошади командует:
— *Внимание! Командир корпуса объявил о сдаче. Все, кто рядом с моим лазаретом,— бросай оружие! Бросай!*
= Недоуменный маленький солдатик, винтовку
нянча:
— *И куды ж её бросать?*
— *Под деревья кидай, вон туда!*
А из фургона, из-под болока, выбирается в одном белье раненый, перебинтованный:
— *Да ни в жисть! Дай винтовочку, землячок!*
Забирает у недоуменного. И —
зашагал в одном белье, с винтовкой.
= А другие сносят, бросают...
бросают...
под крайние деревья, наземь.
= Лица солдатские...
и раненых...
Но — голос боевой, звончатый:
— *Эй, казакú!*
= Это — есаул Ведерников, выворачивая коня к
своим:
— *Нам тут не место!*
= Ну, и донцы его стоют! Нет, не сдадутся!
Гул одобрительный, воинственный.
И Артюха Серьга зубы скалит. Что-то в нём симпатичное, когда мы теперь его увидим?
= И командует Ведерников:
— *Все — на коней!.. справа по три... малым намётом... марш!*
Махнул — и поехал. И за ним
на ходу — по три, по три, по три разбираясь, поехали казаки.
= И подполковник Сухачевский, он низенький, ему через головы не так сподручно:
— *Алексо-опольцы!.. Сдаёмся? Или выходим?*
= Кричат алексопольцы:

— *Выхо-одим! Выхо-одим!*
Может и не все кричат, а сильно отдаёт.
Сухачевский:
— *Никого не неволю. А кто идёт —*
выставил руку:
— *...становись по четыре!*
Пробиваются солдаты, разбираются по четыре.
Кто бы и остался, кто на ногах еле —
да ведь с товарищами!
= Ещё к нему валят:
— *А кременчужцам можно, вашескродие?*
Грозно-счастлив Сухачевский:
— *Давай, ребята! Давай, кременчужцы!*

Генерал Клюев сдал в плен до 30 тысяч человек, большинство не раненых, хотя много нестроевых.

Подполковник Сухачевский вывел две с половиной тысячи.

Отряд есаула Ведерникова вышел в конном бою, захватив два немецких орудия.

53

Генерал Благовещенский читал у Льва Толстого о Кутузове и сам в 60 лет при седине, полноте, малоподвижности чувствовал себя именно Кутузовым, только с обоими зрячими глазами. Как Кутузов, он был и осмотрителен, и осторожен, и хитёр. И, как толстовский Кутузов, он понимал, что никогда не надо производить никаких собственных решительных резких распоряжений; что *из сражения, начатого против его воли, ничего не выйдет, кроме путаницы; что военное дело всё равно идёт независимо, так, как должно идти, не совпадая с тем, что придумывают люди; что есть неизбежный ход событий и лучший полководец тот, кто отрекается от участия в этих событиях.* И вся долгая военная служба убедила генерала в правильности этих толстовских воззрений, хуже нет выскакивать с собственными решениями, такие люди всегда ж и страдают.

Третьи сутки корпус благополучно отстаивался в тихом пустом углу у самой русской границы. У командира корпуса, отделясь от штаба, был маленький деревенский домик, успокаивающий своей теснотой. Лишь иногда смутно слышался дальний слитный артиллерийский гулок, и можно было надеяться, что все важные события в Пруссии пройдут без корпуса Благовещенского.

А отдыхающий корпус не знал, что всё его благоденствие создаётся умелыми ловкими донесениями корпусного командира. Упустил и Лев Толстой, что при отказе от распоряжений тем пуще должен уметь военачальник писать правильные *донесения;* что без таких продуманных решительных донесений, умеющих показать тихое стоянье как напряжённый бой, нельзя спасти потрёпанные войска; что без таких донесений полководцу нельзя, как толстовскому же Кутузову, *направлять свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их.*

Так и в донесении за 16 августа благообразно представил Благовещенский, как дивизия Рихтера, наконец пополненная своим задержанным полком, выдвигается назавтра для овладения городом Ортельсбургом (за два дня до того покинутым в панике и никому), где находятся крупные силы противника не меньше дивизии (две роты и два эскадрона), а дивизия Комарова держится слева *на уступе* (важное модное выражение русской стратегии, без которого несолидно выглядит военный документ). Также и все передвижения кавалерийской дивизии Толпыги очень украсили это донесение, и вполне мог рассчитывать Благовещенский без волнений пережить ещё и 17 августа.

Утром 17-го по всем правилам оперативного искусства разворачивалась против полупустого Ортельсбурга ни одного боя ещё не перенесшая дивизия Рихтера и уже подступалась для атаки, открыла артподготовку и обязательно город бы этот взяла,— как вдруг в 11 часов грянуло с пятичасовым опозданием утреннее распоряжение штаба фронта: корпусу Благовещенского идти выручать погибающие корпуса, для чего не к Ортельсбургу двигаться, почти на север, а к Вилленбергу, почти на запад. «Главнокомандующий требует энергичного выполнения поставленной задачи и скорейшего открытия связи с генералом Самсоновым.»

Вот этого Благовещенский и опасался! Край смерча прихватывал их при конце — но и при конце не поздно погибнуть.

Однако сама оперативная задача допускала свободу истолкования. По расположению сходно было, как если бы войска подходили к Москве от Рязани, а им велено идти на Калугу. И ничего не придумать стройней и удобней, как снова отойти к Рязани, а потом идти на Калугу. И победоносной рихтеровской дивизии, уже входившей в Ортельсбург, дал Благовещенский распоряжение покинуть взятый город и не идти налево на Вилленберг, но отступить направо назад 15 вёрст, а затем уже, с разгону, идти на Вилленберг.

Но ещё прежде этих манёвров Благовещенский послал энергичное донесение в штаб фронта:

«Для отыскания генерала Самсонова послан *разъезд* в Найденбург, для связи с 23-м корпусом послан *разъезд* в Хоржеле. Сведений пока нет. Веду бой у Ортельсбурга, рассчитываю отойти на линию... со штабом в...— (тут и штабу ведь придётся отойти),— *чтобы* действовать в направлении на Вилленберг.»

Естественно было использовать для наступления и конную дивизию Толпыги — хотя бы двинуть её туда, откуда она поутру самовольно вернулась. Но генерал Толпыго в таком же умелом пространном рапорте обстоятельно объяснил, что его уставшая дивизия только что расседлала коней и не может двигаться на повторение трудной задачи. Благовещенский отдал вторичный письменный приказ, Толпыго вторично письменно отказался. Только на третий раз и уже с угрозами приказ был принят, и стали седлать.

Теперь, когда вся сложная часть манёвра была обеспечена, пристойно было кого-нибудь послать и прямо на Вилленберг. Для этого хорошо подходил сводный отряд под командованием Нечволодова. С той самой порочной манерой вылезать, которую осуждал Благовещенский, Нечволодов вчера, во время мирной дневки, уже добивался такого рейда, но указано было ему ждать распоряжений. Таких-то людей в своём подчинении Благовещенский больше всего не терпел, старался наказывать их, утяжелять им службу. А Нечволодов был сверх того ещё и *писатель*, уж вовсе лез не в своё дело судить за пределами службы. Так наилучше подходил он для опасного авангарда.

После полудня 17 августа он был отпущен с Ладожским полком и двумя батареями. Приказано было ему поспешить, а главные силы дивизии тронутся позже.

54

Не быстрота была первым свойством генерала Нечволодова, но твёрдость. А замечал он в жизни не раз, что с твёрдостью бываем мы у цели не позже, чем при быстроте да шаткой, переклончивой на несколько дорог.

Цель же его была — не отдельная, не своя собственная. К пятидесяти годам холост, одного усыновлённого сына без натуги выводя в жизнь, он имел и досуг, и личную свободу служить цели внешней, надличной,— и никакая собственность, недвижимость не мешала ему. Такая цель у него была, от детского порыва в военную гимназию, от первой юнкерской присяги в год низкого убийства царя-освободителя,— служить русскому трону и России. И за сорок лет эта цель в его глазах не ослабла, не раздвоилась, не пошатнулась, только изменился ритм, в котором он ей служил. По молодости он спешил двумя руками сворачивать горы в одиночку, обгонял проторенный общий порядок офицерского учения, а едва кончив академию, предлагал реформу генерального штаба и военного министерства. Но тогда ж и на том его необыкновенные служебные успехи были пресечены. Впервые тогда он столкнулся с единым к себе недоброжелательством старших офицеров, генералов и гвардии. Ото всех от них Нечволодов ожидал естественных жертв для укрепления русской армии и, стало быть,— русской

монархии. Но оказалось, что даже средь них слова о монархии принято звучно произносить, а быть ей истинно преданным — неприлично. Чем выше, тем сплошней они оказались не патриотическим пламенем охвачены, а жаром корысти, и служили царю не как Помазаннику, а потому, что он *раздавал*. И прежде чем Нечволодов это понял, уже поняли его: как человека, чуждого их среде, опасного тем именно, что не ищет себе пользы, и потому его действия могут быть разрушительны для сослуживцев. С тех пор включён был Нечволодов в проползание старшинств, замедленное неблагоприятными аттестациями, и в исполнение приказов без своевольных поправок. И не мог он служить трону быстротою, а только твёрдостью и при случае храбростью.

В поиске, куда же приложить избывающий внутренний напор, Нечволодов и занялся своим безудачным курсом русской истории для простого народа. Русскую историю он ощущал не иным от службы чем-то, но — общей традицией, в которой только и могла иметь смысл его сегодняшняя офицерская служба. Для себя искал он — оживить и освежиться в других временах, когда иначе относились русские к своим монархам, для читателей — обратить их в то прежнее состояние и так ещё охватней и прочней добиться своей неизменной цели. Но хотя история сия была высочайше замечена и рекомендована для военных и народных библиотек — повсеместного заглотного чтения своей книги и перемены в умах автор не замечал. Монархическая преданность Нечволодова, своей чрезвычайностью напугавшая генералов, теперь попала под издёвки людей образованного круга, принявших, что русская история может вызывать только смех и отвращение, да и есть ли она вообще, б ы л а л и? И уж как вовсе дикое встретили убеждение Нечволодова, что монархия есть не путы, а скрепа России, что она не сковывает Россию, а удерживает её от бездны. Из-за преданности династии он и бессилен был спорить со своими критиками: что бы в стране ни делалось, он, никогда не смея осудить ни Государя, ни его близких, только смел защищать их и объяснять, почему хорошо то, что общество находило дурным.

И через молчанье и через терпенье он снова мог остаться лишь на твёрдости. Да вот иметь пристрастие к своему Ладожскому полку за то, что тот был опорою трона при московском бунте 1905 года. Хотя сам Нечволодов никогда в Ладожском не служил и весь состав полка с тех пор переменился, но нескольких старослужащих он знал и отличал.

Молчать и терпеть оставалось Нечволодову и последние два тихих дня 6-го корпуса. Стойкостью своих арьергардных боёв он никого не заразил, и сейчас оставалось страдать от бездействия, когда в 25 верстах тёк главнейший бой и, по всему, тёк нехорошо. Генерал-майор выезжал на коне версты за две-три на холм, слушал гул и бесцельно смотрел в бинокль.

А после потери двух суток велели Нечволодову поспешить. Но уж тут как раз он не спешил, а просто тронулись, все распоряжения были вторые сутки готовы. Упущенное в штабах не нагонять теперь было солдатским шагом, да сколько ещё главные силы протащатся! Только всю свою конницу — корнета Жуковского с полувзводом, он отправил вперёд.

Два дня, пока его не пускали, Нечволодов был болен, вял, тускл. Но едва получив приказ выступать — выздоравливал по минутам. Он улыбнулся своим ладожцам — во всём корпусе одним, кто допущен воевать, ободрительное крикнул батарейцам, что идём своих выручать.

От сознания «идём своих выручать» один полк обратился в два, а две батареи — в четыре. Только снарядов не прибавилось. Зато сбавились все раскисляи сверху, освободились руки, чистела голова.

Опять на своём рослом жеребце со спущенными стременами долговязый молчаливый Нечволодов ехал впереди сборного отряда, теперь авангарда,— и на конский корпус позади него и сбоку ехал круглолицый, на галушках выращенный и как медный чайник наблещенный, радостный адъютант Рошко.

Ближе к Вилленбергу вступила их дорога в кондовый сосновый бор. Прочищенные восьмисаженные сосны с лоснёными медными стволами чуть веяли вершинами по небу погожему, ещё летнему. В лесу вечерело прежде времени.

На втором десятке вёрст всё слышней становилась ружейная и пулемётная стрельба, орудийная редко. Что могло это быть? Это прорывались наши и били по ним. Вилленберг был очевидной крайней, угловой, точкой окружения — и сразу

же за ним могли быть, должны быть наши. Жеребец под Нечволодовым давал хо́ду, слишком быструю для пехоты.

Лес укрывал движение нечволодовского отряда почти до самого Вилленберга. Да немцев и не было, они так уверены были, так распустились, что не выставили никого навстречу. При конце леса Нечволодов распорядился отряду свернуть и садиться, а сам выехал между последними деревьями. Тут стояли коноводы разведки, корнет с разведчиками ушли за реку. От Вилленберга сюда, ослепляя, жёлто затопляя, светило закатное солнце. Всё же можно было разведить перед собой луговую низинку к небольшой реке и по ней одну только возвышенную дорогу — прямо, открыто на мост! — целый мост! — своё-то, немецкое, добро жалко взрывать. И — никакой заставы по эту сторону моста! — или уж совсем нас за дураков почитают? Напротив, по ту сторону моста, в первых редких домах города уже засели и стреляли корнет с разведчиками. Скорей послал к ним туда Нечволодов через мост команду с двумя пулемётами.

Дальше там — дома гуще, железнодорожная станция и сразу город. Обходить город справа нельзя: болотистый луг. Обходить город слева нельзя: обрезает другая речка, впадающая. Но через час весь полк, не опасаясь обстрела, может открыто, в походной колонне, переходить мост, а там разворачиваться для атаки города.

Обеим батареям велел Нечволодов занять позиции на лесном краю, справа и слева от дороги.

На ближней окраине Вилленберга стреляли. По ту сторону города тоже стреляли. Нет, шатко немцам в этом городке. И они хуже, чем в клещах: вот рассыпали свою облаву лицом на запад, не подозревая, что загонщики идут с востока.

От радости ожидаемой, ухватываемой, короткой, простой победы заколотилось сердце в груди генерала и зажёгся его тёмный спокойный лик. Он вызвал командиров батальонов и батарей, рассудили, как пройдут мост и кто что делает после прохода.

А тут с донесеньем от корнета Жуковского — пеший драгун, бегом. Сообщал корнет, что сюда, на эту окраину города к нему прорвались: двое своих отбившихся из 6-го драгунского, четверо солдат из Полтавского пехотного да один казак из конвоя командующего армией. Уверяет конвоец, что генерал Самсонов убит в перестрелке.

О Самсонове не домысливая до конца, это могло быть и слухом, выхватил Нечволодов главное: уже идут одиночные солдаты сквозь Вилленберг, как через решето! Руку протянуть — только и осталось! Тот самый миг пришёл — ударить тараном в дырявую бочку! И — скорей, ибо всё там перемешалось и гибнет, если с дальнего фланга армии был Полтавский полк — и с ю д а выбились его солдаты.

Послал по ротам объявить, что наши — уже пробиваются, уже здесь, вот они! Сел писать донесенье в штаб дивизии, что начинает бой за город, требует помощи от начальника главной колонны, ещё снарядов скорей и хотя бы батарею.

Солнце зашло — а темноты дожидаться долго. Видно было, как два дома горят, где бьётся корнет. Первому батальону — за мной, на мост! Второму батальону — через интервал.

Первый дружно прошёл, не обстрелянный, но был замечен, и по второму стала бить батарейка из рощицы за левой рекой. Наша ответила туда. Ввязалась немецкая другая. Тем временем поро́тно пробежал второй батальон.

Серело. Ярче виделись пожары в городе.

Нечволодов достиг корнета Жуковского, сам видел и полтавцев и конвойного казака брехливо-нечистого вида. Разворачивал первый батальон против станции, откуда немцы стреляли упорней, и ждал остальных ладожцев. Третий и четвёртый батальоны должны были в темноте пройти легче.

Сгущалось в ночь. Артиллерия приумолкала. Багровато посвечивали пожары. Другого освещения в городе не было, редкие слабые огоньки, электричество нарушено. Слева ещё держался серпик луны, с ним и с пожарами лишь столько света было как раз, чтоб не заплутаться при атаке, видеть соседей. Но не столько, чтоб издали хорошо видели их. Всё складывалось счастливо. Через час батальоны займут позиции, изготовятся — и в пояс пригнувшись первые два без выстрела

пойдут на город, третий в обход на лесопилку, четвёртый в резерве. Пока же, сам пригибаясь на ходу до волка, Нечволодов с Рошко и ещё несколькими офицерами исхаживал налево до реки и направо отлого приподнятый сухой твёрдый выпас. Показывал, где вести батальоны.

По ту сторону города не переставали стрелять, хоть и реже. Три-четыре версты отделяло наших от своих, но тут ощущение — мы, вместе, там — порознь, закружены, погибли, и наших в мире нет.

Вот уже и свободно, в свой превосходный рост, расхаживал Нечволодов в багроватой ночи и распоряжался длинными руками.

Он был уверен в успехе. Для ночного нападения на город у него хватало сил, а там подойдёт главная колонна, и утром кольцо будет разорвано. Этот разрыв подержать день — в окружении разнесётся, и все навалят сюда.

Тревожная радость предчувственно распирала Нечволодова, он не помнил в себе такой радости за недели этой войны, за годы мира.

Оставалось пятнадцать минут до назначенной атаки.

Он вернулся к дороге.

Его как раз искали — ординарец из штаба дивизии. Всё тот же продолговатый безотказный фонарик достав из кармана шинели, Нечволодов осветил бумагу, прикрываясь от города телеграфным столбом.

«Начальнику авангарда генерал-майору Нечволодову.

Ввиду отсутствия значительных сил противника главная колонна отозвана. Боя под Вилленбергом не начинайте, поддержки не дадим, тем более, что ожидается отход всего корпуса на русскую территорию. Ждите следующего распоряжения.

Полковник Сербинович.»

Рошко вскрикнул: его генерал замычал, как между рёбер проколотый, шатнулся к столбу и перебирал зубами по отсушенному телеграфному занозистому дереву.

55

На гряде, где хоронили полковника Кабанова, едва не изменились планы: со стороны замирённого Найденбурга послышалась стрельба, и ясно можно было понять, что это бьют *извне*, что это русская артиллерия бьёт по Найденбургу, а немцам отвечать нечем. И уже готов был Воротынцев поворачивать туда — однако стихла стрельба, осталась вялая ружейная.

Но и при готовом плане весь день потом всякие четверть часа требовали и требовали от Воротынцева и слуха, и глаза, взгляда на карту, на местность, на своих солдат, на ноги их, требовали решений и команд. В этой череде военных мыслей не могло, кажется, остаться промежутка никаким другим.

А — было в голове как бы два коридора рядом, через стекло: друг друга видели, звуками не мешали. По одному коридору без задержки проскакивали деловые мысли, как выбиться им, четырнадцати и раненому одному; по другому проплывали сами собой, без подгона, ничем не торопимые, независимые, и даже друг с другом не связанные: вообще о прошлом; о недожитом; о прожитом не так. Первые торопились вырвать к жизни. Вторые озирались на случай умереть.

Опять об эстляндцах. Они не покидали, требовали своего. (Это — первые сутки, а потом не острей ли ещё потянет?..) Такое недавнее, а такое уже неисправимое: кто в плену — так те уж в плену, кто выберется — те сами по себе выберутся, а кто лёг — тот уже лёг. Вспоминать — не помочь. Да ни в чём не обманул их Воротынцев. А именно с этим упрёком они тянулись по второму немому коридору — от правофлангового чёрного дядьки с перекошенной щекой. Ни в чём не обманул! — но отступят ли когда упрёки? Ни в чём он их не обманул — он всё открыл им честно, и двадцать часов они держали нужный важный участок, и это бы всей армии могло помочь, если бы правильно делали другие. Но другие — порушили.

И, значит, он — обманул.

Как же верно быть? Не тянуться, не изощряться, не выбиваться из сил? — тогда вообще не служить. Не жить. А что найдёшь и состроишь — обязательно тебе развалят, раздавят каким-то верховым незрячим переступом.

Когда всё разрушается — как же верно: действовать? не действовать?

Второй коридор нисколько первому не мешал, ничего не отнимал, там был свой простор. И для воспоминаний. И для жалости.

Щемливо жалко было Алину, представить её вдовой,— как будет она убиваться, метаться, места не находить, горлышком тонким надрываться от слёз. Ещё сколько ей, может быть, лет понадобится, чтоб очнуться к жизни!

Вспоминал, как в Петербурге умела на его заваленном столе вытереть каждую пылинку, не сдвинув ни одного карандаша. Как могла часами молчать, проходить за дверью беззвучно, когда особенно надо было тишины. Как, любя в гости и на люди ходить, могла отказаться, никуда не проситься — чтоб ему этих тягот с ней не делить. Счастливая и несчастная своим мужем, жертвовать — она умела! А — что она видела в жизни с ним? Никуда не ездили, не путешествовали, ничего не смотрели.

После войны надо будет всё-всё иначе.

Впрочем, всё и проплывало и было действительно лишь на случай, если умрёшь. А я...

— ...Я-то ничем не рискую, мне обеспечено остаться в живых,— усмехнулся Воротынцев Харитонову, лёжа с ним рядом на животах, на одной шинели.

— Да? Почему? — серьёзно верил и радовался веснушчатый мальчик.

— А мне в Манчжурии старый китаец гадал.

— И что же? — впитывал Ярослав, влюблённо глядя на полковника.

— Нагадал, что на той войне меня не убьют, и на сколько бы войн ни пошёл — не убьют. А умру всё равно военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного — разве не счастливое предсказание?

— Великолепное! И, подождите, в каком же это будет году?

— Да даже не выговоришь: в тысяча-девятьсот-сорок-пятом.

Год, словно из Уэллса.

Они лежали в частом молодом зеленохохлом соснячке, в каком зайцы любят зимой играть на солнце,— Воротынцев выбрал его за то, что здесь в пяти шагах можно пройти и не заметить лежачих. Всего полтора километра оставалось до шоссе, уже доносился характерный шум автомобилей и мотоциклетов, то справа налево, то слева направо. Будь у немцев силы, они выслали бы сюда патрули для прочёса. Таких сил, очевидно, не было, до темноты можно было лежать спокойно, но и вперёд прежде времени двигаться нельзя: лесной мысок неширокий только и был перед ними, в этом мыске могли накопляться и другие русские группы, да и немцы могли прийти туда раньше из соседней деревни Модлькен. С трёх сторон Воротынцев выдвинул лежать по два солдата, остальные были в середине. Они пришли сюда в жаркий послеполуденный час, здесь застоялся накалённый воздух, палило, отнимало силы, высушивало до жажды, а фляжки не у всех.

— Ничего,— утешал Воротынцев своих,— жара да при свете — не самое плохое. Вот под Ляояном, например,— да когда же? завтра, 18 августа,— вот такой же жаркий день, а к вечеру, нам отступать,— ко всей канонаде японской и нашей ещё добавился такой ветер с пылью, такое чёрное небо, такая бешеная гроза, небо в тысячу осколков, тропический дождь, а японцы всё бьют, где гром, где пушки, не различишь.

Душно было тут лежать, но и отбираться назад никак уже не хотелось, нелегко было дойти сюда, переходили и открытую полосу железной дороги, которую немцы вполне могли простреливать с дрезин,— да не хватало их сил, что-то творилось весь день под Найденбургом, вспыхивала и вспыхивала стрельба, хотя и не приближаясь. Верный день был вырываться сегодня, завтра будет поздно.

Прожигала Воротынцева катастрофа армии. О судьбе боя под Найденбургом, о 1-м корпусе, кто там идёт, где там Крымов, волновался он больше, чем о выходе своего отряда. Но, все часы перед собой раскрытую карту держа, заставлял себя смотреть не на весь простор, а запоминать засветло каждую извилину ближнего лесного окрайка: где бы в темноте ни оказаться — представлять себе все расстояния, а обязательно что-нибудь упустишь или уверенности не хватит, и тогда рассматривай под шинелью со спичками.

Свой несомненный план Воротынцев изложил не на совещании господ офицеров, как полагается, но, при полупартизанском их положении, тем изложил, кому предстояло его выполнять: Благодарёву и Качкину; двум лучшим стрелкам из дорогобужцев, как сами назвали они — здоровому медлительному вятскому охотнику и молодому рязанцу Евграфову, приказчику суконной лавки; и подпоручику Харитонову — оказался он из первых стрелков в училище, просил дать ему самую дальнюю цель. Этих пятерых Воротынцев и стянул к себе по песку под нижними ветвями сосенок, шестью головами вместе, шестью парами ног вразброс. А ещё так, чтобы в пределах слуха был и поручик Офросимов, на носилках. У него жар был, разбаливалась рана, помочь он не мог, но один мог сказать нечто облегчающее — и эту возможность Воротынцев ему давал.

Должны были начать движение с темнотой, при луне. Сперва — согнувшись, от начала опасности — только ползти. Передняя группа — Благодарёв и Качкин, с ножами. Им — красться не торопясь, не треснув веткой: полночи им времени, переходить будем ближе к рассвету, с вечера немцы и настороженней. Сто саженей пройдя благополучно — возвращаться по очереди и звать вторую группу, стрелков. Стрелки, пройдя сто саженей, связным вызывают третью группу — всех остальных с носилками. Если же передним встретится немецкий пост, засада — беззвучно убирать ножами.

— Так? — проверил, близко смотря на губошлёпистого Благодарёва и бочкогрудого обритого Качкина.

— Да Господи,— выдохнул Арсений кузнечным мехом.— Они ж нас домой не пускают!

Качкин дёрнул щетинистой чёрной щекой:

— Я — на полсела скот забиваю.

Стрелков будет четверо, с Воротынцевым. Подпоручику взять винтовку у Благодарёва, проверенная. Патронов — по три подсумка. В лесу вряд ли придётся огонь открывать, а вот — с края леса и по шоссе. И потом уже — с того боку шоссе, прикрывая отбег наших.

Объяснял, как бить по разным целям, где залпами, где разделясь. И тут от поручика Офросимова услышал, что он свой долг понимает. Тоже небритый, чёрный, перекошенный, со взглядом блуждающим, на локте поднявшись с обрыднувших носилок:

— Господин полковник, разрешите сказать? Я прошу... чтоб меня не обязательно выносить... а если... по обстоятельствам. Знамя отмотаем сейчас, я передам. А положите меня только удобно и патронов больше.

— Принято,— сразу отозвался Воротынцев.— Благодарю, поручик. Евграфов, возьмёшь знамя.

Шустрый Евграфов, как и Качкин, раньше всех дорогобужцев очнулся от пришибленности, рвался в действие:

— Есть, ваш-соко-роди! Разрешите мотать? — и уже вскакивал.

— Ле-жи.

Получалось так, что из офицеров один Ленартович не был позван на совет. Обиделся-не обиделся, но сел ближе, около Офросимова, прислушивался, а теперь спросил:

— Господин полковник, всё-таки объясните: ну, а если шоссе никак нельзя будет перейти?

— Что значит — «нельзя»? — посмотрел на него Воротынцев строго и с сожалением: ведь можно, всё из него ещё можно сделать, да некогда.— Не локоть же к локтю они стоят. Лисица — проскочит? так и мы пробежим. А вы подумали — как *им* на шоссе? Они полоской протянуты, им страшней: откуда из лесу повалят?

— В армии не бывает н е л ь з я! — поучал его и Офросимов.— В армии — всё можно.

Не ответил Ленартович, а подумал: вот это и плохо, вот вы и привыкли, что всё вам можно. Вот потому и надо все армии в мире распускать.

Совет был кончен, передавали знамя, патроны. Воротынцев навязал Ленартовичу свой топорик:

— У вас ведь руки голые, с чем пойдёте? — И видя колебание, не смеются ли: — Берите, берите! Первое оружие — топор!

Ещё долго досказывал полковник ножевикам и стрелкам, какая ждёт их дорога, через сколько шагов что будет. Требовал повторять, на песке чертить, как поняли.

А потом оставалось только лежать, голову на руки, лицом в песок, ожидать тревожно. Уж всем хотелось, чтоб ночь скорей: эти последние свои часы были всё равно не свои. О войне, о бое — никто не говорил. Пожилые дорогобужцы — о кормах, о коровах здешних чернопёстрых и о своих. Потом — и никто ни о чём, замолчали.

Солнце скатывалось, смягчалось, но в их мелколесье ещё достигало, и багровый-багровый закат, западая за главный лес, сюда досвечивал. От заката потянулись тучки, сперва розовые, потом темнея в сизо-лиловые,— не к перемене ли двухнедельного зоркого вёдра, повидавшего и приход и гибель русской армии?

Кажется, никогда ещё так Саше не сходилось: доживёшь ли до утра? не последний ли твой закат? В каком мире окажешься завтра? Валяться ли на песке, раскинув руки? Идти ли под конвоем? Или жадно писать на кусочке бумаги: «Родные мои! Я вышел! Я уцелел!» И: «Вероня, поцелуй за меня Ёлочку!» Отсюда — это не развязно, не оскорбит вкуса. А — горячо.

Он вертел навязанный ему топорик. Маленький, лёгкий, а так остро наточен — можно представить, как мягко входит в череп. Но — как им ударить человека? Такой решимости Саша в себе не находил. Нет, это мерзко: это — убийство. Хотя принципиально рассуждая: а чем лучше пуля? Вчера уже убивали Сашу, чуть не убили. А если выхода нет, если нескольких немцев сегодня ночью беззвучно заколют ножами Качкин и Благодарёв или подстрелит телёнок-подпоручик — пожалеть не придётся. Но самому, топором, видя живое лицо — нет, не хотелось бы.

Неумолимо всё повернулось. На шоссе гудели и сновали немцы. Были и среди них ведь социал-демократы, насильно погнанные на эту бойню. И в другой обстановке Саша был бы рад жать им руки, приветствовать на митинге. А сегодня вся надежда жизни, как на отца,— на этого полковника, слугу престола.

Тянулись сумерки. Весь лес был тёмен, а на их молодую посадку чуть посвечивал серпик молодой луны. От запада к ней подбирались тёмными рукавами вытянутые тучки, угрожая закрыть.

Скомандовал Воротынцев: двигаться, не качая вершинками.

Передвинулись в лес. Здесь темней было гораздо, но подсвечивал месяц и сюда. Ушли ножевики. Собирались стрелки. И тут внезапно страшно осветилось: ярко, фосфорически! Переполошились, выглянули опять к мелкой посадке — это прожектор был! Где-то очень близко, тут, у шоссе и деревни, он стоял! Светил не сюда, светил справа налево вдоль шоссе. Не сюда светил, и от узкого истока луча сюда отдавалось лишь рассеянное.

Вот тебе и перешли!.. Вот так на войне и рассчитывай!

— Всё...— вырвалось у Саши.— И что́ бы не в нашем месте, подальше!

— Это и хорошо, что близко,— соображал Воротынцев.— Скажите: лишь бы не второй. Близко — мы его и подстрелим, доступная цель.

И стрелки ушли.

Луну закрыло. Луч не двигался, его боковое мерцанье лишь выявляло чёрные контуры. Теперь все события перешли в звуки. У шоссе стреляли редкими пулемётными очередями — то ли для острастки, то ли русские уже высовывались где-то. Потом приближался шорох. Каждый раз это мог быть чужой, но приходил от стрелков свой: можно перейти. Несли Офросимова на опущенных руках, ступая мягко, как при спящем; оттого что долго держали, оттягивало руки. Казалось бы — ровный лес, но попадались то кучи шишек (немцы прибирали, как в доме), то канава, то ямка. Раза два передвинулись, потом долго-долго ждали вызова, уж думали всё пропало. Оказалось: наши теряли компас, искали в темноте. Офросимов, заменяя стоны, матюгался в темноту шёпотом, Саша просил его прекратить, это было очень неосторожно: вот услышали близко сбоку голоса, наверняка не из нашей группы, а кто? — языка не разобрать. Затаились, штыки приготовили. Миновало. Зачуялось, будто собака рычит неподалеку,— нет, и не собака, миновало. Пожалуй, с версту они протащились так, да больше: теперь, когда на шоссе гудело или очередь давали — совсем было рядом. И светлей стало — оттого что больше захватывал их побочный косой сектор прожектора, к счастью всё не-

подвижного. Так — часа три, наверно, ушло. Ничто не изменилось в их пользу, а могло быть, что лезли они в ловушку, откуда уже ни вперёд, ни назад не уйдут, стоило лишь прожектор повернуть и идти на них цепью. Нельзя сказать, чтоб страшно было Саше, а — тоска какая-то, отчаяние. Ручку топорика он сжимал, если что — так и хрястнуть по черепу.

Вдруг близко справа — ударили наши! В четыре винтовки — не залпами, но вперехлёст, как бы состязаясь в быстроте! И на десятке выстрелов — погас прожектор!! Погас! И весь мир сразу погас! полная темнота! И наши — тоже замолчали!

И что́ ж — нам?! И куда же — нам?..

А тут ударил пулемёт, два пулемёта — с шоссе! Но — наудачу, напропалую, неизвестно куда.

И — кабаном треща и ломясь, подкатило спереди — что? кто? — Качкин:

— Где тут поручик? Бросайте носилки! Я его — на плече! Айда за мной, плошаки!

56

17-го утром открылась по Найденбургу внезапная с юга стрельба — и русские раненые оживились, избочась выглядывая с кроватей в окна, а сёстры выбегали наружу радоваться облачкам русских шрапнелей и фонтанам русских фугасов, будто от них своим не могла достаться смерть. Немецкий врач и фельдшера посмеивались, не веря отходу своих. Целый день вокруг стреляли, но боя не было, и немецких войск почти не было, и русские не входили. Только вечером ушли от госпиталя немецкие часовые, оставив палаты своих раненых. Новая же власть не спешила объявляться, узнать о госпитале и вывозить своих раненых в тыл.

Уже в темноте прокатывали по городу русские запряжки, проходили конные и пешие. Несколько зданий в городе, загоревшиеся ещё засветло, с темнотою стали единственным грозным освещением ночи. В таниной палате одно окно открывало вид на пожары, на весь город,— и она стояла, распахнувши створки, смотрела, смотрела, иногда отвечая раненым. На багровом пожарном подсвете чётко выступали особенности чужеземных зданий — фигурные надстройки над фасадами, кружевные и зубчатые кирпичные выкладки, узорчатые балконы.

В том состоянии была Таня, что вся эта стрельба, пожары, уходы, приходы войск не пугали её, а облегчали. В духоте палат, в гари разрывов и пожаров ей становилось свежо, нисколько она не боялась простой человеческой боязнью. Наоборот, от этого всего сердце её облегчалось, и боль снималась. Она понимала, что происходит ужасное что-то, но через поволоку,— а сердце облегчалось, и от этого сил было много, и почти не нуждаясь ни спать, ни есть, она только делала, что велят.

Верных сведений не было у госпиталя, слухов — избывало. Даже и при немцах то и дело к ним подбавлялись свои раненые из разных частей, и нанесли, что убиты все старшие командиры, и перепутались все русские части, а немцы со всех сторон стреляют, разрезают и в плен берут. В танину палату попал чубатый сотник из казачьего конвоя генерала Мартоса (занял угловую койку ростовского подпоручика, ушедшего пешком в последний час). Не тяжело и раненый, он был сильно возбуждён и беспокоил всех смутными громкими рассказами о гибели их корпуса и их генерала. С таким жаром он рассказывал, не давая себя удерживать, как будто в том удовольствие находил, что всё очень плохо и все погибли. Слух об этом сотнике разошёлся по госпиталю, приходили его слушать и врачи.

Наступившей ночью ждали подвод для эвакуации, ждали начальства — и действительно, в полночь, при тускло-красном свете неблизкого пожара на площадь перед госпиталем въехал автомобиль, из него вышел главный врач и генерал с адъютантом. Через две минуты они были уже в таниной палате. И шли к сотнику. И к ним сюда, в угол, Таня поднесла керосиновую лампу со стола.

Чубатый, лохматый, угольный сотник так и взыграл в кровати навстречу генералу, как если б и ждал только его, для этого генерала и был его весь рассказ.

А генерал — с белой-пребелой холёной кожей лица, холёными усами, столичный и вообще неснисходительный,— тоже как будто этого сотника искал: он не второпях, не мимоходом его расспрашивал, а сел к нему на нечистую кровать, выставил к нему представительные глаза, адъютанту же велел всё записывать, начиная с фамилии, чина и части.

Таня недрожащей рукой держала желто-зеленую высокую стеклянную лампу над записями адъютанта, между головами сотника и генерала — и пытливо, и вот уже с прояснением всматривалась в них.

Двухдюжинный раз повторил сотник весь рассказ, уже всем известный, украшая его новыми подробностями, пожалуй и не в противоречие с прежними. Как весь корпус остался на позициях, а генерала Мартоса послал командующий Самсонов занимать Найденбург. Как они ехали к Найденбургу ранко́м вчо́ра, но от драгунов разведали, что он уже у немца. Как поехали выбирать позиции и попали под картечь в трёхстах саженях — и убит был начальник штаба корпуса, и убит начальник дивизии генерал Торклус и многие казаки, а они, оставшиеся верными, отступили с Мартосом в лес. Как у Мартоса адъютант пропал — с сумкой, а в ней и еда, и курево, и компас, и карта, и генерал был голодный и не знал куда. Лошадей под ними подбили, они пешком по лесу блукали, но куда ни совались — со всех сторон уже стояли немцы. И самого этого сотника послал Мартос пробиться в город и рассказать об общей гибели; обнял его на прощание, и тут же, на его глазах, застрелился, не вынеся такого позора.

Головой белокожей, кругло-оттянутой как огромное куриное яйцо, генерал кивал и переспрашивал:

— Значит, вы подтверждаете, что генерал Мартос в вашем присутствии застрелился?

— Как Бог свят, ваше превосходительство!

Адъютант записывал.

Со строгостью, с огорчением, но даже без удивления, кивал гвардейский генерал: только этого он и ожидал, именно это предвидел. И мешало, и неожиданно было ему лишь лицо сестры милосердия, неприятное своим тёмным жгучим добывающим взглядом — мимо лампы и на генерала, от неё глазами блестя — на него. Из-за этого он шеей дёрнул несколько раз и старался больше не смотреть на сестру.

А Таня — словно пробудилась. За все недели, прошедшие от измены жениха, первый раз с таким полным вниманием, совсем забыв о себе, она вбирала событие внешнего мира, происходящее в одном аршине от её выставленной некоптящей светлой лампы с чистейшим стеклом. Таня не могла уличить, не могла доказать, но неприкровенным взглядом она втянула: оттого так многословен, возбуждён, с такой страстью всех уверяет сотник, что ему надо скрыть грех, а не тот ли, что бросил он генерала Мартоса в опасности и бежал; и оттого так верит охотно, не ловит, не сбивает сотника этот важный лощёный генерал, что ему зачем-то н а д о, удобно.

Как Дева Света, она внесла светильник в трёхголовый тёмный треугольник и бесстрашно высвечивала его.

До сих пор понимала она войну как неизбежную неуправимую стихию, в которой воинам суждено получать раны и погибать, и нет у человека над этой стихией власти. И даже видя и облегчая страдания раненых вокруг, она собственную душевную боль ни разу не поставила меньше их ран: их всех страдания были от стихии, на которую нельзя обижаться, её — от несправедливости, от подлости, от измены.

Но сейчас из этого тёмного треугольника, составлявшего протокол, проступила Тане явная злая воля — и проступило, что от этой воли зависит судьба их госпиталя, всех уже раненых, и ещё тех, что могут быть ранены завтра,— и первый раз чужая общая боль потеснила, потолкала и принизила её собственное унижение, обманное состояние, оказавшееся вдруг не высшим страданием в мире, а даже совсем маленьким.

И она с вызовом и упорством держала свет правды, видя, как режет он генеральские глаза, как неприятен ему.

Осмелев уже до крайности, говорливый сотник убеждал генерала:

— Ваше превосходительство! Они вас в этот город не зря пустили. То —

капкан. У них тут войск освободилось — сила, они все круг вас собираются. Смотрите, кубыть не захлопнули!

Да, да, этого-то и боялся генерал Сирелиус! Он и удивлялся, что немцы так легко отдали ему ключевой город. Они сильней нас, почему же отдали город? Одиночное стояние его дивизии здесь становилось всё более опасным. Растянувшиеся от Млавы подкрепления ещё неизвестно когда подойдут, а захлопнуть здесь капкан могут каждый час, особенно на рассвете. До окружённых русских частей может быть и осталось недалеко, десять вёрст, но не ночью же туда идти, в полную неизвестность, в немецкую густоту. Да и какие там войска, если вот подтверждают очевидцы, что генералы убиты, части рассеяны, они всё равно погибли, и нельзя это поражение отягощать ещё новой жертвой — гвардейцами Сирелиуса. Да и само отправление его отряда не было по-настоящему полномочным: Сирелиус — из 23-го корпуса и видный гвардеец, он не обязан подчиняться армейцам из командования 1-го корпуса. Показания этого сотника-очевидца давали ему хорошее основание пересмотреть приказ.

И лишь уклоняясь, шеей по-гусиному поводя, от допытчивого, даже ненавистного взгляда статной темноглазой сестры, миновав её яркую лампу, Сирелиус поднялся и ушёл с адъютантом.

И скоро зафыркал, уехал с площади автомобиль.

О чём подумал генерал, что решил — никому не дано было знать. А все, кто в палате был в яви и слушал, — поняли. Что никуда их не повезут. Что они остаются в плену.

Таня кинулась искать Валерьяна Акимовича — но он и раньше рассказу сотника не верил, и что он мог? К главному врачу? — но только для них и был он главный, а перед генералами маленький человек. И — что у неё было, кроме показаний сердца?

Как никогда она хотела быть полезной — и не знала, что делать. Ей стало стыдно, что столько недель она возносила своё горе выше горя окружающих.

До утра так и не было стрельбы. Догорали пожары, никем не тушимые. Прокатили артиллерийские упряжки — обратно, по сравнению с тем, как вечером. По другой улице воротилась пехота. И рассветный час был тих, безлюден. Раньше времени, до солнца, стали высовываться жители — они тоже за окнами не дремали. Вот стали и по улицам ходить, сперва беззвучно. И скоро уже — радостно гомонить, кричать, поздравляя друг друга и шляпами приветствуя первых немецких солдат, вступающих в город.

А раненые лежали, обхватив головы. И со слезами переходили сёстры.

Пришли немецкие часовые и стали в каждом коридоре.

И не раньше, а уже после этого прибежала из палаты полостных пожилая курносенькая хлопотливая сестра, и шёпотом, задыхаясь:

— Танюша! Новый раненый прибрёл... у меня лежит... Еле дотянулся, кончится сейчас. На нём — полковое знамя Либавского полка, обернулся по груди. Что делать?

Таня сверкнула, ни миг не колеблясь, даже обрадованно:

— Пойдёмте! На себя намотаю!

— Да ведь в коридоре немцы! — кудахтала курносенькая.— Это — в палате придётся и скорей.

— Ну так и в палате! — уверенно обгоняя, шла Таня.

— Да как же ты при всех? Это — под сорочку надо, всё снимать!

— Ну так и снимать! — уже вносило Таню в ту палату.

Она и перед женщинами избегала раздеваться, стыдясь, что груди даже по её фигуре велики, слишком налиты, она в отрочестве плакала, считая это уродством.

— Подколем булавками?

— Нет, зашьём! Где он?! Одна будет наверчивать и зашивать, другая в дверях, чтоб немца не впустила!

57

(18 августа)

Ну, да если бы Сирелиус и не струсил в ночь на 18-е, Найденбурга ему бы не удержать, слишком долго он шёл и слишком растянулись его силы. По пружинной готовности германцев, к исходу ночи уже три дивизии было у Франсуа под городом и две на подходе. Хотя сам Франсуа, канатоходцем на проволоке, сидел на полоске шоссе в деревне Модлькен, другой опоры не имея, а с севера группами прорывались русские и у самой деревни подбили ему прожектор из винтовок, могли и к штабу прорваться,— он расписывал для пяти дивизий, как им концентрически брать Найденбург. А по тестяной податливости главнокомандования русского Северо-Западного фронта — именно вечером 17-го, при наибольшем успехе Нечволодова и Сирелиуса, когда ещё многие сильные русские группы (под Вилленбергом — 15 тысяч) готовились к ночным и утренним прорывам из кольца,— Жилинский-Ораповский велели фланговым корпусам не выручать окружённых, а о т с т у п а т ь.

И — как отступать! Благовещенскому: отойти на 20 вёрст, если противник теснить не будет, и даже на Остроленку (ещё 35), «если будет теснить». Душкевичу: на 30 вёрст и даже на Новогеоргиевск (ещё 60). Как же к месту пришёлся разумный Кондратович, на ту линию загодя убежавший сам!

А с переночеванием глаза страха ещё растягивались. Когда 18 августа Постовский самовольно укатил спасённый драгунами армейский штаб обосновывать в сорока верстах позади прежнего положения в Остроленке — штаб фронта ответил вослед: «На ваш переезд согласен.» Да ведь удобно: теперь возобновлялась со штабом армии нормальная телефонная-телеграфная связь и обмен депешами. И вот когда послано было в штаб Второй армии письменное *разрешение от штаба фронта выдвигать 1-й корпус также и далее Сольдау!*

А что же с Ренненкампфом? «Генерала Самсонова постигла полная неудача, и противник может свободно обратиться против вас.» После всех промедлений как раз-то и пошла его конница в глубину: конный корпус Хана Нахичеванского уже нависал над Алленштейном! кавалерийская дивизия генерала Гурко подходила разрезать самую слабую — восточную — дугу кольца! Именно 18 августа генерал Гурко легко вступил в злополучный Алленштейн, откуда покатились все бедствия 13-го корпуса. Немцев не было или были со спины, ничего не составляло его конникам резать и дальше немецкое окружение. Это было уже *третье* место за сутки, где русские легко разрезали немецкое кольцо.

Но для штаба фронта — слишком рискованно, очень опасно! «Выдвинутую конницу притянуть к армии...» (Это — чтобы без слова *назад.*) И всей Первой армии начать отход.

(Промедлит и в этом Ренненкампф, теперь из гордости, что ли,— и через неделю, от такого же окружения спасаясь, предстоит его армии марафонское бегство — Rennen ohne Kampf, как немцы назовут.)

Да, вот ещё: на достойную замену погибшего Самсонова прислать корпусного генерала Шейдемана.

Будущего большевика.

ДОКУМЕНТЫ — 6

18 августа

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

Германский и австрийский генеральные штабы в своих сведениях о положении на театре военных действий продолжают придерживаться принятой ими системы: по телеграфным сообщениям «Агентства Вольфа» германская армия «одержала полную победу над русскими войсками в Восточной Пруссии и отбросила их за пограничную линию...»

Правдивость и ценность этих сведений не требуют каких-либо пояснений.

* * *

ОГНЯ ПОД ПОЛОЙ НЕ УНЕСЁШЬ!..

* * *

58

экран

= Морда лошади,
непородистой, гнеденькой, русской. Беззащитная, незлобивая морда.
А отчаянья может выражать не меньше человеческого: что со мной? куда я попала? Сколько смертей я видела! — и вот при смерти сама.
С неё хомут так и не снят. И не расслаблен.
Измождена, ноги еле держат. Её не кормили, не выпрягали, а только хлестали — тяни! спасай нас! Уж вырвалась сама, оборванные постромки.
Перебрала ушами, бредёт безнадёжно куда-то, где нога увязает в
чавкающей
мочажине.
Вздёрнется, с усилием выберется из гиблого места, опять бредёт, застуная постромки, волочащиеся по земле,
голову низко опустила, но не травы ищет, её здесь нет...
Пугливо обходит
лошадиные трупы. Все четыре ноги столбиками вверх и животы вспухшие.
Какие вспухшие! при смерти — как увеличивается лошадь!
А человек — уменьшается. Лежит ничком, скорченный, маленький, не поверить, что от него был весь гром, вся стрельба, всё передвижение этих масс,
теперь брошенных, поваленных. Повозка в канаве на боку,
а колесо верхнее стало как руль...
Фургон, как бы в ужасе опрокинутый на спину, а дышло вверх...
взбесившаяся телега, стоймя на задних...
перепутанная, разорванная, разбросанная упряжь... кнут...
винтовки, штыки отдельно и ложи отбитые...
санитарные сумки...
офицерские чемоданы...
фуражки... пояса... сапоги... шашки... полевые офицерские сумки...
солдатские заспинные мешки...
иногда — и на трупах...
Бочки — целые, и пробитые, и пустые...
мешки полные, полуполные, завязанные, развязанные...
немецкий велосипед, не довезенный до России...
газеты брошенные... «Русское Слово»...
писарские документы шевелятся под ветерком...
Трупы этих двуногих, которые нас запрягают, погоняют, секут кнутом...
и — наши опять, лошадиные трупы.
Если выворочен живот у мёртвой лошади, то
крупные
мухи, оводы, комары над гниющими вытянутыми внутренностями жадно жужжат.
А выше, выше
птицы кругами летают, снижаются к падали

и кричат, волнуются на десятки голосов.
= Нашей лошади этого не забыть. Да она
= не одна здесь! О-о-о-о, сколько тут бродит их, по битвищу,
на низменной, болотистой, проклятой местности,
где всё это брошено, кинуто, перевёрнуто,
между трупов и трупов.
= Бродят лошади десятками и сотнями,
сбиваются в табуны,
и по две-по три,
потерянные, изнеможённые, костлявые, ещё живые, кому вырваться удалось из мёртвой упряжи,
а кто и в сбруе, как наша,
или с оглоблями тащится,
или — две, а между ними волочится вырванное дышло...
и — раненые лошади есть...
ненаграждённые, неназванные герои этого сражения, кто протащил на себе по сто, по двести вёрст
всю эту артиллерию, теперь мёртвую, утопленную в болоте...
всё это огневое снабжение, зарядные ящики на цепях, поди потяни их!..
= А кто не вырвался — вот их судьба: внекрест друг на друге две полных убитых упряжки, три выноса и три...
так и лежат, топча и давя друг друга, мёртвые...
а, может, и не все мёртвые, да некому выпрячь и спасти.
= Или вот, мёртвые упряжки, накрытые обстрелом на подъезде снять батарею с позиции. Батарея — била до последнего: разбитые орудия, убитая прислуга вокруг,
и — полковник, косая сажень, видно командовал вместо старшего фейерверкера...
Но и трупами немцев, погибших при атаке, заложено поле перед батареей.
= А лошадей — ловят. Гоняются за нами, хватают... а мы, лошади, шарахаемся...
а они опять ловят, вяжут...
Это — немецкие солдаты,
такой уж им приказ, не позавидуешь — за лошадьми гоняться,
пропадают тысячи трофейных лошадей.
= Да не только за лошадьми. Вот, на краю леса строят колонну
русских пленных,
и раненых неперевязанных.
А глубже в лесу, глубже,
лежат на земле ещё многие, обессиленные или спящие,
или раненые,
а немцы — цепью идут по лесу
и находят, вылавливают их,
как зверей,
поднимают,
а когда тяжело раненный —
выстрел
дострелливают.
= Вот и колонна пленных тянется, почти без конвоя. Лица пленных.
О, жребий тяжкий — знает, кто его испытал!..
Лица пленных... Плен — не спасенье от смерти,
плен — начало страданий.
Уже сейчас клонятся, спотыкаются,
а особенно плохо — кто ранен в ногу.
Только верный товарищ, если за шею обнять его,
ведёт тебя, полу-несёт.
= А другим пленным ещё хуже: не идти налегке, но, вместо лошади впрягшись,
свои же пушки русские, теперь трофейные, вытаскивать,

выталкивать, выкатывать,
победителям к шоссе, где разъезжают на блиндированных автомобилях,
и самокатчики вооружённые,
и при пулемётах сидят, готовые к стрельбе.
= Здесь уже много выстроено, составлено русских пушек, гаубиц, пулемётов...
= А ещё тянут по шоссе рослые битюги большую обывательскую фуру с жердяными наставками, на какой сено возят. А в ней везут
ближе, крупней
русских генералов!
Только генералов! — девять штук.
Смирно сидят на подостланном, подвернув ноги,
все головы в одну сторону, все в нашу сторону смотрят покорно,
покорные своей судьбе. Кто тёмен, а кто даже и спокоен очень: отвоевались, меньше забот.
= Останавливает фуру, у своего автомобиля стоя,
немецкий генерал, невысокий, остроглазый, несколько дёрганый, может быть, по торжеству,—
генерал Франсуа, с победительным прищуром.
Не жалко ему этих генералов, но — презирает он их убогость. И жестом:
пересаживайтесь! что уж там на фуре! у нас
автомобилей на генералов хватит, вот четыре стоят.
= Разминая затекшие ноги, русские генералы сходят с фуры,
пристыженные, отчасти и довольные почётом,
садятся в немецкие автомобили.
= А пешую колонну ведут
в загон для людей, обтянутый
временной колючей проволокой, почти условной,
на временных шестах, прямо в поле.
Тут пленные по голой земле рассеялись —
лежат, сидят, за головы взявшись,
стоят и ходят,
измученные, обшарпанные, перевязанные, не перевязанные, в кровоподтёках, с открытыми ранами,
а некоторые, почему-то, в одном белье,
иные разуты,
и, конечно, все некормлены.
Через проволоку смотрят на нас покинуто, скорбно.
= Новинка! как содержать столько людей
в голом поле, и чтоб не разбежались!
А куда ж их девать?
= Новинка! кон-цен-тра-ционный лагерь! —
судьба десятилетий!
Провозвестник Двадцатого века!

ДОКУМЕНТЫ — 7

19 августа 1914

ОТ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта благодаря широко развитой сети железных дорог, превосходные силы германцев обрушились на наши силы около двух корпусов, подвергнувшихся самому сильному обстрелу тяжёлой артиллерией, от которой мы понесли большие потери. По имеющимся сведениям войска дрались геройски; генералы Самсонов, Мартос, Пестич и некоторые чины штабов погибли. Для парирования этого прискорбного события принимаются с полной энергией и настойчивостью все необходимые меры. Верховный Главнокомандующий продолжает твёрдо верить, что Бог нам поможет их успешно выполнить.

Бывают же дети — перенимают наши обычаи и взгляды так, что лучшего не пожелать. А другие — как будто и не ослушные, на каждом детском шагу ведомые как будто правильно,— вырастают упрямо не по нашей линии, а по своей.

А то и другое узнала Адалия Мартыновна, после смерти братниной жены, а потом и старшего брата взявшись растить одиннадцатилетнего Сашу и шестилетнюю Веронику. И сестра Агнесса, через несколько лет воротившаяся по амнистии Пятого года из Сибири, должна была, при всём своём жаре и напоре, убедиться в том же.

Конечно, тут не только характер: Саше было уже 16 лет, когда казнили дядю Антона, он много перенял от него ещё при жизни и готов бы был вместе с ним идти на *акт*, если бы тот позвал. Саша сохранил этот порыв, его затопляли интересы и боли общественные, вне их он не понимал жизни или какой-то там карьеры. Каждого человека, каждое событие, каждую книгу истолковывал Саша в главном контрасте: служат ли они освобождению народа или укреплению правительства.

А Веронике меньше досталось помнить дядю живого, она только постоянно видела святыню его портрета на стене в их гостиной. Или от девушки вообще не следует ждать такой последовательности? Но в *их* время, время юности Адалии и Агнессы, не были редкостью как бы революционные монашки — те народницы и подвижницы с некосвенным взглядом, с речью несмешливой, кто знали только общественное служение, подвиг и жертву для народа, а свою отвлекающую красоту, если она была, прятали под бурыми грубыми платьями и платками, на простонародный манер. И почти такие же были сами они обе, и их живой пламень мог бы иметь решающее влияние на Веронику. А вот не имел.

В десять лет Вероника была так простодушна наружностью — с прямым пробором на две косички, ясноглазая, с покойными толстенькими губками, что Агнесса, тогда воротившаяся, уверенно заявила: беззаветная растёт, наша. Направления понимали тёти по-разному: Адалия ни к какой партии не принадлежала, была народницей вообще, по душе, конечно левее кадетов, так, на меридиане народных социалистов; Агнесса же — то анархистка, то максималистка. Но все разъединения русской интеллигенции в конце концов второстепенны, вся русская интеллигенция в конце концов есть одно направление и одна партия, слитая в общей ненависти к самодержавию, презрении к жандармам и общей жажде демократических свобод для пленённого народа. Партийных программ сёстры между собою не делили, а, почти погодки, сжились, любили друг друга, преклонялись перед погибшим братом, на десяток лет моложе их,— и восхищения, отвращения, похвалы, хулы, тревоги и надежды сестёр были почти всегда общие.

Но что-то лукавели глаза Вероники, форма губ по-новому объяснялась, и новое значение в улыбке,— тётушки забеспокоились: тут воспитатели не должны дремать! Жизненные понятия тоже не совсем сходились у сестёр: Адалия арестовывалась один раз на полтора дня, все годы провела в обычном человеческом быте и замужем, пока не овдовела, Агнесса побывала и в тюрьме и в Сибири, в промежутках целиком отдана революции, политике и никогда замужем, хотя собою недурна. Но тут они вполне сошлись и стали настойчиво сбивать в глазах Вероники значение красоты и поднимать значение характера: красота — такая же опасность для женщины, как для мужчины слишком острый ум, она влечёт за собой самовлюблённость, безответственность, всё для меня. К счастью, союзником тётей как будто оказался и темперамент Верони: была в ней природная невзмучаемость, медленный отзыв на внешнюю жизнь, и веяние чистоты,— и это сбивало поклонников на дружбу да рассуждения, даже и на встрече летних петербургских зорь. Внушили Вероне, что в людях надо пробуждать хорошее,— она и пробуждала.

Однако этот же темперамент и помешал успеху воспитательниц. Вероника искренне трогалась всеобщими страданиями, но в жажду борьбы, но в ненависть к притеснителям никак это не переходило, в её расплывчатом безграничном сочувствии не прочертилось категорической границы, отделяющей жертв социального угнетения от жертв прирождённых уродств, собственного характера,

ошибившихся чувств и даже зубной боли. (Так и сегодня, в наступившей войне, Вероника только и видела то простейшее, поверхностное, что вот теперь убитые, пропавшие без вести, вдовы и сироты, не выше того.)

А тут ещё и сами годы после раздавленного багряного всплеска, невыносимые эти годы, после девятьсот седьмого, когда стало жить мрачней и тяжелей, чем до революции,— сама эта эпоха текла — ренегатская, безгоризонтная, рептильная. Отошла ослепительная эпоха, выраженная поэтом:

Славьте, други, славьте, братья,
Разрушенья дивный пир!

Теперь груди борцов задыхались без воздуха, и можно было воистину повторить другого поэта:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

Раньше очень хорошо влиял на Вероню Саша, даже более влиял, чем тёти: на пять лет, на полгимназии старше сестры, потом на целый университет, в суждениях решительный, никогда не оставляющий возражения, пока не опровергнет его, не загасит,— он имел над Вероней такую власть ума и нравственного суда, что она стыдилась и каялась перед ним в своих отклонениях, старалась от них отмыться или хотя бы скрыть и быть достойной брата. Но на минувший год заглотнула Сашу прожорливая машина армии, а у сестры это был самый важный год, первый год курсов.

Вероятно, окружение прежнее, какое господствовало в студенческой среде десять и двадцать лет назад, откорректировало бы в Веронике нужное направление сочувствия и ненависти. Однако — и это только в нашей многотерпеливой рабской стране возможно! — в послереволюционном угнетении студенчество не закалилось, не настрожело для борьбы, а поддалось общей усталости, сомнениям, наговариванию мутных пророков. Учащаяся молодёжь как будто забыла о заветах великих учителей, забыла даже о самом народе! Стало модно оплёвывать благороднейшие революционные действия. После нескольких жертвенных поколений потянуло в университетские аудитории смрадной струйкой молодёжи какой-то растленной, противоречащей самому представлению: «русский студент», «курсистка». Эта новая бесстыдно выставляла и даже хвасталась, что для неё святые имена Чернышевского, Михайловского, Кропоткина — просто ничто, пренебрегали, даже не прочтя их ни строчки, тем более — скучного Маркса. Молодёжь ушла в свои мелкие настроения. Если ещё продлится так несколько лет, то обломится и бесславно рухнет вся великая традиция полустолетия, всё святое свободолюбивое. И в такое-то гнусное время Веронике пришлось расти и формироваться!

Но ещё и в этой среде можно было избрать себе лучших подруг — нет, на первом же курсе бестужевских к Вероне прилипла какая-то, сгусток отравы этого времени,— Ликоня или Еля (от невозможного купеческого Еликонида). Это была девушка совсем иного мира — играющая шалью, ломкой талией, напитанная символистическим вздором, то в роли апатичной, то в роли мистичной, то как бы призрачной до умирания. То и дело она декламировала, кстати и некстати, своих модных, туманный бред:

Созидающий башню — сорвётся,
Будет страшен стремительный лёт,
И на дне мирового колодца
Он безумье своё проклянёт.

Играла голосом, но ещё больше ресницами, сразу замечались её глаза с их отдельной красотой, переблескивающим значением, будто она видела в окружающем совсем не то, что все остальные. И голову переводила с медленным недоумением, а густые чёрные волосы были свободны до плеч, как у красавицы большого опыта. На волосах иногда лента, а на плечах шаль всегда, и Еля постоянно ёрзала ею по фигуре узкой, почти без таза, что тоже теперь считалось модно, и ещё лелеяла эту линию, нося прямые узкие гладкие платья без пояса.

Тем была ещё вдвойне ядовита эта девица, что не только с Вероней сдружилась не-разлей, но приезжал из армии на побывку Саша — она и Сашу околдовала, он поедал её глазами и сразу поглупел, утерял свой гордый независимый вид, которым так напоминал не отца своего, осмотрительного присяжного поверенного, а почти точно повторял дядю, героя Антона. (Саше и подходило сейчас под столько лет, в каких Антон был повешен,— это был оживший Антон!)

Но что могло быть в голове этой девчёнки, такой значительно-загадочной в поворотах? За чайным столом и мимоходом при всяком случае, вопросом или спором, зоркие умные сёстры пытались выведать: что же там, в этой небольшой голове под этакой россыпью волос? есть ли вообще какой материал? Ведь она явно не жила светлым руководством разума.

— Но какая всё-таки перед вами задача, девочки? Жизненная цель?

Девочки перехмыкивались. Ликоня удостаивала вытянутыми подушечками губ, следя, чтоб они красиво сложились:

— Жить.

— Что — жить? Вообще — жить? Но — *как* жить?

Переглядывались, старались уклониться. Но если требовать неотступно, Вероника начинала говорить назидательно, как младшим:

— Ах, тётеньки, вы хотите нам навязать *прогресс?* Но всё политически прогрессивное — очень отсталое культурно.

Нетерпеливая Агнесса выпыхивала вместе с дымом:

— А между тем, ответ очень простой: наша задача, наша общая основная задача — борьба с властью!

Два носика, поуже и пошире, морщились:

— И что же потом?

— А когда падёт нынешний строй, спадут все цепи угнетения и откроются все возможности, в том числе и для культуры.

Ликоня стреливала испуганными глазками, движение вероятно отрепетированное:

— А если нет?

— Что нет?

— Если — не откроются?

— Откроются! — согласно отвечали тёти.— Гарантия в том, что наша интеллигенция — здорова, и её порыв обещает светлый выход больной стране. У России могло быть жалкое прошлое, ничтожное настоящее, но будущее её — грандиозно.

— Ах, тётеньки,— снисходительно вздыхая и губы чуть покривливая.— Да понимало ли ваше поколение, что такое *культура*? Девятнадцатый век имел серую культурную атмосферу.

Только задохнуться, словами не выразить:

— Н а ш век — серую? Н а ш?!.. Ну, ты просто... Ну, вы просто...

Девочкам даже может быть и жаль, но:

— Конечно. Всякие общественные идеи — неизбежно узки. Всё, что плыло с 60-х годов. Что у нас было? Политика, социализм, вся литература переперчена социальностью, вся живопись испорчена... Культуры как комплекса у нас...

— Да если б вы хоть с Шестидесятыми могли равняться! А то ведь нигилисты — именно в ы. Как этот ваш кумир: к добру или ко злу —

...Есть два пути,
И всё равно, каким идти,—

да?

Не те нигилисты — светлые начинатели, оболганные дворянским миром и писателями-помещиками, а вот эти — с «Аполлонами» и «Золотыми рунами».

Ликоня морщила лобик:

— Мы должны быть гражданами Вселенной.

Если спор затягивался, Вероника тоскливо вздыхала:

— Ах! Мы не знаем ни скандинавской литературы, ни французских символистов, а хотим о чём-то судить!

Мы — надо было понимать: тёти не знали, *они*-то знали!..

А если тёти очень уж напирали, девочки выскальзывали как-нибудь так:

— Ну, хорошо, лучше заблуждаться, но идти своим путём, чем повторять избитые истины.

А когда, для окончательного выведывания, настигали их тёти уже не в общественных вопросах, но в самой их цитадели — в любви, и проверяли высоту её каким-нибудь жгучим давним интеллигентским вопросом:

— Как по-вашему — высокая истинная любовь допускает ли ревность? — девочки вытягивали веки и ресницы и как-нибудь так:

— Слово «любовь» вообще лучше избегать. Можно затрепать и убить её одним только употреблением слова.

Одна, дома, Вероня проявлялась гораздо развитей, но при Ликоне глупела, и никак невозможно было их сдвинуть.

И теперь вот, в первые дни войны. (Агнесса, суеверная к датам: «А кто заметил, в какой день началась война? В день подавления Свеаборгского восстания! Это будет — историческое возмездие!») Теперь, когда война началась,— и эта жуткая эпидемия патриотизма непредсказанно, внезапно захватила, запьянила даже рабочий класс Выборгской стороны, прервала его великолепные забастовки, привела его, покорного, с казёнными знамёнами (а красные — свёрнуты) на призывные пункты вместо того, чтобы всем взбунтоваться и отказаться от призыва. А ещё страшней — позорная рабская сцена на Дворцовой площади, на той самой Дворцовой, где запеклась, ещё не испарилась кровь расстрела 9 января — и десятки тысяч свободных, непринуждённых людей — кто заставлял их? кто стянул их туда? какая сила ослабила их подколенки? — опустились на колени перед ничтожным императришкой на балконе безвкусно наляпанного дворца — опустились не лавочники только, не мещане,— опустились интеллигенты! опустились с т у д е н т ы! — и в едином экстазе пели «Боже, царя храни»!?? Наш великий император, наш великий народ — разве это не черносотенство? И ещё несколько дней после того бессмысленная толпа с гимнами ходила по городу. Что с ними случилось со всеми? Безнадёжный народ. Безнадёжная страна. Как же можно с такой лёгкостью забыть казни, *столыпинские галстуки*, издевательства над свободной прессой, процесс Бейлиса — и опуститься на колени в гимне?! Нет, эта страна достойна была своего порабощения — царского, татарского, хазарского, какого угодно, это не страна, не народ! Но — интеллигенция??? Как же могла родиться эта *всеподданнейшая* (от одного слова кишки выворачивает, как можно этого не слышать?) телеграмма совета петербургского университета: «верьте, великий государь, *ваш* университет горит стремлением посвятить свои силы на служение вам и отечеству»,— без этого-то холуйства можно было обойтись?

— Что вы об этом думаете, девочки? Ворони, что ты об этом думаешь?

Вероня, со своим добротным спокойным взглядом:

— Ну, вкуса нет, конечно.

Ну, хоть с начала начинай!

— Вку-уса? Да «великий государь» — это не черносотенство? А если бы ваши курсы такую телеграмму — вы бы протестовали? ваши подруги — протесто...?

— Ну, тё-тя,— как от невозможного поводила Вероника,— но в этих протестах, уходах — ещё же меньше вкуса? Это — стадность...

В том и трагедия: ни к чему происходящему они никак не относились! Их современный нигилизм состоял в том, что они были бесчувственны к подлостям и предательствам. К гражданскому пафосу их уши и сердца были заложены, а какая-нибудь глупенькая выставка «Мира искусства» казалась им откровением. Куда подевался душевный огонь русского студенчества? Что за лишай на молодёжь!

Да что говорить о молодёжи, если сама Государственная Дума сыгралась в траги-опереточном однодневном заседании поддержки национальных восторгов? Сойтись на один день, пропеть хвалу империализму и тут же разойтись,— это разве похоже на достойный парламент? Хотя надо признать: социалистические депутаты всё-таки не дали себя заморочить. Хаустов пообещал: социалистические силы всех стран сумеют превратить нынешнюю войну в последнюю вспышку капиталистического строя. А блистательный Керенский в смелой речи успел нашвырять упрёков власти: что затыкают рот демократии; и что даже сейчас не дают амнистии политическим борцам; и не хотят примириться с угнетёнными народностями в империи; и бремя военных издержек возлагают на трудящихся. Всё это сумел сказать, смельчак, не подавленный патриотическим рыком вокруг, и «неискупимую ответственность» за войну не пропустил, а в заключительном восклицании искусно-тонко намекнул на революцию: «крестьяне и рабочие! защи*тив* страну, освободите её!». А в думском отчёте жульнически *ошиблись:* «крестьяне и рабочие, защи*щайте* страну, освободите её!» — то есть, будто бы от немцев освободите! — только *у нас* можно так нагло безнаказанно выворачивать мысль!

А по этим девушкам — только скользило, бровями не вели. И то политическое ободрение, какое выступало из просочившихся теперь известий о поражении наших войск,— тоже миновало их. Они безразлично выслушивали по необходимости, Вероня с мягким упорством, Ликоня с рассеянным недоумением, вяло доедали варенье, косились на часы. Возражать — они даже не искали, они — презирали бы возражать, только пофыркивали на старомодность. Им — всегда нужно было идти куда-нибудь из их глуховатого угла 21-й линии и Николаевской набережной,— но не в рабочую школу, конечно, не нести просвещенье народу, а самим смаковать-потреблять: на спектакль, на поэтический вечер, на лекцию о «ценности жизни» или на диспут о «проблемах пола».

Если же оставались дома, то это было иногда и оскорбительней. В той же столовой, где большой портрет Михайловского и невдали от портрета дяди Антона с его предчувствованной обречённостью, плотноватая Вероня с ворохом волос над неуклончивым лбом и мнимо-глубинным взглядом, садилась на диван, поджав ногу, а маленькая Ликоня, стоя у стены, кончиками пальцев, запутанных в шали, упираясь позади себя, покачиваясь корпусом и головой, с недоумённым видом, вопросительным маленьким детским ртом, выражала себя словами заёмными, стихами кощунственными:

Разрушающий — будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит.
И, всевидящим Богом оставлен,
Он о смерти своей возопит.

Продолжение следует

Александр Городницкий

СТАНСЫ

«В надежде славы и добра...»
А. Пушкин

Тех лет я помню воздух мглистый,
Когда, испытывая страх,
Играли заполночь артисты
На валтасаровых пирах.
Когда поэты, холодея
От пят до кончика пера,
Писали оды для злодея,
В надежде славы и добра.
Что объясняет это рвенье?
Все объясненья хороши —
Отчаяние, ослепленье,
Самосожжение души.

Нет дел мучительней, поверьте,
Чем, подпирая мрак плечом,
Вести о жизни и о смерти
Ночные споры с палачом.
Чем в нищете опалы ссыльной,
Не ждя от жизни ничего,
В надежде на спасенье сына
Воспеть мучителя его.
Часы их пыток очевидных,
Их душ египетскую тьму,
Должны мы, словно кровь невинных,
Инкриминировать ему.

* * *

«История... злопамятней народа».
Н. М. Карамзин

Как прежде незлопамятен народ,
История — куда его суровей.
Он, как стрелец, устало хмуря брови,
На плаху со свечой в руках идет.
Еще он вспомнит взятие Казани,
Азовское сражение в дыму,
Меж тем как высшей меры наказанье
Ему уже готовят самому.
Всегероизм и всепрощенье рядом.
Привыкли так: три пишем — пять в уме,
И памятник стоит под Сталинградом,

И памятника нет на Колыме.
Шумят глупцы — кричать недолго всласть им
И палачей умерших обличать,
В то время как тоска по сильной власти
Уже уводит нас по кругу вспять.
Бесцелен этот путь, несметны беды,
Чему и улыбается слегка
Злодей усатый с орденом Победы
На ветровом стекле грузовика.

* * *

Эта тяга к обычаям в малых кавказских народах,
Почитание предков, и родичей, и языка!
Золотыми крупицами в серых гранитных породах
Сохранились они и еще существуют пока.
Есть звериное что-то в инстинкте самосохраненья,

Александр Моисеевич Городницкий (р. 1933 г.) — советский поэт. Публикуется с 1947 года. Первая книга стихов — «Атланты» — увидела свет в 1967 году. За ней последовали и другие. Большой известностью пользуются песни поэта, первая из которых создана в 1954 году. Живет в Москве.

В сбереженье упорном слабеющих уз родовых.
Если люди приедут к тебе из родного селенья —
Все, что можешь ты сделать, ты сделать обязан для них!
Это выглядит странно в двадцатом стремительном веке,
Где потоком машин неумолчно шумят города.
Разрушаются скалы. Уносится золото в реки.
Говорят, и его растворяет морская вода.
И безлик этот город, где мы появились и жили,
Где летит самолет с золотою звездой на крыле.
И завидую я уроженцу Чегема — Фазилю,
Он вернется в Мухус и к родной прикоснется земле.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

Когда пытаюсь мысленно назад
Пройти путем забытым и неблизким,
Я вспоминаю Соловьевский сад
С Румянцевским высоким обелиском.
Дощатую эстраду, что листвой
Засыпана была порой осенней.
Там, кажется, оркестр духовой
Перед войной играл по воскресеньям.
В саду перемежались свет и тень.

По узкому пустому переулку
В числе других присмотренных детей
Меня туда водили на прогулку.
Заканчивался год сороковой.
Кончался вальс, короткий и прощальный.
И шпиль Адмиралтейства над Невой
Светился, словно лучик вертикальный.
И не казался голосом судьбы
Спокойный звук стихающей трубы.

ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ

Остров Хиос, остров Самос, остров Родос,
Я немало поскитался по волнам.
Отчего же я испытываю робость,
Прикасаясь к вашим древним именам?
Возвращая позабывшиеся годы,
От Невы моей за тридевять земель,
Нас качают ваши ласковые воды —
Человечества цветная колыбель.

Пусть на суше, где призывно пахнут травы,
Ждут опасности по десять раз на дню!
Черный парус, что означить должен траур,
Белым парусом на мачте заменю.

Трудно веровать в единственного бога —
Прогневится и тебя прогонит прочь.
На Олимпе же — богов бессмертных много,
Кто-нибудь да согласится нам помочь.

Что нам Азия, что тесная Европа —
Мало проку в коммунальных теремах!
Успокоится с другими Пенелопа,
Позабудет про папашу Телемак.
И плывем мы, беззаботны, как герои,
Не жалеющие в жизни ничего,
Мимо Сциллы и Харибды, мимо Трои,
Мимо детства моего и твоего.

* * *

Шален от отчаянного страха,
Непримиримой правдою горя,
Юродивый на шее рвал рубаху
И обличал на площади царя.
В стране, живущей среди войн и сыска,
Где кто берет на горло, тот и нов,
Так родилась в поэзии Российской
Преславная плеяда крикунов.

Но слуховое впечатленье ложно —
Поэзия не факел, а свеча,
И слишком долго верить невозможно
Тому, кто поучать привык, крича.
Извечно время, слушатель великий,—
Столетие проходит или два,
И в памяти людской стихают крики,
И оживают тихие слова.

Андрей Кутерницкий

Два рассказа

ЧАЙКИ НА ГАЗОНЕ

I

Ее имя не волновало его слух, он не обращал внимания на ее платья, не вел с нею двусмысленных разговоров, не интересовался, с кем она встречается. Да и некрасива она была — среднего роста, крупный нос, сильная челюсть, густые гладко зачесанные волосы. И ноги, стройные, но с крепкими развитыми икрами. Кроме того, она оказалась удивительная молчунья, вместо «да» кивала головой, и это тоже не нравилось ему. О ней было известно, что до института она жила в каком-то заштатном неведомом городке в простой семье, кажется, без отца. И когда впервые он увидел ее в учебном спектакле, то сразу решил: «Не мое!», но искру божию в ней отметил и взял к себе в театр на роль Заречной; ему хотелось сделать Нину Заречную ослепительно юной и, как он сам выражался, кондово-провинциальной. «О неопытности Тригорин мечтает! — говорил он на репетициях.— Аркадина умна, красива, но... потрепана. Только юность!» И она сыграла неплохо, но радости это ему не принесло, он уже видел — спектакль не получился и, значит, опять доброжелатели будут шептаться. Ведь подбросили на прошлой неделе письмишко: «Игримов, ты — газета, а не книга». Он понял намек.

И вот четверть часа назад, нехорошо захмелев, сидя рядом с нею на банкете, устроенном в театральном фойе в честь премьеры, он вдруг сказал ей:

— Не хочу ехать домой. Возьмешь к себе?

Она не ответила, но неожиданно растерялась, и испуганный взгляд ее метнулся через столы, словно отыскивая кого-то.

— А знаешь,— быстро заговорил он,— я повезу тебя сначала туда, в тот двор на канале! Преступление и наказание. Ты эту ночь навсегда запомнишь!

Зачем он позвал ее? Зачем обратился к ней? Даже не блажь. Нелепость! Он и сам плохо понимал, что происходит с ним в этот вечер.

На банкете старательно веселились, всем хотелось праздника. Много пили, ели, спорили, вдруг поднялась за столом с рюмкой водки в руке актриса Казанцева, обвела всех темным взглядом, ее хотели усадить обратно, но она с силою отмахнулась, пролив при этом из рюмки. «Глеб Михайлович, родной,— обратилась она к нему,— вы простите, что я вас так называю, но я не преуменьшу, если скажу, что сегодня случилось эпохальное событие. Наша „Чайка"..! — Голос ее сорвался, и глаза переливчато сверкнули.— Глеб Михайлович! Я пью за величайшее счастье, которое мне выпало в жизни: работать с вами!» И опрокинула рюмку в широкий коричневый рот. Игримов ласково смотрел на мелко вздрагивающие завитки ее белых выжженных волос и никак не мог стряхнуть с себя липкое ощущение приятности от того, что все они вокруг него и он их Мастер.

Кутерницкий Андрей Дмитриевич (р. 1948 г.) — прозаик, драматург. Член СП. Живет в Ленинграде.

Критики отзывались восторженно; они теперь всегда отзывались восторженно, но Игримову хотелось, чтобы они говорили еще и еще, чтобы внушили ему — постановка гениальна. И он уже начал верить, успокаиваться, но на сдаче спектакля один из критиков, Сердобольский, лысый старик с жесткими серыми глазами, с не по годам острым зрением (никто никогда не видел его в очках) и в прошлом похваливший Игримова за одну из его первых работ,— промолчал, а когда его спросили, нехотя вымолвил: «Собственно, о чем я должен говорить?» И это нескрываемое «нехотя» взбесило Игримова.

«Ну-ну, Алексей Павлович,— подумал он, глядя Сердобольскому в глаза,— понятно, на чью мельницу вы теперь льете воду».

И улыбнулся широкой добродушной улыбкой, тою самой, которой он улыбался во всех своих кинофильмах, на встречах со зрителями, в министерстве, в управлении, инспекторам ГАИ и хорошеньким женщинам.

II

Ехали молча.

Густая тьма лишь местами озарялась пульсирующим светом непотушенных реклам. Перед радиатором маячил то кровавый, то огненно-синий кузов крытого военного грузовика с поблескивающим белым номером 89—96 АЮЛ, и было непонятно, откуда мог взяться посреди ночного Ленинграда этот одинокий иногородний пришелец, медленный и угрюмый, с таким тяжелым номером, словно каждая цифра его весила несколько тонн.

Игримов вел машину, курил и устало смотрел на задний борт кузова.

В центре сознания, затихая, еще гнездился назойливый шум музыки, переплетенье пьяных голосов, а по периферии, не находя опоры, блуждала странная заманчивая мысль; Игримову вдруг представилось, будто впереди грузовика на бронированном тягаче в холодных клубах серебристого дыма сквозь темноту и редкий неоновый блеск везут зачехленную ракету — длинную смертоносную тушу, от мрачной тяжести которой надрывно гудит вонючий тысячесильный дизель и мнется асфальт, и что по всему городу, по всем улицам и переулкам везут оружие, тогда как город спит и даже не подозревает, что в эту ночь *начнется.*

Надя сидела рядом, перебирала пальцами одной руки длинные стебли гвоздик. Настороженно притихшая, она всю дорогу смотрела вперед, держалась прямо, стесняясь откинуться на спинку кресла, и глаза их ни разу не встретились; даже когда Игримов поворачивался к ней, она продолжала смотреть вперед.

«А пусть все взлетит к чертям собачьим! — подумал Игримов.— Какое-то разнообразие! — Он кинул окурок в окно, перевел скорость и переложил руку с гладкой пластмассовой рукоятки на Надино колено.— Во всяком случае, увидеть конец человечества, апокалипсис,— хотя бы ради этого стоило так долго, так бессмысленно жить».

Девушка напряглась, крепче сжала пальцами дверную ручку, но ладонь Игримова снять не решилась.

Капроновый чулок был холоден.

— Как тебе сегодняшний вечер? — спросил Игримов.

— Мне трудно ответить, Глеб Михайлович, я ведь занята в спектакле,— прошептала Надя.

— Первая премьера. Выходы на поклоны. Аплодисменты. Цветы. А мне давно все невкусно.

Мысль соскользнула в темноту, и Игримову опять сделалось голо и неуютно.

— Почему? — спросила Надя.

— Вот ведь вопрос! — Он усмехнулся, мягко пожал ее колено и еще раз пожал.— В разных переводах «Гамлета» эта строчка переводится по-разному:

«вот в чем вопрос» и «вот ведь вопрос». Но если первое — вопрос, то второе — издевка над вопросом.

Он повернул к ней лицо и увидел сразу как нечто неразделимо-целое и одновременно отстраненное от него: черно-песочную стену дома за автомобильным стеклом, Надин профиль, гвоздики и свою снежно-белую руку.

И ему вдруг стало страшно за себя.

— Выше нос, актерка! — воскликнул он.— Не скисай! Сейчас приедем туда, куда сам Родион Раскольников приходил на дрожащих ногах!

Надя трудно проглотила слюну, но жалкая ее улыбка не принесла Игримову утешения.

«Зачем я затеял это? — подумал он.— Спать надо было ехать».

И стал обгонять надоевший грузовик.

К сорока восьми годам с Игримовым произошло странное: он перестал хотеть жить дальше. Впрочем, жить дальше хотелось и, быть может, так сильно, как никогда прежде, но ушла какая-то главная животворящая сила, которой он не знал названия, но благодаря которой проживание жизни было радостью. И осталось пустое, выхолощенное, математически четкое, словно жизнь была лишь $2 + 2 = 4$, сознавание того, что продолжать ее необходимо, любить женщин необходимо, необходимо достигать успеха, находиться в центре внимания, бывать на съездах, кроме того, содержать квартиру, ездить с женой на курорты и помогать взрослому сыну и его семье.

Это нехотение жить было неуместно, непрактично, несправедливо, но разумом Игримов понимал, что теперь, когда здание выстроено и самое время вкушать от трудов своих, он не может не хотеть, что здесь случилось недоразумение, досадная ошибка, которую следует поскорее исправить, и радость вернется.

«Упустил я себя...— думал он, поздними вечерами надолго оставаясь после спектакля в своем огромном кабинете, в одиночестве взбодрившись двумя рюмками коньяка и сумрачно глядя на старинный резной стол, на одном конце которого стоял гипсовый бюстик Станиславского, а на другом голландская сигаретница.— Надо проконсультироваться у хорошего врача. Может, просто отдых нужен? Попринимать что-нибудь, попить. Есть же какие-то новейшие препараты!»

Взлет его был стремительным. За пятнадцать лет от мало известного артиста он дошел до руководителя театра, получил депутатский значок, премию, открытую визу; не хватало золотой звезды Героя, но он не сомневался — дадут к юбилею.

На его удачливое счастье руководство культурой возглавляла женщина, и на прием он неизменно приходил с живыми цветами и еще с чем-нибудь милым, не дешевым, изобличающим хороший вкус, но что никак нельзя было принять за взятку. При встрече и прощанье он целовал руку, был улыбчив и светел, в кресле сидел свободно, закинув ногу на ногу, и, не прекращая разговора, умел перезавязать на туфле шнурок. И, быть может, ни одна роль, сыгранная им на сцене, не принесла ему такого удовлетворения и такого наслаждения, как эта: здесь, в казенном здании, где она скучала среди сытых больных чиновников, он говорил ей комплименты, оглушал беседами о Набокове, принес однажды переснятый «Дар», который, впрочем, ей не понравился, приглашал ее на спектакли и расчетливо позволял себе кое-что крамольное: последнюю сплетню, анекдот, лукаво косясь при этом на угол кабинета или на батарею центрального отопления и спрашивая: «А у вас там магнитофончик не включается автоматически?» И она смеялась. Ей нравилось это. И приятны были комплименты, и цветы, и милые подарки. Ей было под пятьдесят. Она красила волосы, ногти и губы. Ногти — густым перламутром. Если бы могли быть зрители! — как жалел он об этом.

— Темно,— громко произнесла Надя.

Вдруг открылась площадь, и они как бы с размаха влетели в ее широкое невесомое пространство, в глубине которого справа, слева, далеко и близко синхронно мигали светофоры.

— Авария в электросети уличного освещения,— сказал Игримов и подумал: «А ведь было сейчас что-то приятное... только что. О чем-то я думал, был какой-то просвет...— И вспомнил: — Ракеты!»

— А тебе не кажется, что я пошлый человек? — вдруг спросил он у Нади.

Девушка не ответила.

— Руби с плеча! А то слишком много врем!

— Нет,— сказала она.

— Почему же нет? В театре твоя судьба зависит от меня, а я еду к тебе во втором часу ночи и задаю вопросы, на которые, сам знаю, ты не можешь ответить.

— Нет.— Голос ее дрогнул.

— В каком же смысле?

— О судьбе. Она зависит от способностей, упорства...

— Ты думаешь?

Игримов помолчал.

— В молодости я тоже верил, что моя судьба зависит от меня одного,— сказал он.— Это не так. Судьба зависит от тысячи обстоятельств, от дурацкого случая, от того, в какой стране родился и при каком правительстве.

Группой мерцающих светляков, обгоняя друг друга, точно в черной воде, выплыли из темноты пять огней — пять мотоциклистов — и с ревом, слепя в лоб, пронеслись мимо.

— А то еще проще,— сказал Игримов.— Летишь в самолете, а в двигателе маленький винтик лопнул, и вот оказывается, что этот маленький винтик, где-то когда-то кем-то под мухой выточенный, и был твоей судьбой. Но есть и спасение...

Он тронул на приборной доске кнопку, и улица глубоко озарилась двумя потоками упругого яркого света.

— Спасение в том, что мы не знаем своей судьбы. Это — единственное, что Создатель придумал мудро. Гуманно, во всяком случае.

Свернули направо. Автомобиль остановился мягко, без толчков и скрипа.

На набережной пахло краской.

Темный шестиэтажный домина нависал над берегом, втянув каменный живот, точно хотел заглянуть окнами верхних этажей в собственную подворотню.

— Удивительное свойство северной воды,— сказал Игримов, подводя Надю к каналу.— Огней нет, но поверхность блестит.

И вдруг услышал и увидел все это как бы со стороны, с некоторого расстояния: себя, Надю, ночь, звук захлопнутой автомобильной дверцы и то легкое точное движение, которым он ее захлопнул.

И как будто выдохнул что-то тяжкое.

Возле дерева на колдобинах стоял ржаво-черно-оранжевый «Москвич» без колес.

Когда вошли под гулкий свод, в ноги шарахнулась кошка, ударилась о стену и бешено помчалась прочь.

— Обитель старухи-процентщицы,— рассказывал Игримов.— Через подворотню, когда Раскольников шел на убийство, проезжал большой воз с сеном, и Раскольников сумел пройти незамеченным.

Надя запрокинула голову.

Черным сверкающим треугольником вздувалось над ямой двора высокое просторное небо, все в ярких звездах.

— А скажи кому-нибудь сто пятьдесят лет назад: Федор Михайлович Достоевский...— продолжал Игримов.— Все равно что Иван Иванович Сидоров. И вот: «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы». А ведь и дальше будут имена. Только мы не узнаем.

— Как красиво! — прошептала девушка.

Голос ее был тих. И так остро вспыхнули в нем два сухих «к».

Игримов знал ее голос, ему даже казалось, что он давно привык к нему на репетициях, но сейчас этот тихий глубокий голос был ему совершенно нов.

Он удивленно посмотрел на нее. Он был много выше, и он увидел ее лицо и светлый пробор в волосах. И у него возникло ощущение, будто его окатило прохладной волной чистого ночного воздуха. Это произошло внезапно. С болезненной жадностью почувствовал он рядом юную сильную жизнь, еще не изувеченную ни страхом, ни тоской, еще не знающую своего исхода, и ему захотелось сейчас же сбросить с себя усталость и досыта напиться этой молодой жизнью, перелить ее в себя до капли.

Секунду он медлил, словно решаясь на что-то преступное, коснулся кистью руки тонкого Надиного платья из приятно сухой материи и сразу обнял девушку

за шею. Ему показалось, что именно здесь сосредоточена вся сила этой молодой жизни. И он не ошибся, он ощутил, как под его пальцами упруго и часто бьется гибкая горячая жилка...

Когда выходили из двора, на набережной горел свет. Металлически звонко отдавались под сводом подворотни подкованные каблучки. Игримов пропустил Надю вперед и чуть приотстал, чтобы посмотреть на нее сзади: что-то крестьянское сквозило в ее походке, плечах, манере ступать. Он взглянул на свою руку, и ему почудилось, будто та упругая горячая жилка продолжает пульсировать на его ладони. «К ней! — подумал он.— Сейчас же!»

Все вокруг мокро блестело: асфальт, лужи у гранитных плит, решетка канала, все разделилось на свет и тени, на черное и серебряное, и ободранный «Москвич» без колес выглядел особенно уродливым. Но «мерседес» переливался зеркально, линии его корпуса мягко текли в голом искусственном свете, и почему-то Игримова обрадовало, что не «Москвич», а эта сильная машина принадлежит ему и в этой звездной ночи именно он выходит из темного двора, в котором когда-то стоял Достоевский.

«Рано...— с дрожащей нетерпеливой ненавистью вдруг обратился он к Сердобольскому.— Рано хороните!»

И азартно гнал машину, которая послушно и быстро набирала скорость, морщил лоб, упрямо давил на педаль. Колеса на поворотах визжали. На прямых участках стрелка спидометра переползала за 110.

— А?! — весело спрашивал он, взглядывая на испуганную Надю.— Не бойся! Не разобью! — И повторял: «Рано, Алексей Павлович! Я еще любить способен!»

Мосты проскочили перед самой разводкой.

После освещенных прожекторами колонн бывшей Фондовой биржи, на ступенях которой толпилась с гитарами и магнитофонами молодежь, безлюдные улицы Петроградской стороны еще сильнее взбудоражили Игримова.

Он достал сигареты, предложил закурить Наде.

— Ты кто по национальности? — спросил он.

— Русская,— поспешно ответила она, не понимая, для чего этот вопрос, и никак не могла ухватить сигарету за фильтр.

— Мне показалось, в тебе есть татарские крови.

Выехали на проспект.

— Этот дом,— хрипло произнесла девушка, закашлявшись дымом.

Игримов свернул к подъезду.

Стали выходить.

Надя отошла в сторону, опустив глаза молча ждала, исподлобья озираясь быстрыми короткими взглядами. Ее рука поворачивала подаренные гвоздики то вниз, то вверх головками.

— Давненько не бывал в коммунальных квартирах! — бодро проговорил Игримов, подходя к ней, но вдруг почувствовал, что она полна движения сказать ему что-то, в эту же секунду понял, что никак нельзя позволить ей сказать, и настойчиво подтолкнул ее раскрытой ладонью в затылок...

— Ночь какая! — воскликнул он.

Обогнув железную шахту лифта, внутри которой висела сломанная кабина, поднялись на второй этаж.

Из темноты повеяло удушливым теплом многонаселенного жилья.

«А потом катануть с нею куда-нибудь за город! — подумал Игримов, испытывая желание совершить бесшабашный отчаянный поступок.— Утреннее шоссе! Березовая роща. Холод росы. Поцелуи...»

Впереди, ослепляя зрение, загорелась лампочка. Из-за угла коридора выглянуло плоское рыхлое лицо, и сразу показался, расставя могучие руки, гигант в узеньких белых плавочках, столь незаметных под его круглым животом, что в первый момент Игримову почудилось, будто мужчина совершенно голый. Гигант грязно выругался, погасил свет и, распространяя за собой винный перегар, прошествовал мимо.

— Шлюха! — произнес он набитым жующим ртом.

Игримов задохнулся.

Узкой, длинной, очень высокой оказалась ее комната.

III

«Только этого хама недоставало!» — подумал Игримов, переступая порог. Тяжелая злоба мутила его.

Глухо, сильно, точно в лоб ему, пробили стенные часы.

Он рывком повернулся и увидел большое незанавешенное окно.

Рассеченное двумя крестами белых рей, оно кварцево мерцало. Острый серебристый блеск висел в воздухе вместо стекол. И за ним яркими красными огнями карабкалась на ночное небо телевизионная башня.

Надя включила люстру.

Вокруг Игримова выросла мебель.

Надя растерянно посмотрела на свои руки, совершила пальцами перебирающее движение, словно ощупала невидимую ткань, и вышла в коридор.

«Догнать ублюдка и врезать в морду!» — щуря глаза и пытаясь унять сердцебиение, решил Игримов.

Но злоба и была именно оттого, что он знал, что не догонит и не врежет.

За низкой тахтой воздвигался до лепного бордюра старый громоздкий буфет с резными дверцами, шишечками и зеркалом между стоек. Тумбочка, торшер и холодильник были остроугольнее — из шестидесятых годов. Телевизор из семидесятых.

На стене, приколотая к сереньким обоям булавками, светлела афиша «Чайки».

Игримов остановил взгляд на афише, дважды прочел свою фамилию, напечатанную крупным шрифтом...

«Впрочем, черт с ним! — подумал он о пьяном.— В конце концов, она не замужем, можно милицию вызвать».

И не в силах унять гнев, все же приказал гиганту опуститься на колени и просить пощады и каяться.

— Я чайник поставила, Глеб Михайлович,— услышал он Надин голос.— Вы чай будете пить?

— Чай? — переспросил Игримов, не понимая, зачем ему пить чай, но ответил: — Чай всегда хорошо.

— Что за человек был в коридоре? — резко спросил он.

— Барсик,— не сразу ответила Надя и, отведя взгляд, добавила: — Арсений. Он ночью из столов ворует.

— Ты не подумай, что я не слышал,— сказал Игримов.— Но связываться сейчас с пьяным...

Крылья ее ноздрей заколыхались, глаза потемнели, и вдруг она стала очень красивой.

— Что вы! — быстро заговорила она.— Я никогда не допущу!

— Ну, это позволь мне решать,— произнес Игримов повелительно.— Женщину, которая со мной, безнаказанно оскорбить нельзя!

Он сложил руки на груди, тут же сунул их в карманы брюк и прошелся по комнате, неожиданно взволнованный и даже смущенный.

— Не хочу о нем! — сказал он, круто повернувшись у стены.— Ты одна здесь живешь?

— С мамой.

— Где мама?

— В доме отдыха.

Надя взяла узкую керамическую вазу.

— Я пойду налью гвоздикам воды? — спросила она.

«Как хороша была! — подумал Игримов, остановившись возле книжной полки, и вдруг понял: — Пальцы! Живые, чувственные! А на сцене — мертвые. Что-то зажато в ней!»

Книг было немного, в основном по театру, учебники и те, что положено прочесть студентам театрального института. Рядом с Шекспиром и Толстым соседствовала толстая красная хрестоматия по истории коммунистической партии. Удивили его два дорогих, великолепной полиграфии, альбома импрессионистов.

«Типичная русская провинциальность! — подумал он.— Здесь неправильно

произносят слова, но среди этих буфетов появляется тридцатирублевый альбом Ван Гога. Я, конечно, попал в десятку, взяв ее на роль Заречной».

Он подошел к тахте, нажал ладонью на покрывало.

Неожиданно легкая тень, скользя, стремительно пронеслась над ним... Трудно было понять, что произошло. Голова ли вдруг закружилась? Привиделось ли сердцу? Он как будто облизал с высохших губ холодные соленые брызги. Душистыми цветами вскипали вокруг тяжелые ветви деревьев.

Игримов выпрямился, но сейчас же сел на тахту и стал прислушиваться.

Мужской голос за окном прокричал: «Жанка, открой!», потом снова: «Жанка!» и еще через некоторое время: «Гадюка ползучая!» Но беззлобно, а скорее от тоски, от бессилия.

«Весна...— думал Игримов, пытаясь отыскать в памяти тот свободный край, где синел горизонт и звенела в высоте, все повышаясь, светлая нота чистейшего счастья.— Нет, не в весне причина,— понял он.— В ветре! В напоре воздуха...»

— У тебя есть что-нибудь выпить? — спросил он, когда Надя вернулась из кухни.

— Сухое вино,— ответила девушка.

Не зная, куда деть горячий чайник и вазу с цветами, она поставила и чайник и вазу на пол, и в отворенном холодильнике Игримов углядел две зеленые бутылки, мрачно темнеющие на дверце.

— Здесь мало,— сказала Надя, вынув одну из них.

— А та? — спросил он, указывая на вторую, с этикеткой «Рислинг».

— Самогонка.

Он поманил бутылку рукой, не без труда выдернул пробку и поднес узкое горлышко к носу...

— Ну, тогда закусь готовь! Зажигай свечу! Тащи стаканы граненые! — сказал он, глядя на сильные Надины ноги и вдруг ослабев.

Через пятнадцать минут сидели за столом. Люстра была потушена, и над блюдечком, потрескивая, мерцала фигурная подарочная свеча, золотым блеском вспыхивая в больших темных стаканах.

— Значит, ты волжанка коренная,— говорил Игримов.— Как же ты в Питере оказалась?

— Папу перевели.

— Военный отец?

Она кивнула.

— А кто-то говорил, будто у тебя отца нет?

— Есть,— сказала она серьезно.

— Он тоже здесь живет?

— Нет. У него другая семья.

— Осуждаешь? — спросил Игримов.

— Сердцу не прикажешь,— ответила она спокойно.

Игримов разлил по стаканам.

— Ничего не знаем о себе! Смотрю на тебя. Пью волжский самогон...

Он замолчал, засмотревшись на ее огненное, ярко выделяющееся из темноты лицо с опущенными глазами.

— Расскажи о себе! — вдруг с жадностью попросил он, чувствуя, как радость в душе растет и требует свободы и простора.— Что сама хочешь. Из детства, из юности. Я ведь на Волге трижды снимался.

Он долго ждал, когда она заговорит, но она так и не заговорила.

Наконец она улыбнулась и все равно ничего не ответила.

— Ну, тогда объясни, что мешает тебе на сцене?

— На сцене? — прошептала она, напрягшись.

— Да. Я сегодня увидел, какие у тебя пальцы. Чуткие, нервные. А на сцене будто нет их. Может, это не твоя роль? Может, тебе ближе Маша?

— Нет... Моя,— проговорила она растерянно.— Я очень люблю эту роль.

И вдруг он увидел, с каким страхом она смотрит на него.

Он молчал, наслаждаясь ее взглядом.

— Актри-и-са! — произнес он протяжно.— А ты — актриса. Зачем же ты актриса! Ведь это больно, если по-настоящему. Это — две жизни волочь. Не всех на две жизни хватает...

IV

Ночь была бесконечной, послушной, послушной и странной, пьяной, бездарной, талантливой, без сна и бодрствования, без прошлого и будущего, словно вдох без выдоха, словно взгляд сквозь опущенные веки,— казалось, она будет продолжаться ровно столько, сколько захочет Игримов, она растянется до размера его желания, до полной безграничной свободы, и он даже не заметил, когда она вышла из его повиновения. Но она все же вышла, упрямо достигла своей вершины, встала на холодное острие, затрепетала, качнулась...

И Игримов испытал ощущение, суть которого заключалась в том, что весь мир — безвоздушная пустота.

Это странное ощущение возникло у него, когда, стоя в темноте у стены, он рассказывал Наде о том, что собирается ставить «Записки из подполья» Достоевского, и вдруг взгляд его остановился на чем-то блестевшем в темноте, и он замолчал, мучительно не понимая, что блестит.

Пробили часы. Опять неожиданно. И это удивило Игримова. Удивило, что именно в этот момент.

Он сосчитал удары, протянул к таинственному предмету руку, и пальцы его сошлись в кулак, ничего не взяв.

И тут же он понял, что это всего лишь отсвет от маленькой хрустальной вазочки.

Пахло табаком.

В углу истлевал хрупкий огонек Надиной сигареты.

«Да что же я все говорю!..» — подумал Игримов.

Он услышал металлически четкое тиканье стенных часов.

Он услышал, как тихо шепчет Надя:

— Пьяная! Господи, какая пьяная!

И чем дольше длилось молчание, тем громче стучал маятник.

Игримов стремительно подошел к Наде, покачиваясь, коснулся ее щеки чуть ниже глаза, провел подушечками пальцев по гладкой коже и, чувствуя, как девушка пытается уклониться, приподнял ее лицо за подбородок.

Ее глаза были темны. Впервые они смотрели на него.

«Не хочешь...» — подумал Игримов.

Надя не шевелилась.

— Человек рассуждает о жизни и смерти и думает о руках женщины. Его волнует запах ее волос. Для чего же тогда о жизни и смерти, если оба знают, что запах волос?

Он нежнейше погладил ее волосы, перебирая их, пропуская между пальцами, но ничего не ощущая при этом, а зная лишь, что пришло время нежнейше гладить их и перебирать.

— И вот я и ты... Пересечение нитей... Только живое не знает фальши. Только близость тела. Люби! Люби прикосновение! — прошептал он.

И вдруг его пронзила такая тоска, что ему даже показалось, будто комната сузилась и опустилась вниз.

Он отстранил Надю, неверными шагами подошел к окну и оперся о холодный подоконник.

В кристаллической предутренней глубине синел рассвет.

— Нет. Все не так. Не то... Я устал,— проговорил он, глядя на рассвет.— Я устал.

Тихая, неподвижная, Надя сидела на тахте, закрыв лицо ладонями.

В сумраке блестели стаканы и бутылка, и ему вспомнилось: «Блестит на плотине горлышко разбитой бутылки,— вот и ночь».

Ночь прошла.

— Девочка! Милая! Я пьян...— тихо заговорил он.— Я хочу тебя. Я хочу правды. Хоть одну ночь чистой правды.

Проливая, он выхлестнул в стакан все, что оставалось в бутылке, залпом выпил, приблизился к Наде, распрямился над нею, точно длинная хищная птица, сдернул с себя свитер, швырнул его в сторону, с силою отнял ладони от ее лица,— оно было сейчас уродливым.

— К черту! К черту усталость! — прохрипел он.— Время идет...

И, крепко сдавив ее голову, поцеловал в сжатые губы.
Она несвязно замычала, попыталась встать.
Но он быстро опустился рядом нв край тахты.
— Как хороша ты в сумраке! Какан ночь! Как я счастлив! — твердил он, с силою удерживая ее, давясь словами, целуя ее в губы, плечи, шею.
— Глеб Михайлович! Пожалуйста! Мне нехорошо...— просила она и боролась с его руками, уклонялась от его губ.— Пойдемте на улицу!
— Жить! — задыхался он.— Жить каждым нервом!
— Глеб Михайлович!
Он вдруг понял, что проигрывает, что борьба настоящая.
— Люблю! — выдохнул утробно.
И сквозь пьяное головокружение почувствовал сильный удар в лицо. Это был даже не удар, а резкое отталкивающее движение ладонью руки. Над ним взлетел потолок с трехлапой тенью люстры, он понял, что соскальзывает с края тахты, попытался удержаться, но не сумел и грохнулсн на коврик, зацепив рукой стоявший рядом стул.
Что-то раскололось в этот момент в его помраченном сознании, сместилось, потухло, но тотчас явилось с предельной трезвой ясностью: Надя, приподнявшись на носки, прижималась к стене спиной, точно стояла на огромной высоте на узеньком карнизе, и косила на него сверху вниз дикими блестящими глазами, а он лежал перед нею на полу и смотрел на нее снизу вверх.
Сердце его колотилось бешено.
Он ничего не слышал, кроме этих частых сильных ударов.
Прошло немало времени, прежде чем он поднялся, не понимая, что он сейчас должен сделать и страдая от своей медлительности.
Она подумала, что он ударит ее,— так неподвижно было ее лицо, но он стал искать свитер, искал его долго, потом долго надевал, аккуратно поправляя рукава, плечи, воротничок рубашки...
— Ты сегодня в последний раз играла в «Чайке»,— сказал он глухим плывущим голосом.
И вдруг она заплакала, открыто, навзрыд, как может плакать только девочка, и, отвернувшись к стене, уткнулась горячим ртом в собственную руку.
— Я что тебе, мальчишка! — произнес он, задыхаясь.— В другом месте поищи мальчишку!
И слыша ее напряженное, хлипкое от слез дыхание, почувствовал, как сильно дрожат у него руки.
— Я ехал к тебе! — тихо заговорил он.— Как невыносимо мне было! Сколько своей жизни отдал я тебе, чтобы ты сыграла! А ты не сумела сделать меня счастливым на одну ночь! Даже одну ночь ты для меня пожалела!
— Простите меня! — шептала она, захлебываясь слезами.— Я виновата! Я знаю! Я виновата! У-у, как гадко, господи! Но я же не хотела... Так получилось... Я же не хотела!
— А что ты хотела? — спросил Игримов.
Но она не слышала его слов, все твердила, быстро, со слезами прошептывая:
— Как гадко! Как гадко! У-у, господи! Ка-ак гадко-то!
Игримов опустился на тахту.
Голова кружилась.
— Я что, не нравлюсь тебе? — спросил он.
Она молчала.
— Я не нравлюсь? — повторил он настойчиво.
— Нет,— ответила она мокрым прерывающимся голосом.
— Нет — не нравлюсь, или нет — нравлюсь?
— Нравитесь.
Он ощутил, как под сердцем прошла легкая теплая волна, и в надежде, что за нею последует еще одна, с минуту ждал.
— Может, ты невинна? — произнес он наконец, шалея от слова «невинна», от того, что она может ответить «да», и страдая от мучительной нечистоплотности своего вопроса.
— Нет,— ответила она поспешно.
— Так в чем дело?.. Ты кого-нибудь любишь?

Она перестала плакать, долго вытирала лицо ладонью, громко, без стеснения шмыгая носом.
Внезапно он почувствовал к ней сильнейшую нежность.
— Зачем же ты везла меня к себе? — спросил он, встав и подойдя к ней вплотную.— Я признаю чужое чувство. Но ты везла.
Она молчала.
— А я отвечу,— сказал он медленным унижающим голосом.— Тебе хотелось получить еще одну роль!
— Не надо мне ничего! — вскрикнула она, выпрямившись, совершая поднятыми вверх руками странные изломанные движения.— Я уйду из театра! Совсем уйду!
— Уйдешь? — переспросил он, дрожа от гнева.— Ты вылетишь!
И стремительно вышел в коридор.
Ощупью, вытягивая вперед руки, он двинулся вдоль стены, увидел вдали узкую горящую щелку, пошел на эту щелку, жадно улавливая холодный запах лестничной клетки, долго возился в темноте с незнакомым замком, наконец отворил дверь и, схватываясь за пыльные перила, бросился по ступеням вниз.

V

«Ах ты, подлая девчонка! Ничего мне не надо! Я тебе покажу: не надо! Ты на всю жизнь запомнишь! — задыхался Игримов.— На глухой периферии поработаешь — поймешь, от чего я тебя избавил! Когда десять постановок за год, сплошное пьянство и одна общага на всех! Быстро сообразишь, когда увидишь ту публику, те серые тупые лица! На коленях будешь ползать: хоть в массовку, хоть на две фразы — только возьмите! — Он закурил и тут же с отвращением швырнул сигарету в окно.— Ишь, зазвездила: столичный театр, Нина в „Чайке“! Я пять лет отдал зачуханному Тобольску! Пять лет! А ты со старта — на прославленную сцену! Кто это сделал? Я тебя спрашиваю: кто? Не я ли? Не я ли! Ну-ну! Ты у меня узнаешь жизнь! Кто же он, этот твой обворожитель? На кого ты там глянула через столы? А! Витя Сударев! И все без лишних разговоров! Овечка невинная! Ничего, вы у меня вместе полетите. Это ведь ты, дрянь, поехала со мной, а уж знала наперед, как будет! Садилась в „мерседес“ и знала!»
Игримов почувствовал, что ему совсем нехорошо, и только тут увидел, что он за рулем и порядочно уже отъехал.
Справа светлела река.
Он остановил машину и вышел на набережную.
Город был окутан синим предрассветным сумраком. Он как бы медленно плыл в этом сумраке, оседая на дно его сонной своей тяжестью. Уже видны были темные кубы домов, деревья, расплывчато чернел быками старый деревянный мост. Над водой тонкой белой пленкой стелился туман.
Игримов подошел к толстому дереву, которое росло тут рядом, и обхватил его твердый корявый ствол.
«Зачем же я так напился! — думал он, стараясь вдохнуть холодный воздух как можно глубже.— Я уж сто лет так не напивался! Что они кладут в этот самогон? Птичий помет, говорят. Да, птичий помет. Для крепости».
Ему захотелось подумать о чем-нибудь светлом, но мысль не отыскала светлое.
«Четвертак гаишнику не забыть! — сообразил он.— Десяткой сегодня не обойтись».
Он достал металлическую трубочку с валидолом, опираясь о дерево плечом, высыпал таблетки на ладонь. Часть из них упала, и он увидел, как ярко забелели они в темной траве.
«Как все жалко, ничтожно, банально! Все банально. И то, что случилось. И то, что теперь...» — подумал он, сунул таблетку под язык и стал медленно сосать ее.
«Почему же банально? — вдруг спросил он.— Род приходящий и уходящий. Ай, идиоты! Исключений нет! Банально было во все времена! И у Александра Македонского было банально. И у Толстого с Софьей Андреевной. Встану из гроба и закричу при всех: ненавижу тебя! Разве не банально?»

Слово «банально» обрело в его воображении овальную мягкую форму, и ему показалось, что вместе с таблеткой он всасывает и эту форму.

«Да. Нам ведь только то и интересно, только то и понятно, что меленько и банально. Ругаем! А отнимите у человека тщеславие... Самое меленькое, самое ничтожное! И что ему останется? Чем ему жить тогда в нашем цивилизованном продажном доме?»

Он с силою выплюнул таблетку, присел на сырую землю и, опираясь назад на ладони рук, стал медленно спускаться по откосу.

От реки веяло холодом. И чем ниже спускался он, тем шире, бескрайнее становилась река.

Перед самой водой в откос была уложена бетонная плита. Чтобы не поскользнуться и не поехать, Игримов развернулся к реке спиной и, цепляясь пальцами за шершавый бетон, ступил на нижнюю горизонтальную плоскость.

Он попробовал коснуться воды рукой, но не дотянулся...

И вдруг шагнул в блестящий поток.

Сквозь прозрачный слой воды, доходившей ему до колена, он увидел темные тупые носы своих канадских туфель, купленных им в начале года в Монреале. Улица, на которой он купил их, называлась Сан-Кэтрин.

Рядом плыл туман, тонкий, густой, и под ним в разрывах чернела тяжелая текучая вода, притягивая мыслью о легкой смерти.

«А это я не с ума ли схожу? — удивился Игримов и подумал неожиданно: — Бог не банален. Потому и непонятен».

Он наклонился, сложил ладони ковшиком, стал плескать воду в лицо.

Его слух уловил музыку и затем ровный жесткий стук дизеля.

Сама садик я садила,
Сама буду поливать!
Сама милого любила,
Сама буду забывать!

Пел женский голос. Электрические гитары вторили ему.

Игримов увидел плывущий над пеленой тумана красный огонек.

По реке шел катер, угрюмый, хищный в синеве рассвета, и на нем на полную мощность работал кассетный магнитофон.

— Эй! Братишки! — крикнул Игримов.— Возьмите меня с собой!

Но его не услышали или не захотели услышать.

— Возьмите! — закричал он громче.— Я — Игримов! Я снялся в тридцати восьми фильмах! Вам будет приятно!

И вдруг катер стал лихо подпрыгивать на воде, вертеть плоской кормой, вихляя ею то вправо, то влево и обдавая Игримова сильными упругими волнами.

— Сама садик я садила! Сама буду поливать! — с бульварной развратностью орал высокий женский голос.

И катер подпрыгивал в такт ему и опять шлепался в воду.

Игримов напряг переносицу.

Четыре темных, одинаково повернутых головы на четырех неподвижных торсах торчали над бортом катера, точно глиняные куклы.

— Сволочи! — закричал Игримов.— Чтоб вы потонули в этой грязной реке!

Он вдруг пошатнулся, шарахнулся к берегу и быстро вскарабкался по крутизне откоса.

— Меня никто никогда не любил! — сказал он, прижавшись к дереву.— Никто! Тоска какая!

И долго тяжело отдыхивался.

— Нет, вру,— тихо заговорил он.— Вру, скотина! Меня любила бабка Варя. Да. Вот она любила. Она была почти неграмотная. Она мне серебряную ложечку подарила. Когда меня приняли в школу. И написала косыми каракулями: «Глебушке от бабы Вари». Как я хочу туда! Обратно! Где я был легким, и ничто не мучило меня, и дышалось свободно, и еще можно было верить в небессмысленность... Дерево! Дай мне немного жизни! Ну, хочешь, я тебя поцелую?

Ему захотелось познать, что значит этот безумный поцелуй, и он крепко поцеловал холодный шершавый ствол.

— Ведь ты будешь жить сто лет,— заговорил он снова.— Кто мне рассказывал, что деревья дают силу жизни, только надо знать, в какое время и к какому дереву притронуться?

Он прижался к стволу щекой, испытывая,— не теперь ли это время.

— Я хочу счастья! — прошептал он.— Я никогда не был счастлив! За все надо было платить! Все выгрызать! Разве это счастье? Вся жизнь — сознательное притворство. Душа, сердце, любовь... Одно — гаркнуть во все горло: «Смотрите, это я!»

Он оттолкнулся от ствола.

«Смешно! Кто же поделится жизнью!»

И побрел к машине.

Некоторое время стоял он перед нею забывшись, не понимая, для чего он здесь стоит и что с ним происходит. Потом увидел, как с брючин стекает на асфальт темная вода.

«Ноги промочил...— подумал он.— Дурак... Дурак... Ах, дура! Зачем же ты такую ночь загубила! Я знаю. Я чувствовал. Я бы вышел из этой усталости, тоски. Ведь все бы за такой дар полетело к твоим ногам. Роли, деньги, зарубежные поездки. А ты сломала. Зачем же ты швырнулась своим счастьем? Зачем украла у меня эту ночь? Ох, как же я тебя за это ненавижу!»

— Как ненавижу! — вскричал он и с силой ударил кулаком по капоту.

«Гук!» — злобно отозвался добротный красивый гроб.

Игримов сел за руль, достал бумажник и заложил в водительское удостоверение двадцатипятирублевую купюру.

Он не знал, как долго он ехал, быстро ли, медленно; он вроде бы непрерывно о чем-то думал, словно совершал напряженный кропотливый труд, и в то же время ни одной мысли не было. Он и не спал, и не бодрствовал. Навстречу ему наплывали дорожные знаки, светофоры, стены домов, окна, витрины, гранитные поребрики тротуаров, текло усыпляюще-однообразно полотно мостовой, вспыхивали трамвайные рельсы. Иногда ему казалось, что он все кружит и кружит по одним и тем же улицам, вдоль одних и тех же домов и что выхода из этого лабиринта нет. Долго видел он красную бензоколонку и несколько грузовых автомашин, ждущих в очереди, и все ехал мимо этой бензоколонки, и все никак не мог от нее уехать; потом она сама собою исчезла, и он больше не встречал ее, но ему почудилось, что он уже проезжал под этим узким длинным транспарантом через улицу. Вдруг открылись белые высокие облака, плывущие в чистом небе, он протянул к ним руку, и его поразило то, что они движутся. Он бросился к матери, стал дергать ее за подол платья и все плакал, тыча пальчиком в небо. «Что с тобой? — спрашивали его.— Чего ты испугался?» — гладили по стриженой башке, совали конфету, а он никак не мог объяснить им, что ничего он не испугался,— просто это облака, и они плывут, плывут, над ним, над землей, над всеми, они улетают навсегда, и они не вернутся!.. Желто мигали светофоры, проваливались в темноту полосатые зебры пешеходных переходов, монотонно гудел двигатель, лобовое стекло косо озарилось тусклым золотым лучом, и Игримов очнулся.

Ему показалось, что он вдруг широко раскрыл глаза.

Машина медленно спускалась с середины моста Строителей на стрелку Васильевского острова.

Он съехал на площадь, и взгляд его привлекло что-то яркое на зеленом.

Часть большого полукруглого газона между Ростральными колоннами была совершенно белой.

«Откуда снег?..» — удивился он, остановил машину и понял, что это чайки.

Он никогда прежде не встречал сразу такого количества птиц.

Осторожно, чтобы не спугнуть их, он вышел из машины и приблизился.

Птицы жались друг к другу, стояли на одной перепончатой лапке, тревожно озирались и тихо, нежно попискивали.

Игримов сел на длинную скамью, стоявшую на полукруге, стал смотреть на чаек... И увидел главное: премьера, банкет, телебашня за окном Надиной комнаты — все это произошло *вчера*. А сейчас, здесь, на стрелке Васильевского острова, начинается новый, другой день.

И почему-то это обстоятельство обеспокоило Игримова.

«Ну, да,— вспомнил он,— она плакала... Она плакала».

Наступал тот предрассветный миг, когда лучи, отраженные от неба, уже возвращают предметам объемы.

Но какая чистота была! Как чисты и ясны были берега, и очертания зданий, и сам воздух! Влага блестела на асфальте, округляла колонны, придавая им особенную утреннюю легкость. Чернели натянутые нити трамвайных и троллейбусных проводов, медно тяжелели лужи, пахло камнем, мокрой травой, осенью, И все находилось в движении, все струилось, дышало, проникало сквозь пространство...

Боль налетела внезапно.

Поначалу Игримов не мог определить, откуда она и где ее очаг,— у него не болело ни сердце, ни печень, ни руки, ни ноги, и тем не менее боль была и с каждой минутой делалась нестерпимее.

«Да что же со мной?» — испугался он и понял: невыносима чистота.

Как остро, как сильно чувствовал он сейчас эту чистоту! Словно стал он прозрачен; все покровы, защищающие его, были сорваны, все преграды разрушены...

И вдруг с ним случилось ужасное — он рывком вскочил, затряс в воздухе кулаками, горловым стоном выкрикнул:

— Не могу больше!

И, упав на скамью, зарыдал.

Над головой шумно просвистело, с многоголосым криком рассекая холодный воздух.

«Улетели,— понял он.— Все. Их было так много. Почему, почему они улетели! Я не хочу... Я не хочу...»

Но знал он и другое: пока глаза его горячи и боль эта существует, он жив. И чтобы продлить в себе жизнь, он плакал долго, не сдерживая рыданий, не стесняясь всхлипов и слез, обжигающе текущих по его щекам.

Когда он наконец поднял тяжелые дрожащие веки, газон был пуст.

С вершины моста на площадь сбегал, отражаясь в синеве асфальта, стремительный желтый трамвайчик, весело звеня, пылая стеклами и раскидывая над собою целые россыпи ярких сверкающих брызг.

ЗАПАХ ПРЕЛЫХ ЛИСТЬЕВ

Иван Павлович потерял жену не сразу, не мгновенно. О том, что им предстоит разлучиться, он узнал четыре месяца назад, после того, как в больнице имени Куйбышева ей сделали операцию и хирург Иглинский, которому Иван Павлович подарил свой лучший альбом с марками — редчайшие экземпляры со штампами «Пострадавшему от наводнения Ленинграду»,— сообщил ему, что врач — не бог и осень — предельная черта.

Иван Павлович хорошо помнил длинный день двадцать девятого мая. Стояла ясная солнечная весна, уже теплая, раздольно перетекающая в лето.

Каждый год в это время город преображался: зеленели сады, набухала сирень, в графитно-серой перспективе набережных появлялись яркие живые краски, а к вечеру, углубленное лиловыми облаками, небо насыщалось высоким золотым блеском, и не было ленинградца, в душе которого приход белых ночей не пробуждал бы жажду перемен.

Иван Павлович тоже испытывал внутренний подъем. Но теперь таилось в этом обновлении нечто тревожное, и хотя он не ведал, какие события ожидают его, недобрые думы гнал с суеверной поспешностью, тем не менее уже тогда присосался под сердцем тихий кропотливый червячок и, пожирая, нашептывал, наговаривал, накликивал... И накликал.

Утром двадцать девятого мая Иван Павлович проснулся рано: мелодично звенели позывные детской радиопередачи, и первое, что пронеслось в его сознании, было: *«сегодня!»*. Хотя это была не сформулированная мысль, а некое обозначение страха и надежды.

В больницу он приехал загодя, бродил по саду, скупо ограниченному Литейным проспектом, и, приближаясь к решетке ограды, рассматривая прохожих,

думал о том, что жену сейчас готовят к операции. И понятие «готовят» угнетало его, будто за высокими стенами находилась не жена, а безропотный манекен, который возможно к чему-либо приготовить; он с неприязнью представлял чужеродную домашнему очагу медицинскую технику, софиты, ослепительную сталь, и его охватывала удушливая тоска от мысли, что все это будет употреблено по отношению к ней, к его любимой Маше...

Потом он сидел в вестибюле, выложенном восьмигранной керамической плиткой; на одной из плиток имелся изъян в форме азиатского глаза с приподнятой бровью... И полтора часа ожидания измотали его настолько, что он перестал думать вообще.

Он помнил, как шел коридором, совершенно точно зная ответ и даже не поражаясь тому, что *знает*, помнил, как опустился в кожаное кресло и уронил палку; ее сразу подняли, но промелькнула мысль, что они подумают, будто он уронил палку от волнения, хотя он уронил ее из-за неловкости. И наконец ему предстало лицо Иглинского, безучастно-спокойное, разделенное синей нитью дыма от папиросы. Лучась крахмальным блеском, вплыла медсестра. Иван Павлович решил, что это на случай, если ему, старому человеку, станет худо; но ему не стало худо, он выслушал приговор, довольно легко поднялся, поклонился врачу, миновал сад, испытав внезапное дурманящее состояние нереальности, и, выйдя на Литейный проспект, прислонился к каменному основанию ограды. Схватив дыхание, опершись в рукоять палки, он долго смотрел на транспорт, удивляясь беззвучию, с которым подкатывали к остановке громоздкие двухвагонные трамваи... и очнулся лишь тогда, когда увидел себя рыдающим в кругу незнакомых людей. А потом он брел проспектом и в магазине «овощи-фрукты» купил для передачи жене болгарский консервированный компот.

И еще из двадцать девятого он помнил, как, пытаясь осмыслить потерю, он, не верующий в бога человек, старался убедить себя, что болезнь — не конец, и уповал на какую-то чудотворную власть судьбы ли, случая ли, которая именно его жене сохранит жизнь или отодвинет срок хотя бы на несколько лет. Но одновременно с этими видениями, размытыми, насильно внушаемыми, неотступно являлись мысли конкретные: «Где хоронить? На Красненьком рядом с мамой не разрешат. Значит, в Парголове. И сколько придется положить сил при наших порядках, раздать на взятки, иначе ничего не сделают! Машенька! — спохватывался Иван Павлович.— О чем я?!» Смущаясь, что думает о жене как об умершей, в то время как ей еще предстоит вернуться домой, он будет встречать ее с цветами, будут совместные дни, вечера и ночи, разговоры, книги, нежность, и все это, неделя за неделей, будет таять, уходить, пока не угаснет совсем.

Тогда он считал, что двадцать девятое — самый трудный день в его жизни. Теперь же, по странному совпадению тоже двадцать девятого, но уже сентября, когда гости, пришедшие на поминки, разошлись, он понял: *ее нет*.

Еще совсем недавно подле него была Ольга Викторовна — старшая сестра жены, семидесятидвухлетняя старуха, внешне совершенно на сестру не похожая, но столь же добрая и застенчивая. В последнюю неделю она проводила у них вечера и оставалась ночевать. Она сидела в углу дивана, трогая узловатыми пальцами складку старомодной блузки, и тихо повторяла: «Ванечка, не проси! Хоть у порога лягу!» А он умолял оставить его. Он говорил: «Я обещаю тебе, со мной ничего не случится. Но я хочу побыть один». И чем заботливее она опекала его, тем сильнее хотелось ему одиночества. Наконец он победил: она уехала. Иван Павлович разобрал постель, дрожа, залез под одеяло и, ощущая во всех суставах ломоту, обессиленный, сразу заснул.

Поминки прошли тихо и скромно, как дóлжно пройти поминкам у стариков, чей возраст перекинулся за ту незримую грань, за которой остались в живых лишь единицы из действительно близких людей. Кроме Ольги Викторовны были: ее сын Александр с женой, соседка по коммунальной квартире на улице Восстания, где Иван Павлович и Мария Викторовна жили прежде, и три женщины с завода «Красный треугольник» — Мария Викторовна работала там в отделе кадров, посвятила «Треугольнику» всю жизнь и даже на пенсию ушла не в положенные пятьдесят пять, а в шестьдесят восемь лет. После операции она с грустью сказала: «Сорок лет отдала, а хоть бы кто-нибудь вспомнил!» Иван Павлович утешал ее: люди заняты, у каждого свои заботы, не так уж тяжело она боль-

на... А сам тайком съездил на завод и попросил прийти. Как она радовалась! Как девочка! Какая была счастливая! Не знала, чем угостить, куда усадить, извинялась за то, что, когда хозяйка вынуждена лежать, весь дом, конечно, встал, но она скоро поправится, и тогда уж... Эти три женщины сегодня помогли приготовить стол, а потом остались и вымыли посуду.

Ивану Павловичу поминки были мучительны; значение грустного обычая он понимал, считая даже, что нельзя не помянуть человека, что это, может быть, последняя дань усопшей, и тем не менее застолье тяготило его. Говорили о доброте Марии Викторовны, о том, что она была прекрасной производственницей, верным товарищем, замечательной женой, а ему хотелось, чтобы все они скорее ушли...

И вот теперь, в половине третьего ночи, он проснулся, хотя вернее было бы сказать — медленно вышел из сна. Он вышел невесомый, свободный, счастливый, ни одна мрачная мысль не отягощала мозг, и сон этот не промелькнул в мгновение, а был просторен, тянулся плавно, последовательно меняя светлые картины. Несколько раз казалось, что он прервется чем-то страшным, но Иван Павлович зорко следил за своим сном, оберегал его, и когда траурная волна подкатывала слишком близко, заботливо отводил ее в сторону.

А снились ему солнечная река, теплоход и Мария Викторовна, с которой он совершал двадцатидневное путешествие от Ленинграда до Астрахани. Они полулежали на верхней палубе в упругих полотняных шезлонгах; высокие облака, похожие на небрежные золотые мазки — след случайного прикосновения неведомой поднебесной кисти,— бездумно покачивались над ними; холмы берегов, отмеченные редкими рощицами и белыми зданиями разрушенных церквей, подставляли взгляду сутулые спины; угрюмо появлялись из мутной полуденной дымки тяжелые баржи, сипло гудели, надвигались тупыми черными носами, чтобы, проскользнув мимо борта, бесшумно сгореть в сверкающей воде, и он, взяв руку Марии Викторовны, прижимая ее согнутые пальцы к своей щеке, захлебываясь, шептал ей: «Если бы ты знала, как мне было плохо, когда ты умерла! Как одиноко! Какое счастье, что ты жива! Я ведь верил, что ты будешь жить! Я представить себе не мог...— Он заглянул в ее глаза, спокойные, серые, окруженные мелкими нежными морщинками, столь прекрасные в сочетании с терракотовым платьем из китайского шелка, и испугался, что говорит живому человеку о его смерти.— Нет! Не слушай меня! — воскликнул он.— Я сошел с ума! То был сон! Почему я сказал тебе об этом?.. Какое здесь раздолье! Маша! Сколько пространства!»

Иван Павлович поднял веки, увидел зажженную люстру и с любопытством уставился на фаянсовые рожки, направляющие свет в потолок. И вдруг понял: приснилось то, что произошло восемнадцать лет назад.

Не доверяя безмолвию, все еще надеясь найти ее, его взгляд поплыл по окружающим предметам, но на какой бы вещи ни останавливался, эта вещь теряла свои очертания, а затем тягуче проявлялась из черного ореола, словно огненное пятно только что потушенной лампочки. В сердце заныла тупая боль. Иван Павлович ступил босыми ногами на холодный паркет и, опираясь на спинки стульев, направился к буфету, где в правой стойке хранилась аптечка, но, сделав несколько шагов и уже машинально протянув руку, вдруг наткнулся пальцами на бетонную твердь стены и тут же сообразил, что буфет с резными стойками был в той квартире, на Восстания...

На улице Восстания они прожили всю свою жизнь; в ту арочную парадную доходного петербургского дома они вошли молодыми, полными сил, надежд и здоровья, а вышли из нее стариками с одною лишь просьбой: как можно дольше не потерять друг друга. И вот полтора года назад дом встал на капитальный ремонт; жильцы, со слезами распрощавшись, разъехались, а им, думалось, уже никому не нужным пенсионерам, дали на окраине города однокомнатную квартиру. «Это вторая молодость!» — радовалась Мария Викторовна, обходя холодно пахнущие свежей краской новые владения. Она не подозревала, что не проживет здесь и двух лет...

Там, в старом городском квартале, для Ивана Павловича все было привычным: он знал соседей, историю и географию улиц, магазины, транспорт. Там согревали даже знакомые сколы ступеней. Все, вплоть до трещины через лепной потолок, которую сколько ни замазывали, она прокрадывалась заново, было там обжитым. Там сыграли они свадьбу и совсем немного не дожили до золотой. Там родился сын Анатолий, и туда же с Белорусского фронта пришла на него похоронка. Туда в день воскресный явился по ложному доносу о шпионстве Ивана Павловича в пользу английской разведки государственный исполнитель с двумя понятыми и увел Ивана Павловича в те бетонные коридоры, из которых столь многие не вернулись, а ему повезло — горькая смерть от руки соотечественника обошла его, и, отбыв шестнадцать лет в исправительных лагерях, он появился в этом доме вновь, седой, постаревший, с уродливым бугристым шрамом на ноге, но не забытый, любимый, и в бескрайний первый вечер именно там, в комнате на улице Восстания, напившись до тяжелого хмеля, неподвижно сидел над пожелтевшими фотографиями, знакомясь по некачественным снимкам с юностью убитого сына.

Кстати, того официального исполнителя Иван Павлович встретил летом в небольшом сквере с фонтанчиком. Человек этот — Иван Павлович так и не узнал его имени — был теперь стар; сутулый до горбатости, посеревший, он грелся на солнце, сидя на садовой скамье, и караулил правнучку, которая мирно спала в красной детской коляске.

Странная это была встреча. Они узнали друг друга и разговорились — два пенсионера, два старика. Человек без имени вытирал лысину платком, жаловался на больную печень, на черствость и равнодушие врачей, дважды он вдруг прослезился быстрыми нервными слезами, а потом, успокаиваясь, что-то долго поправлял в коляске, с нежностью произнося: «Спи, солнышко мое! Спи, радость!» И, постигая его боль, Иван Павлович почувствовал, что этим самым *прощает* и даже рад тому, что прощает.

Да, простить хотелось и, может быть, необходимо было простить, ибо у каждого впереди одна черта, и приближаться к ней с грузом неосуществленной мести трудно, тяжело, безвыходно... Иное — память. И если сердце Ивана Павловича старалось простить, то память крепко держала в себе тот поздний вечер, тот приход и тот обморочный Машин крик. Поэтому, глядя на лысую голову бывшего официального исполнителя, на нездоровое лицо его с подергивающимся веком и сухими белыми губами, он не рассказал ему главного, не рассказал, что жена умирает. Не доверил.

Ткнувшись пальцами в стену, Иван Павлович вздрогнул, сообразил, что это не прежняя комната, а новая квартира, вспомнил, что лекарства в кухне, в верхнем отделении пенала, и пошел туда.

В кухне тоже горела лампа — он везде забыл выключить свет. И в ночной, залитой электричеством кухне все предметы, на которые падал его взгляд, также оказывались окружены черными ореолами. Иван Павлович достал капли и опустился на круглый треногий табурет.

«Так будет теперь...» — подумал он.

«Что значит *теперь?* — спросил он себя.— И как долго может продолжаться *теперь*, если за плечами семьдесят шесть лет?»

Он посмотрел на блестящую эмаль раковины, на аккуратно уложенные тарелки и услышал: в комнате кто-то ходит.

Сомнений не могло быть — явственно доносилось, как хрустит под чьими-то ногами паркет.

Иван Павлович подошел к входной двери и дернул за ручку.

Язычок замка отозвался мгновенным жестким ударом.

— Черт с тобой! Ходи! — сказал Иван Павлович.

Он почувствовал, что замерз.

Был тот период конца сентября, когда нет регулярных протапливаний; топили раз в день, да и то два-три часа,— к ночи батареи остывали.

Иван Павлович стащил со спинки стула рубашку, хотел надеть ее, потом отложил в сторону, но понял, что заснуть не сможет, и, вздрагивая от холода и нервного напряжения, наскоро облачился. Причем надел не только рубашку и брюки, но и туфли, и пиджак.

Его остановил глубокий ясный взгляд жены.

На скатерти возле плетеной вьетнамской тарелки вспыхивал узкий фруктовый ножичек...

Однажды Мария Викторовна попросила купить ей антоновки. Он поехал на Мальцевский рынок. Шумной, бойкой была в то воскресенье торговля. Запахи фруктов, крики, голоса! Он переходил из ряда в ряд, интересовался, что откуда привезли, пробовал, и от разноцветья плодов, от загорелых лиц молдаван и кавказцев веяло таким здоровьем, такой целительной энергией, что он купил и симиренко, и белый налив, и антоновку, и снежный кальвин, и еще тяжелый пурпурный гранат...

Иван Павлович надел пальто, взял палку и шагнул на лестничную площадку. С минуту неподвижно стоял он, глядя на закрытую дверь своей квартиры, и начал неторопливо спускаться.

Осеннее ненастье обожгло его серебряным холодом. Фонари горели по-ночному, через один, все вокруг было черно, все блестело — трамвайные рельсы, провода, погашенные окна.

«Шляпу забыл...» — подумал Иван Павлович и пошел наугад.

Спустя полчаса он увидел такси с ярким зеленым глазком.

«Зачем я голосую?» — удивился он.

Он поспешно опустил руку, но таксист уже заметил его, и громоздкая машина, шелестя мелкой лужей, остановилась возле ног Ивана Павловича. Иван Павлович хотел извиниться перед водителем, но вместо этого открыл дверцу и сел рядом.

«Зачем я все это делаю?» — опять подумал он.

— Куда поедем? — спросил шофер.

— В Парголово,— ответил Иван Павлович.

И вдруг понял, что все время думал только о жене и хотел свидания с нею. Он и сам не заметил, как мысль перешла в поступок.

— В пригород! Ночью! — сказал шофер.— А возвращаться я за свой счет буду?

Но Иван Павлович уже твердо знал, что *поедет*.

— Я заплачу,— быстро произнес он, все более загораясь желанием ехать.

— Туда, обратно и пятерку!

Иван Павлович кивнул.

Шофер включил счетчик, и машина покатила по ночным улицам.

— А у вас деньги есть? — вдруг спросил шофер.

— Есть, есть,— радостно ответил Иван Павлович.

— Покажите!

Иван Павлович раскрыл бумажник.

Шофер мотнул подбородком и с упрямой силой нажал ногой на педаль.

Город оборвался; навстречу полетело мокрое бронзовое шоссе.

— Я в августе тоже старичка вез,— заговорил шофер.— С орденом. А денег не хватило.

Иван Павлович соглашался.

«Еду!» — с восторгом думал он, заглядывая на спидометр и видя, как красная полоска достигла цифры 100. Он закрыл глаза, но скорость заворожила его, и, незаметно шевеля губами, он повторил:

— Еду...

На новую квартиру переезжали в конце февраля прошлого года. Дни стояли солнечные, белоснежные, с легкой малиновой дымкой; по утрам мороз разрисовывал стекла. Самым трудным оказалось отделить то, что надо было взять на новое место, от того, что требовалось либо продать, либо выбросить. Все хранило памятные события, со всеми предметами было жалко расстаться. Иван Павлович зашел в соседний хозяйственный магазин и у магазинного рабочего купил двадцать больших картонных коробок. Он набавил рабочему еще два рубля, чтобы тот принес коробки на дом.

Паковала вещи Мария Викторовна, а Иван Павлович блуждал меж тюков и стопок белья, трогал потемневшие рамы картин, ручки чемоданов, выдвигал и задвигал обратно сухие скрипучие ящики, пахнущие пылью и нафталином, перелистывал довоенные журналы, вдруг находя в страницах серую хрупкую квитанцию или новогоднюю поздравительную открытку, щелкал ногтями по золотому ободу синей напольной вазы, садился в кресло,— зачем запоминать голоса, для кого хранить в памяти геометрию пятен, запах коридора, тональность

телефонного звонка? Что это, предчувствие невозвратности? И опять он ходил, вздыхал, трогал, все не мог смириться, что этот мир, эти жизненные отметины уходят в прошлое, утонут там, потеряют очертания, и другие люди, с иными лицами и судьбами, поселятся в этих стенах, люди, у которых не будет той памяти об этом доме, какая есть у него.

И сама комната словно бы сопротивлялась переезду. Были запакованы книги, хрусталь и большинство носильных вещей, а комната оставалась прежней.

Непривычно пустой без красивой посуды темнел старинный буфет — его надо было продать, он не мог поместиться в новой квартире.

И вот, все переменилось в одночасье — сняли с окон занавески. Вдруг стало непривычно светло, и в ярком дневном свете сразу углубились углы, высокие, пустые, с обвисшими у бордюра обоями. В окне сверкала улица, и именно снег, сугробы за оголенными окнами были странны глазу. И прежде раз в год занавески снимали для стирки, но Мария Викторовна снимала их в конце мая, когда за окном зеленели деревья...

— Парголово,— произнес шофер, притормаживая.

Иван Павлович огляделся.

— Пожалуйста, на кладбище! — тихо сказал он.

Шофер всосал щеку, несколько секунд озадаченно молчал, потом чмокнул губами.

— Своеобразно...— произнес он и бросил машину влево.

Иван Павлович смотрел теперь вперед, в яркие прыгающие лучи, и с трудом узнавал вчерашний путь.

Машина остановилась. Он протянул водителю деньги, засуетился.

— Похоронили кого-нибудь? — спросил тот.

— Что?..— не понял Иван Павлович.

— Говорю, похоронили кого-нибудь?

Иван Павлович открыл дверцу и ступил на асфальтированную площадь.

Тяжелый вал холодного воздуха ударил ему в лицо. Захлебываясь ветром, он сделал несколько шагов и услышал, как позади взвыл мотор, липко зашелестели по мокрому асфальту шины. Звук удалялся, становился выше и наконец растаял.

Непроглядная темень ослепила его. Впереди шумел лес, доплывал откуда-то сиротливый всклек железа об железо, а все кругом летело, подхватывало, захлестывало, душило...

Едва угадывая направление, он зашагал через площадь.

Внезапно выдвинулся из темноты непомерно высокий бульдозер, дохнул солияркой и сгинул.

Иван Павлович вышел на главную центральную просеку. С обеих сторон ее светились бесчисленные мраморные надгробья. Словно разбросанная ураганом флотилия белых пустых челнов, они то появлялись, то исчезали в дегтярно-черной глубине бушующего леса.

Он торопился. Но и сквозь бурю слышал, как напряженно бьется его сердце, как над головой, сопротивляясь ветру, волнами вскипают вершины деревьев.

Дойдя до конца просеки, до провала, где укатанный наст обрывался канавой, он свернул в узкое боковое ответвление, но не узнал место и начал проходить участок медленно. Он вспомнил, что был какой-то выступ, вероятно, корень дерева, о который он больно ударил пальцы ноги, стал искать его и нашел. Потом вспомнил, что поблизости росла необычная береза — она начиналась из одного толстого ствола и вверху разделялась на три тонких... И вдруг увидел жену.

Он стоял рядом с нею. Он не испугался, когда увидел ее; ему стало легче.

— Я пришел,— сказал он.

В стороне поблескивала свежевыструганными досками чужая скамейка. Они сели вместе, рядом, он потуже затянул пальто и под шум облетающих деревьев незаметно для себя задремал. Перед ним светлела трехствольная береза.

Странен был его сон, странен тем, что не было в нем никаких различимых картин и образов, а томила лишь тягость ожидания. Иван Павлович и сам не понимал, чего ждет, но чувствовал — надо сделать шаг, пробиться сквозь что-то глухое, удушливое. А иначе — тоска! И он стонал, плакал, но не мог совершить этот шаг, не мог оторвать от земли ногу...

Громко запела птица.

Красные лучи горизонтально пронизывали тихий неподвижный лес. Было светло и холодно.

Иван Павлович огляделся и увидел вокруг себя кладбище. Он увидел, что туфли измазаны глиной. Живые цветы на могиле жены завяли. И одновременно с тем, как признаки жизни наступали на него, в нем росло тяжелое чувство сиротства: птица поет. Он слышит ее один.

Он захотел уйти отсюда, сделал движение встать, как вдруг что-то остановило его. Некоторое время он сидел не шевелясь и наконец понял: запах прелых листьев.

Всякий год этот запах являлся дважды: весной, когда снег освобождал землю, и, открытая солнечным лучам, она пробуждалась, набухала, наполнялась гулами, источая ржаво-фиолетовым покровом прошлогодних листьев пьянящий дурман, и осенью, когда новый, еще не пришедший, но уже близкий снег готовился укрыть опавшую листву.

Как давно это было? Сорок, пятьдесят, шестьдесят лет назад?

Задолго до встречи с Марией Викторовной, в начале мая, в деревне Санино. Ему исполнилось тогда четырнадцать лет. Он шел, огибая мокрое перепаханное поле. Собиралась гроза. Но между тучами и землей воздух был светел. И все в этом светлом воздухе виделось четким, будто было нарисовано тончайшим грифелем. Он остановился, запрокинул голову. На голых ветвях блестели яркие дождевые капли. А выше двигалось небо. И в эту секунду непроизвольно он сделал глубокий вдох. Земля мягко толкнулась под ним, и ему показалось, что он улетает.

Так вот какую преграду он должен был преодолеть! Вот к чему приготовлялась его душа! И, вспомнив сейчас все это, Иван Павлович подумал о собственной смерти с таким спокойствием, словно перед ним стояла не смерть, а еще одна жизнь, другая, новая, совершенно не похожая на ту, которую он прожил. Он только удивился: неужели это и все, что должно было совершиться?

Он сидел на кладбищенской скамье — тихий седой старик, перекосившийся, сгорбленный, сидел, положив руки на набалдашник палки, одинокий среди деревьев и могил, среди опавших листьев, белый среди красного, оранжевого, огненно-рыжего...

— Да-да,— прошептал он, улыбаясь.— Конечно же все. Но как это много!

Он встал и не спеша направился к выходу.

На центральной просеке навстречу ему попалась женщина в резиновых ботах и деревенском плюшевом жакете. В ее руке желтела тощая гирлянда бумажных цветов. Женщина испуганно оглядела Ивана Павловича; он прошел мимо, стараясь не смотреть на нее и не оборачиваясь.

Через двадцать минут он был на станции.

Над дальним лесом за мутными глинистыми тучами поднималось солнце. Утренние краски были грязны и свежи. Людей на платформе становилось все больше, и когда, свистя и громыхая, подлетела электричка, Иван Павлович не без труда протиснулся в вагон. Солдат уступил ему место.

Когда он подходил к дому, накрапывал дождь. По липким газонам бегали породистые собаки; их владельцы, кутаясь в плащи, выкуривали первые папиросы.

Иван Павлович поднялся на свой этаж, и, пока доставал ключ, ему вспомнилась игра, в которую он любил играть с Марией Викторовной. В какой-нибудь из зимних дней, гуляя по Летнему саду, он говорил ей: «Закрой глаза!» Она закрывала. «Что сейчас?» — спрашивал он. «Зима»,— отвечала она. «Лето! — не соглашался Иван Павлович.— На клумбах цветы, и женщины ходят в легких платьях».— «Нет, Ваня,— смеялась Мария Викторовна.— Мороз под двадцать, и женщины в шубах». А потом, когда приходило лето, во время прогулки он вдруг останавливал ее и говорил: «Закрой глаза! Помнишь, была зима, холод, сугробы, а я уверял тебя, что уже лето? Взгляни и увидишь: я прав!» Она открывала глаза, видела яркую зелень, синее небо, загорелые лица, и действительно казалось, что время пролетело в единую секунду.

Внезапно он вспомнил все это, вложил ключ в замок, закрыл глаза и тихо, чтобы не спугнуть ее утренний сон, отворил дверь...

В. Я. Френкель

ЧИТАЯ «ПИСЬМА О НАУКЕ» П. Л. КАПИЦЫ

Есть письма, которые пишутся только для адресата. У их автора и в мыслях нет, что когда-нибудь они станут достоянием широкой читательской аудитории. Иные письма, хотя они тоже адресованы одному лицу, написаны с учетом того, что их будут читать многие. 155 писем П. Л. Капицы, изданных в 1989 г.[1], включают в себя оба типа такого рода посланий. Письма своей жене, Анне Алексеевне Капице, он писал из Ленинграда и Москвы в 1934—1935 гг., зная, что их деловую часть она переведет проф. Э. Резерфорду, в лаборатории которого Капица работал с 1921 по 1934 г. Выдержки из многих этих писем были опубликованы в книге Л. Бадаша, вышедшей в США в 1985 г., а теперь и мы можем прочесть небольшую их часть (11 из общего числа 132, написанных Капицей жене в этот период) — на языке оригинала, в «Письмах о науке».

Больше всего писем Капицы, включенных в книгу, адресовано государственным деятелям СССР (23 — Сталину, 13 — Молотову, по 9 — Маленкову и Хрущеву, по 2 — Булганину и Андропову, одно — Брежневу; 14 писем в 30-е годы были направлены Валерию Ивановичу Межлауку, который в конце жизни, оборвавшейся в 1938 г., был председателем Госплана и заместителем Председателя Совнаркома). Здесь не приходится сомневаться, что Капица более чем взвешенно подходил к подготовке этих писем-документов, тщательно продумывал как их содержание, так и форму, понимал, что письма, как люди и книги, не только имеют свою судьбу, но и могут влиять на судьбы людей. Читая эти документы, вспоминаешь прекрасные слова А. И. Герцена (из «Былого и дум»): «Письма больше чем воспоминания; на них запеклась кровь событий — это само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное».

Хотя академик Капица имел прижизненное признание и известность, был, можно сказать, человеком легендарным, здесь следует все же напомнить основные этапы его биографии. Петр Леонидович родился в Кронштадте в семье военного инженера (впоследствии генерал-майора артиллерии) Л. П. Капицы. Его мать, О. И. Капица, была известной специалисткой по детской литературе и русскому фольклору. Капица, закончив реальное училище в Кронштадте, поступил на электро-механический факультет Петербургского Политехнического института. Примерно 30 лет его жизни связано с Петербургом-Петроградом. В 1916 году он был в числе активных участников семинара по новой физике, руководимого профессором А. Ф. Иоффе. Капица стал его сотрудником как по Физико-техническому институту, организованному в 1918 году, так и по физико-механическому факультету Политехнического института, организованному годом позже.

В конце 1919 — начале 1920 годов в течение одного месяца П. Л. Капица потерял отца, жену и двух маленьких детей, которых унесла свирепствовавшая в городе испанка. Молодой ученый находился в тя-

[1] П. Л. Капица. Письма о науке. М., «Московский рабочий», 1989.

Френкель Виктор Яковлевич (р. 1930). Окончил Ленинградский Политехнический институт, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе АН СССР, автор книг о П. С. Эренфесте, И. В. Курчатове, Я. И. Френкеле и др.

желейшем душевном состоянии. Чтобы вырвать его из обстановки, где все напоминало о недавней трагедии, А. Ф. Иоффе включил Капицу в состав делегации Академии наук, отправившейся в марте 1921 г. за границу для налаживания научных связей, прерванных мировой и гражданской войнами. В том же году П. Л. Капица начинает работать в Кавендишской лаборатории у знаменитого Э. Резерфорда. Плодотворная работа в Англии продолжалась 13 лет. За эти годы молодой советский ученый получил благодаря своим блестящим исследованиям, в основном в области физики магнитных явлений и низких температур, европейскую известность. Он стал заведовать одной из исследовательских лабораторий Кавендишского комплекса, возглавлявшегося Резерфордом. Капица периодически приезжал в Ленинград, Москву, Харьков, консультируя проводившиеся в этих городах научные работы. Он выполнял, по существу, роль полпреда советской физики в Англии и, шире, в Европе. При его непосредственном содействии ряд наших физиков получили возможность работать у Резерфорда, другие ученые — издавать свои книги в одном из лучших издательств Англии: Капица был соредактором интернациональной серии монографий по физике.

Однако в 1934 г., когда П. Л. Капица в очередной раз приехал в СССР, ему неожиданно отказали в возможности вернуться в Англию хотя бы для того, чтобы завершить там начатые работы, перевезти на родину семью. Открывается третий этап его биографии (1934—1946 гг.), связанный с организацией Института физических проблем, собственными исследованиями в нем (принесшими позднее Петру Леонидовичу Нобелевскую премию по физике). На эти же годы приходится разработка и реализация проектов по получению в промышленных масштабах кислорода и внедрения его в ряд областей промышленности. Четвертый период — один из самых трудных в биографии Капицы (1946—1953 гг.) — опала, отстранение его от директорства в ИФП, от работ по кислороду. И, наконец, последний период, наиболее длительный и, пожалуй, внешне самый спокойный (хотя, как всегда, наполненный напряженной работой мысли), продолжавшийся с 1953 г. и до последних дней жизни, когда Капица вновь возглавил свой институт и продолжал научные исследования.

Впервые широкие круги московских физиков были ознакомлены с фрагментами богатейшего эпистолярного наследия П. Л. Капицы в связи с 90-летием со дня его рождения, в июле 1984 г., т. е. через три месяца после смерти, на собрании сотрудников Института физических проблем в актовом зале «Капичника» — так ласково называли и называют и теперь Институт физических проблем. Референт П. Л. Капицы П. Е. Рубинин, составитель и комментатор «Писем о науке», прочел выдержки из писем Петра Леонидовича к его первой жене, Н. Д. Черносвитовой, и матери, О. И. Капице. Помню, какое буквально ошеломляющее впечатление они произвели на собравшихся. Сдержанный, уверенный в себе Петр Леонидович внезапно предстал в зеркале прослушанных писем другим — сомневающимся в своих силах, легко ранимым. Когда мы слушали некоторые из писем к матери, написанные вскоре после приезда в Англию (и до женитьбы на А. А. Крыловой), горло перехватывал спазм сочувствия к горькой судьбе молодого Капицы.

В письмах о науке мы видим Петра Леонидовича не только как знакомого многим руководителя одного из лучших физических институтов страны, но и как мудрого государственного деятеля, стремящегося всеми возможными для него средствами обеспечить оптимальные условия развития науки и промышленности в стране. Поражает его безграничная смелость. Он всегда, когда дело касается глубоко волнующих его вопросов, говорит то, что думает, и на этом пути в середине 40-х годов, например, вступает в тяжелый конфликт со всесильным недоброй памяти Берией. Что это? Безрассудное, безоглядное мужество или мужество холодное, подкрепленное тщательным расчетом, продумыванием каждого шага и возможных его последствий? Скорее последнее. По рассказам П. Е. Рубинина, Петр Леонидович, однажды приняв решение, не возвращался к оценке его стратегической правильности, не изнурял себя — подобно многим, которым приходилось делать выбор,— мыслями о том, что было бы, если б он поступил не так, а иначе.

В 1934 г. Капица остается в Союзе. Ранее он многократно и, конечно, совершенно искренне говорил и писал о том, что намерен перенести на родную почву центр тяжести своих исследований. Я глубоко убежден в том, что если б Капице дали возможность хотя бы ненадолго поехать в Англию, быстро решить там все научно-организационные вопросы и личные дела, связанные с возвращением на родину, все было бы иначе — и его работа в Москве возобновилась бы раньше, и душевных ран ему бы не нанесли. Но поехать в Англию ему не разрешили, проявив оскорбительное недоверие.

Тема доверия к человеку, гражданину, ученому проходит через письма Капицы разных лет. В октябре 1936 г. он пишет В. И. Межлауку о «бюрократических излишествах» навязанного ему бухгалтерского учета в Институте физических проблем, отстаивая право руководителя научного учреждения (как, впрочем, и любого другого подразделения) по своему усмотрению решать проблему штатов, зарплаты и ее фонда. Вот характерная цитата из письма: «Есть только один разумный и правильный способ организации распределения средств институтов: он практикуется во всех английских лабораториях, и я лично был очень им доволен. Директору, например П. Л. Капице, Академией наук дается такая-то сумма, представляющая часть средств, которые государство может в данный момент отпустить на научную работу, и директору предлагается использовать эту сумму наиболее рационально для решения научных проблем, которые он поставит. Кто же, как не я, знает, как наилучше провести эти проблемы? Если я этого не знаю, не умею их провести и если институт работает плохо (чиновники Наркомфина тут никак и ничем не помогут), нужно не зажимать мою работу в тиски нелепых ограничений, от которых только один вред, а просто гнать меня в шею! Другого метода, кроме как доверия руководителю для ведения работы в научных учреждениях, нет».

В 1945 г. эти же вопросы поднимаются в письме к И. В. Сталину в связи с дальнейшим развертыванием работ по созданию атомной бомбы. «Правильная организация всех этих вопросов (подбор руководящих кадров, право на риск в выборе пути исследования, организации работы.— *В. Ф.*) возможна только при одном условии, которого нет, но не создав которого, мы не решим проблем А. Б. (атомной бомбы.— *В. Ф.*) быстро и вообще самостоятельно, может быть, совсем не решим. Это условие — необходимо больше доверия между учеными и государственными деятелями. Это у нас старая история, пережитки революции. Война в значительной мере сгладила эту ненормальность, и если она осталась сейчас, то только потому, что недостаточно воспитывается чувство уважения к ученому и науке». И в этом же письме, вспоминая о недавних и успешно завершенных работах по обеспечению нашей промышленности кислородом, Капица пишет: «Моя турбокислородная установка, это принципиально новое начинание, только тогда пошла, когда я, что совсем не естественно для ученого, стал начальником главка. Только этим назначением мне было дано доверие и влияние, которое и позволило мне быстро осуществить кислородную установку».

Проходит пять лет — и снова в письме к Сталину тот же призыв: «Ученому необходимо, чтобы ему оказывали некоторое доверие, без этого тяжело работать». Отметим оттенок этой фразы — «некоторое доверие»: ну, хоть какое-то! Подразумевается: если вы не способны на большее!

1956 год. Письмо к Хрущеву: «Мне думается, что я вправе поставить вопрос о реальных условиях, которые нужны для успешной научной работы. Еще в первой беседе с Вами я говорил, что самое главное для успешной работы — это „доброе отношение" к ученому». Слова «доброе отношение» заключены в кавычки Капицей; под ними, конечно, он подразумевает опять-таки доверие. Прошло еще 24 года, и вот письмо к Ю. В. Андропову. Грустная констатация: «На слово у нас не верят». Это в связи с унизительной процедурой финансовой отчетности самого Капицы после очередной заграничной командировки.

В связи с упоминавшимися выше работами по атомной бомбе уместно вспомнить одну из расхожих легенд об участии Капицы в этих работах. Неоднократно приходилось слышать, что Петр Леонидович якобы дал слово Резерфорду никогда не заниматься оборонной работой. Несмотря на абсурдность этой версии, наивные люди ей верили. Трудно было понять непосвященным, почему крупнейший советский физик, в активе которого, кстати сказать, были и работы по ядерной физике, не принимает участия в оборонной урановой программе.

Письма Капицы, прежде всего уже упоминавшееся письмо к Сталину от 25 ноября 1945 г., позволяют разобраться в этом важном вопросе. К середине 40-х годов работы по урановому проекту в нашей стране интенсивно проводились под руководством И. В. Курчатова (и П. Л. Капица вместе с А. Ф. Иоффе и В. Г. Хлопиным рекомендовали его в качестве главы проекта). Петр Леонидович вот уже четыре месяца входил в Специальный комитет и Технический совет по атомной бомбе. В его письме И. В. Сталину есть указание на необходимость развертывания работ по мирному использованию атомной энергии. Здесь высказывается мысль о том, что нужно тщательно проверять те чисто технические данные, которые поступают к нам из-за рубежа от разведывательных служб. Сейчас, например, мы знаем из многих источников (в частности, и опубликованных у нас), что при получении информации от Клауса Фукса (сыгравшей определенную, но отнюдь не определяющую роль в работах наших ученых — об этом недавно писал акад. Г. Н. Флеров) считалось вероятным, что она нарочито неправильна, содержит дезинформацию. Капица смело пишет о том, что наш научно-технический потенциал и условия работы ученых (в том числе и бытовые) сильно уступают американским. Они, как пишет Капица, привлекли к своим исследованиям эмигрантов-антифашистов из Германии. И тут Капица, можно сказать, «оставляет за кадром» хорошо известный и Сталину, и ему факт о том, как обошлись с немецкими учеными-антифашистами у нас: передали их Германии и обрекли многих из них на гибель. Капица предлагает стратегию дальнейших работ. Он полагает, что из спектра возможных путей исследований необходимо выбрать только один, а не двигаться параллельно по нескольким направлениям: для претворения в жизнь таких работ у нас просто нет ни времени, ни средств. Иллюстрирует он свою мысль с помощью ха-

рактерного для него стилистического приема — яркой аналогии: «Тут задача, как у главнокомандующего, у которого несколько предложений, как взять крепость. Он же не скажет каждому генералу: „Бери по своему плану“, с тем расчетом, что один из них возьмет. Всегда выбирается один план и один генерал для руководства. Так же следует поступать и в науке, но здесь, к сожалению, это не так очевидно и не принято». И Капица снова пишет о праве на риск. Он подчеркивает, что возможность ошибки не исключена, но она минимизируется доверием к научному лидеру, который уже успел зарекомендовать себя правильными и смелыми, доведенными до конца решениями в прошлом.

Руководство Специального комитета, пишет Капица Сталину, должно научиться верить ученым — «а это возможно только тогда, когда наука и ученый будут всеми приниматься как основная сила, а не подсобная, как это имеет место теперь».

Сразу же после этого начинается беспрецедентная, я думаю, в истории тех лет критика Берии. Здесь нельзя пересказывать, и длинная цитата не будет злоупотреблением: «Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут себя в Особом комитете как сверхчеловеки. В особенности тов. Берия. Правда, у него дирижерская палочка в руках. Это неплохо, но вслед за ним первую скрипку все же должен играть ученый. У тов. Берия основная слабость в том, что дирижер должен не только махать палочкой, но и понимать партитуру. С этим у Берии слабо.

Я лично думаю, что тов. Берия спрввился бы со своей задачей, если отдал бы ей больше сил и времени. Он очень энергичен и быстро ориентируется, хорошо отличает второстепенное от главного, поэтому зря времени не тратит, у него безусловно есть вкус к научным вопросам, он их хорошо схватывает, точно формулирует свои решения. Но у него один недостаток — чрезмерная самоуверенность, и причина ее, повидимому, в незнании партитуры. Я ему прямо говорю: „Вы не понимаете физику, дайте нам, ученым, судить об этих вопросах“, на что он мне возражает, что я ничего в людях не понимаю. Вообще наши диалоги не особенно любезны. Я ему предлагал учить его физике, приезжать ко мне в институт. Ведь, например, не надо самому быть художником, чтобы понимать толк в квртинах».

Примечательный постпостскриптум у этого письма: «Мне хотелось бы, чтобы тов. Берия познакомился с этим письмом, ведь это не донос, а полезная критика. Я бы сам ему все это сказал, да увидеться с ним очень хлопотно».

К этому месту письма П. Е. Рубинин делает необычайно интересное примечание, основанное на устном рассказе Капицы. Из него следует, что Сталин выполнил просьбу Петра Леонидовича. И вот результат — обращение Берии к Капице: «Нам надо поговорить». Нв это предложение Капица ответил так: «Если хотите поговорить со мной, то приезжайте в институт». Берия приехал и, между прочим, привез в подарок Капице богато инкрустированную тульскую охотничью двухстволку.

Но, как учил нас еще Чехов, появление ружья в пьесе (а жизнь, как известно, «есть спектакль, и мы в нем актеры») означает, что ему по ходу дальнейшего действия предстоит выстрелить. Выстрел состоялся — вскоре Капица был отстранен от работы.

В примечании к другому письму Капицы к Сталину (от 13 апреля 1946 г.) Рубинин пишет: «Уже после смерти Сталина и ареста Берии один из знакомых Капицы, генерал А. В. Хрулев, рассказал ему, как он случайно оказался свидетелем разговора Сталина и Берии о Капице. Это было в 1946 году. А. В. Хрулев был тогда начальником тыла Вооруженных Сил СССР. Берия требовал ареста Капицы, а Сталин ему сказал: „Я его тебе сниму, но ты его не трогай“». (Вот другой рассказ о Берии в связи с атомной бомбой. Когда ее испытания были успешно завершены, встал вопрос о наградах ученым. Этим тоже ведал Берия. Рассматривалась кандидатура одного из участников работ. Ему предлагали присвоить звание Героя Социалистического Труда. У Берии эта кандидатура поддержки не получила. Обращаясь к своему помощнику, он спросил: «Посмотри, что там ему было записано в случае неудачи? Расстрел?» — «Нет, товарищ Берия, не расстрел».— «Ну, раз не расстрел, то и ордена Ленина ему хватит».)

Интересно, что копию письма Сталину от 25 ноября 1945 г. Капица много позднее, в 1955 г., переслал Н. С. Хрущеву. В письме к Хрущеву Петр Леонидович говорил о том, почему он перестал принимать участие в советском урановом проекте: «Единственной причиной, заставившей меня отказаться от этой работы, было невыносимое отношение Берии к науке и ученым. Мне думается, что моя тогдашняя критика нвшего начального хода развития атомных работ была в дальнейшем учтена и оказала пользу. Так что все нарекания на меня, что я, дескать, пацифист и потому отказался от работы по атомной бомбе, ни на чем не основаны. Хотя я лично не вижу, почему следует вменять в вину человеку, если он по своим убеждениям отказывается делать оружие разрушения и убийства. Во время войны я активно участвовал в наших оборонных работах, так как считаю, что человеку естественно и правильно защищать свою страну от агрессии извне. Что касается моей борьбы с Берией, я не только считаю ее правильной, но и небесполезной».

Добавим к этому, что Капица (судя по письму его к Г. М. Маленкову от 25 июня 1950 г.) продемонстрировал свою готовность заниматься оборонными исследованиями, и в этом письме содержится идея создания «хорошо направленных энергетических пучков такой большой интенсивности, чтобы почти мгновенно уничтожить облучаемый объект».

Капица развивает эту идею далее и говорит об экспериментальном и промышленном ее воплощении. Нетрудно увидеть здесь набросок идеи о пучковом оружии, которое обсуждается ныне.

Смелость Петр Леонидович проявлял и при других трудных обстоятельствах, и здесь он заслужил огромную признательность и уважение своих коллег. 12 апреля 1937 г. он пишет В. И. Межлауку: «Меня тут в Ленинграде очень взволновало известие, что вчера арестовали физика В. А. Фока». Реакция Капицы мгновенна (другое дело, что сам адресат его письма был в 38 г. арестован, а 29 июля этого же года расстрелян); он дает самую положительную аттестацию Владимиру Александровичу. «Я очень сильно переживаю арест Фока. Меня разбирает страх, что это грубый, недостаточно продуманный акт. Он может принести большой вред нашей науке. Я так волнуюсь, что написал, правда, очень кратко, тов. Сталину о Фоке. Иначе я буду чувствовать, что я не сделал все, что могу, чтобы предотвратить, как мне кажется, большую ошибку. Сердитесь на меня как хотите, но я иначе не мог поступить».

Вскоре, с помощью Межлаука, Фок был освобожден и вернулся к своей работе.

28 апреля 1938 г. в Москве арестовывают Л. Д. Ландау, незадолго до этого ставшего заведующим теоретическим отделом института Капицы. В тот же день Петр Леонидович пишет Сталину, говорит о том, что ему «очень трудно поверить, что Ландау способен на что-то нечестное». Увы, здесь реакция оказалась не столь быстрой. Год спустя в письме к В. М. Молотову Капица возобновляет свои хлопоты о Ландау. Петр Леонидович был принят для разговора в НКВД, где 26 апреля 1939 г. написал следующий примечательный документ: «Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство. Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности против Советской влвсти в моем институте, и я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вел. В случае, если я звмечу со стороны Ландау какие-либо высказывания, направленные во вред Советской власти, то немедленно сообщу об этом органам НКВД. П. Капица».

28 апреля 1939 г. Ландау был освобожден.

Хотя мне в 1937—1939 гг. не было еще и 10 лет, я очень хорошо запомнил маленькие, но живые детали, относящиеся к освобождению и Ландау, и Фока. В первый после освобождения приезд в Ленинград Ландау зашел домой к моему отцу, физику-теоретику Я. И. Френкелю. Запомнился такой разговор между ними — уже в прихожей, перед уходом Льва Давидовича: «Дау,— сказал отец,— ведь у вас, наверное, нет денег. Возьмите у меня, пожалуйста». Отец начал вынимать из бокового кармана бумажник. Ландау, рассмеявшись, ответил: «Да нет, Яков Ильич, это я вас сейчас мог бы ссудить деньгами. Капица распорядился выплатить мне зарплату за все время отсидки!»

Что касается Фока, то из его рассказа о недолгом пребывании в заключении я запомнил только концовку: «И вот мне выдали шнурки от ботинок, и я почувствовал себя свободным человеком»,— тут Владимир Алексвндрович залился характерным для него смехом. Позднее о Фоке (очень плохо слышавшем, особенно в ту пору, когда еще не было слуховых аппаратов на полупроводниках) мне рассказали такую легенду. Будто бы перед тем как его освободили, в НКВД ему сказали: «Лично против вас мы ничего не имеем, но в вашем присутствии велись контрреволюционные разговоры». На это Владимир Александрович ответил: «Сомневаюсь, но все равно — я же ничего не слышу».

После приведенных примеров безоглядной смелости Петра Леонидовича не покажется, быть может, удивительным, как он писал в 1937 г. В. И. Межлауку, жалуясь на полную невозможность спрввиться с плохо работающими строителями зданий Института физических проблем, возглавляемыми Н. Е. Борисенко (начальник треста «Заводстрой»). Особо примечательно в этом плане письмо от 25 апреля 1936 г. Капица констатирует, что ничего не может поделать с Борисенко, напоминает, что уже просил Межлаука о помощи,— и все безрезультатно. И вот вывод: значит, вы считаете мою работу никчемной, ненужной, раз не помогаете мне. «Но зачем вы тогда все меня задерживали [в Союзе]?» «Вторая возможность,— продолжает Капица,— не лучше — это прямо то, что вы, правительство, не в силах заставить Борисенко вас слушаться. Но тогда какое же вы правительство, если вы не можете заставить построить к сроку двухэтажный домишко и привести в порядок 10 комнат после монтажа [оборудования]? Тогда же вы просто мямли».

Резкий с другими, Капица «не держал в памяти», если кто-то резко отстаивал перед ним свою точку зрения. И еще одно качество, которое я заметил, бывая у Капиц. Иногда среди его гостей встречались люди — как бы это выразиться повежливее? — которых, по взгляду со стороны, не

следовало бы и вообще приглашать в гости. И разговаривали они с Петром Леонидовичем развязно. Он же относился к этому снисходительно.

Однажды я аккуратно спросил об этом у его близких — очень уж мне не понравился один из приглашенных. Оказалось, что в годы опалы Капицы этот человек не опасался встречаться с ним. Другой, похожий на первого, в свое время оказал Петру Леонидовичу важную услугу. Капица не забывал добро!

Временами на страницах книги встречаешь знакомые строки. Сложившиеся в письмах, они затем превращались в фрагменты статей Петра Леонидовича, адресованных широкому читателю. Так, отзываясь на смерть своего учителя, профессора Резерфорда, Капица писал 7 ноября 1937 г. Нильсу Бору: «Однажды мы беседовали с ним (Резерфордом.— *В. Ф.*) в профессорской комнате Тринити-колледжа вскоре после Максвелловских торжеств, и он спросил меня, как мне это понравилось. Я ответил: „Не понравилось, потому что все докладчики старались представить Максвелла как сверхчеловека. Максвелл действительно один из самых великих физиков, когда-либо существовавших, но он же был живым человеком, а это значит, что у него были человеческие черты. И для нас, поколения, которое не застало Максвелла, было бы значительно более полезным и интересным узнать о подлинном Максвелле, а не о сахарном экстракте из него". Резерфорд громко рассмеялся и сказал: „Хорошо, Капица, поручаю вам после моей смерти рассказать, каким я был в действительности..." Не знаю, была ли это шутка или он говорил полушутя. Но сейчас его нет ⟨...⟩. Но теперь все те слабые черточки его характера, которые я замечал, когда был с ним, кажутся мне такими мелкими, такими незначительными, и в моей памяти встает большой и безупречный человек».

Я хорошо помню, как эти слова буквально пронзили меня, когда я в середине 60-х годов впервые прочел их в статье Капицы «Воспоминания о профессоре Э. Резерфорде» в старом номере журнала «Успехи физических наук». И вот сейчас, думая уже о Петре Леонидовиче, я встречаюсь с той же проблемой — как не сделать его портрет «сахарным». Я, конечно, слышал о том, что он может быть очень резок. Это нашло отражение и в том прозвище, которым его наделили. Обычно слово «прозвище» в сочетании с фамилией Капицы вызывает в памяти имя Резерфорда. «Крокодилом» он назвал в свое время своего учителя. Изображение крокодила украшало фасад здания Мондовской лаборатории в Кембридже, построенной для Капицы. Самого же Петра Леонидовича называли «Кентавром». Слово «Кентавр» предупреждало, что в общении Капица может обернуться как человеческой, так и куда более, скажем так — свирепой стороной. Я знал об этом, когда по существу в первый раз (не считая нескольких встреч в доме Капиц в эвакуации, в Казани, куда я попадал, сопровождая отца) встретился с Петром Леонидовичем. Но, очевидно, мне везло: он и в тот раз, и на протяжении последующих 20 лет, когда я часто бывал в доме у Капиц, оборачивался ко мне своей самой доброй стороной.

Капица был очень влиятельным человеком, и мне приходилось — и не один раз! — обращаться к нему с просьбами о поддержке в тех или иных делах. Многократно я такую поддержку получал, и чувство благодарной памяти к нему, которое я сохраняю, вполне естественно. Сказать, что я всегда получал его поддержку, нельзя. Однако никогда — и это представляется мне очень существенным — от его отказа не возникало у меня чувства обиды. Отклоняя ту или иную мою просьбу, Капица всегда это обосновывал, так что его позиция и причина отказа становились понятными.

Вот несколько запомнившихся мне примеров. Весной 1968 г. я приехал в Москву и сразу же позвонил Капицам. Против фамилии Капицы у меня в записной книжке неизменно стояли цифры «13.30». Это потому, что, набрав знакомый номер телефона, всегда я слышал приветливый голос Анны Алексеевны: «Вы в Москве? Надолго? Приходите завтра, в обычное время». Вот это обычное время, чтобы не переспрашивать Анну Алексеевну, я и записал. Капица любил точность — вежливость королей. В 13.20 я входил в ворота Института физических проблем, огибал главный корпус института и, пройдя под арку, шел по плавно поднимающейся дорожке к красивому двухэтажному коттеджу, располагавшемуся рядом с небольшим прудом, заросшим ряской. Ровно в 13.30 в нарядно обставленной гостиной появлялся Петр Леонидович, и хозяева дома вместе с гостями — а я не припомню случая, чтобы на ленче у Капиц кого-нибудь бы не было,— проходили в столовую. Между нею и гостиной практически не было перегородки. Среди висевших на стенах картин внимание привлекали полотна Сарьяна и Кустодиева, особенно превосходная картина, на которой Кустодиев запечатлел юных друзей — П. Л. Капицу и Н. Н. Семенова.

В тот раз Петр Леонидович вспоминал о моем отце — и так тепло он о нем говорил! А случилось так, что прямо от Капиц мне предстояло пройти в редакционно-издательский совет Академии наук, чтобы обсудить вопрос о выпуске избранных работ отца в серии «Научно-популярные статьи классиков науки». К этой идее там отнеслись очень доброжелательно, но сказали мне, что «для верности» неплохо бы заручиться поддержкой кого-нибудь из

крупных физиков. Памятуя о разговоре с Петром Леонидовичем, я спросил — а Капица подойдет? — Конечно! Чуть ли не на следующий день я договорился, что Петр Леонидович сможет уделить мне несколько минут в своем рабочем кабинете в институте. Этот директорский кабинет стоит того, чтобы сказать о нем несколько слов. В глубине светлой комнаты — большой письменный стол. Стены увешаны индивидуальными и групповыми фотографиями крупных физиков нашего века. На левой стенке — галерея дружеских шаржей на Петра Леонидовича. Три больших окна справа выходят в парк. Рядом со столом — мягкие кожаные кресла, из тех, в которых «утопаешь».

Я быстро изложил Петру Леонидовичу свою просьбу — быть редактором сборника статей отца. Их список был у меня подготовлен. Но, к моему удивлению, Петр Леонидович, даже не взглянув на этот список, сказал мне, что, наверное, его кандидатура меня не устроит. «Да что вы, Петр Леонидович, что же может быть лучше?» — «Ну, вам же все это надо быстро. А я сейчас очень занят, идут эксперименты. Раньше, чем через полгода, я вряд ли освобожусь. Ведь это большая работа, надо внимательно прочесть все статьи, подумать об их компановке, комментировании. Не могу же я поставить свое имя на книге, с которой внимательно не поработаю». По-своему он был, конечно, прав, и я признал его доводы справедливыми.

Петр Леонидович часто спрашивал — хочется думать, не только из вежливости,— чем я в данный момент занимаюсь. Он интересовался историей науки, и у него есть несколько интереснейших работ на эту тему. Однажды я рассказал ему, что мы вместе с московским коллегой Б. Е. Явеловым занимаемся неожиданной стороной научной деятельности Эйнштейна — его изобретениями. Петр Леонидович кое-что об этом знал «из первых рук»: он был хорошо знаком с Лео Сцилардом, соавтором Эйнштейна по изобретениям новых типов холодильников. Кроме того, в активе Эйнштейна было несколько экспериментальных работ, и в развитие одной из них Капица под руководством А. Ф. Иоффе выполнил свою дипломную работу на электро-механическом факультете Петроградского Политехнического института. Капица проявил к этим нашим работам буквально окрыливший меня интерес. Вскоре после того, как я подарил ему оттиск соответствующей статьи, он сказал, что с интересом прочел мой «мемуар».

Прошло время, и при очередной встрече я сказал Петру Леонидовичу, что мы собираемся написать книгу об изобретательской и экспериментальной деятельности Эйнштейна, и спросил, не согласился ли бы он поддержать эту нашу инициативу. Скажем, отзывом на авторскую заявку. И снова — к моему удивлению, но не к обиде! — довольно категорический отказ. «Но почему, Петр Леонидович?» — «Эйнштейн — гениальный теоретик, но работы его над изобретениями и экспериментальные исследования — это нечто вторичное».— «Вы, конечно, правы, но ведь фигура Эйнштейна настолько значительна, что даже вторичные моменты в его биографии приобретают первостепенный интерес».— «Нет, вот если бы вы решили писать о нем как о теоретике, я бы вас охотно поддержал, а тут — нет».— «Петр Леонидович, вот возьмем другой пример — Пушкин. Конечно, он прежде всего гениальный поэт и прозаик. Но как же интересны специальные исследования: „Пушкин — историк", „Пушкин — экономист", „Пушкин и наука его времени", даже — „Пушкин и естествознание"».

Ничего из моих, правда, недолгих и, надеюсь, не очень навязчивых уговоров не получилось. Я только извлек для себя урок, что переубедить Капицу практически невозможно, его точка зрения всегда продуманна, если только он достаточно информирован об обсуждающемся вопросе. Если — нет, то, прежде чем ответить, он эту информацию получает.

С Петром Леонидовичем можно было соглашаться, а можно и не соглашаться. В последнем случае он не бывал в претензии на собеседника, но на своем стоял твердо.

Одно воспоминание рождает другое, как будто в тебе самом происходит чуть беспорядочная беседа двух давно не видавшихся знакомых. Работая в Ленинградском отделении архива Академии наук СССР, я «наскочил» на несколько писем, написанных в начале 20-х годов Петром Леонидовичем Ядвиге Ричардовне Шмидт-Чернышевой, которую он хорошо знал еще по петроградскому дореволюционному кружку новой физики, руководимому Иоффе. Чернышева была первой русской ученицей Резерфорда, работала у него еще в докавендишский период в Манчестере. Письма к ней от Капицы были очень живыми, интересными, я спросил — помнит ли о них Петр Леонидович. Ядвигу Ричардовну он очень хорошо помнил, а вот о своих письмах к ней — забыл. «Вы знаете, ведь ее рекомендации меня Резерфорду сыграли большую роль в том, что я был принят в Кавендишскую лабораторию,— может, они тоже где-нибудь хранятся? Если можно — пришлите мне копии писем к „милой пани" (так в этих письмах Петр Леонидович обращался к Ядвиге Ричардовне — польке по национальности)».

В другой раз — и в том же архиве — я нашел письма Капицы к его тестю, академику Алексею Николаевичу Крылову, тоже очень интересные. В манерах Петра Леонидовича, смелости суждений, обращении к примерам из русской истории,

самом строе его речи было много такого, что напоминало Алексея Николаевича, которого все мы знаем, прежде всего по замечательным «Моим воспоминаниям». В доме Капиц в небольшой комнате хранился архив семьи Крыловых, дополнявший обширный архив в Ленинграде. Анна Алексеевна любезно показала мне кое-какие письма из этого домашнего архива, например, письма Веры Фигнер, которая находилась в дальних родственных отношениях с Крыловыми — Ляпуновыми — Сеченовыми — Филатовыми: как много говорят фамилии этих связанных узами родства русских ученых! В начале 70-х годов во время работы в Ленинградском отделении архива академии сильное впечатление на меня произвели письма Алексея Николаевича к непременному секретарю академии акад. С. Ф. Ольденбургу (мало кто знает, что он учился в Петербургском университете на одном курсе с Александром Ульяновым). Задумав опубликовать переписку, я счел необходимым получить на это разрешение близких Крылова — Анны Алексеевны и Петра Леонидовича. Договорились о том, что я ознакомлю их с готовящейся публикацией. Так я и сделал. Капицы ее одобрили. В одном из писем А. Н. Крылов обвинял С. Ф. Ольденбурга в том, что в тогдашней (конца 20-х годов) Академии наук принято снисходительно-пренебрежительно смотреть на работы прикладного характера, в то время как так называемые «фундаментальные» исследования, по мнению Крылова, нередко бывают никчемными. Между обоими академиками на эту тему возникла довольно жесткая полемика. И вот, когда публикация была принята и уже готовилась к печати, Петр Леонидович вдруг вернулся к этому вопросу. Как раз тогда он ратовал за приоритет фундаментальных исследований в институтах Академии наук — не получилось бы, сказал он мне, что письмо Крылова о прикладной науке будет лить воду на другую мельницу. Ну, на этот раз мне все же удалось уговорить Капицу, что такой опасности нет, так что переписка Крылова благополучно увидела свет.

Если письма Петра Леонидовича (например, о Резерфорде) предшествуют его публикациям и напоминают о них, то другие воскрешают в памяти эпизоды, относящиеся к живому общению с ним. 23 апреля 1980 г. Капица пишет председателю Комитета государственной безопасности Ю. В. Андропову. Повод, послуживший отправлению этого письма, воистину трагикомический. К этому времени началось буквально триумфальное шествие по издательствам мира книги Капицы «Эксперимент, теория практика». Уже вышло два издания этой книги у нас (третье — готовилось к печати), ожидался ее выход на 10 языках за рубежом, а только что коммунистическое издательство в Италии выпустило эту книгу с предисловием философа-коммуниста Л. А. Радиче. Авторский (итальянский) экземпляр был послан Петру Леонидовичу, но дошел до него в облегченном виде — предисловие Радиче («Петр Леонидович Капица — ученый-гуманист и революционер дела») было вырезано цензурой. Капица резко протестует против этого бессмысленного действия. «Зачем нашей цензуре нужно ограждать меня от знакомства с предисловием к моей книге, да еще написанным ученым-коммунистом?» — спрашивает он. И далее рассказывает, что с такого рода купюрами доходят до него некоторые иностранные журналы, выписываемые через книжный отдел Академии наук. Капица пишет о том, что во время зарубежных поездок и встреч с иностранной аудиторией, бесед с коллегами ему просто необходимо «быть хорошо информированным о том, что о нас говорят и думают за рубежом».

Ю. В. Андропов быстро ответил на письмо Капицы. Он сообщил, что его Комитет не занимается вопросами цензуирования направляемой в СССР литературы, и добавил: «Одновременно посылаю Вам новый, с полным текстом, экземпляр написанной Вами и изданной в Италии книги».

Прочитав эти письма, я живо вспомнил один из разговоров с Петром Леонидовичем. Дело было в 1977 г., вскоре после очередных президентских выборов в США. Капица спросил меня, знаю ли я, почему на этих выборах выиграл Д. Картер. Кто-то мне тогда рассказывал, что Картеру удалось завоевать голоса негритянского населения США,— наверное, поэтому? «Нет,— ответил Капица.— Его поддержала молодежь. А знаете, из-за чего? Картер дал интервью журналу „Плэйбой" — ведь он выходит тиражом 10 млн. экземпляров! Хотите прочесть это интервью?»

В тот же свой приход я спросил у Петра Леонидовича, как ему удается выписывать так много иностранных журналов, свежие номера которых я всегда видел в живописном беспорядке лежавшими на низеньком столике против камина в гостиной. «А вот как. Я направил несколько месяцев назад очередную заявку, и мне ее вернули в безобразно урезанном виде. Тогда я послал письмо с протестом на имя М. В. Келдыша. Я написал ему примерно так. Пожалуйста, вы можете не удовлетворять мои заявки, но имейте в виду, что тогда я перестану встречаться с иностранцами, которых вы меня так часто просите принять. Чтобы разговаривать с ними, я должен быть в курсе того, что происходит в мире, а из наших газет и журналов об этом не очень-то узнаешь».— «Ну и как?» — спросил я, по существу уже зная ответ. «Я получил все те журналы, которые заказал!»

И еще одно звено в цепочке воспоминаний. Однажды я попал на ленч к Капицам как раз в тот день, когда его гостем оказался молодой профессор-психолог из США, принятый по просьбе президиума академии. За столом шла оживленная беседа. Петр Леонидович интересовался вопросом о том, в какой мере религиозны американские ученые. По словам Капицы, соответствующий процент был достаточно высок. «Может быть, и вы верите в Бога?» — несколько иронически спросил Петр Леонидович. «А вас это удивит?» — «Да, мне это кажется удивительным».— «В Бога я верю, а удивительным мне кажется другое. Я более 10 лет живу в США, бывал в домах у состоятельных людей, но нигде не видел такого роскошного особняка, в котором живете вы — ученый в стране социализма». Петр Леонидович нисколько не обиделся на этот наскок, он был, по-моему, даже доволен. Но пояснил, что дом этот — не его собственный, а просто полагается ему по должности.

* * *

Разумеется, больше всего важного и необходимого найдут в «Письмах» будущие биографы Капицы, а в том, что, говоря словами Пушкина, Бог их ему пошлет, не приходится сомневаться! Материал книги дает прочный фундамент для целых глав таких будущих биографий: «Капица и Сталин», «Капица и Берия» и, шире — «Капица и Власть». Занимаясь систематизацией выделенного мною материала, я наметил два десятка сюжетов. Некоторые из них уместно здесь привести, даже не раскрывая (за недостатком места) их содержания соответствующими пересказами или цитатами, а информируя читателей о материале книги: «Общественное мнение, инакомыслие и свобода печати», «Секретность в науке», «Научный поиск и его необходимость для прогресса», «Право на риск», «Организация советской науки», «Мысли об атомной энергетике», «Экология», «Бюрократия в управлении наукой и меры борьбы с нею», «Афоризмы Капицы» (охотники за афоризмами соберут с ее страниц немалый урожай).

Историки, в том числе и историки науки, получат, проштудировав книгу писем Капицы, богатейший материал: здесь и заметки об Академии наук, ее подчас неповоротливой структуре, ее хронических недостатках. Так, проблема высокого «среднего возраста» членов академии, обсуждающаяся сегодня в печати, была, оказывается, и в 30-е годы столь же актуальной и уже тогда вызывала тревогу Капицы.

Люди, работающие в жанре научных биографий, по крупицам собирающие сведения о своих героях, при ознакомлении с каждой новой книгой, просмотрев оглавление, часто заглядывают в именной указатель в надежде найти там желанную фамилию. Именной указатель — это своеобразное оглавление или что-то похожее на список действующих лиц, предваряющий текст пьесы! И в этом плане письма Капицы — золотая кладовая! Каких тут только нет имен, какие «парные взаимодействия» Петра Леонидовича с современниками не просматриваются и не просятся для внимательного изучения и разбора: «Капица и Резерфорд», «Капица и Бор», «Капица и Иоффе», «Капица и...»!

Мне хотелось бы привести один пример из собственной «биографической» практики. Последние два-три года я много занимаюсь биографией физика-теоретика Георгия Антоновича Гамова. Воспитанник Ленинградского университета, он в 1928 г. 24-летним молодым человеком выполнил работу, принесшую ему мировую известность. В 1928—1931 годы Гамов объездил физические центры Европы. Без общения с коллегами — как у нас, в СССР, так и за рубежом — он не мыслил своей работы. Начиная с 1931 г. ситуация с поездками Гамова за границу изменилась. Он по-разному пытался ее исправить и в 1933 г., получив очень престижное приглашение принять участие в очередном конгрессе физиков (Сольвеевский конгресс, собиравший крупнейших ученых в Брюсселе), добился разрешения поехать туда вместе с женой. Оказавшись на Западе, Гамов несколько раз официально просил продлить время своей командировки, а чем ему было отказано. Вот что по этому поводу написал П. Л. Капица Нильсу Бору 15 ноября 1933 г.: «Дирак по Вашей просьбе только что рассказал мне о трудностях с Гамовым. Мне кажется, что для любого человека лучше всего работать в той стране и в тех условиях, которые нравятся ему больше всего. Вот почему я думаю, что если бы Гамову удалось найти место, то для него лучше всего было бы работать за границей... Невозвращение Гамова в Россию чрезвычайно затруднит получение разрешений на выезд для тех молодых русских физиков, которые хотели бы учиться за границей. Это представляется мне основным доводом против подобного шага. Сейчас примерно десять молодых физиков хотели бы выехать за границу, и этот вопрос рассматривается в настоящее время. Но если Гамов останется в Европе без разрешения русского правительства, это очень им повредит. На мой взгляд, выйти из этого затруднительного положения можно только одним способом — на пребывание Гамова в Европе надо получить разрешение в России. А чтобы добиться этого, надо, чтобы Гамов получил служебный отпуск хотя бы на год. На второй год получить разрешение будет легче. И так действовать до тех пор, пока его отсутствие не станет походить на хроническое заболевание, к которому уже привыкли. Думаю, что и для самого Гамова подобное решение было бы наилучшим — из-за его переменчивого характера: через год или два он может пере-

думать, жена его может затосковать по родине, поскольку это ее первая поездка за границу. А так мосты не будут сожжены».

Мне представляется, что из этой цитаты видна вся мудрость Капицы! У нас поступили иначе: Гамов практически сразу же был заклеймен, выведен из состава институтов, в которых работал, а в 1938 г. исключен и из академии, членом-корреспондентом которой стал в 1932 г. В результате этого, как и предполагал Петр Леонидович, оказался перекрытым канал поездок советских физиков (и не помышлявших о том, чтобы расстаться со своей Родиной!) за границу, науке был нанесен большой урон (то же, кстати, справедливо и в отношении поездок на длительные сроки молодых ученых с Запада в Советский Союз, прежде всего в Харьков и Ленинград). Правда, можно полагать, что невозвращение Гамова было скорее поводом, чем причиной того, чтобы начать проводить соответствующую изоляционистскую политику.

* * *

Капица практически не получал ответа на свои письма Сталину[1], Молотову, Маленкову, Хрущеву и другим членам правительства (исключение — Андропов!).

14 марта 1945 года, говоря о состоянии проблемы кислорода, он указывает в письме к Сталину: «Два месяца тому назад, 20 января, я написал Вам..., но никакого ответа не получил. Я не знаю, что в таком случае делать? Ведь на Вас-то никому не пожалуешься![2] А поскольку я взялся за кислородное дело, то молчать я тоже не имею права».

Сегодня, наглотавшись воздуха свободы перестроечных лет, мы можем не без некоторого недоверия и огорчения прочесть такие фразы в письмах Капицы Сталину: «У меня к Вам исключительное уважение, главное, как к большому и искушенному борцу за новое». Капица обсуждает в этом письме глубоко волновавший его вопрос о судьбах интенсификации кислородом технологических процессов в черной металлургии. Ему нужна поддержка Сталина — в помощи со стороны других он уже изверился. Намеревался ли здесь Петр Леонидович «сыграть» на слабой струне — тщеславии своего державного адресата? Или действительно так думал, не зная о других делах, в которых столь искушен был «борец за новое»? Скорее всего — первое. Об этом говорит тот факт, что Капица не принял участия в торжественных заседаниях, посвященных 70-летию со дня рождения Сталина, проводившихся в Академии наук СССР и Московском университете в декабре 1949 г. Тот, кто помнит эти времена, знает, какою смелостью для этого надо было обладать! И результат такого демарша не заставил себя долго ждать: в январе 1950 г. Петра Леонидовича отстранили от работы в университете — с прямой ссылкой на этот его «проступок» (с поста директора организованного им Института физических проблем он был снят ранее).

В другом месте (письмо от 20 июля 1937 г.) Капица пишет Сталину о необходимости всемерной поддержки науки и ученых со стороны государства, подчеркивает, что оно должно стимулировать у советских людей интерес к науке и научному творчеству, потому что только при их поддержке можно успешно работать (подобно тому, добавляет он, как театр не может функционировать без поддержки и любви к нему и к актерам со стороны массового зрителя). И Капица говорит: «До тех пор, пока хотя бы наиболее культурные верхушки рабочего и крестьянского класса не будут приветствовать каждое достижение нашей науки, ученые останутся изолированной кучкой, в которой будет возможна почва для всякой вредительской работы, а при удобном случае будут покидать Союз».

Видимо, эту фразу можно расценить так, что даже и в среде наиболее трезво мысливших ученых, к которым, конечно же, принадлежал Капица, люди верили в возможность существования вредительства.

Вместе с тем, как мы уже писали, Петр Леонидович прилагал героические усилия, чтобы защитить тех «вредителей», которых он лично знал.

Какое-то количество спорных суждений в «Письмах о науке» читатель, конечно, обнаружит. Не исключено, что он найдет ответы на возникающие у него вопросы, а может, в чем-то пересмотрит свои собственные оценки и взгляды на далекое и недалекое прошлое. Капица всегда интересен: и когда в подавляющем числе случаев он безусловно прав, и тогда, когда с ним не соглашаешься.

Для тех, сравнительно немногих, кто знал этого замечательного ученого и человека, «Письма о науке» — продолжение многолетней беседы с П. Л. Капицей. Для большинства же читателей — это продолжение знакомства, начатого публикациями писем Капицы к матери, жене, коллегам в журнале «Новый мир» и других периодических изданиях. Все эти письма — повод для глубоких размышлений, как это всегда бывает после разговора с мудрым, остроумным и глубоко порядочным собеседником.

---

[1] От И. В. Сталина он получил две записки.

[2] Капица, возможно, этой фразой напоминает Сталину о своем письме от 13 октября 1944 года: «Не знаю, как мне быть. Сегодня три недели, как написал товарищу Маленкову с просьбой принять по делам Главкислорода, но безрезультатно, хотя он сказал, что раз в месяц будет со мной беседовать. Жаловаться нелепо. Звонить все время товарищу Суханову (секретарь Маленкова), это дает результаты, но это значит растерять уважение к ученому, которое так нужно у нас сколотить. Оставить так — плохо для дела».

О. Л. Адамова-Слиозберг

ИЗ ПЕРЕЖИТОГО

КАК Я НАЧАЛА ПИСАТЬ

Я реабилитирована.

20 лет этот час казался порогом в лучезарное будущее.

Только скинуть этот камень — и канет в небытие чувство отверженности, неполноценности, откроются великие возможности...

У всех реабилитированных — вместе с радостью глубокое разочарование и пессимизм. Спали оковы, нет замка на двери,— а идти некуда. Никто не вернет погибших двадцати лет лучшего возраста жизни, никто не воскресит умерших друзей. Никто не воссоздаст порвавшихся и омертвелых нитей, соединявших нас с близкими.

Возвращение к жизни — тяжелый период.

У тебя нет крова над головой, у тебя нет денег, у тебя нет физических сил. Твое место в жизни занято, потому что жизнь не терпит пустоты, и кровавая рана, которая образовалась в плоти жизни, когда оттуда вырвали тебя, заросла. Твои родители умерли, твои дети выросли без тебя; семьи у тебя нет.

Ты двадцать лет не занимался своей профессией, ты отстал и можешь быть лишь подмастерьем там, где твои бывшие товарищи мастера... А трудно быть подмастерьем в пятьдесят лет! Казалось бы, очень плохо. Казалось бы, ты банкрот.

Но нет! Ты с удивлением замечаешь, что люди тянутся к тебе. Они плохо жили без тебя. Они вспоминают первые десятилетия революции, когда ты еще жил, как светлое время; они предъявляют к тебе требования как представителю этого светлого времени.

Если эти годы ты честно думал, глядел, понимал — ты им нужен, потому что они в сутолоке жизни, в подсознательном страхе очутиться по ту сторону жизни — там, где был ты,— под грохот патриотических барабанов, угроз и фимиама лести разучились думать. Они не умеют отличить ложь от правды, но им душно, им плохо.

У тебя нет ничего: ни места, ни положения, но если ты можешь сказать людям нечто, чего они ждут,— ты богаче всех, ты нужен всем, твое место, твое положение завидно.

Горе тебе, если ты ничего не понял, ничего не вынес из бездны, которую ты прошел. Горе тебе, если ты не воспользовался единственным несравненным правом, которое у тебя оставалось: смотреть, думать, запоминать.

У тебя все отнято, и никакая бумажка не вернет тебе места в жизни, молодости, сил. У тебя осталось только то, что есть в твоей душе.

Ты или нищий, или богач.

Решение писать зародилось у меня в 1937 году, через год после того, как меня арестовали.

Тогда я решила, что должна жить.

Я выживу, я расскажу.

Сначала я думала только о том, как я объясню сыну и дочери то, что их мать и их отец стали «врагами народа». Я думала об этом все ночи. Самое трудное в заключении — это

Ольга Львовна Слиозберг родилась в Самаре в 1902 году, в 1924 году окончила Московский университет, работала экономистом. Репрессирована в 1936 году, реабилитирована в 1956 году. Воспоминания О. Л. Слиозберг «Путь» печатались в журнале «Дружба народов» (1989), а также в сборнике «Доднесь тяготеет». Живет в Москве.

научиться спать. Я училась этому три года. Три года я лежала тихо-тихо все ночи, когда сердце разрывается, но нельзя взять книгу, чтобы отвлечься, нельзя встать и походить по комнате, нельзя вздыхать и крутиться на кровати.

Арестанты — большие мечтатели.

Многие мечтали о том, что в тюрьму приедет Сталин, что они ему все расскажут и он их спасет.

Другие мечтали о том, что они отбудут свой срок, встретят мужей и в хижине, в лесу будут жить вдали от людей.

А я мечтала, что вдруг в камеру войдет Ромен Роллан. И он будет говорить со мной. И мы будем говорить час. Что же я скажу ему за один час, плохо зная французский язык? И вот все ночи напролет я укладывала в этот часовой разговор все, что надо было сказать ему, совести мира.

О том, как мечтала, если уж погибать, то не в этой камере, а в застенках гестапо, в борьбе.

О том, что у меня отняли моих детей.

Я рассказала бы не только о себе, щедро отрывая от своего часа десять-пятнадцать минут кому-нибудь из товарищей.

Так зародилась эта книга.

И она жила во мне все эти годы, и когда совершалось что-нибудь, потрясавшее меня, я думала: «Я отдам еще пятнадцать минут и расскажу об этом ЕМУ».

Когда я, уже выйдя из лагеря, прочла в газете несколько строк о смерти Ромена Роллана, мне показалось, что в сердце мне ударили кинжалом.

Его нет. Некому, некому передать... Никто за меня не расскажет людям.

Значит — нужно самой.

1956 г

ИГОРЬ ХОРИН

В конце декабря 1939 года нашу бригаду послали на «легкую работу»: мы пилили и кололи дрова во дворе пятиэтажного дома, потом разносили дрова по этажам. Разносили по очереди, чтобы хоть немного погреться, а потом снова пилили и кололи, с восьми утра до шести вечера, а мороз был около 50-ти градусов.

В теплых и благоустроенных квартирах жили работники НКВД или договорники. Там пахло вкусной едой, иногда духами. Пробегали дети, порой слышалась по радио музыка... А у нас в бараках пахло сушившимися у печки портянками и валенками, слышны были голоса усталых и голодных людей, а порой и страшная ругань забредших в «политический» барак уголовниц. Обитатели уютных квартир боялись с нами общаться, как с зачумленными. Я не помню случая, чтобы мне предложили сесть погреться или дали поесть.

И вдруг мне неслыханно повезло: заболел нормировщик, который начислял зарплату по нарядам. Ко мне подошел начальник конторы и спросил, могу ли я начислять зарплату рабочим. (В моем деле числилось, что я — экономист по труду.) Вообще-то это было незаконно: имелось указание для политических: ТТФТ — только тяжелый физический труд. Но «горела» зарплата, и временно пришлось взять зека с тяжелой политической статьей.

С наслаждением я вошла в контору — теплую светлую комнату — и села за стол. В конторе работали бытовички, чисто одетые, откормленные. Каждая из них имела «лагерного мужа» из начальства. Они убегали на обед и посредине работы на вольные квартиры, ходили без конвоя, начинали работу в 9 часов, кончали кто когда. Из мужчин я заметила только чертежника. Его звали Игорь Адрианович Хорин. Это был желчный человек 35 лет, с виду больной туберкулезом. Работы у меня было невероятно много: груду нарядов надо было пронормировать и расценить за какие-нибудь две недели. Поэтому я не очень замечала, что делается вокруг, работала не поднимая головы. Очень хотелось подольше побыть в конторе, отдохнуть от мороза, пилки и колки дров, таскания по этажам неподъемных тяжестей. Обратила я внимание на Хорина вот по какому поводу: одна девушка попросила его одолжить ей рубль. Он вышел и через 15 минут подал ей бумажный рубль. Девушка побежала в буфет, но скоро со смехом вернулась: рубль оказался простой бумажкой, артистически подделанной под рубль. Бумажка пошла по рукам, все восхищались искусной подделкой. Игорь гордо улыбался и говорил: «Это пустяки, то ли я еще могу сделать!» Мне рассказали, что он был знаменитым фальшивомонетчиком, подделывал номера в облигациях на те, которые выиграли. Кроме того, он был замечательным шахматистом, давал сеансы игры на 30 досках, обыгрывал лучших шахматистов Магадана.

Я наслаждалась своей работой и только молила бога, чтобы нарядчик подольше болел. Омрачало мою жизнь только то, что я кончала работу очень поздно, а идти ночью одной по Магадану, с его темными, занесенными снегом улицами, было очень страшно.

Надо сказать, что половой вопрос на Колыме стоял очень остро: женщин было мало, кончившие сроки уголовники и бесконвойные заключенные (бытовики и уголовники с легкими статьями), годами живущие без женщин, утоляли половой голод, набрасываясь на одиноко идущую женщину, как волки на добычу. Однажды меня напугал пьяный повар с парохода, который, угрожая ножом, требовал, чтобы я пошла с ним. Я начала кричать, и его забрал патруль. Он успел мне сказать:

— Вот теперь я тебя подстерегу и зарежу.

Я смертельно его боялась и каждый вечер переживала настоящие муки. Как-то я вышла с работы вместе с Хориным и попросила его:

— Пойдемте вместе, я очень боюсь.

— Не маленькая, дойдете,— ответил он и быстро пошел вперед. После этого, естественно, я говорить с ним не хотела.

Однажды я раздобыла томик Лермонтова и в обеденный перерыв его читала. Я заметила острый взгляд Хорина, он смотрел на книгу. Я заперла книгу в ящик стола и пошла разговаривать с бригадирами. Вернувшись, я книги не нашла, хотя ящик был заперт. Очень огорченная (книга в лагере — драгоценность), я даже говорить не хотела о своей пропаже, понимала, что с такими квалифицированными ворами не поспоришь. Однако к концу работы книга вновь появилась в ящике, а в книге лежала записка: «Очень прошу Вас простить мою грубость. Мне надо поговорить с Вами. Я буду ждать Вас у выхода. Хорин». Удивленная и обрадованная находкой книги, я вышла после работы. Хорин меня ждал. Оказывается, он не знал о существовании Лермонтова и за день много прочел и даже запомнил наизусть. Способности у него были поразительные.

«Расскажите мне про Лермонтова, когда он жил, кем был...» — попросил он меня. Когда я ему сказала, что он был убит в 27 лет, Хорин чуть не заплакал.

С этого дня мы ходили домой вместе и все наши разговоры были о литературе. Я ему читала стихи Блока, Тютчева, Пушкина и Ахматовой. Те, что сохранились в моей памяти. Даже рассказывала целые романы Тургенева, Толстого, Достоевского. Он воспринимал все, как иссохшая земля благословенную влагу.

Жизнь он прожил страшную. Сын офицера, старший из шести детей. Отца своего он ненавидел за дикую жестокость, превращавшую в ад не только жизнь безответных денщиков, но и жены и детей.

Когда мальчику исполнилось 10 лет, его отдали в кадетский корпус в другой город. Несмотря на муштру, тяготившую нервного и свободолюбивого мальчика, он даже в каникулы не хотел ехать домой в Казань. В 1917 году отца его буквально разорвали ненавидевшие его солдаты. Мать с пятью младшими детьми уехала за границу, кадетский корпус распустили, и Игорь сделался беспризорником. Ненависть к отцу, обида на мать, бросившую его на произвол судьбы, перешла в любовь к революции. Он пристал к какой-то воинской части. Маленького роста, худенький, он в свои 12—13 лет сходил за десятилетнего. Необыкновенная наблюдательность, память, сообразительность — все делало его незаменимым разведчиком. Он провоевал всю гражданскую войну, а потом, заболев тифом, попал на полгода в больницу. Соседом его по больнице был какой-то образованный человек; заметив необыкновенные способности мальчика, он стал готовить его в университет. За полгода они прошли математику и физику за среднюю школу, но учитель Игоря умер, не окончив с ним занятий. Перед смертью он оставил Игорю письмо к своему товарищу, преподавателю университета. Выйдя из больницы, Игорь пошел к адресату, и тот ему помог поступить в университет на физмат.

Вначале он наслаждался учебой, товарищами, всем строем жизни. Он даже подал заявление о приеме в партию, но какой-то член комиссии, слышавший об его отце, возражал против приема в партию «офицерского» сынка. Взбешенный Игорь, который никогда не отличался выдержкой, запустил в говорившего табуреткой, после чего его исключили из университета. Так окончилась его ученая карьера, которая и длилась-то всего несколько месяцев.

И началась у Игоря новая полоса жизни: преступный мир принял его с распростертыми объятьями. Он подделывал номера облигаций на выигравшие, продавал поддельные бриллианты, показав сначала настоящие, а при вручении их покупателю мгновенно их подменяя. Помогало ему обманывать людей еще то, что у него сохранились некоторые черты юноши из хорошего общества. Он умел себя держать, хорошо одевался, иногда даже вставлял в речь французскую фразу с отличным произношением, усвоенным от матери, воспитанницы Смольного института.

Но при всех его талантах длилась его преступная деятельность недолго. Его арестовали и отправили на Беломорканал. Он мало что рассказывал мне о своей лагерной жизни, но я знаю, что благодаря своей «благополучной» статье и способностям он был устроен неплохо, работал чертежником и топографом. Однако глаза у него были зоркие, он видел вокруг себя море жестокости, несправедливости и страдания. Освободившись, он попал в театр на «Аристократов» Погодина. Не могу забыть ярости, с которой он говорил о Погодине. «Как я жалею, что не встретился с Погодиным! Я только набил бы ему морду, чтобы он не наживался на человеческом горе и поменьше врал!»

На Беломорканале он сошелся с девушкой-студенткой. Прожил он с ней недолго, но она ему многое дала. Она, как и я, рассказывала ему о литературе, читала стихи. Иногда им удавалось раздобыть какую-нибудь книгу. Однажды им попался том Маяковского, и Игорь запомнил его весь наизусть. Но о Лермонтове речь не заходила, и Игорь был потрясен им, заболел его поэзией. Вышел он из лагеря с профессией чертежника и с твердым намерением «завязать» с преступным миром и сделаться писателем.

Он поселился на даче под Ленинградом. Целыми днями читал и писал «Повесть о моей жизни». Никуда не оформлялся на работу, зарабатывал чертежами.

Почему-то он показался весьма подозрительным. С его прошлым казалась невероятной его затворническая жизнь с книгами и тетрадями. Его арестовали как тунеядца. Если первый свой арест он считал заслуженным, то второй возмутил его до глубины души. Он рассказывал на следствии, что решил стать образованным человеком и писателем, а ему пришивали какие-то фантастические дела. Ко всему инженер, который давал ему работу, был арестован как враг народа. Все это было в Ленинграде после убийства Кирова, в обстановке обостренной бдительности и слежки. Одним словом, он был осужден на 10 лет по статье УД (уголовная деятельность) и отправлен на Колыму. Наряду с озлобленностью и цинизмом у него была какая-то детская наивность. Не зная другой жизни, кроме жизни лагерников и воров, не зная женщин, кроме проституток (короткая связь на Беломорканале оставила в его душе мимолетный след), он преувеличивал благородство и высокую нравственность жизни интеллигенции. Он иногда спрашивал меня смешные вещи: как мы сидели за столом, во главе ли стола сидели мать и отец, служили ли им дочери, как мой муж делал мне предложение, долго ли я была невестой и т. п. На меня он смотрел снизу вверх, как на какое-то особое, возвышенное существо. Я помню один комический случай. Как-то в очередном приступе самоуничижения Игорь начал говорить, что он не имеет права даже стоять близко возле такой женщины, как я, и т. п.

«Ну что вы сравниваете меня и себя? — ответила я.— Я росла в прекрасной, благополучной семье, окруженная любовью и лаской. К моим услугам были любые книги, музеи, театры. Если бы я попала в такую жизнь, как ваша, я бы тоже была воровкой».

Он: «Нет, вы никогда не могли бы быть воровкой».

Я: «Но почему же? Обязательно была бы!»

Он (с раздражением): «Да вы в первый же день обязательно попались бы!»

Вот это верно. Воровке нужны осторожность, зоркость, наблюдательность и много еще качеств, которые у меня полностью отсутствуют.

Не зная, как нужно разговаривать с порядочной женщиной, Игорь относился ко мне с чопорной вежливостью: он никогда не брал меня под руку, никогда не заводил разговора на интимные темы. Только раз заговорил он со мной как с женщиной: меня послали за 10 километров от Магадана в поселок Марчекан закрывать наряды. Мне было страшно идти одной, и я попросила Игоря придумать какое-нибудь поручение в Марчекан и проводить меня. По дороге он был мрачен и молчалив. А день был отличный. Ярко светило мартовское солнце, небо сияло. Я сказала: «Ни вертухая, ни собаки, ни выкриков: „Шаг вправо, шаг влево — стреляю". Мы идем, как обыкновенные люди...»

Он молчал. Мне даже показалось, что он не слушает меня, занятый своими мыслями. Но вдруг, с заблестевшими глазами, он сказал: «А почему вы меня не боитесь? Ведь я тоже мужчина!» Я ответила с полным убеждением: «Я не только вас не боюсь, но если бы нужно было послать мою дочь в это путешествие, я попросила бы вас сопровождать и охранять ее». Он схватил мою руку и поцеловал ее. Мне показалось, что на глазах его блеснули слезы.

Мы по-настоящему дружили с Игорем. Это была единственная светлая страница моей лагерной жизни. Наша дружба была овеяна поэзией горячо любимой нами литературы. Я приобщала его к ней по мере моих сил. Он, гораздо более одаренный, чем я, сразу чувствовал все ценное из того, что я сумела ему рассказать. Однажды я прочла ему застрявший в моей памяти с юности «Умирающий лебедь» Бальмонта. Он сморщился, как любитель музыки от фальшивой ноты, и сказал: «Лучше вспомните еще что-нибудь из Некрасова или Блока. Это — мармелад».

Так мы дружили с Игорем целые три месяца. И вдруг — все рушилось. Наш этап 4 апреля 1940 года отправили в тайгу на лесоповал. Неожиданно ночью объявили, что завтра никто на работу не выходит, потому что нас отправляют на этап.

Такова лагерная жизнь.

Ночью я проснулась от того, что кто-то стучал в окно над моей головой. Это был Игорь. Он проделал дырку в раме, и я могла с ним поговорить. Он спросил, что он может для меня сделать. Я была поражена, как он мог пробраться в женский лагерь, узнать, где я сплю, сделать дырку в раме... Только лагерник понимает, как это трудно. Очевидно, он пустил в ход все свои связи и деньги (он выигрывал деньги в шахматы) и всю свою ловкость, чтобы проститься со мной. Я попросила его сообщить моим родным, что я долго не буду писать из-за перемены места жительства. Он это исполнил.

Я больше не видела Игоря, но через год я получила от него письмо: он лежал в больнице — последняя стадия туберкулеза.

«Я умираю,— писал он,— и хочу Вам сказать, что я думаю все время о Вас. Вы были последним светлым лучом в моей жизни. Помните ли Вы день, когда вы сказали: „Мы идем, как обыкновенные люди". А у меня в душе бушевала мука: ведь то, что так доступно обыкновенным людям, для нас недостижимо, как луна на небе...» — дальше шли стихи.

Это письмо у меня отняли при очередном обыске.

Из стихотворения я запомнила только последнюю строфу:

Я называю Вас своим сердечным другом
Еще за то, что наших жизней лето
Идет к закату за Полярным кругом,
Что и моя и Ваша песня спета.

К письму была приписка его товарища:

«Игорь Адрианович Хорин умер 5 мая 1941 года».

Ему было 36 лет.

1968 г.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА ГРАНКИНА

С Надеждой Васильевной Гранкиной мы ехали в одной теплушке на Колыму, а в Магадане поселились в одном бараке.

Это был барак № 8, самый плохой, на 70 человек, с двойными нарами.

Было столько народу, что многих я знала только по фамилии да в лицо, а никогда словом не обмолвилась. Так было у меня и с Надей.

Однажды белой ночью нас послали поливать картошку. Воду возила лошадь, а за ней бегал маленький жеребенок. Иногда он бежал за матерью на речку, иногда носился между нами, прыгал и веселился. Но случилось, что, когда жеребенок за матерью не побежал, водовоз стал возить воду на другой участок. Обнаружив, что мать не вернулась, жеребенок стал ее звать, метаться, кричать — в общем, был в отчаянии, и вдруг я увидела, что Надя побледнела, затряслась, зарыдала.

— Что с вами? — спросила я. Я ведь никогда не видела Надю плачущей.

— Вот так же, наверное, мечется, ищет меня и плачет моя Кинуся!

Надя рассказала мне, что оставила девочку у своей матери, суровой старухи, еле-еле живущей на крохотную пенсию. Надина мать очень осуждала дочь и зятя за то, что они что-то натворили, сели в тюрьму и подбросили ей внучку. Девочка была слабенькая, хромая после полиомиелита, бабушку боялась, была горячо привязана к матери. Надя меня спросила о моих детях. Мне даже было стыдно жаловаться: дети жили у моих родителей, которые на них молились. Сестры мои и брат им помогали.

С этого дня мы с Надей не разлучались: вместе спали, на работе старались быть рядом.

Мы, конечно, рассказывали друг другу о своей жизни. Надо сказать, что Надю судьба била еще до рождения: ее отец, вдовый священник, по церковному закону не мог жениться на ее матери, которая жила у него в экономках. Двое детей, Надя и ее брат, оказались незаконнорожденными. Это был ужасный позор. Детей прятали, скрывали и наконец отдали в семью бездетного брата матери, который служил дьяконом в царскосельской церкви. Дядя и тетка были хорошими людьми и воспитывали детей как своих. Нарушала спокойствие только время от времени появлявшаяся мать, которая скандалила то с братом, то с невесткой из-за неправильного воспитания детей: не так едят, не так входят в комнату и т. п.

До поступления в гимназию Надя не знала, что она незаконнорожденная. В гимназии девочки были из дворянских и даже придворных семей. Многие матери запрещали своим дочерям водиться с Надей. Это ее глубоко ранило.

Когда совершилась революция, Надя ее приняла всей душой: уничтожался ее позор — незаконнорожденность. Она даже хотела вступить в молодежную коммунистическую организацию (комсомола еще не было). На приеме ее спросили, почему она хочет быть членом организации. Надя ответила, что коммунисты — последователи Христа, хотят добра для бедных и обиженных. Она, любя Христа, хочет быть с ними. Естественно, ее не приняли.

В 1919 году мать увезла ее из голодного Петрограда в Луганск, где стала работать кастеляншей в больнице, а Надя, которой шел уже шестнадцатый год, там же санитаркой. Надя все время хотела причастности к жизни, к революции. Она опять подала заявление в комсомол, ее приняли. Она радостно влилась в советскую жизнь, но кто-то узнал, что она дочь священника, ее исключили.

Она стала работать библиотекарем в воинской части. Увлеклась своей работой.

В 1922 году она встретила своего героя — Ефима Гранкина. Он провоевал всю гражданскую войну, жил только революцией и так же мало заботился о быте, как и Надя. Они

поженились. В 1923 году у них родилась дочка. Назвали ее Киной (Коммунистический интернационал)!

Но уже с 1925 года начались большие трудности: заболел муж (последствия ранения), и его демобилизовали из армии. А в 1927 году Гранкина исключили из партии как троцкиста. Надя мало разбиралась в политике, она была уверена, что муж ее — истинный коммунист-ленинец. Гранкин получал маленькую пенсию, целыми днями читал Ленина и Маркса и доказывал, что они правы. Работать он хотел только в политико-просветительной области, куда ход ему был, естественно, закрыт. Выходец из крестьян, обладавший золотыми руками, он не хотел никакой другой работы, кроме политической. Семью должна была содержать Надя. В Луганске работы не было. Пришлось вернуться в Ленинград. Поселились с матерью в тесной коммунальной квартире. Мать возненавидела зятя, и Надя жила между молотом и наковальней. Поступила работать в библиотеку. Дочь оставляла то на бабушку, которая не хотела с ней возиться, то на мужа, который считал ниже своего достоинства заниматься хозяйством и ребенком. Когда девочке исполнилось 10 лет, она заболела полиомиелитом и осталась хромой.

В 1936 году Гранкина арестовали, а Надю выслали в Самару якобы для ухода за больным мужем, который не может себя обслуживать. Девочку пришлось взять с собой, бабушка не соглашалась оставить ее у себя.

В Самаре Гранкина не оказалось, Надю перевели в Оренбург. Мужа не было и там — он в это время лежал в тюремной больнице в Ленинграде, где вскоре умер. Без денег, без квартиры мучилась Надя в Оренбурге с больной девочкой. Наконец как-то устроилась с квартирой и работой. Но наступил 1937 год. Надю арестовали. Дали ей 10 лет лишения свободы, а девочку отправили в Ленинград к бабушке. Надю два года бросали из тюрьмы в тюрьму, а в 1939 году отправили на Колыму, в том же этапе, где везли и меня.

О том, как мы подружились на Колыме, я уже писала. Мы старались держаться вместе, но в лагере собой не распоряжаются.

В 1943 году, когда мы с ней работали на лесоповале, произошло удивительное событие. Когда-то в поисках заработка она поступила на курсы машинной вышивки и окончила их. Применить свое искусство ей не удалось из-за ссылки. В ее деле лежал диплом об окончании курсов. Неожиданно ее вызвали в Эльген, в мастерскую, и она проработала там до конца срока, почти 4 года. Это была большая удача, работа в тепле, женская, иногда можно что-нибудь сделать налево, будешь сыта.

Надя все время пыталась связаться с Ленинградом, где остались ее дочь и мать. Сердце разрывалось от страха за них, от мыслей об их страданиях. Наконец, в 1945 году Надя получила известие, что они обе умерли в 1943 году. Потом Надя мне говорила, что она себя утешала тем, что они больше не мучаются. Горькое утешение!

Так или иначе, Надя перенесла и это несчастье и продолжала жить... У нее осталась одна мечта: выйти на волю, лагерь ей опротивел так, что она уже не могла ни о чем думать, кроме как об окончании срока. А ей еще оставалось сидеть около полутора лет.

В это время вышивки все больше входили в моду. Дам (жен начальников) в Эльгене было много, а рук у Нади только две. Создалась очередь. Спор между дамами: «Почему М. И. сделали 5 штор, а Н. Н. только 2»; «Почему очередь не дойдет никак до моей кофточки», — кричала В. Я.; «Я первая заказала скатерть», — жаловалась Н. Н. Короче, к концу 1946 года накопилась груда невыполненной работы. Дамы бросились к начальнику лагеря: «Неужели вы ее отпустите и мы останемся без вышивок?» Начальник успокаивал своих дам, обещал Надю как-нибудь задержать.

Надя хорошо помнила о том, что начальство проделало с Цилей Коган в Магадане. Циля кончала свой срок и, конечно, мечтала о воле. Ее освободили, и на радостях она устроила угощенье для оставшихся в лагере товарищей. На прощание Циля сказала: «Наконец-то я избавилась от этой каторги. Желаю того же всем вам». Увы! Эти слова были переданы начальству. Началось новое следствие, и бедняга Циля получила второй срок за антисоветское высказывание. Оказывается, для лагеря слово «каторга» было оскорбительным. Все мы были потрясены, и Надя, конечно, тоже. Не удивительно, что, когда Наде рассказали, что вызывали некоторых женщин и спрашивали о том, что Надя говорила по такому-то и такому поводу, она помертвела. Было совершенно ясно, что ей тоже готовят второй срок.

Между тем узнав, что должна освободиться еще не старая «политическая» женщина, у лагеря толпились «женихи». Это были, как правило, бытовики (халатность, растрата, нарушение паспортного режима и т. п.). Они не хотели жениться на блатнячках и искали «порядочную». Один из женихов, некий Борис, сумел проникнуть в мастерскую. Он предложил Наде следующее: он добьется ее освобождения, а она выйдет за него замуж. Как он собирался действовать, Надя не знала. Обезумев от ужаса, она согласилась. Он казался ей менее страшным, чем новый срок.

Надю выпустили день в день, и Борис увез ее на дальний прииск, где он работал снабженцем и где не было ни одного человека, подходящего Наде даже для разговора, не говоря о дружбе. Уже через несколько дней Надя почувствовала физическое и нравственное отвращение к своему «мужу». Мечтала уехать. Но как? Он все время говорил

о том, сколько она ему стоила, как много он истратил на ее освобождение, одежду, да и питание. Денег у Нади не было ни копейки, все ее документы, включая хлебную карточку, были у Бориса. Он был возмущен невыполнением условия, начались ежедневные и еженощные скандалы. Так они прожили в одной комнате в состоянии войны 2 месяца.

В это время из Магадана приехал на их прииск бухгалтер-ревизор Викентий Яковлевич Тулицкий. Попал он в лагерь за связь с женой большого начальника, которому не трудно было устранить соперника путем выдуманного дела. Статья была легкая, и Тулицкий после освобождения работал в Магадане бухгалтером и хорошо зарабатывал.

Тулицкий остановился в том же бараке, где была комната Нади с Борисом. Слышимость была полная, и он скоро понял, что происходит. Он заходил к Борису. Иногда Надя угощала его обедом, порой они с Борисом выпивали рюмочку-другую. Однажды во время семейной сцены он вошел и предложил Борису оплатить его траты на Надю, а ей сказал: «Я не настаиваю, чтобы вы вышли за меня замуж, хотя считал бы счастьем иметь такую жену. Я вас довезу до Ягодного или Магадана, а там — живите как хотите. Если сможете, вернете мне долг».

Надя согласилась с ним уехать, а в дальней дороге оценила его внимательность, ненавязчивость. Одним словом, в Магадане они зарегистрировались и стали дружно жить. Между прочим, у Тулицкого была «шляхетская» гордость (он был поляк). Он не разрешал Наде работать: «Я сам заработаю на себя и на жену». Наде и не хотелось служить. Она в своей восьмиметровой комнате хозяйничала, дом ее стал приютом для всех освободившихся политических (шел 48-й год, те, кто выжил после 37-го, выходили на волю).

Тулицкому льстило, что к ним ходят бывшие писатели, артисты, партработники, доктора наук, директора заводов и все его уважают как хозяина дома. Так они прожили до конца 1956 года, 8 лет. Надя впервые жила спокойно и обеспеченно.

В это время все уезжали на «материк» за реабилитацией. Надю тоже потянуло в ее любимый Ленинград. На материке Тулицкий заехал к родственникам в провинции, а Надя одна приехала в Ленинград. С вокзала она пошла к брату, который стал военным в каком-то крупном чине. Он открыл Наде дверь и, не здороваясь, спросил: «Ты реабилитирована?» Узнав, что еще нет, он сказал: «В моем положении я не могу тебя принять. После реабилитации — милости прошу», — и захлопнул дверь. Надя осталась на улице, не зная, куда ей идти. К счастью, она вспомнила номер телефона своей сослуживицы по библиотеке Симы Ароновны Сулькиной. Попробовала позвонить. Реакция была совершенно противоположной тому, что она встретила у брата. Сима ее узнала по голосу. «Надя, — закричала она, — ты вернулась? Сейчас же приезжай, я все время о тебе думаю!»

Сима встретила ее как родную сестру. Вскоре приехал Тулицкий, и они вдвоем с Надей почти целый год прожили на зимней даче Симы в Рощине.

Через год Надя получила реабилитацию, квартиру, а Тулицкий поступил на работу по озеленению Ленинграда. Он был еще не стар (около 50 лет), энергия била в нем ключом. Не надо забывать, что он прошел Колыму, т. е. огонь, воду и медные трубы. Завелись друзья, какие-то дела, приносившие большие деньги, женщины весьма сомнительного поведения, которыми Тулицкий очень интересовался.

Отношения с Надей начали портиться. Он очень ценил ее как доброго и порядочного человека, отличную хозяйку, восхищался ее пирогами и шашлыками. Он хотел, чтобы она разделяла его умение весело жить, не вспоминала бы все время прошлое, осуждал ее стремление писать воспоминания и даже опасался этого. В частности, ей хотелось побывать в доме, где она жила с мужем и Киной до 1936 года. Дом был на другом конце Ленинграда, сообщение очень плохое. Наде было страшно ехать одной, она боялась нахлынувших воспоминаний. Звала с собой Тулицкого. Он обещал поехать, но все откладывал. Однажды, придя домой, сказал ей: «Был я по твоему старому адресу. Дом твой был разрушен в войну, сейчас там строят панельные девятиэтажки. Ехать ни к чему». Так намерение Нади осталось неосуществленным. Что она могла противопоставить его веселой жизни? Посещение музеев и театров? Чтение книг? Разве это ему надо было?

Надя бывала у меня в Москве, я навещала ее в Ленинграде. Я понимала, что отношения ее с Тулицким идут к разрыву. Но в середине шестидесятых годов он заболел раком легкого. Надя забыла все обиды и полтора года преданно ухаживала за ним. Особенно тяжело было, когда недели за три до смерти у него развился паралич ног и тазовых органов. Лежал он дома, уход был очень тяжелый, но Надя самоотверженно день и ночь не отходила от него.

После смерти Тулицкого выяснилось, что у него остались какие-то долги и ни копейки денег. А Надя, которая на Севере по найму не работала, получала пенсию 35 рублей, на которые жить было, конечно, нельзя. Она поступила гардеробщицей в школу. Преимуществом этой работы был длительный летний отпуск и зимние каникулы. После смерти Тулицкого мы с Надей особенно сошлись. Она каждое лето приезжала ко мне на подмосковную дачу, я ездила на зимние каникулы в Ленинград. Особенно нас сблизило то, что мы обе писали воспоминания. Я, по своему характеру, очень много рассказывала родным и знакомым о тюрьмах, лагерях, репрессиях. Эта тема была еще не раскрыта. Люди жадно тянулись ко мне с вопросами: почему сажали, почему подписывали...

Повторив несколько раз, я записывала уже обкатанный рассказ, мне было легко. Не то Надя. Она боялась рассказывать о пережитом, даже скрывала от новых знакомых свое прошлое. Она часто пугала меня тем, что я еще отвечу за свои рассказы, что все может перемениться, что не надо забывать, что мы при освобождении давали подписку «не разглашать»... Кроме того, Надя ведь не имела даже среднего образования. Она каждую страницу переписывала по 3—4 раза. Обладая блестящей памятью и необыкновенной добросовестностью, Надя создала серьезный труд, который, по мнению историков, будет очень полезен для науки. В этом труде огромное количество имен заключенных, следователей, начальников тюрем, дежурных тюремщиков. Частично ее воспоминания напечатаны в сборнике «Доднесь тяготеет», и остальное будет сдано в «Мемориал».

Жизнь сумела нанести этому честному, доброму, бесконечно терпеливому человеку еще один удар. Вспоминая Тулицкого, Надя вдруг усомнилась в том, что он ездил в ее старую квартиру, что дом был разрушен. Что-то было нарочитое в его рассказе. И вот Надя собрала силы и поехала по своему старому адресу. К ее удивлению, дореволюционный трехэтажный дом стоял на прежнем месте. С трепетом она позвонила в свою бывшую квартиру. Ей открыла толстая шестидесятилетняя женщина, в которой Надя с трудом нашла сходство с двадцатилетней Верочкой, бывшей соседкой. Надя объяснила, кто она. Вера Ивановна вспомнила Надю, тепло ее приняла, пригласила зайти. Старая коммунальная квартира превратилась в современную отдельную, где жила большая семья Веры Ивановны, ее дети, внуки.

О Кине Вера Ивановна рассказала следующее:

«После смерти бабушки, в начале 43 года, Кина осталась одна. Она сидела в своей ледяной комнате, где все было сожжено, закутанная в тряпки, и выходила из дома только за хлебом, раз в день. Она еле ходила, но хлеб все-таки получала. Однажды Кина пришла домой — на ней лица не было. Она что-то мне хотела сказать, но мне было не до нее: у меня в это время умирала мать. Кина замолчала, зашла в свою комнату, закрыла дверь. Только назавтра я зашла к ней. Она была мертва, на лице был след удара, хлебной карточки у нее не было, я поняла, что у нее карточку отняли».

«Я не могу, я не могу! — кричала Надя.— Ведь этот убийца жив и ходит по улице. Я бы задушила его собственными руками!»

«Ты подумай,— говорила Надя,— это было в 1943 году. Я была молодая, сильная. Я бы согрела, накормила, спасла ее! А я по 10 часов в день вышивала кофточки для этих поганых дам! Я не могу, не могу, не могу этого перенести!..»

От этого удара Надя уже не оправилась. Вскоре у нее произошел инсульт, и в начале 1983 года она умерла...

1989 г.

ДРУЗЬЯ ПО ССЫЛКЕ

В моей жизни было много черных дней, мучительных переживаний. Одно из самых тяжелых — в апреле 1951 года, когда был арестован мой второй муж Николай Васильевич Адамов. Перед этим я пережила второй арест (31.08.49 г.), полугодовое заключение в Бутырской тюрьме, когда я не знала содержание нового обвинения и боялась опять попасть в лагерь.

Страх за детей, потому что в нашу камеру время от времени вводили девочек по 18—19 лет, родители которых были арестованы в 1937 году, когда им было по 6, по 8 лет. К 1949 году они «доспели», и их арестовывали как детей «врагов народа». Бесконечно жалко было их, бесконечно страшно за своих (к счастью, их не арестовали, родители были не того ранга).

Наконец мне объявили постановление ОСО: «вечная ссылка» — и повезли на восток.

С ссылкой мне повезло: я попала в Караганду, где была возможность найти работу и жило много культурных людей (сосланных).

Попала в Караганду и Валя Герлин, дочь арестованных в 1937 году родителей, которую я полюбила в Бутырской тюрьме. В Караганде она вышла замуж за Юру Айхенвальда, тоже ссыльного, так что у меня сразу появились друзья.

Самое главное: ко мне приехал мой муж, которому удалось вырваться с Колымы. Мы сняли комнату, оба стали работать, и жизнь как будто налаживалась. Но, увы! Скоро я поняла, что стою на краю пропасти: у Николая в душе кипела ненависть к Сталину. Кадровый военный, он не мог простить ему разгрома руководства армии накануне войны. Связанный через мать с крестьянством, он знал, сколько стоило народу раскулачивание. Член партии с 1917 года, он мучительно переживал уничтожение ленинской гвардии. А сколько еще! Пытки на допросах, преследования попавших в плен солдат, добровольно вернувшихся на родину, и т. п., и т. д.

Об этом он говорил не только с близкими друзьями, но и с молодыми ребятами со своей работы, которые к нему тянулись.

Я умоляла его быть осторожным, но ответ был один: «Я не хочу жить рабом. Пусть я погибну, но слова мои отзовутся, кто-то выживет, их запомнят».

Увы! Страхи мои сбылись, очень скоро он был арестован. Два месяца следствия я не заходила в свой опоганенный дом. Очереди за справками, очереди с передачами в тюрьму, страх самой снова попасть в тюрьму, теперь за второго мужа... Второй раз выдержать это не было сил.

Я жила это время у молодой четы Вали Горлин и Юры Айхенвальда. В день приговора Николаю (10 лет лагерей) я вошла в комнату и рухнула на кровать. У меня было чувство, что я засыпана черной землей, я задыхалась, мучительно болела голова. Не хотелось думать ни о Николае, ни о детях... Умереть! Избавиться от этой боли!

В полубреду я увидела, что Валя вошла в комнату с каким-то мужчиной. Я не слушала, о чем они говорят, долетали отдельные фразы: «...обокрали...» — и детский смех с подвизгиванием и фырканьем. «Ну, как-нибудь образуется, это все ерунда... Лучше я почитаю вам стихи». И он начал читать.

Читал он «Якобинца», «Оду», «Невесту декабриста», «Знамена» и еще многое. Никогда ни одни стихи не производили такого впечатления. Я была так убита, так унижена своим положением, двухмесячным хождением с передачами в тюрьму, наглыми соболезнованиями на работе: «Опять ваш в тюрьму угодил». А самое главное, всей стране, всему миру внушалось со страниц газет, речами на процессах, в романах подлых писак, что революция, святая революция хранится «ими», а те, кто покушались на нее (я и мне подобные), растоптаны, повержены и место нам в навозе. И вдруг я слышу от своего товарища, такого же изгоя, отверженного, как я, полные достоинства слова:

Их той тяжелой силой придавило,
С которой он вступал, как равный, в бой.

Мне казалось — это о Николае.
И о Сталине:

Он революцию обокрал
И в нее нарядил себя.

И «Ода», где он воспевает свою революцию с такой силой и страстью, какие и во сне не снились всем официальным писакам. И трагические «Знамена»:

«А может, пойти и поднять восстание?
Но против кого его подымать?»
А враг следит, очкастый и сытенький,
Заткнувши за ухо карандаш...
Смотрите!
      Вот
      Он виден ясно мне!
Огонь!
      В упор!
Но тише, друзья...
Он спрятался за знаменами красными,
И трогать нам эти знамена нельзя!
И все же мечусь я,
      Дыхание сперло.
К чему взрыгать бесполезные стоны,
Противный, как слизь, подбирается к горлу,
А трогать его нельзя:
      Знамена!

Я встала, подошла к столу и увидела Манделя [1]. В это время ему было 25 лет. Одет он был удивительно: желтые клетчатые штаны с великана, внизу подшитые, но со спускающейся до колен ширинкой. Пиджак у него был синий, когда-то хороший, но такой старый и грязный, что, когда я впоследствии его постирала, он весь расползся у меня в руках — его держала только грязь. Его толстое, с неправильными чертами лицо со странными глазами (зрачки у него были не круглые, а как будто рваные), детский смех, невероятный аппетит, с которым он ел немудреную пищу, предложенную ему Валей, манера забывать о еде и начинать снова и снова читать стихи, а потом снова набрасываться на картошку с капустой, а потом снова забывать о еде и говорить, говорить — все это мне ужасно понравилось. Я первый раз за последние страшные два месяца отвлеклась от своего горя и наблюдала за ним. Он с Валей и Юрой был уже на «ты». Я спросила, были ли они знакомы в Москве. Оказалось, что Валя, студентка литературного факультета, знала его в Москве по выступлениям поэтов, а он ее не знал, Валя шла по улице и увидела расте-

[1] Наум Коржавин.

рянного Манделя, у которого только что украли чемодан со всеми его вещами и деньгами. Она подошла к нему, спросила:

— Вы Мандель?

Он ужасно обрадовался.

— А ты знаешь меня, девочка?

После чего он объяснил ей свои обстоятельства и отправился к ней в гости. Он тотчас сообщил мне, что совершенно не виноват, что его обокрали, потому что поставил чемодан только на минутку, засмотревшись на витрину книжного магазина, а в это время чемодан исчез.

И опять он читал стихи. Я сразу поняла, что передо мной истинный талант. Только бы не сгубили его слово, а оно-то дойдет до людей.

Но как он неосторожен. Он знаком со мной, Валей и Юрой всего несколько часов и читает такие стихи! Каждое из них может стоить десяти лет лагеря! И мучительный страх за него, странно сказать, материнская любовь к нему с первого взгляда, желание защитить его, как-то помочь ему охватили меня с огромной силой.

Неожиданно оказалось, что уже 12 часов.

— Где ты будешь ночевать? — спросила Валя.

— У вас где-нибудь,— простодушно ответил Эмка.

Но это было совершенно невозможно. У Вали с Юрой была комната метров 9, где стояли их кровать и раскладушка, на которой спала я, а самая главная трудность была в хозяйке, которая все время ругалась, что она сдала комнату двоим, а живет еще третья (я).

Тогда я сказала:

— У меня есть комната с кухней. Если хотите, я дам вам ключ. Но имейте в виду, что я в комнате не была два месяца после ареста моего мужа. Не боитесь — поселяйтесь в кухне. Я тоже скоро приду туда.

— Мандель всегда попадает вовремя,— сказал Мандель, секунду поколебался и добавил: — Давайте ключ.

Так мы поселились с ним и прожили вместе больше года как мать с сыном.

Очень скоро Эмка рассказал мне свой роман. Он приехал в Москву ранней весной 1951 года, окончив трехлетнюю ссылку в деревне Чумаки близ Новосибирска. Приехал оборванный, запущенный, грязный, изголодавшийся по культуре, по Москве. В поисках путей устроиться как-то в Москве он забрел в квартиру писателя П., бывшего тогда редактором или членом редакции какого-то журнала. П. оказался в Кисловодске. Манделю открыла дверь дочь писателя — Вера, изящная выхоленная женщина лет 30-ти, живущая, после развода с мужем, с отцом и дочерью. Вера предложила Манделю войти, накормила его, угостила вином. Они разговорились (а на разговоры Мандель был большим мастером), короче — вспыхнул и разгорелся мгновенный и бурный роман.

Квартира была отличная, отец и дочь Веры проводили лето вне Москвы. Вера заботилась о хлебе насущном с маслом и вином, а Мандель упивался благами жизни после голодной юности, тюрьмы, трехлетней ссылки в сибирскую деревню, необеспеченности и опасности первых шагов на воле.

Роман длился около двух недель, по истечении которых Вера сказала, что возвращается отец и Манделю пора смываться. Выйдя из безопасной и изобильной квартиры П., Мандель снова почувствовал, что земля под ним горит: прописаться нельзя, устроиться на работу невозможно, жить и просто ночевать негде. И вдруг ему пришла в голову разумная мысль, что надо поехать в город, где он будет жить законно и даже с некоторым преимуществом перед основным населением — ссыльными, короче — он появился в Караганде.

Чтобы понять, как велика была наивность Манделя, надо было услышать его рассказы о «моей девочке Вере». Он собирался выписать ее в Караганду, как только устроится на работу и снимет комнату.

— Но ведь у нее дочь,— говорила я.

— Я ее усыновлю.

— Неужели ты думаешь, что из ее московской квартиры, обеспеченной жизни, комфорта, положения она приедет к тебе, чтобы стать женой бесправного Манделя и жить на гроши, которые ты будешь зарабатывать?

— Она меня любит.

Он ей писал в стихах и прозе и очень ее ждал. Ответа на письма не было. Но вдруг мой Мандель помрачнел и перестал о ней говорить. Дня через два он признался, что получил письмо, и дал мне его прочесть. Вера писала, что она поражена его предложением, что благодарна ему за минуты страсти и упоения, бросившие их в объятия друг друга, но это был эпизод в их жизни, о котором хорошо вспоминать, но который не должен повториться. А к Манделю у нее просьба: ей предлагают работу в «Огоньке», но она никак не может придумать тему для очерка или рассказа. Так пускай Мандель придумает и ей пришлет.

Этот эпизод отразился в стихотворении, где есть такие строчки:

Забыла ты, что есть Россия,
В которой где-то я живу...

Тему рассказа он ей не послал.

В этот период Мандель был раздираем творческой щедростью, писал по целым дням. Продуктивность его была поразительна. Но, увы! Даже места корреспондента в газете получить он не мог, уже не говоря о том, что никто не хотел печатать его стихов на самые невинные темы.

В следующем году он поступил учиться в горный техникум, где получил стипендию и прописку в общежитии.

1 августа 1951 года мне исполнилось 49 лет. В гости ко мне пришли Эмка Мандель, Алик Вольпин (Есенин), Валя Герлин и Юра Айхенвальд. В подарок они мне принесли бутылочку портвейна. Я совсем забыла, что Алику нельзя пить. Разлили половину бутылочки и выпили за именинницу. Второй тост захотел произнести Алик.

Здесь надо сказать, что дело было летом, одно окно было разбито. Всегда, когда собирались четыре-пять человек ссыльных, вертухаи (сотрудники МГБ) шныряли под окнами.

Итак, тост поднял Алик.

— Я пью,— сказал он своим громким, скрипучим голосом,— пью за то, чтобы подох Сталин!

Моих гостей как ветром сдуло. Я осталась вдвоем с Аликом.

— Замолчи! Ты же губишь и меня, и себя! Замолчи!

— Я свободная личность,— важно ответил Алик,— и говорю что хочу. Я пью за то, чтобы подох Сталин!

Я хотела зажать ему рот и как-то стукнула его по губам, в результате чего он очень податливо упал на пол и немного тише, но так же четко и раздельно повторил:

— Я пью за то, чтобы подох Сталин. Я свободная личность, вы не смеете зажимать мне рот.

Я опять стукнула его по губам, а он продолжал повторять свой тост, но все тише и тише.

В паническом ужасе я начала просто бить его по губам, по щеке, куда попало, а он продолжал говорить, но все тише и тише. Наконец он встал, сказал мне: «Я презираю вас, как МГБ»,— и ушел. Тотчас вернулись Мандель, Валя и Юра.

Оказывается, они бегали под окнами и сторожили: не появятся ли вертухаи, но таковые не появились. Потом вышел Алик. Они проследили, куда он пойдет, и, убедившись, что он пошел домой, прибежали ко мне.

Назавтра Валя пришла ко мне и сказала, что она навестила Алика, он лежит так избитый, с такими синяками под глазом и на губах, что идти на работу не может.

— Вавка,— сказала я,— иди к нему, отнеси ему от меня вчерашний пирог, который он не съел, и попроси за меня прощения.

Вавка исполнила поручение и вернулась с томиком Лермонтова, который посылал мне в подарок Алик с надписью: «Дорогой Тигре Львовне, которая бьет не в бровь, а в глаз». Но, к сожалению, инцидент на этом исчерпан не был.

Дней через пять он поправился и пошел на работу. Его школа помещалась близко от швейного ателье, где я работала начальником цеха. Он частенько заходил за мной после конца работы, и мы вместе шли домой. Увидев, что он цел и невредим, я издали крикнула ему:

— А! Ты пришел! Ну, ты не сердишься на меня? — на что последовал громогласный ответ через весь цех:

— Неужели вы думаете, что этот подлец Сталин мог нас рассорить?

Мою реакцию предоставляю вообразить читателю...

1960 г.

Наши публикации

О НАТАЛИИ РОСКИНОЙ
1927—1989

Мимолетные события повседневной жизни, уходя в прошлое, застывают и вдруг, к нашему удивлению, становятся историей. Письма Наталии Роскиной из Москвы в Париж перелетали то пугающе медленно, то фантастически быстро — в течение последнего десятилетия они радовали живостью интонаций, яркостью наблюденных подробностей, остротой запомненных высказываний, изобретательностью эзоповых перифраз. Однако сегодня, после ее смерти, они читаются иначе: как редкий по достоверности документ мертвой и преступной эпохи, игриво названной «застоем». Немало в этих письмах размышлений о том, что тяжко травмировало интеллигенцию в те годы: об отъездах. Любимый поэт, которого Роскина всегда вспоминает,— Тютчев; вот и по поводу эмиграции она цитирует Тютчева: «...в слезах, с отчаяньем в груди, о, сжалься над своей тоской, свое блаженство пощади». Впрочем, пассаж, начинающийся с этих строк, стоит привести целиком:

«И при этом — ваше пребывание там, ваш труд, все это придает совершенно иное значение нашей жизни здесь, все окрашено тем, что вот есть это совершенно правдивое слово, требования к настоящему невероятно возрастают. Но эта жизнь не вливается в официальную и не сливается с нею, а просто как-то сосуществует, и это, видно, может продолжаться еще сто лет. Но если цитировать дальше то же стихотворение, то — „и рад ли ты или не рад, не спросит он...“. Я — человек, совсем не приспособленный к тому, чтобы меня „мело из града в град“ — но — может, и придется» (9 ноября 1977).

В ту удушливую пору Н. Роскина всерьез задумывалась, не уехать ли, и твердила строки трагического стихотворения Тютчева «Из края в край, из града в град Судьба, как вихрь, людей метет...», созданного (вслед за Генрихом Гейне) полтора столетия назад. Уже и тогда обреченность на отъезд, на разрыв со своей страной, с близкими, с родным языком вызывала горестные предчувствия: «Блаженство стольких, стольких дней Себе на память приведя... Все милое душе твоей ты покидаешь на пути!.. Не время выкликать теней: И так уж мрачен этот час. Усопших образ тем страшней, Чем в жизни был милей для нас».

Наталии Роскиной уехать не пришлось — чаша эмиграции миновала ее. Жизнь, однако, не баловала ее с самого начала.

Она рано осиротела; отец (известный театровед, исследователь Чехова), воспитывавший дочь после смерти матери, погиб на фронте в 1941 году — ей было 13 лет; в очерке о В. С. Гроссмане она рассказывает:

«Во время войны, в эвакуации, в уральской деревушке, каким счастьем для четырнадцатилетней девочки было получить такое письмо:

„Здравствуйте, Наташа.
Вам пишет друг Вашего отца — Гроссман. Меня очень беспокоит Ваша судьба и устройство. Прошу Вас помнить, что я всегда буду рад помочь Вам, когда это нужно будет Вам...“».

Приведя эти строки и еще другие, написанные с фронта три месяца спустя, Н. Роскина комментирует их, причем в ее размышлениях нам раскрывается и Василий Семенович Гроссман, и сама она, тогда Наташа, а позднее — Наталия Александровна Роскина, автор превосходного очерка о Гроссмане, писателе и человеке:

«Мне мучительно дороги эти угловатые, совсем не литературные строчки! Я храню их в одном конверте с фронтовыми письмами отца. Как видно из этих строк, что он совсем не любил себя, не рисовался перед девочкой ни своей добротой, ни своим писательством (а сколько значило в те годы его писательское имя для всех, читавших газеты!), ни тем, что мог погибнуть запросто, не получив еще ответа».

После этого выражения благодарной любви следует автобиографический пассаж, который нельзя не привести:

«У моего отца было немало друзей, но только Гроссман вспомнил, что у него осталась дочь — сирота. Мама моя умерла до войны, а папа считался тогда пропавшим без вести; я-то еще верила в его возвращение, все читала «Жди меня», Гроссман же, конечно, понимал, что это значит. (Кстати, будучи дочерью пропавшего без вести московского ополченца, я не получала ни пенсии, ни пайка, ничего, так что Гроссман не зря беспокоился.) Впоследствии Гроссман написал прекрасный очерк о моем отце («Памяти Роскина»), который не был напечатан формально по той же причине, что и его роман,— «мрачно». Еще бы — немолодого человека, безоружного и необученного, бросили под танки Гудериана. Далась им, ей-богу, эта мрачность! Все бы плясать да веселиться!»

Так кончается очерк «Памяти Гроссмана», опубликованный в книге Наталии Роскиной «Четыре главы», вышедшей в Париже в 1980 году. В Советском Союзе ей в то время пути не было — кто стал бы печатать воспоминания об Анне Ахматовой, Василии Гроссмане, Николае Заболоцком и Науме Берковском? Каждый из этих персонажей был подозрителен по-своему. Да еще Н. Роскина рассказывала о них правду, разрушавшую канонический, с трудом и натяжками выстроенный образ.

Остановлюсь коротко лишь на одном, Николае Заболоцком. Было принято твердить, что он — певец социалистического труда, глашатай народных подвигов и дружбы народов — в особенности как переводчик грузинских поэтов. Только что, немного раньше книжки Н. Роскиной, появился том «Воспоминаний о Заболоцком» (М., 1977), который открывался очерком Николая Тихонова: «...пафос труда и красота дикого мира встречаются, когда творцы дорог, неутомимые труженики, прокладывают дорогу через дебри...». А ведь поэма «Творцы дорог» написана о зеках, каторжанах, и «пафос труда», которым восторгается Тихонов, тут особый. В книге «Воспоминания о Заболоцком» нет ни слова — ни единого! — о том, что Заболоцкий в 1938 году был арестован, что его истязали, что он провел шесть лет в лагерях. «После почти семилетней разлуки я увидел отца в конце 1944-го военного года»,— писал сын. «Вдруг я услышал, что Н. А. Заболоцкий приехал из Караганды в Москву...» (Н. К. Чуковский). «Вскоре после того, как Заболоцкий вернулся из Казахстана и получил вместе с семьей временное пристанище...» (С. Липкин). «...За редчайшими исключениями, Н. А. не касался своих странствий по Азии в конце тридцатых — начале сороковых годов» (Б. Петрушевский). Вот о таких «странствиях по Азии» писали все участники большого сборника.

Н. Роскина не могла себе позволить подобных подцензурных компромиссов — это полностью противоречило ее натуре. Заболоцкий ей посвятил пронзительные, раздирающие стихи:

Ты — одно мое счастье, великое чудо мое,
Заодно и несчастье, и горькое горе мое.
И откуда взялась ты, откуда явилась ко мне
В день, когда уж висел я, болтаясь на тонком ремне!..

Стихотворение это кончается так:

И теперь я тебя никогда, никогда не отдам никому.
Никому.
Пусть опять меня гонят, опять заключают в тюрьму.
Никому.
Пусть ломают мне кости, бросают в могильную тьму.
Никому.
Вопреки всем законам людским, вопреки человечью уму.
Никому.

Мало кому Заболоцкий говорил, как ему ломали кости и бросали в могильную тьму,— ей, женщине, которая была его последней любовью, он рассказывал все то, о чем даже вспомнить боялся. «Он рассказывал ⟨...⟩ про издевательства, какие только может создать воображение садиста, про вещи, только услышав которые человек перестает есть и спать; он мне рассказывал, что, как только его арестовали в 1938 году, с ним сделали нечто такое, от чего тут же пришлось отправить его в лазарет; и обо всем этом он говорил ровным тоном, не меняя выражения».

«Воспоминания» в Москве и очерк Роскиной в Париже появились с небольшим интервалом, оба — к 75-летию Заболоцкого. Тираж московской книги — 15 тысяч, она была распродана сразу; тираж парижской — 2079, и за первый год удалось продать... 168 экземпляров. Такова горестная судьба эмигрантских изданий. А ведь книжка Роскиной в высшей степени замечательная. Так, очерк об Анне Ахматовой[1] дает живой образ поэта, причем рассказчица (в отличие от иных, даже правдивых мемуаристов) скромно держится в тени, не навязывая себя; наблюдательность же ее и повествовательный талант необыкновенны («В пустой комнате ее глубокий грудной голос звучал огромно, как в церкви...», «...для многих она оставалась автором стихов, которые сама она любила напевать на мотив „ухарь-купец“: „Слава тебе, безысходная боль, Умер вчера сероглазый король“»). Мемуары о Заболоцком уникальны и по материалу, и по художественности, и по безжалостной откровенности (Заболоцкий просит в Литфонде предоставить путевки в Дом творчества ему и его жене: «Он позвонил по телефону мне на работу и спросил: „Наташа, прости, как твоя фамилия?“ Я спокойно ответила: „Моя фамилия Роскина“.— „Да, правда, я чувствовал, что что-то не так. Я написал — Сорокина“»). То же относится и к двум другим главам — о Гроссмане и Берковском.

Наталия Роскина, поручившая мне издание книги во Франции, знала о ее дальнейшей судьбе — это же случалось и со всеми другими книгами, изданными по-русски (если книге не предшествовал грандиозный скандал — так порою бывало). Когда Н. Роскина еще только переправила мне рукопись, она сетовала: «Радость и страх смешиваются, страшно и вообще выйти на общий суд со своими личными делами, страшно и того, что может последовать, в общем, все Вам ясно... Но — радость оттого, что надо же когда-то сделать свое, тебе назначенное, ибо 250 миллионов хотят сначала дождаться гарантированной безопасности, а потом уже высказаться...» (апрель 1978). После выхода книги, после того, как она прошла мимо читателей, которым предназначалась, мне казалось, Наталия Александровна испытала некоторое разочарование. В то же время она имела основания ожидать репрессий — расправиться с ней было бы легко: она готовила к изданию «Дневник» А. С. Суворина, плод ее многолетних усилий,— как легко было остановить эту публикацию, да еще отстранить Н. Роскину от комментирования чеховских писем для Полного собрания сочинений! Своей близкой приятельнице, в то время уже обреченной на эмиграцию, она писала: «Да, боюсь, боюсь! Я готова признаться вам (имеются в виду Р. Д. Орлова и ее муж Л. З. Копелев), что какую-то долю моего теперешнего депрессивного состояния следует отнести за счет этого страха. Я ждала реакции (да ведь и кто знает, она могла же быть) на выход книги, и вот теперь, когда год уже миновал, я осознала это и призналась в этом себе. А ваш отъезд усилил это чувство, как смерть родителей снимает преграды между нами и смертью...» (Р. Д. Орловой, 28 апреля 1981 г.).

В том же письме — ссылка на столь ценимого Н. А. Роскиной поэта: «„Я чувствую сумерки во всем моем существе, и все впечатления доходят до меня, как звуки удаляющейся музыки. Хорошо или плохо, но я чувствую, что я достаточно

[1] См.: «Звезда», 1989, № 6. *(Примеч. ред.)*

жил",— пишет Тютчев своей жене в 1866 году. Значит ли это, что сумерки во всем? Вправе ли я переносить свое ощущение на моральную обстановку вокруг? Увы, боюсь, что да, да и мои сумерки вряд ли так страшно углубились бы... Вспоминаю и Ваши попытки сформулировать свой отход ⟨...⟩ — ведь по сути дела это было то же самое истощение, общее истощение, а не личная усталость».

Общее истощение. Оно продолжалось, углубляясь, еще лет пять, пока не наступила долгожданная эпоха гласности. О ней сказано в сравнительно недавнем письме: «То, что сейчас сделано, сделано не для меня. Это мне не нужно — Ходасевича я знаю наизусть вот уже полвека, Набокова я давно прочитала, а то, что по этому поводу думает А. В., мне абсолютно не интересно. А вот нужно ли это молодежи (в массе), я не знаю. Не уверена. Что называется, проехали. Так что ждем того, что напишут наши собственные писатели о том, что произошло после Ходасевича. И как это пройдет. Сопротивление огромное, мощное. Но Горбачев — это силища!..» (11 февраля 1987).

Наталия Роскина умерла, так и не дождавшись той современной литературы, которая была ей так необходима. Однако ее мрачное «проехали» — неверно. Настоящее искусство не стареет; стихи Ходасевича нужны сегодня не меньше, чем были нужны вчера. И мемуарные очерки Наталии Роскиной тоже нужны — не только потому, что они посвящены знаменитым людям, но и потому, что они сами по себе принадлежат настоящей литературе.

Е. Эткинд

Н. Роскина

Н. Я. БЕРКОВСКИЙ

С ранних своих лет, с однотомника Э-Т-А Гофмана, где Берковский был автором предисловия, я считала его одним из самых умных и образованных людей в литературной среде. И встретив его в Доме творчества в Комарове, зимой 1967 года, я очень обрадовалась. Моя фамилия — по отцу — тоже что-то сказала ему, и однажды он подошел — подплыл — к столу, где сидели мы с дочкой, положил руки нам на плечи и сказал: «Наташа и Ира, я приглашаю вас сегодня ко мне в гости». Какая радость была среди комаровской скуки, среди любимых тамошних бесед о том, кто лучше — москвичи или ленинградцы! Маленького роста, грузный Берковский отплыл к себе, а мы с Ирой радостно бросились переодеваться, надели на себя все самое лучшее — это дало впоследствии повод Берковскому написать мне в письме, что следует лучше одевать себя и дочь. Оказывается, на наших модных жакетах были золотые пуговицы, а он этого не признавал, не терпел он также, чтобы женщины носили очки, и готов был сорвать их с носа. Все это показалось нам ужасной чепухой, и моя Ира, тогда студентка второго курса романо-германского отделения и поклонница трудов Берковского, сказала мне: «Вот, мама, я тебе всегда говорила, что профессоров надо читать, книги их штудировать, а ты надеешься легким способом узнать все из беседы с ними. Ну, и терпишь разочарования».

Нет, Берковского надо было знать. Он был крупным филологом, но в жизни он был гением, именно гением. Что я под этим понимаю? Один физик, поясняя мне характер гениальности А. Д. Сахарова, сказал, что он видит, чувствует плазму. По совпадению вскоре я прочла у Надежды Мандельштам, что Осип Мандельштам чувствовал внутреннюю форму слова. Таким был и Берковский. Ясно, ярко и живописно видел он внутреннюю суть вещей. Ежеминутное ощущение присутствия какого-то второго, главного мира — вот его гениальность. Когда это чувство почему-либо снижалось в нем, угасало — он терял вкус к жизни, становилось неинтересно.

Счастливейшим свойством его личности был этот вечный пир ума и праздник духа, с какой-то раблезианской радостью он находил и поглощал духовную пищу. Расскажешь ему, бывало, какую-нибудь нашу советскую гадость — у такого-то обыск был, такого-то посадили,— он омрачится, спросит: не дать ли денег, чем же помочь,— а потом вернется к музыке, забудется и просияет. Когда я с ним познакомилась, он перенес уже два инфаркта и мучился тяжелейшей астмой. И астму он забывал за музыкой и чтением, а также за изложением впечатлений своих на бумаге. Вот как он описал в письме ко мне один концерт:

«Вчера я был на Караяне и совсем очарован личностью его,— Караяна нужно непременно *видеть*, как великого актера. Он совершенно обольстителен, седой, с кошачьим лицом, с удивительной гибкостью всего тела, с удивительной жизнью рук. Впечатление от него то, что это кудесник кошачьего происхождения, если еще не лучше. Моцарта он исполняет, прикрыв глаза, с блаженнейшей улыбкой, с осветленным лицом. Кажется, что он вспоминает эту музыку, может быть, приснившуюся, может быть, когда-то кем-то сочиненную на самом деле. Моцарт, как счастливое несбыточное сновидение, ведь это и есть современный, для нас Моцарт. Мы слишком пали, чтобы допускать Моцарта взаправду. У Караяна для Моцарта были и плывущие руки, одна никла, другая гребла сильнее, он плыл и проплывал по стране сновидцев. Иногда одну руку он клал на сердце — объяснение оркестру, что это такое они сейчас играют, к чему приблизились.

А к Шостаковичу он вышел совсем иным. Как будто засучил рукава и приступил с оркестром к тяжелой и мрачной работе X симфонии. Тут и сны, и улыбки, и покойное покачивание сразу же кончились. Я когда-то был на премьере Десятой, а теперь услышал ее тем не менее впервые. Она — огромный тюремный замок, откуда несутся крики заживо распиливаемых людей и на задворках которого все-таки иногда танцуют — есть такие, кому при всем при том танцуется».

Письма писать он обожал — сидит, бывало, макает перо в чернильницу: новых способов писания он не признавал и наслаждался кляксами, другой раз нарочно размазывал их по бумаге, видя в них истинную магию писательства. И из его чернильницы, как у Гофмана, выскакивали черные коты с огненными глазами.

В его день рождения я попросила своего ленинградского родственника отнести ему букет роз. Берковский написал мне: «В мой день рожденья Ваши розы звенели из своего кувшина звонче всех других цветов, ко мне пожаловавших в гости. Я собирался ничего не отмечать, и все-таки к вечеру набралось народу, кто-то принес какой-то неимоверно жирный торт, на который розы Ваши поглядывали с сожалением,— не то, не то. Розам подобало бы какое-нибудь легкое-прелегкое мороженое, какого даже не бывает,— сквозными длинными иглами,— и питье чего-нибудь очень холодного из длинных узких рюмок».

Я привожу цитаты из писем, потому что записать его речи было невозможно: речи его были именно речи, как жанр, и если бы он хотел это написать, то получилось бы совсем другое. Приведу только некоторые его мысли, особенно мне симпатичные:

Русская поэзия существует от Тредиаковского до «Столбцов» Заболоцкого.

Заболоцкому начали подражать до того еще, как его стали печатать. Я помню, как Гитович показывал мне свои стихи, а потом оказалось, что это просто подражание Заболоцкому.

Анне Андреевне хотелось, чтобы я о ней написал. Ей нравилась моя статья о прозе Мандельштама. Но то, что я мог бы написать о ней, ей бы не понравилось. Я любил ее гораздо больше, чем ее стихи.

Со смертью Анны Андреевны я потерял своего лучшего собеседника. Есть вещи, которые я мог сказать только ей...

Паустовский ценен тем, что он прокладывал дорогу идеалистическому пониманию жизни.

Стихотворение Тютчева; вот в этом и заключается искусство: чтобы всю жизнь влить в это узкое горлышко...

Вот почему Тютчева так любили женщины: потому что для него, как и для женщины, любовь могла быть *всем.*

Чехов любил все, что кончается...

У Х. нет никакого таланта, он просто умеет передразнивать, а называется художественный перевод. Не поэтический талант, а обезьяний. Такая шимпанзе с немецкого и английского...

Я всегда готов выслушать интересную сплетню, но я не люблю рассказов, в которых унижается человек, человеческое. Тогда я сам себя чувствую униженным.

Я не мог бы не влюбиться в певицу, вообще в женщину с красивым голосом. Голос идет из глубины существа, и если он красив, не может быть, чтобы женщина не была прекрасна.

В периоде разочарования сохраняется что-то от периода очарования.

Когда мы пишем, то виден синтаксис, мы прошиваем слова шилом, дратвой, а у Хлебникова слова сами прислонялись друг к другу и держались какими-то воздушными связями...

Лучшие мысли рождаются из того, что где-то что-то мерещится...

Цельные же речи Берковского невосстановимы оттого, что в них он участвовал весь —

каким-то погружением во все, о чем он говорил, сочувствием, игрой. Выправлялось и его физическое самочувствие, болезнь отступала, на лице его появлялось счастливое выражение отвлеченности. Так он рассказывал мне о древнем Риме, о том, как римляне поглощали греческую культуру, одновременно презирая греков, о том, как жилось в Риме рабам,— и я чувствовалв, как в нем бушевал и грек, и римлянин, и плебей и патриций одновременно.

Многие знакомые Берковского считали его монологистом, то есть человеком, не умеющим слушать других. Да, заинтересовать его своим рассказом было не так-то легко. Поначалу я была поражена, как он внимательно меня слушал, но это время пролетело быстро,— он со мной знакомился и отвел мне для знакомства какой-то объем своего внимания. А уж потом — если мне хотелось заставить его что-то выслушать, я должна была прибегать к хитростям. Как жук-притворяшка ввиду опасности падает на спину и держит лапки кверху, притворясь мертвым, так и Наум Яковлевич говорил, что ему хочется спать, что начинается приступ астмы, что надо позвонить по телефону.

А иногда его восприимчивость была обостренной, и он из какой-нибудь моей шутки мог сделать целое пиршество смеха. Когда я сказала, что Щедрина хорошо не читать, а только посыпать им других писателей, он радовался этому весь вечер. И все смотрел на меня, ожидая: вот-вот я скажу еще что-нибудь такое же остроумное. Он даже подталкивал меня: «Ну, Наташа! Ну, Наташа!» И не дождавшись, готов был навсегда во мне разочароваться.

Люди вообще быстро надоедали ему, а его нежность к животным была неиссякаема, зверье не надоедало ему никогда. Если он хотел удостоить человека высочайшей своей похвалы, то он приписывал ему, как Караяну, кошачье происхожденье. А чтобы поддерживать длительные хорошие отношения с Берковским, нужно было обладать некоторыми качествами собаки: преданность, безотказность, способность на обиду не отвечать обидой. Когда Берковские собирались куда-нибудь уходить, грустный вид собаки не давал им покоя. «Ах, боже мой, он уже чувствует, что его не возьмут»,— вздыхал Берковский, и Ярчика брали. Так однажды и я стала делать грустный вид, когда Берковский собирался идти в свой институт читать лекцию. Лекции его славились в Ленинграде, на них сбегались не только студенты других курсов и факультетов, но и толпы посторонних людей. Что привлекало их? Я думаю — свобода. Берковский никогда не стремился уснастить свои лекции сугубо современными аллюзиями, не дорожил крупицами крамолы, которые, под видом исследования старины, вносили в свои лекции искатели популярности. Просто сам он всегда ощущал себя свободным человеком, а ведь это, в сущности, всё. Когда вышла книга Берковского «Литература и театр», я попыталась напечатать рецензию на нее в «Литературной газете». Прочтя мою фразу, что у Берковского «свободная мысль находит свободное выражение», редактор отдела, человек интеллигентный и тонкий, расхохотался: «Вы думаете, что такая фраза может быть напечатана в нашем органе? Ну, Наташа, вы просто из лесу вышли! Дикий человек! Дикобраз вышел из лесу!» И долго он смеялся и потешался над одним лишь предположением, что слово «свобода» — в печати!

Да, свобода Берковского была пушкинской свободой — «Из Пиндемонти»:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья...

Но все-таки как человек наших дней он никогда не сказал бы, что ему мало горя, свободно ли печать морочит олухов... Слишком много морочили его самого. Молодость свою он провел победительно. Хотя его перу принадлежит одна из самых интересных статей о прозе Мандельштама, она, статья эта, вышла из лагеря апологетов пролетарской литературы. (В одном из напечатанных писем Пастернака к Сергею Спасскому есть купюра. Цензурному вычерку подверглась фраза Пастернака, начинающаяся словами: «До тех пор, пока пролетариат будет рассматривать нас, как плоды своей победы...») Берковский отнюдь не принадлежал тогда к плодам победы, он вкушал их, однако скоро ему дали понять, что в нем не нуждаются, и он вынужденно молчал почти двадцать лет. Молчал — как литератор, но зато жил и думал, как хотел. В лекциях его, каким-то чудом, стесняли мало. Одному курсу, например, он весь год читал о немецком романтизме, а так как называлось это «западная литература девятнадцатого века», он в конце рекомендовал студентам к экзамену прочесть несколько книжонок. Студенты увлеклись Ленау и Гёльдерлином и не успели узнать про Бальзака и Диккенса, но это мало беспокоило Берковского. Следуя своим собственным законам, прихотливым течениям собственной мысли, он обращался к векам, странам, идеям. Как маленький бог-творец, помогая себе движениями своих артистических рук, он переставлял, сопоставлял и снова возвращал на место все, что ему хотелось. Читая при мне лекцию об озерной школе, он, в связи с Колриджем, вспомнил Заболоцкого — пантисократическую[1] идею всего живого.

[1] «Пантисократия» — название свободной общины, проект которой принадлежал Колриджу и Саути.

У Берковского было множество учеников, которым он написал диссертации, иногда чуть ли не от слова до слова. Просто — усаживал их рядом и диктовал. Или приглашал на какую-нибудь свою лекцию, советовал записывать подробно и прямо говорил: вот и будет диссертация у вас. Это он рассказывал мне, признаваясь, что не знает никакого способа учить, что аспирантское творчество ему глубоко безразлично. И вместе с тем он был истинным учителем. При нем не стыдно было чего-то не знать, и он все мог объяснить — вот самочувствие ученика Берковского, которым и я себя ощущаю, хотя если бы я состоялась как литературовед, то принадлежала бы к совсем иной школе, более строгой, точной и конкретной, не столь романтической и своевольной.

С такой же щедростью, как и свои мысли, Берковский раздаривал книги. Он ездил в книжную лавку писателей и покупал по два-три экземпляра каждой интересующей его книги. К моему приезду у него, как в погребке, было припасено что-то свежее, еще никому не доступное. У меня стоит целая полочка его подарков — я ставила их вместе, рядом. Тут «Психология искусства» Выготского, «О прозе» Эйхенбаума, «Иосиф и его братья» Томаса Манна...

Как в Комарове принято спорить о сравнительных достоинствах москвичей и ленинградцев, так в науке столько же распространен и бесплоден спор о том, кто ученый, а кто не ученый. Берковский не считал, и, вероятно, взаимно, учеными всех на свете ученых. Его презрение к ним возрастало по мере их возвышения по академической лестнице. Он очень хвалил работу моей знакомой, и я необдуманно ему поддакнула: мол, да, это будет ее докторская диссертация. После этого он говорил только так: «Мне понравилась ее работа, но я уже разочаровался, потому что Наташа говорит, что она собирается сделать докторскую диссертацию». Сколько я ни твердила, что совсем не то имела в виду, репутация этой женщины была в его глазах безнадежно испорчена, и мои покаяния не помогли. Над академиками он всегда смеялся. «Все, что написал Конрад,— это папа-мама». «Восток — запад, мама-папа». Он неудержимо веселился, подвергая сомнению ученые репутации, он терпеть не мог современные комментированные издания классиков, он ядовито высмеивал как традиционные методы, так и структурализм.

Вернувшись из Ленинграда, где я выслушала от него полный разгром всех моих представлений, я — в ответ на свои сетования — получила письмо: «Неужели Вы искренне жалуетесь на мои отзывы о литературоведах? Ни за что не поверю, чтобы Вы близко к сердцу принимали все эти репутации. Кстати, Вы мне приписываете слишком много разгромов. О сочинениях Макашина ничего Вам не мог говорить, ибо не читал из него ни строки! Предлагаю Вам версию, которая может Вас устроить. Считайте все мои отзывы за черную ревность, желание растолкать всех божат, которым Вы уставили свою молельню и где я желал бы быть единственным божком. Что Вы на это скажете? Должно быть, так оно и есть».

Все, сколько-нибудь сковывающее — будь то звание или школа,— было ему противопоказано.

«Не пишите обо мне мемуаров и уж во всяком случае не показывайте их мне,— писал он в письме.— Я считаю, что всякие мемуары — это накликание беды и смерти. У всех народов шло за злое колдовство, если очерчивали чью-либо живую тень или вынимали следы. Я желаю существовать в своей живой неопределенности неописанным и необъясненным. Вы мне передавали, что Е. назвал меня „представителем романтического литературоведения". Я почуиствовал в этом нечто сугубо неприятное, и не потому, чтобы в этом содержалась какая-либо недружественность. Это плохо лишь тем, что это определение,— я говорю „лишь" и добавлю — и гораздо хуже, чем „лишь". Невозможно жить под определением — под приговором. Итак, будьте великодушны и оставьте меня на воле, не заключайте меня в формулы и не приставляйте ко мне эпитетов».

(Сам-то он, конечно, на эпитеты не скупился,— но очень не любил, когда что-то повторялось, передавалось из уст в уста, не только потому, что далеко не беззлобные высказывания чаще всего достигали ушей хулимого, но и потому, что назавтра, в другом настроении и под другим впечатлением, он мог сказать совсем другое и от всей души порадоваться удобствам, которые приносит незлобивость.)

Такое романтическое отношение ко всему странно уживалось в нем (а может быть, и не странно, а естественно) с увлечением военным делом. В детстве он командовал армиями, обожал парады, погоны, знал по именам и отчествам всех генералов русской армии, читал книги только по истории войн. Когда он входил в аудиторию, где человек сто пятьдесят шумно вставали при его появлении, я поняла, что в душе он часто чувствует себя главнокомандующим, вождем своего племени. Возможно, что эти неутоленные честолюбивые страсти рождали его деспотизм в семье и в дружбе.

Ему хотелось, чтобы я вызвала такси, а я предпочитала уехать на трамвае, и этого было достаточно, чтобы, выбежав за мной на лестницу, он закричал: «Убирайтесь к дьяволу!» На просторной ленинградской лестнице его великолепный голос прозвучал как в опере, да и в слове «дьявол» было что-то оперное, нерусское; я позвонила ему, как только доехала, и он очень обрадовался и признался, что пьет валокардин. Бог знает что он способен был сказать посреди уютного чаепития, если на него находил стих. Вдруг он при всех спросил

меня: «Неужели ваш отец не мог найти вам имя поинтереснее? Наташа, Наташа, всех зовут Наташами». Я не умела сносить такие вещи безропотно и всегда отвечала дерзостями: «Ну, а ваш отец разве дал вам такое уж прекрасное имя — Наум?» — «Да, но мой отец не был литератором!» — «Да, но Лев Толстой был литератором и не побрезговал дать это имя своей любимой героине». Подобные дурацкие наши перепалки происходили в присутствии жены Берковского Елены Александровны Лопаревой, воспитанной, вежливой, умной и остроумной женщины [1]. Елена Александровна преклонялась перед своим мужем, и их сын Андрей говорил мне, что никогда в жизни не слышал, чтобы его мама так дерзко говорила с папой, как я. Она была проницательна, отнюдь не менее проницательна, чем был сам Берковский, и вся я была ей видна как на ладони, однако это меня не тяготило. В трудные минуты она часто приходила мне на помощь и мирила нас — по мере возможности, так как влиять на Берковского было трудно. Иногда он обижался прямо смехотворно, на вещи, которые, казалось бы, не могут быть обидны. На меня, например, он обиделся за то, что я не считала его чеховедом («Я написал три статьи о Чехове, вы не написали ни одной!» — кричал он...). Я считала его богом, гением, великим гуманистом, крупнейшим мыслителем, но ему было нужно, чтобы я считала его чеховедом. Польстить ему было так же легко, как и обидеть. «Он подкупил меня тем, что сказал обо мне...» Я перебила: «Да, вы не Робеспьер!» [2] Эта шутка стала у нас модной. Но долго удержаться на одном и том же не удавалось. Ему надоело, например, что я восхищалась его умом, и он написал мне: «Ум, ум — это очень сомнительная реклама. Никто не любит мысли, никто, усвойте же это. Что угодно предпочтут мысли, и с ней мирятся только в случае несомненной ее утилитарности. Да и сам я тоже не поклонник мысли как таковой и отчасти сочувствую даже самым вульгарным мыслефобам. В себе, как хотите, я предпочел бы находить другие свойства кроме голой мысли...» Здесь звучит даже какое-то простодушие, правда? И в самом деле, он был простодушен и доверчив, чем и пользовалась постоянно Елена Александровна, обводя его вокруг пальца, разумеется, для его же пользы и успокоения. С ее помощью и я научилась некоторым нехитрым уловкам, благодаря которым мне удавалось удерживать Берковского в хорошем настроении и не ссориться с ним. Это было мне трудно. Берковский требовал полного подчинения, полного согласия с собой, ему нужен был весь человек. Когда я приезжала к нему погостить в Ленинград, то скрывала это даже от своих родственников, так как знала, что и мне не захочется от него уходить, и он меня не отпустит. Так, инкогнито, я частенько прилетала на несколько дней.

Первый день или два всегда были счастливыми, но потом он привыкал к моему обществу и сердился на меня, как на своих. Если его вспышка оставалась без ответа, то уже через несколько минут он начинал о ней жалеть. Если же он встречал отпор, ответную резкость, то примирение затруднялось и откладывалось. «Вы противная, вы очень противная,— сказал он мне однажды, когда я не проявила терпения.— Для вас главное — это личная сатисфакция». Поводы для ссор были весьма разнообразны, и далеко не всегда они были сколько-нибудь уважаемыми, однако я уважаю те случаи его гнева, когда он считал, что я сказала глупость или пошлость. Однажды я улетала из Ленинграда, и Наум Яковлевич с Еленой Александровной поехали провожать меня на аэродром. Сидя на переднем сиденье такси, Берковский рассказывал мне новые американские версии жизни Христа. «Есть даже такая версия, что Христос родился...» — «В Бердичеве»,— досказала я репликой из чеховских «Трех сестер», о венчании Бальзака. Собственно говоря, я и сейчас не вижу в этой шутке ничего неприличного, однако Берковский усмотрел в ней неуважение к Христу и пришел в такое бешенство, что перестал со мной разговаривать, не захотел выйти из машины на аэродроме и едва попрощался, говоря: «Лиля, нам некогда, я очень спешу». Расстроенная Лиля поцеловала меня, машина уехала, я осталась одна на холодном аэродроме. До самолета было еще больше получаса. Я поняла, что не могу так расстаться с ним, поменяла билет на вечерний самолет и поехала в город. Лиля была очень тронута этим поступком. Берковский же встретил меня холодно и неприступно. Лиля рассказала, что, когда она попыталась что-то сказать про меня жалостное, он оборвал ее: «А пусть не говорит пошлостей». За день он отошел, мы вместе пообедали, и я уехала — уже без всякой помпы, без проводов, без такси. Лиля насовала мне двухкопеечных монеток, чтобы я позвонила ей, добравшись до аэродрома. Первые слова Берковского, когда он взял трубку, были: «Наташенька, простите мне мои художества!»

Долго потом он не отвечал на мой вопрос — где же, по американской версии, родился Христос, но потом выяснилось, что, во-первых, не где, а когда, во-вторых — ответ заведомо нелеп: уже в начале нашей эры. И вот из-за этого было столько волнений.

С христианством Берковский вообще был в каких-то сложных отношениях. Не мне хоть в какой-то мере оценить путь, который он прошел от рапповских, «напостовских» статей к глубоким интересам — историко-философским и теоретико-литературным. Он начинал как критик, которого боялись, а кончил тем, что сам боялся экскурсов в свое критическое прошлое,— путь очищающий. Его литературная старость была куда богаче и интереснее, чем молодость, а разве это не счастье?

Однажды я спросила его, почему религиозное христианское сознание так мало влияет на личность человека, почему верующий может оставаться злым, эгоистичным, а неверующий — бессознательно жить по православным канонам. Он объяснил мне, что в девятнадцатом веке — с Достоевским — кончилось то течение в христианстве, которое видело смысл в его отношении к ближнему, в общении с Христом через добро. После Владимира Соловьева началось христианство как спасение собственной души, как проблема личного бессмертия. Упрощенно говоря, христианство может быть источником и крайнего альтруизма, и крайнего эгоизма.

Я думаю, что Берковский вмещал в себе и крайний эгоизм, и крайний альтруизм. Как большинство людей, живущих мощной духовной деятельностью, он был нетерпим и адски труден. У Берковских часто цитировалось мое письмо, которое я послала Елене Александровне, вернувшись из Ленинграда: «Держитесь, Лилечка! Около великих гуманистов выживают только сильнейшие!» Но мир его был широк, и каждый, кто хотел любить его, мог найти себе место в этом мире. Скучно без него!

* * *

«Всю ночь шел дождь, все выглядит мокрым и непогребенным, за окном качаются травы, слышны голоса экскурсантов, наползающих вопреки всему. Я десять дней после двух жестоких приступов,— одного жесточайшего,— почти не выходил, сидел дома и штудировал Romances Шекспира,— Цимбелин, Зимняя сказка,— которыми опять восхищался. Это наиболее приближенный к романтикам Шекспир, любимый ими + еще «Сон в летнюю ночь». Летние ночи, летние ночи,— грустно чрезвычайно, что уже уходят они, так с нами и не побывши. Ходит ко мне сестричка с утренними уколами — с альбами по имени кокарбоксилаза» — так писал мне Берковский из любимого им Царского. Великий интерпретатор, он даже лекарство превратил в утреннюю песнь. Он отворачивался от нашей смертности и жил с постоянным ощущением праздника жизни. Близость смерти лишь усиливала в нем это ощущение праздника, и искусство звенело в нем с прежней силой.

Уходят летние ночи... Мне вспоминается древнее, и я думаю, что летние ночи стоят, как стоит Время,— это уходим мы.

Публикация Н. В. Роскиной

---

[1] Остроумие Елены Александровны:

В комаровском саду прыгали белки. Она говорила, что очень неловко чувствует себя среди них в беличьей шубе: «Я надеюсь, что они думают, будто мех искусственный».

Моей дочке она предложила надеть теплый жакет, Ира отвечала, что ей не холодно. Она предложила Ире зайти в уборную, Ира сказала: «Обойдусь». Она воскликнула: «Ты вся какая-то абстрактная!»

Их сын Андрей ремонтировал машину и сразу же снова разбил, Елена Александровна определила это так: «Андрей получил второй срок!»

Однажды в ответ на какие-то раздраженные реплики Берковского я сказала: «Ну, знаете, чтобы такие вещи говорить, не надо быть профессором». Лиля примирительно заметила: «Уже поздно, он устал, считайте его доцентом».

[2] У Робеспьера было прозвище «Incorruptible» (Неподкупный).

Евгений Бич

ЧИТАЯ ЮРИЯ ТРИФОНОВА

Шел как-то из магазина по глухой улочке, вдруг вижу — лежит женщина, ничком на траве. Залезла под куст жимолости, головой в самые заросли, и слабо шевелится. Вроде бы пьяная. Но кто его знает. Подошел на всякий случай, потрогал легонько и спросил: «Вам не плохо, врача не надо?» Она, не подымая головы, глухо ответила: «Нет, не надо». Потом подняла голову, лицо багровое, с синяком, и сказала еще раз, потверже: «Не надо, не вызывай».— «Сама отлежишься?» — спросил я. «Да, сама».— «Ну, смотри»,— сказал я и пошел.

Много их таких, упавших, сдавшихся, неприспособившихся.

Нравятся мне слова: «...она вела свою маленькую отчаянную битву в этой жизни». Не помню, где их прочитал. Вроде бы у Трифонова.

Стоишь где-нибудь в очереди, а рядом вот такая же, в платьишке, а иногда и в халате, в стоптанных тапках, часто с фингалом под глазом. А иногда и платье выглажено, и кофта надета, и волосы подобраны, а все равно бедность, и тяжелая борьба, и глубокие борозды от нее. И каждый раз приходят на ум эти слова. И рассказ Трифонова «Вера и Зойка».

Не надо много говорить о сочувствии и сострадаиии к маленькому человеку, надо просто написать такой рассказ, как «Вера и Зойка». И сразу все слова про демократизм становятся лишними.

Для меня демократизм это вот что. Во всякой жизненной сфере есть свой круг избранных, своя аристократия. Даже у дворников. Так вот, для меня это яростное, по инстинкту, сочувствие к тому, кто в этот круг не попал. И презрение к тому, кто лезет в этот круг во что бы то ни стало.

Моя бы воля, разразился бы я большой статьей о Трифонове.

Он необыкновенно воспринимается по контрасту с официальной литературой. Он входит в нее как нечто совершенно чуждое, чужеродное ей. Это мало сказать, что чуждое. Он противопоказан ей, он опасен для нее. Как хороший каустик, попадая на разную дрянь, ржавчину, слизь, прожигает, съедает все без остатка, так и он входит в соприкосновение с этой чистой, нежной, духоподъемной песней, и она, бедная, начинает пищать, пениться, пузыриться, и от нее ничего не остается, ровным счетом ничего, какие-то жалкие волокна, обрывки, тенета.

Нет, это надо суметь, надо исхитриться — шесть десятков лет жизнь сама по себе, и литература сама. Рядом, за окном, за дверью, такая тугая, горячая, сложная жизнь, родной, миленький, сучья морда, а я говорю, двадцать грамм не хватает, иди отсюда, а то милицию вызову, а я говорю, перевесьте!.. А над всем этим плывет тихоструйная благостная песня, и даже не песня, а песнь, впрочем, даже и не песнь, а му́зыка, и даже еще нежней — музы́ка, новаторы-передовики, задутые домны, салюты, фанфары, вымпела...

Вся эта духоподъемность — удивительная дрянь. И не потому, что нежизненно, фальшиво, насквозь сочинено, выдумано. Не потому, что сказочка. И даже не потому, что все это не выстрадано, не омыто кровью души, а сделано на заказ и оплачено хорошей квартирой, машиной, сытой, спокойной жизнью. Даже не потому. А потому, что не работает! Не создает Нового Человека. Невозможно создать Нового Человека, не говоря ему полной правды. Невозможно создать его, питая выдумками, не рассказывая ему, что он представляет собой на самом деле.

Нет, это я, пожалуй, хватил через край. Рассказать человеку, что он представляет собой на самом деле, нельзя. То, что он делает каждый день, ежеминутно, ежечасно,— это всего лишь бледный пунктир, внешняя канва того, что описать невозможно. Разве это опишешь? Разве опишешь тот тугой, горячий, неразрывный клубок и то темное, неведомое, что подымается из глубин и что все вместе составляет его душу? Нет, этого сделать невозможно!

Возьмите наугад пятерых людей, сидящих на самом душеспасительном, самом интеллектуальном заседании, и зафиксируйте их внутренний монолог, ход их мысли, и это будет потрясающий документ. Но этого нельзя делать, это недопустимо, это вторжение в нечто такое, что должно составлять тайну, быть скрытым от всех. Но делать вид, что *этого* нет, нельзя, нельзя лгать, что *этого* не существует.

Вот над этой-то пропастью и приоткрывает завесу Трифонов.

Немало, должно быть, негодующих писем получил он от читателей. Да и как их не получать? Человек приходит с работы усталый, изжеванный, измочаленный. В очереди, куда он заскочил по дороге, его облаяли, в переполненном трамвае чуть пуговицы не оборвали, тоже пришлось отбиваться. А дома обычная круговерть, одно постирай, другое пришей, третье приготовь. А тут еще гостей бог послал, храпят на раскладушке две личности, дальние родственники, а куда их денешь, надо приютить, приехали продуктишками разжиться, у них там в Вышнем Волочке хоть шаром покати, даже, говорят, маргарина нет. Но вот, наконец, все дела вроде переделаны. Не так чтоб все, а срочное, неотложное. И можно чуть-чуть отдохнуть. Самое лучшее — это вот что: взять книжечку и завалиться на диван. Почитать про красивую любовь или там про шпионов каких.

И вот он берет книжку, читает страницу, другую и вдруг чувствует — что-то не то. Какой-то обман, игра не по правилам. Вместо всего того, что он привык находить в книгах, ему спокойно, буднично и неторопливо рассказывают о нем самом, о всей его жизни, о том, что его окружает. И он откладывает книгу в сторону, чувствуя себя обманутым.

Да помилуйте, ему это совсем не нужно! Он это все и так знает. Ему нужно забвение, утешение, этакая легкая анестезия от тягот жизни. А ничего подобного в этой книге нет.

Да и вообще, что это за литература? Это не литература, а черт знает что. Какой-то сухой протокол, механическая фиксация действительности. Какой-то фотографический снимок. Но снимок с изъяном, снимок, на который не положена надлежащая ретушь, положительные герои не отделены как следует от отрицательных, плохое от хорошего, а потому, с точки зрения морали, все смутно, зыбко и неопределенно.

По возмутительной сухости и деловитости это какое-то патолого-анатомическое описание. Тут прыщик, тут бородавка, говорит автор, а здесь ткань переродилась, и лучше уже не будет, и будет все время хуже, а вот здесь и подавно плохо, это самое, которое на букву «рэ», все, баста, месяца три, от силы год, и надо подбивать бабки, подводить черту.

И ни тени сочувствия, ни намека на утешение. Все сухо, буднично и деловито. И очень профессионально.

Но какое наслаждение читать эту неторопливую прозу! Какое необыкновенное наслаждение — ощущать эту плотную, трепещущую под рукой плоть жизни! И как хорош этот будничный бесстрастный голос!

Не устаю им восхищаться.

Один критик, очень доброжелательно настроенный к нему, написал, что все его герои разделяются по одному родовому признаку: люди с бульдожьим прикусом и люди без него. Это так, и это не так. Его симпатии, привязанности отданы человеку нехваткому, незащищенному, но он не был бы большим писателем, если бы исходил только из этой простой и незамысловатой схемы. Весь многоликий, колеблющийся, постоянно меняющийся мир предстает перед нами, и в этом бесконечном континууме лиц, характеров, жизненных ситуаций нет места ни строгой схеме, ни заданности, ни целесообразности, как нет их в самой жизни. Кто такая Ольга Васильевна из «Другой жизни»? И кто Глебов из «Дома на набережной»? Люди-жертвы? Люди-хищники? И разве самые слабые и беззащитные из его героев не предстают вдруг обидчиками и угнетателями?

Лучше всего он знает среднего человечка города, интеллигента, инженеришку, этакого современного разночинца. И описывает его превосходно, с полным знанием и — это очень важно — без всякого снисхождения. Его отстраненность от персонажей, жестокость его оценок заходят порой настолько далеко, что представляются даже чрезмерными. Иногда кажется, что это всего лишь внимание натуралиста, добросовестно исследующего данную особь.

Но это неправда, что он сух и бессердечен и у него нет сострадания. Вот он переходит к маленькому человеку, социальным низам, уборщицам, прачкам, приемщицам ателье, пенсионерам, и краски мягчеют, теплеют. Достаточно прочесть «Веру и Зойку», «Голубиную гибель», «В грибную осень», чтобы ощутить всю меру его чисто человече-

---

Бич Евгений Николаевич (р. в 1936 г.) — редактор журнала «Вестник Ленинградского университета», печатался в «Даугаве». Живет в Ленинграде.

ского сочувствия и жалости к этим простым и незатейливым душам.

Но и этого ему мало. Он сочувствует маленькому человеку, но он же и видит все его недостатки, его ограниченность. Он не строит на этот счет никаких иллюзий. Маленький челоаек так же слаб и двоедушен в жизни, как и интеллигент. Он так же лоачит в ней и так же к ней приспосабливается. Просто приложения, сферы другие — и только. Тот ловчит, чтоб защитить кандидатскую, а этот — сдавая порожнюю посуду. Его сочувствие к маленькому человеку — это сочувствие к жизненному неудачнику, естественная реакция демократа. Но излишних иллюзий он не питает.

Но есть один тип, к которому его постоянно влечет. Это тип революционера, человека, который хочет насильственно изменить несправедливый порядок.

Человек всегда сложен, многолик, полон недостатков и слабостей. Но здесь случай особый, редкий. Осознав истину, человек начинает сам лепить, формировать себя, вытравлять из себя все негодное. В этом сильнейшем силовом нравственном поле происходит как бы поляризация добра и зла, все мелкое уходит из него, личность очищается, освобождается от облепившей ее тины повседневности.

Вот это и есть тип, к которому он постоянно обращается. И ему он посвящает один из лучших своих романов — «Нетерпение».

Какое замечательное, удачное название! Название, заголовок — это всегда трудно для писателя, а тут сразу редкостная удача, лучше не придумаешь. Ибо о чем «Нетерпение»? Жизнь тяжела, несправедлива, неправедна, и чтоб ее изменить, нужен другой челоаеческий материал, и должно пройти пятьсот, тысяча лет, чтобы это случилось. Но они не могут ждать, нравственно не могут, их гложет, подгоняет нетерпение, и они идут на все, жертвуя собой, жертвуя окружающими ради этой святой цели.

И что же — это и есть его идеальный герой, высшая мера, нравственная вершина?

Нет, что-то мешает ему ответить на это решительным «да». Может быть, получившаяся картина не удовлетворяет его как художника, который видит, что кисть использовала только одну краску и рисунок лишен объемности и светотени? А может быть, его гложут сомнения относительно самой природы нетерпения? Ибо социальное нетерпение по сути своей не что иное, как фанатизм, и, наблюдая, как нетерпение легко и логично переходит в нетерпимость, он колеблется, прежде чем дать утвердительный ответ?

Что может быть чище фигуры революционера, посвятившего себя идее переустройства человечества? Что может быть привлекательней этих беззаветных борцов? Но ведь они живут и действуют в реальной действительности, а действительность эта, увы, часто не оправдывает их ожиданий и надежд. Как далека, как безумно далека реальность жизни от их идеала!

Бабушка рассказывала, как в один прекрасный весенний день вернулись с публичного зрелища свободные от дел кухарки, горничные, кучера и оживленно, с мороза, перебивая друг друга, рассказывали подробности. И все нашли, что одна кухарка очень похожа на Софью Перовскую, и в насмешку так ее и прозаали. И прозвище это так и осталось за ней, и потом все только так ее и звали — Сонька Перовская. «Только странно,— прибавлила бабушка,— морда-то у нашей была самая что ни на есть простецкая, она даже была рябоватая, а аедь та-то была вроде из аристократок?»

Какая страшная даль пролегает между этой Сонькой и ее тезкой, той, что стояла тогда на помосте! Какая страшная непереходимая даль!

Но что делать им с этими Соньками? Что делать им, борцам, с необъятным человеческим материалом, этим наполнителем жизни, который часто не понимает их, а часто и противостоит? Что делать, если люди не понимают, что они живут по-свински, нечеловечески, что есть, возможна другая, светлая жизнь? Что делать, чтобы челоаек это понял? Терпеть, просвещать эту громадную, закосневшую в своем невежестве, в своем холопстве массу? По капле вносить в ее ряды идеи свободы, добра и справедливости? А может, предположить в этой массе наличие какой-то особой, высшей мудрости и положиться всецело на нее? Не надо учить колос наливаться силой, сказал квкто Герцен. Может, он был прав, этот великий проповедник?

Э, нет, это не для них. Это долго, это невыносимо долго. Они не могут так долго ждать. Факел фанатизма горячечно сжигает их сознание, и они подгоняют, подхлестывают, ускоряют события в безумной попытке изменить мир.

Какое безумное заблуждение! Изменить мир — это изменить почву, изменить трясину, которая окружает человека каждое мгновение, со дня его рождения и до последнего вздоха, и которая с геологической неумолимостью и определяет конечный результат.

В этом безмерном ослеплении они не останавливаются ни перед чем, и даже жизнь другого человека не является для них препятствием. Что такое жизнь нескольких десятков солдат, несших охрану в Зимнем дворце и погибших при взрыве, который должен был уничтожить императора, но, увы, не уничтожил? Их гибель — это печальная необходимость, неизбежные потери при достижении высшей конечной цели.

Ах, боже мой, да можно ли больше заблуждаться, и что может оправдать этих ослепленных безумцев? И вообще — что отличает этих беззаветных борцов от заурядных политических мошенников? Какой нравственный водораздел проходит, например, между чистейшим правдолюбцем Желябовым и политическим «бесом» Нечаевым? Может быть, отношение к собственной жизни? Ведь, как ни говори, начинить машину взрывчаткой, поставить ее где-нибудь на многолюдной улице, а потом хладнокровно нажать кнопку взрывного устройства — это одно, а врезаться вместе с этой машиной в каменные ворота, окружающие логово вражеской партии,— другое. И хоть цель одна — дестабилизировать, подорвать этот свинский, несправедливый порядок, заставить людей усомниться в его прочности, незыблемости,— но цена-то разная!

Какая жалость! Не получается! Хорошая могла бы выйти схема, стройная и безупречная, но, уаы, не получается. Ибо приходит час, и А. И. Желябов, и С. Г. Нечаев одинаково жертвуют собой, одинаково отдают свои жизни на алтарь грядущей победы. Оба они платят самую высокую цену в этой борьбе.

«Самую высокую» — это с их точки зрения, с точки зрения отдельной личности, и тут, конечно, затруднительно предполагать наличие полной беспристрастности. А если взглянуть на это широко и объективно, возвыситься над частностями и иметь в виду интересы общего прогресса, то как тогда, отдельная человеческая жизнь — много это или мало?

Мальчик-шарманщик идет по улице города, и по этой же улице проезжает карета императора. А рядом, за поворотом, эту карету поджидает террорист. И вот летит бомба, и раздается взрыв. Убит кучер, но император жив. Он вылезает из своего убежища, но второй бомбой его разносит в куски. И мальчика вместе с ним. И революционера. И невозвратимо рушится один Космос. И другой. И третий. Ибо — и это главное — любой человек бесценен, уникален, неповторим. И он, его жизнь — высшее мерило всего и всему.

(Ах, боже мой, написать бы рассказ об этом мальчике, его мечтах, страстях, заботах, о кучере, императоре, революционере. Дать это все изнутри, по-трифоновски. Показать всю трагичность и бессмысленность насильственной акции.)

И все-таки — неужели нет ни праоых, ни виноватых? Неужели нет того начала, той нравственной координаты, от которой следует вести отсчет? Невозможно, задав читателю столько вопросов, оставить его без какого бы то ни было ответа. И кстати, есть ли он вообще — готовый ответ?

Я не знаю, отвечает Трифонов. Я не знаю, существует ли он. Готовый ответ — это готовая схема, это жесткие рамки, куда надо втиснуть все сущее, наконец, готовый ответ — это назидание, проповедь, принуждение. Терпи, неси в своей душе идеал, пытайся поделиться им с ближним, но не толкай его, не принуждай, не вбивай его в колодки своей аеры. Конечно, бывают страшные минуты и страшные ситуации, когда насилие, принуждение являют собой единственный выход, но сама мысль об этом должна восприниматься с содроганием и отвращением.

Готовый ответ неприемлем для него еще и потому, что влечет за собой некоторую искусственность построения. Картина, которую увенчивает идеальная личность, отдает какой-то незавершенностью, негармоничностью. Логический ряд его героев, плавно восходя по мере возрастания добродетели, как бы повисает в пустоте, оканчивается в безвоздушности. Эта плоскостная линейность претит Трифонову, она его не удовлетворяет, и свои поиски идеального героя он заканчивает единственно возможным — он устремляет его вниз, к сущему, земному. Он как бы закольцовывает всю конструкцию.

Жизнь — бесценный и уникальный дар, говорит он. Она бесценна и удивительна сама по себе. Не надо пренебрежительно относиться к ее маленьким радостям, не надо презирать их и смотреть на них свысока. Быт — это и есть наша жизнь, и нельзя видеть в нем одно лишь низменное, примитивное. Идеальность, возвышенность — это прекрасно, но и плотское, земное не в меньшей степени достойно нашего уважения. И я не знаю, что главней, говорит он. Ответа на этот вопрос нет, его не существует. Эти два противоположных начала самым неуловимым образом переходят друг в друга. Где, когда идеальность, взгляд свысока, сверху, оборачиваются брезгливой сухостью и холодностью, а часто и жестокостью? Где, когда воспарение над сущим, пренебрежение им становится бесчеловечным? И наоборот, где та черта, начиная с которой плотское, земное приобретает облик агрессивной бездуховности? Когда, на каком этапе маленький человек, стоящий на земле, не отрывающийся от нее, превращается в кулака, зверя?

Я думаю, что это был один из тех вопросов, которые мучили его всю жизнь.

Наверное, немало хлопот причинил он разным инстанциям. И немало чинов почесало в затылке, решая, как с ним быть, как поступить с этим явлением.

С одной стороны, он — бунтовщик, ниспровергатель, и в этом нет никакого сомнения. Вредность, проистекающая от него, почище вредности самого отчаянного диссидента.

Над гигантской страной, пораженной какой-то неведомой паршой, страной с пересохшими жизненными соками, страной неухоженной, заброшенной, одичавшей, парит облако тончайшего эфира, где все чисто, нежно и трепетно. И даже грязные шалманы с окаменелыми бутербродами — не просто шалманы, а «Ландыши» и «Березки». И в эту-то воздушность, в эту-то

позаию он лезет со всей требухой жизни!

Ах, что он делает! Это прямо ужас какой-то. Вроде ничего такого и не касается, просто описывает, как человек ест, спит, ходит на службу, занимает десятку до получки, и все так, на этом уровне, и вдруг, оказывается, заложена мина чуть не подо все здание. И ничего не сделаешь. Поди подступись, найди статьи и управу. Писатель, работающий в бытовом жанре. И всё. И взятки гладки.

Если и была какая-то иозможность литературно подорвать исю эту выспренную, лживую фанфарность, то он использовал ее до конца. Только так это и можно было сделать — не яростными проклятиями, не громкими обличениями, а вот таким тихим повествованием. И чем ровней и спокойней звучит этот голос, тем сильней оказывается его действие.

Он — писатель необычный. Даже чисто литературно он выпадает из отечественной традиции. Его учителя, судя по всему,— Чехов и Достоевский, и это понятно — от одного он взял отвращение к ходульности, готовым ответам, а другой близок ему проникновением в глубочайшие тайники и изломы челоаеческой натуры. Но когда я читаю его повести, я всегда вспоминаю «Римские рассказы» А. Моравиа и вообще такое чисто западное течение, как неореализм, с его демонстративным отрицанием героя и нарочитым, намеренным приземлением. Так далеко, до такого почти утрированного бесстрастия, до такого «бессердечного» отстранения от героя он не пошел, но связь, прямая и явно прослеживаемая, для меня иесомненна. Да и социальные корни почти одинаковы — там тоталитаризм уже рухнул, а здесь он еще стоит, и есть видимость прочности, но его лживость и бесчеловечность уже ясны и не вызывают никакого сомнения. По крайней мере, они ясны были Трифонову.

То, что утвердилось после революции, во многом (и очень во многом!) означало разрыв с традицией, корнями; однако в ряде случаев новые образования легко и естественяо вписались в старое, они легли на хорошо принимающую почву. Так случилось, в частности, с положительным героем. Стремление новой влвсти создать образец для подражания, непогрешимого и безупречного героя, оказалось новсе не такой уж искусственной идеей. Поддержанное волной энтузиазма, надеждами миллионов на грядущие перемены, на лучшее будущее, оно очень естественно сочеталось с традицией отечественной литературы, в основе которой всегда лежало стремлеиие к высшему, идеальному. То, что это отлеглось потом в такие казенные и напыщенные формы и утратило какое бы то ни было подобие лукавства и иронии (которая одна и спасает в таких случаях), ничего не меняет; речь идет именно об истоках.

Нападая на положительного героя, низводя его с пьедестала, выворачивая его наизнанку, показывая с самой неожиданной стороны, он не только нападал на любимое дитя Системы, он порывал также и с трвдицией. В этом смысле он очень «иностранный», «нерусский» писатель. Его разъедающая ирония, скепсис, явная, хотя и с запозданием обнаруживаемая насмешка над «высокими истинами» лежат вовсе не в русле отечественной традиции, или — скажем так — не в основном русле, все это не очень характерно для нес и не очень ей свойственно. (Отсюда понятна та настороженность, с которой в свое время были встречены некоторые его вещи в «Новом мире». Демократ? Да, конечно, демократ; но демократ с другого берега и с какими-то другими вкусами.)

Сказать, что он полностью чужд нравственных мерил, было бы, конечно, неверно. Он тоже различает своих героев по плюсу и минусу, но горе доверчивому читателю, который вздумал бы полностью довериться ему. Следя за поступками персонажа, этот читатель только-только утверждался было по некоторым верным признакам во мнении, что это и есть привычный положительный герой, как вдруг этот самый герой выкидывал нечто непредусмотренное и начисто путал все нормы и понятия.

Дух идеальности и возвышенности противен его таланту; он все время опасается впасть в умиление, состояние восторженности для него фальшиво и неестественно; пожалуй, не будет большой смелостью предположить, что слово «задушевность» было для него столь же ругательным, как и «духоподъемность».

Больше всего он боится окончательности, незыблемости; ни на миг не расслабляясь сам, он не позволяет расслабиться и читателю. Читая его, все время ощущаешь какую-то зыбкость почвы, постоянное сомнение в твердости и окончательности ответа. Нам, так привыкшим к окостенелой схоластике, раз и навсегда отлитым формам, все это непривычно и, пожалуй, очень полезно.

Человек некогда ходил в ресторан, где его угощали довольно редким и изысканным блюдом под названием «жареные зайцы», блюдо ему очень нравилось, и вдруг, спустя много лет, узнает, что это было наглое надувательство — это были не зайцы, а кошки. Вот, черт побери! Какой бессовестный обман! — Обман? — Ну конечно, обман! А что же еще?! Жарить кошек и выдавать их за зайцев — что может быть бессовестней?! Но они были такие вкусные! — Но ведь это были кошки?! — Ну и что из того, что кошки?! Разве дело в названии? Дело во вкусе! — Нет, позвольте! Ему говорили, что это зайцы! Ведь это обман! — Да, обман. Но когда он их ел, то за свои деньги получал всю полноту удовольствия — и от вкуса блюда, и от его назаания...

Диалог можно продолжать почти бесконечно, на каждую реплику всегда отыскивается своя противореплика. Это какой-то непрерывный ряд искушений ума, где каждый довод тотчас получает свое опровержение, какой-то бесконечный коридор с зеркальными стенами, в котором казалось бы неоспоримый факт многократно превращается в свою противоположность.

Многие жареные зайцы в жизни оказались жареными кошками; нас нагло обманывали, и это непреложный факт, но почему мы так охотно поддались на этот обман? Почему так легко приняли вкус жареной кошки за нечто другое?

В другом рассказе герой волей случая оказывается в туристской поездке вместе с давним знакомым. Этот знакомый когда-то сделал подлость, уступил давлению свыше, и герой твердо полон намерения не подавать ему руки. Бесчестный поступок не очень помог тому, жизнь прошлась по нему своей жесткой рукой, и теперь он, пообтертый и пообмякший, предпринимает ряд жалких попыток заговорить с героем. Наконец разговор происходит; подлец-знакомый принимается уверять, что ему ничего не оставалось, как поступить именно так, а не иначе, что у него не было аыбора. Он даже пытается доказать, что объективно помог герою, спас его от худшего,— вот наглец! Всё это довольно привычно, привычного же конца мы и ожидаем. И вдруг что-то происходит с непреклонностью героя, она начинает на глазах слабеть и испаряться. «Он протянул мне неуверенную руку. И я неуверенно пожал ее».

На первый взгляд перед нами явный случай нравственного компромисса, то, что мы называем соглашательством. И все-таки, думается, это не так. Черное не стало белым, и сделанная подлость тнк и осталась подлостью; просто герой (и мы вместе с ним) яа миг заколебался в образе врага, он усомиился в своем праве лелеять этот образ в своем сердце, нести его в первозданной чистоте.

Конечно, это немножко усталость клеток, но это и смягчение чего-то важного у нас внутри, примирение с чем-то. Это не соглашательство, это на секунду поразившая догадка, что мир не так прост и однозначен, как кажется, что он многомерен и многолик.

Нет, не случайно имя Юрия Трифонова вызывает такие ожесточенные споры! И, пожалуй, еще долго будет вызывать. Он стоит в стороне, не принадлежа ни к какому лагерю; для одних он диссидент, размывающий доктрину, для других — соглашатель и оппортунист. Он явно не вмещается в рамки официоза, но он далек и от революционной ортодоксии с ее страстью к резким, раз и навсегда принятым оценкам.

И вообще — он совсем не революционер! Совсем!

Взгляни на себя, говорит он читателю, взгляни на себя со стороны, как ты слаб, податлив на плохое, как цепляешься за жалкие приобретения этой жизни, как часто поступаешься совестью и предаешь все лучшее, что есть в тебе. Взгляни на себя трезво, беспристрастно, и ты увидишь, что тебе некого винить в своих бедах, кроме самого себя.

Он совсем не революционер!

Он слишком хорошо знает цену человеку, его слабость и податливость, и в этом смысле революционная догма с ее упованием на внешние переделки встречает в нем открытого и последовательного критика.

Человек — в этом все дело! Пока он сам не окажется достойным новой жизни, ему ее не построить. И винить жизнь за ее неприбранство и неустройство, искать причины вовне ему вовсе не следует. Во всем виноват только он сам.

Какое светлое, просторное жилище замыслили мы семьдесят лет назад! И как быстро натаскали туда всякой дрнни! Как быстро человек переделал все на свой манер, пристроил, приколотил какие-то планочки, переборки и нерегородки, снизил, сузил окна и двери, понавешал замки, щеколды и задвижки! Он и оглянуться не успел, как перед его изумленным взором предстало нечто совсем обратное тому, о чем он мечтал. Произошла какая-то дьявольская подмена, и вместо светлого дворца внезапно оказался лагерный барак, арестантский дом. Крепкие, ухватистые мужики быстро позанимали, позахватали лучшие места у окон, у чистого воздуха, у форточек, они оттеснили нрочую публику вниз, в духоту, в тесноту, к парашам. Прошло совсем немного времени — и вот уже всему случиашемуся придан законный и необратимый характер, оказавшиеся наверху уже пишут законы и определяют правила, а мигом отысканшиеся помощники научно объясняют справедливость и единственную аозможность происшедшего.

Человек — в нем все дело!

А вы говорите, что нсе это скучно повторять и что все это давно было произнесено многократно!

Его творчество подводит горькие и неутешительные итоги великому социальному эксперименту.

Я начал писать эти заметки десять лет назад, сразу после смерти Трифонова.

Время было худое. Кругом стоял шабаш. Временщики, пранившие страной, вершили свои дела открыто и почти не стесняясь. Ощущение неблагополучия, того, что все пошло не так, вкось и вкривь, уже давно висело в воздухе, но иикогда еще черты разложения не приобретали такого зримого и явственного характера. Не встречая

сколько-нибудь заметного отпора, режим вел себя нагло и вызывающе. И небольшая кучка людей, решившихся на открытый протест, казалась каким-то исключением, случайностью, плодом без корней и почвы.

И все-таки это было не совсем так. Существовал слой людей, которые хотя и не пошли на открытый разрыв, но внутренне принять случившееся и согласиться с ним никак не могли. Это были люди тихие, слабые, которые гнулись, поддавались, по-житейски шли на компромиссы, но для которых существовал некий нравственный предел, переступить через который они просто были не в состоянии. Каждый выражал протест по-своему, одни подавались в грузчики и сторожа, другие уходили в водку, чудачества, третьи просто замыкались в себе, отстраняясь по возможности от всякого участия в собраниях, голосованиях, обсуждениях и прочей чепухе. Это было, по слову Александра Кушнера, какое-то «тихое братство», объединенное неприятием официальной лжи.

Вместе с песнями Окуджавы и записями Высоцкого проза Трифонова была одним из знамен этого братства, одним из его опознавательных знаков. Сходились два человека, говорили о том, о сем, о пустяках, и вдруг случайно возникало это имя. «Трифонов? О! Трифонов!» — и разговор сразу становился другим, и ощущение было другое, это были уже единомышленники, товарищи, объединенные общим символом, знаком.

В этом плотном, душном, остановившемся воздухе, где, казалось, и дышать-то уже было нечем, его проза помогала выжить, удержаться, уцелеть. Его пессимизм, мрачный, безнадежный взгляд на человека действовали целительно и освежающе, это была спасительная горечь посреди лихорадки.

Его творчество подвело итог под великим социальным экспериментом.

Семьдесят лет назад над планетой взметнулся гигантский всплеск. Вздыбясь, ржали кони, мчались тачанки, трещал пулемет, полыхали усадьбы, люди с сумасшедшими глазами бешено махали шашками, матюгаясь, хватали друг друга за грудки. Старый мир держал ответ. Поскольку грехи его были велики и вдобавок заранее было объявлено, что он не уступит своих позиций без борьбы, то ему пришлось очень несладко. Не принималось во внимание даже отсутствие в отдельных случаях видимого сопротивления с его стороны, это вполне могло быть изощренным коварством, направленным на то, чтобы нанести расслабившейся и потерявшей бдительность революции предательский удар в спину.

Дух ожесточения висел над планетой. Идея насилия была знаменем времени, она захватила и увлекла за собой почти всех, даже самых чистых. Цена отдельной человеческой жизни на глазах неимоверно понизилась.

Оканчивался золотой девятнадцатый век. Он был повинен во многом, этот век, он был с изъянами и пороками, и все-таки это было милое и уютное время, особенно если сравнивать его с тем, что предстояло испытать человечеству.

Но этот взметнувшийся столп, смерч, протуберанец не мог зависнуть в вышине. Он должен был опуститься.

Как, опуститься?! Куда?! В старое?! В ту же самую трясину?! В то же болото?! Да ни за что!

Обиднее всего, что уровень, на который приходилось опускаться, был заметно ниже. Самые лучшие, как водится, оказались нерасторопными, они не успели увернуться, отскочить от мчащейся колесницы. И общий уровень ощутимо упал.

Опускаться было жаль, но и выхода другого было не видно. И ничего не поделать. Можно хватануть неразбавленного спирта, нюхнуть кокаинчика, взбодрить, подстегнуть нерв, дух, атмосферу, но это всего лишь временная приостановка, передышка перед неизбежным, неотвратимым. Все это гениально схвачено А. Толстым в его рассказах 20-х годов. Перечитайте «Гадюку», «Голубые города» и вы уловите, ощутите этот тревожный, переломный миг выдыхающейся революции.

Человек должен был вернуться на старое. Он не рожден для того, чтобы, задохнувшись от бешеной скачки, рубить шашкой подобного себе. Он не рожден для того, чтобы, распластавшись на земле, поливать из пулемета свинцом такого же, как он. Он рожден для простых и вечных вещей. И он всегда возвращается к ним обратно.

Человечеству давно стоило бы сделать выводы из своих опытов по радикальным переделкам своей жизни. Ему давно бы надо поубавить свои надежды на мгновенное и разовое решение терзающих его проблем. И будь оно повнимательней, оно сильно бы умерило свой энтузиазм по этому поводу.

История иногда преподносит нам любопытные примеры. Только мы, к сожалению, считаем, что все это не для нас. Что это для кого-то другого. А жаль!

Лет двести назад на одном из островов Карибского моря восстали рабы. Европе было не до маленькой колонии, она сама была в поре больших перемен. Под шумок великой революции, под сумятицу революционных всполохов, озаряющих Европейский континент, восставшим удалось окончить дело полной победой.

Островок назывался Гаити. Восставшие были не только рабами, они были еще и чернокожими, стало быть, угнетенными вдвойне. Это был тропический вариант победившей пугачевщины. У истории возникла наконец возможность отказаться от сослагательного наклонения, перестать гадать о возможных вариантах и спрашивать: «А что было бы, если бы?..» Перед ней лежал чистый лист, ей предстояло ответить на любопытный вопрос — революция победила, что дальше?

Восставшие вдоволь пошумели, вдоволь отвели душу, гоняясь по окрестным лесам за уцелевшими плантаторами. Они не сразу пришли в норму. Кровь еще кипела, возбуждение не улеглось и требовало выхода. Перебив последних плантаторов, они волей-неволей принялись выяснять отношения между собой.

Рядом, на севере, тоже происходил любопытный эксперимент. Ринувшиеся со всего света честолюбцы, авантюристы, бродяги, картежные шулера, неверные мужьям жены и верные картам мужья, проповедники разных сект и религий, чистейшие правдоискатели, обуреваемые идеей переустройства человечества, — все, кто решил переломить судьбу и искать счастья на краю света, сошлись вместе и создавали новое государство. Как и их южные собратья, они не были консерваторами и без всяких колебаний отбросили обветшалые феодальные воззрения и предрассудки, но революционный пыл в его чистом виде стоял у них как-то на заднем плане. Их больше отличали здравый смысл, практическая сметка и торговая предприимчивость. Изголодавшись по простору, по настоящей, ничем не сдерживаемой работе, они принялись копать канавы, проводить дороги, возводить кузницы и мельницы, фабричонки и заводы.

Они не были ханжами и лицемерами и наряду с храмами не чуждались возводить также питейные салуны, справедливо считая, что всякий человек должен иметь место, где по своему разумению и потребности он мог бы отвести душу после тяжелого и надоедного труда. Но эти последние мыслились у них именно как дополнение к основному. Работа, работа и работа — то единственно надежное, что лечит человека и спасает его, — вот что стояло у них впереди всего.

Их южные соседи к этому повседневному устройству своего быта приступать вовсе не спешили; черновая, незаметная, неблагодарная работа их как-то не привлекала — то ли кровь была слишком горяча, то ли природа была слишком благодатна, то ли еще что.

Их предводитель, как полагается, объявил себя императором. Ну, а там, где император, там, конечно, свой двор. И свои приближенные. Но, разумеется, и свои обиженные, обойденные, а как же иначе?

И тут они увидели, что та несправедливость, против которой они восстали, от них никуда не ушла. Она осталась вместе с ними. Она только приобрела другие формы.

И все стало повторяться снова и снова.

Недовольные время от времени устраивают заговор, свергают очередного императора и возводят на престол своего. Все это проходит ряд кровавых междоусобиц, страсти кипят, противные партии сводят счеты друг с другом, с большой живописностью горят дома, и с большим эффектом бьются окна, кругом шум, гам, сборища, сходки и собрания. А дороги между тем пыльны и разбиты, поля не обработаны, быт не налажен.

Прошли долгие года, а для маленькой страны мало что изменилось к лучшему — все те же распри, все те же неурядицы. Политическое устройство ее зыбко и ненадежно, повседневная жизнь не налажена, а хозяйство разорено и давно развалилось бы вконец, если бы не помощь других стран. В том числе и их великого северного соседа, который отодвинул куда-то в сторону революционный пыл своей молодости, погряз в материальном и все свое усердие направил на устройство своего быта, коего удобства он довел до почти чрезмерной крайности.

Вот и возьми, что лучше — согнувшись в три погибели, мостить дорогу или же, вольно расправивши члены, пускать революционные петарды?

А похоже, что человечество склоняется к первому. Оно устало от крайностей и неистовств. Его уже не так тянет на баррикады. Ему хочется посидеть на веранде и попить чайку. С вареньицем. Из крыжовника. И поговорить о том, достаточны ли были в этом году дожди и хорошо ли пойдут нынче рыжики.

Конечно, человек может отодвинуть чашку в сторону и спуститься в подвал, для того чтобы заняться изготовлением адской машины. Но он все менее и менее расположен делать это. Не потому, что стал эгоистом и очерствел душой. А потому, что уже знает — это не помогает страждущим. Это дорога в тупик, которая только прибавляет новые страдания. И потому он сидит на веранде и, потягивая чаек, размышляет о том, пора ли окучивать картошку или же лучше заняться сараем для поросенка.

И если уж такая великая и огромная страна, как Россия, со всем размахом ее национального характера, без всякого принуждения, по одному внутреннему инстинкту потянулась к этой идее, то значит — насилию и терроризму приходит конец. И пусть оно еще тлеет и вспыхивает во многих местах, но это уже так, закраины истории, головешки догорающего костра. И дороги в обратное вроде уже не предвидится.

Ну и слава Богу.

Александр Ходоров

БЕЗ РЕТУШИ!

При жизни выдающегося человека, да нередко долго еще и после его смерти, в центре внимания — его *дело.* Это относится и к писателю. Вспомним комментарий Пушкина к словам Державина: «За слова — меня пусть гложет, за дела — сатирик чтит» — *слово* поэта и есть его *дело.* Принцип главенства исключительно дела жизни в оценке человека господствовал еще в прошлом веке. Нынешний во многом сместил акценты. Осознание этической позиции незаурядной личности, определение степени влияния поведения (в том числе житейского) исторического лица на общественный и творческий климат эпохи — сегодня очень важны. Повышенное внимание к этой стороне биографии — веление времени. Попробуем с этим требованием подойти к литературе минувших столетий.

Книга Михаила Гордина «Жизнь Ивана Крылова» (М.: Книга, 1985) вышла в серии «Писатели о писателях». И может, пожалуй, удивить читателя, если он рассчитывал прочесть в романе об Иване Андреевиче Крылове, как тот писал свои басни, да и о самих баснях узнать побольше. Гордин на этот счет скуп. Впрочем, выход из положения он нашел, присовокупив к своей книге в качестве приложения подборку критических отзывов писателей — современников баснописца. Пусть любителю словесности о творчестве Крылова расскажут Жуковский и Пушкин, Вяземский и Белинский. Разве не авторитетные судьи? А нам надо поговорить о другом...

Но для того, кто знаком с серией лучше, неожиданности в подобной ситуации нет. Изданные раньше книги Т. Манна о Гете, А. Моруа о Гюго, А. Виноградова о Стендале, В. Ходасевича о Державине, Ю. Тынянова о Пушкине, А. Туркова о Щедрине решают сходные проблемы. В центре каждой из них — история, формирующая характер и общественное поведение литератора.

Герой, избранный Гординым, поставил перед автором книги непростую задачу. Слов нет, течение жизни любой крупной личности таит для биографа немало подводных камней. И Тынянову — автору ныне уже классической «Смерти Вазир-Мухтара», и А. Марченко, что написала породившую острые споры книгу о Лермонтове «С подорожной по казенной надобности», нелегко было нащупывать отправные точки характеристик своих персонажей. Но и Грибоедов, и Лермонтов все-таки весьма категорично заявили первыми же произведениями, прославившими их имена, свою не только собственно литературную, но и жизненную позицию. У Крылова не было «манифестов», таких, как «Горе от ума» или «Смерть поэта», хотя и начинал он свой путь весьма ядовитым сатирическим комедиографом и журналистом. Он не проснулся однажды знаменитым — его басни входили в сознание читателя в непрерывном жизненном потоке, постепенно становясь частью национального сознания. Не потому ли не зафиксировал (и не мог зафиксировать) Гордин, когда именно это случилось?

Удивительная судьба! Писатель, всенародно обожаемый (с детства в наших умах с его баснями соперничали разве что сказки Пушкина),— и со столь бедным событиями жизненным путем! Однако Гордин, следуя по этому пути за своим героем, сумел подчеркнуть главное его содержаиие. Долгий век прожил в литературе Иван Крылов, довелось ему быть современником и Радищева, и Белинского, пережить и карамзинский, и пушкинский периоды русской литературы. И в столь разные времена сохранить свое место на ее левом фланге, не устарев идейно и нравственно. Причину тому летописец его жизни определяет четко — просветительский заквас и крыловских творений, и самой крыловской натуры.

Перед нами пройдут картины жизни столичной и провинциальной, литературной и театральной, просто бытовые эпизоды. Оказывается, что именно в бытовом ракурсе во многом раскрывается и личность историческая. К Крылову это относится особенно.

Духовная независимость. Внутренняя цельность. Умение всегда оставаться самим собою. Этим выработанным веком Просвещения критериям оценки достоинства человека Крылов был верен в высшей степени. «Иван Андреевич,— с афористической точностью формулирует Гордин,— никогда не брал ни выше, ни ниже истинного тона, то есть в жизни при всех обстоятельствах играл только самого себя». И это в то время, как другие, например один из персонажей книги граф Орлов, некогда второе лицо в Российской Империи, искусно или нелепо играли кого угодно (людям или обстоятельствам).

Флегматичный баснописец оказывался человеком с железным характером, когда надо было отстоять свое лицо. В столкновении с драматургом Княжниным — кстати, тоже с левого фланга русской литературы, старшим по возрасту и положению, многими уважаемым и почитаемым,— и с крупным театральным «чином» Соймоновым, перед которым предстал не мелкий «чин» его конторы, но Российский Литератор, наш отечественный восемнадцатый век явил едва ли не первый тому пример. И даже с императором Павлом I Крылов при внешней почтительности сумел остаться самим собою, на что немногие осмеливались и что, главное, не у каждого могло получиться.

Редко о ком из наших писателей ходило столько басен, как о самом баснописце. Гордин не чурается и анекдота — что делать, если фактов подчас маловато! Те, кто любил поговорить о пресловутой крыловской лени, не так-то уж были неправы. Но и на службе, и в великосветских салонах, и в царских дворцах, куда выучившегося на медные деньги сына офицера из захолустья в поздние его годы звали охотно, он не приноравливался ни к кому, держал себя «как дома», защитив праао на собственный, только ему присущий стиль поведения, даже на свои чудачества. Это — в России Аракчеева или Николая I, где подобное и вельможам аменялось в непростительное вольнодумство!

Известно, что в первом стихе «Евгения Онегина» — «Мой дядя самых честных правил» — Пушкин перефразировал Крылова. Так и хочется продлить цитату — «Он уважать себя заставил...»

Герою книги Самуила Лурье «Литератор Писарев» (Л.: Советский писатель, 1987) не довелось прожить на свете и тридцати лет, но довелось стать одним из властителей дум своего поколения. План полного собрания его сочинений возник еще при жизни автора — для литературного критика случай редчайший. Страсти кипели и вокруг его статей, и аокруг его судьбы. Поэтому обращение филолога-писателя к подобной личности закономерно.

Первое достоинство романа о Дмитрии Писареве — широкий исторический фон повествования. Жизнь взрастившей его от младенческих лет помещичьей усадьбы. Обстановка гимназии середины прошлого века. Университет того времени — его занятия, его духовная атмосфера, студенческие нравы. Петербург шестидесятых годов во всей конкретности его повседневного быта. Петербургская литература и литературная борьба, известные автору романа до тонкостей. Деталь, на взгляд нынешнего читателя неприметная, многое подчас объясняет и в истории государства, и в жизни человека.

Вторая особенность книги — скрупулезная последовательность художественного анализа биографии героя. От раннего детства до дня гибели, год за годом, месяц за месяцем. Материал — документы, письма, произведения Писарева. Публицистику и критику куда труднее подключать к тексту романа, чем прозу или стихи. Но становление характера незаурядного человека — творческая цель, аполне оправдывающая подобный труд.

Главная же черта повести Лурье, которая не может не привлечь читателя сегодня,— все портреты даны в ней без ретуши. Ах, как хочется видеть нам классиков русской литературы в яичем не омраченном сиянии их интеллекта и художественного дара! Но что поделаешь, если изумительной психологической проникновенности романист Гончаров занимал еще и крупный административный пост, на котором отнюдь не отличался мягкостью к выразителям чуждых ему идей, то есть к демократической журналистике.

Автору содержательной биографии И. А. Гончарова, аышедшей в серии ЖЗЛ,— Юрию Лощицу очень хочется проводить аналогии между известным нам с детстаа героем писателя — «голубиной души» барином и его создателем. А Лурье убедительно показыает нам — нет, не получается! Ведь когда Гончаров готовил цензорские рапорты о «Русском слове», он превосходно знал, что ведущий публицист журнала — а тюрьме. И когда после процесса Чернышевского Гончаров писал о покушениях писаревских статей на устои государства, религии, семьи и нравственности, он прекрасно понимал, что аедет своего литературного протианика, человека, болезненно задевшего его самолюбие, прямым путем на каторгу! Из песни не выкинешь неудобного слова! А что поделаешь, если тончайший лирик, один из корифеев нашей поэзии Тютчев склонен был отождествлять интересы русской нации и имперские интересы царской России. И пресловутый его панславизм в условиях империи оборачивался заведомым политическим консерватизмом и ничем другим обернуться не мог, ибо национальная идея никогда не была нейтральной политической системе!

Ни «Обломов», ни «Денисьевский» цикл стихов из-аа этого хуже не становятся. Однако широкий читатель имеет право не только на поклонение кумирам. Вот и Писарев в книге Лурье — герой отнюдь не голубой. «Женское» воспитание (чем не злободневная поныне проблема?) немало ему повредило, не ко всем испытаниям — в первую очередь, житейским — был он готов, и преодоление иллюзий (до конца так и не изжитых) — одна из тем романа. Сложными людьми были большие литераторы. Такими и нужно их знать.

Мы часто говорим о классических тради-

Ходоров Александр Евгеньевич (р. в 1940 г.) — кандидат филологических наук, автор работ о литературном творчестве декабристов и современной литературе. Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Нева», «Звезда». Живет в Ленинграде.

циях в современной прозе. В данном случае хотелось бы подчеркнуть отчетливую связь повести Лурье с классическим европейским «романом воспитания». Как ни оценивай ныне воспитание молодого человека в просвещенном дворянском доме двух прошлых столетий, главному там учили превосходно. Учили, говоря словами поэта более поздних времен, «не позволять душе лениться». И эта наука дала в душе Дмитрия Писарева добрые всходы, что отчетливо видно по второй части книги Лурье. В ней, собственно, и действия-то нет, да и быть не может, ибо главный герой — в одиночной камере. Действуют, правда (и активно), другие — родные и близкие, генерал Сорокин, светлейший князь Суворов. Эти последние понимают, что, хотя вчерашний студент на официальной иерархической лестнице стоит невысоко, истинное место его в жизни страны повыше, а значит, своим отношением к его судьбе они отчетливо выявляют собственную политическую позицию. Жизнь же самого Писарева на этих страницах — бытие интеллекта, взлеты и падения человеческого духа.

Выработанная с детства привычка умственно трудиться везде и всегда дала возможность человеку, не обладавшему (это здесь видно ясно) несокрушимостью и стойкостью характера, выстоять в самых тяжких испытаниях. Редко кому с такой полнотой, как этому отрицателю эстетики Пушкина, удалось воплотить в реальность упомянутый нами пушкинский завет — *слово* литератора есть его *дело*. Неистовый апологет работы неистово работал сам и сражался не столько даже за свои убеждения (что было трудно осуществить в тюрьме), сколько за самое право думать и писать. Органичная потребность в труде, жажда умственной деятельности стали силой, сделавшей Писарева-критика автором будораживших Россию статей. Не только мысли, в них заключенные, но самая работа мысли как созидательная энергия, дающая возможность жить и быть нужным людям, воплотилась в повествовании о Писареве в актуальный нравственный урок.

И еще одно — без ретуши дана в романе не только история человека, но и история страны на одном из переломных ее этапов. Канун отмены крепостного права, первые пореформенные времена. Жить по-старому страна не хочет, прогрессивные социальные процессы необратимы — но, буквально опьяненные этим сознанием, многие люди упустили из вида, что силы общественного торможения всегда готовы к реваншу. И они стали брать его уже в 1862 году. Россия в том убедилась — а мы, читая эту книгу, видя, как в непредвиденных конфликтах ломаются судьбы и становятся врагами вчерашние союзники, задумываемся над этим тоже...

Значительным для читателя событием становится каждая встреча с исторической прозой Юрия Давыдова. Она посвящена замечательным людям трагической судьбы.

В новой повести «Вечера в Колмове» (М.: Книга, 1989) тревожная нота звучит с первых же строк. Есть в русской и мировой литературе тема, которую наша проза последних десятилетий, прошлому ли, настоящему ли она посвящена, затрагивать не любила. Это — душевные заболевания и их социальные истоки. Не любили мы, в частности, вспоминать и о том, что тяжким душевным недугом страдал Глеб Иванович Успенский. Давыдов же пишет как раз о тех страницах жизни писателя, что связаны с Колмовом — там помещалась психиатрическая клиника...

Болезнь есть болезнь. И глубоко уважающий Глеба Ивановича, преданный ему доктор Усольцев вынужден подчас сознаваться. «что ему, Глеб-гвардейцу, если быть честным, надоел Глеб Успенский, надоел, измотал, всего измочалил». Многие страницы повести пронизаны именно наблюдениями второго ее героя — психиатра, и писатель этого совсем не думает скрывать. Но врач этот отдает себе отчет: «...высшие мотивы духовного бытия Глеба Ив., его психический фонд находились вне компетенции медицины». Это-то и важно — «...именно на его духовном бытии я и сосредоточусь».

Доминантой духовного бытия Успенского был повышенный болевой порог, обостренная чувствительность к чужому страданию. Человек, умевший ощутить, как больно траве под косою, жил болью своих сограждан, живых, конкретных людей: «Он пребывал в покаянии не перед народом вообще, нет, вот перед этим, то есть каждым». А такое куда нужнее, труднее, ответственнее, чем радеть об абстрактном народе «вообще». Вот почему «Глеб Ив. платил за свою вину перед русским народом такую пеню, какую не уплатил ни один великан словесности».

Русской литературе такой подход к миссии писателя не в диковинку. Однако великие страдальцы за судьбы народные, беспощадно требовательные к себе, Достоевский и Толстой умели быть и для других грозными судьями. Успенскому последнее было чуждо. Судить он умел лишь себя — за то, что не голоден, не бездомен (это он, всю жизнь боровшийся с нуждой), не был в тюрьме и ссылке, которые переживали другие («Вы счастливы,— говорил он таким,— тюрьма и ссылка сохранили вам совесть»). Такая ранимость надломила его душу, но зато обострила аналитичность ума: «никем не судимый, никем не осужденный, он был приговорен к уяснению и разъяснению причин и следствий». Жестокое, но точно найденное Давыдовым определение истинной цены писательского хлеба!

Нет, ничего не смягчает в рассказе о Глебе Успенском летописец его жизни! В частности, того, что нелегко складывались отношения не только с духовно чуждыми людьми. И в среде демократической журналистики были они не просты. «Требовался прожиточный минимум» — это и к литераторам относится, а «Некрасов тароватостью не отличался» (тех, кого покоробят такие слова о Некрасове-издателе, можно отослать к документам о жесткой гонорарной политике редактора «Современника», опубликованным еще в 1920-е годы,— опять-таки в песне всякое слово важно). Впрочем, в таких случаях Глеб Иванович считал своим долгом быть покладистым и деликатным. И лишь в одном компромиссов не ведал.

Довелось ему получить резкую отповедь от Веры Фигнер. «От ваших мужиков тошно,— сказала она.— 〈...〉 Ничего светлого, жалкое стадо.

— Светлое есть, да я-то, Вера Николаевна, пишу о расстройстве крестьянской жизни и, уверяю Вас, пишу правду.

〈...〉 — Правду? Зоологическую!

〈...〉 — Вот, господа, слыхали? Вера Николаевна требует: вынь да положь шоколадного мужика. А где такого возьмешь?»

Подобный разговор с Верой Фигнер требовал большей смелости, чем спор с членом царского дома: ведь ее боготворила вся передовая Россия! Да и была в ее позиции своя правда: «Мы... зовем молодые силы в народ, в деревню, а после такого чтения — калачом не заманишь». Но писатель не имеет права даже ради самой благой цели, самого высокого идеала поступиться истиной. «Успенский не пугал деревней, не отваживал от деревни — он писал правду». Не надлежит ли усвоить этот урок профессиональной добросовестности иным сегодняшним радетелям «светлого» во что бы то ни стало, хотя бы и «рассудку вопреки, наперекор стихиям»? Это ли не информация к размышлению (как говорилось в популярном телесериале) для любителей беллетристического шоколада, кондитеров от словесности, взывающих не нагнетать «негатив», не «очернять» нашей прекрасной жизни? По их меркам и Успенского иначе, чем в очернители, не зачислишь! Не худо, впрочем, любителям шоколадного рациона помнить еще и то, что ни один медик не признавал его укрепляющим организм...

В этот же том Давыдова вошла повесть «И перед взором твоим».

Центральный персонаж ее, Василий Михайлович Головнин, ныне более известен как путешественник, чем как беллетрист (но прозу его некогда высоко ценили Батюшков, Кюхельбекер и Гончаров). В его лице писателем найден не только литературный герой, но и литературный союзник, творчество которого осенено замечательным девизом: «Всякое сочинение потеряет все свое достоинство, если будет наполнено одними похвалами и если в нем будут скрыты недостатки».

До наших дней живуч стереотип: западные колонизаторы — разбойники, русские — самоотверженные просветители отсталых народов. Головнин говорил правду и о жестокости, и о корыстолюбии российских администраторов и негоциантов в Азии и «Русской Америке». Жестоко пострадав на чужой земле за вину соотечественников — политических авантюристов,— он не унизился до злобы к ее жителям, о которых писал с объективной доброжелательностью. Поэтому с абсолютным доверием относишься и к суровому суду Головнина над варварством испанских неоконквистадоров, алчностью английских купцов, и к его гордости за тех русских, кто действительно нес в мир дружбу и знание,— это патриотизм не квасной, а истинный!

Увы, доброму уроку следуют не всегда и не все.

Роман Геннадия Серебрякова «Денис Давыдов» для читателя — не новинка, но недавно он обрел второе рождение благодаря огромному тиражу «Роман-газеты» (№ 11—12, 1988). Немало выходит в свет исторических романов, авторы которых худо знают и предмет изображения, и описываемую эпоху. Принадлежи книга Серебрякова к их числу — не стоило бы о ней и речь вести. Нет, биографию писателя-воина и его эпоху романист изучил основательно — отдадим ему должное. Не будем выискивать отдельные неточности — труд неблагодарный, ибо не в них, в конце концов, дело, это, как в поговорке молвится, «худо, да не дюже». Гораздо хуже то, что Серебряков не удержался от соблазна выступить в роли исторического ретушера.

Красной нитью через все повествование проходит мысль о зловещей роли масонства в истории Европы, об опутавших континент, и Россию в частности, губительных масонских заговорах (ох уж это стремление видеть исторический процесс непрерывной цепью дьявольских затей!). Не вдаваясь в детальную полемику, хотелось бы лишь напомнить: масонство никогда не было однородным ни идейно, ни политически, ни даже социально (ибо лишь изначально носило отчетливо аристократическую окраску). Пути масонов разошлись довольно быстро — от крайней реакционности до откровенного сочувствия (и даже соучастия) освободительным движениям,— и в XIX веке объединял их лишь ритуал. Но очень уж хочется романисту выдержать на исторической фотографии заданный черный тон! Надо изобразить российских масонов истинными исчадьями ада, искусственно отсечь их от прогрессивных социальных движений и умственных течений. Как это сделать? А просто: объявить случайной в масонстве фигурой не кого-нибудь, а Н. И. Новикова, вовлеченного в масоны обманом (!). Того самого Новикова, который во многом и связал вольнодумство XVIII столетия с истоками

декабризма, ветераны которого на заре своей деятельности прошли через масонские ложи [1].

Рассказывая о начале войны 1812 года, Серебряков один за другим живописует эпизоды, где казаки Платова, а затем давыдовские партизаны в хвост и гриву лупят французов. Достоверность каждого отдельного эпизода ставить под сомнение не будем, однако... Может быть, потому, что пишущий эти строки — человек сугубо штатский, для него осталось тайной: как битое на каждом шагу наполеоновское войско после этого ухитрилось дойти до Москвы и даже войти в нее? Впрочем, и говорить об этом факте романисту при таком подходе к сути дела приходится, естественно, мимоходом. Для партизанских успехов — рубенсовская кисть, для общей, безрадостной для русской армии картины на широком театре военных действий — штрих-пунктир. А ведь эту картину в романе осмысляет не упоенный частным успехом казачий урядник, гусарский юнкер или корнет, а штаб-офицер. Неужели Серебрякову кажется, что если о событиях лета и осени 1812 года, не столь победоносных для России, рассказать не менее обстоятельно и красочно, чем о лихих казацко-гусарских атаках, мы наших солдат и офицеров далекой поры уважать не станем? Современного читателя история хорошо подготовила к восприятию той истины, что и самым доблестным воинам победа не каждый день на роду написана.

Повествуя о взаимоотношениях Дениса Давыдова с деятелями тайных обществ, автор книги старается убедить нас в том, что его герой не одобрял лишь средств, цели же тайные одобрял вполне. Известное письмо Давыдова к П. Д. Киселеву, цитируемое в книге, первое нам вполне доказывает, второе же — нет, да и доказать не может. Если, конечно, не считать, что декабризм даже времен Союза Благоденствия имел в виду лишь просветительские задачи. Цели революционного преобразования России никогда не вызывали сочувствия реального Давыдова, хотя он и сочувствовал лично некоторым участникам движения и особенно — их участи после 14 декабря.

Но что воистину поражает, так это оценка Серебряковым знаменитой давыдовской «Современной песни». Оказывается, в ней он «наотмашь, по-гусарски хлестнул разящей насмешкой по разного рода высокопарным болтунам», по их «либеральным словесам». «Знавший цену истинному либерализму, не убоявшемуся с оружием в руках выступить против самодержавия на Сенатской площади... Давыдов клеймил новоявленных ряженых, для которых чистые покровы свободы нужны были лишь для того, чтобы покрасоваться на публике».

Обобщенный образ российского либерала, созданный Давыдовым, действительно оказался столь убийственным, что был взят на вооружение демократической критикой. Но это — *впоследствии*. А *тогда* — как же можно позабыть об антидемократическом характере этого произведения, видном всей России? Предоставим слово крупнейшему знатоку той эпохи В. Н. Орлову: все понимали, что в «этом стихотворном памфлете Давыдов с отчетливо консервативных позиций выступил против передовой общественности тридцатых годов», что «Современная песня» — произведение «реакционно-националистической направленности». Впрочем, неловко и ссылаться на авторитеты — настолько это известно. Конечно, Серебряков не обязан соглашаться с авторитетами, а с нами, грешными,— наипаче. Так защити любимого героя от резкой критики нескольких поколений, опровергни ее доводы! Нет, о столь деликатном обстоятельстве — просто ни звука. Совсем не в духе Дениса Давыдова, который шел в литературные бои, как и на поле брани, с открытым забралом.

Верность прежде всего самому себе, умение при всех обстоятельствах оставаться самим собою, то самое «самостоянье человека», которое, по определению Пушкина, «залог величия его»,— для литератора имеет особую цену. Оно оказалось по плечу и Ивану Крылову, и Дмитрию Писареву, и Глебу Успенскому, и Денису Давыдову. В ретушировании своих портретов подобные люди не нуждаются. И по тому, насколько удалось отобразить эту закономерность современному писателю, пишущему о своих «цеховых» предтечах, мы судим сегодня о верности портрета.

---

[1] Характерно, что Валентин Пикуль в № 2 «Нашего современника» за 1989 год интерпретирует факты биографии Новикова именно в «масонском ключе». Делать из выдающегося исторического деятеля ангела, конечно, не надо. Вот только почему В. Пикуль меряет поступки человека XVIII столетия мерою... 1941 года? Да, Новиков был связан со шведскими масонами и в период русско-шведских военных действий, но ведь в прошлые века межгосударственная вражда отнюдь не разрывала международных личностных связей так жестко, как в XX веке. Не только масонство, но и *дворянство* не переставало в при таких обстоятельствах считать себя единой европейской корпорацией. Да и как можно позабыть, что Екатерину II многие воспринимали захватчицей русского трона? Свергнутый же ею и убитый Петр III был внуком не только Петра I, но и Карла XII Шведского, некогда приглашенного и на шведский престол. Такие вещи понимал Дюма-отец (с которым любят сравнивать Пикуля), отнюдь не пользующийся репутацией скрупулезного историка. Достаточно перечитать «Трех мушкетеров» с их продолжениями. Д'Артаньяна и Атоса за их контакты с англичанами никто не спешит клеймить позором! Для 1941 года эта мораль, конечно, не годится, но трудно требовать от людей минувших столетий, чтобы их представления о дозволенном и недозволенном совпадали с нашими.

Раздел ведет Ив. Толстой

В свое время Лидия Чуковская сказала о Солженицыне, что своими книгами он «приподнял край кровавой рогожи над штабелями трупов». Нечто сходное говорил и Достоевский о Христе, открывающем для нас всю бездну падения человека, всю бесконечность, которую нужно пройти на пути к совершенству. Семьдесят лет нас уверяли, что за пограничной рогожей — не живая литература, а штабели литературно-политических мертвецов. Оказался — целый мир наших братьев. Познать этот мир разом немыслимо, поэтому мы предлагаем своего рода путеводитель по литературе Русского Зарубежья с 1917 года и до наших дней. Не претендуя на полноту сведений или академические характеристики, мы хотим познакомить читателя *непрофессионала* с самыми значительными, или характерными, или экстравагантными изданиями российских изгнанников. Предполагаемый при этом путь — не рассказ об отдельных писательских судьбах (для чего отведенного места никак не хватило бы), но обзор *печатных изданий* — своего рода портреты журналов, сборников, газет, альманахов и пр., а также тематические обзоры: западная набоковиана, публикации Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Кузмина и др.; очерки деятельности тех или иных издательств: *Гржебина, Дома Книги, имени Чехова, ИМКА-Пресс, Серебряного века, Ардис, Руссики* и др.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто мог бы нам помочь, и просим рассматривать наши заметки как первый, пробный шаг на пути к будущей Истории русской литературы за рубежом.

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

«Современные записки» (1920—1940) — общественно-политический и художественно-литературный журнал, самое престижное издание русской диаспоры. По словам П. Н. Милюкова, «будущий историк по справедливости отведет „Современным запискам" первое и почетное место в эмигрантской литературе». Ярким, но кратковременным предшественником *СЗ* был журнал «Грядущая Россия» (вышло два номера, Париж, 1920), где был начат печатанием роман А. Н. Толстого «Хождение по мукам», не только продолженный, но и повторенный первыми своими главами в *СЗ*. «Грядущая Россия» редактировалась М. А. Алдановым, В. А. Анри, А. Н. Толстым и Н. В. Чайковским. Важнейшие публикации здесь: воспоминания П. Д. Боборыкина, статья о Версальском мире И. И. Бунакова-Фондаминского, статья М. О. Цетлина о творчестве Л. Н. Андреева, два очерка И. В. Шкловского-Дионео. *ГР* лишилась средств и прекратила существование, но успех был подхвачен группой эсеров: М. В. Вишняком, А. И. Гуковским (сконч. в 1925-м) и В. В. Рудневым, которые позднее привлекли Н. Д. Авксентьева и И. И. Бунакова-Фондаминского. Задуманный поначалу как издание правого крыла партии эсеров, журнал по настоянию Фондаминского снял с обложки имена редакторов и был обозначен как выходящий «при ближайшем участии» таких-то, что, однако, не мешало молве шутить: «А судьи кто? — Да пять эсеров».

Реально политическая программа журнала характеризовалась как «программа демократического обновления», принятие февральской революции и категорическое отвержение революции Октябрьской. *СЗ* с самого начала осознавали свою роль как самого крупного периодического издания вне России: *СЗ* «открывают... широко свои страницы — устраняя вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической группировке — для всего, что в области ли художественного творчества, научного исследования или искания общественного идеала представляет объективную ценность с точки зрения русской

культуры. Редакция полагает, что границы свободы суждения авторов должны быть особенно широки теперь, когда нет ни одной идеологии, которая не нуждалась бы в критической проверке при свете совершающихся грозных мировых событий». Фондаминский направлял журнал в сторону «миросозерцательного единства с религиозным уклоном», он же подыскивал новых сотрудников (например, решительно и прочно привлек В. В. Набокова). Широта взглядов и вкусов и обеспечила журналу широту успеха. «Традицию, на которую намекало его двойное название,— традицию „Современника“ и „Отечественных записок“ — журнал с честью поддержал». Правда, эта-то традиционная левизна и не позволила журналу (против были В. М. Зензинов и В. В. Руднев) напечатать в 1937—1938 годах «правую» главу о Чернышевском из романа Набокова «Дар».

В 1933 г. в связи с выходом 50-й книжки *СЗ* В. Ф. Ходасевич писал о редакторах: «Не будучи ни художниками, ни специалистами-литературоведами, они в беллетристическом и поэтическом отделах журнала собрали все или почти все выдающееся, что было написано за эти годы за рубежом». С 1932 г. (когда закрылась «Воля России») *СЗ* остались единственным «толстым» литературно-политическим журналом старого типа в Зарубежьи. Авторами в художественном отделе в разные годы были как ставшие известными еще в России (Г. В. Адамович, К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин, З. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцев, Вяч. Иванов, Г. В. Иванов, Д. С. Мережковский, А. М. Ремизов, В. Ф. Ходасевич, М. И. Цветаева, И. С. Шмелев), так и «прозвучавшие» уже в изгнании (М. А. Алданов, М. А. Осоргин, Б. Ю. Поплавский, Ю. К. Терапиано, Юрий Фельзен, А. С. Штейгер) и многие другие. Публицистический и критико-библиографический отдел представлял также и цвет русской мысли (Андрей Белый, Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов, кн. С. М. Волконский, З. Н. Гиппиус, М. Н. Гофман, Л. П. Карсавин, А. А. Кизеветтер, В. Ф. Ходасевич, Н. О. Лосский, С. П. Мельгунов, Д. С. Мережковский) и других талантливых авторов (бар. Б. Э. Нольде, М. А. Осоргин, кн. Д. П. Святополк-Мирский, М. Л. Слоним, Ф. А. Степун, П. П. Муратов, М. О. Цетлин, П. П. Бицилли, К. В. Мочульский и др.).

Как и во всяком издании, продолжавшемся столько лет, разделы и рубрики *СЗ* не были постоянными (см., например, под заглавием «Пути России» серию историософских статей Фондаминского или обозрение «На Родине» М. В. Вишняка). С начала 30-х годов журнал пополнили авторы молодого поколения: Н. Н. Берберова, Г. И. Газданов, Л. Ф. Зуров, Георгий Песков, Борис Темиризев, В. С. Яновский и др. В небеллетристическом отделе появились В. В. Вейдле, Г. П. Федотов, Г. В. Флоровский, В. В. Зеньковский и др.

Ходасевич отмечал, что в *СЗ* «ничей голос не был заглушен», хотя не обходилось и без недовольных: например, почти сразу образовалась большая очередь желающих попасть на страницы *СЗ*. Много споров вызвала «Литературная запись» З. Н. Гиппиус (под ее обычным псевдонимом Антон Крайний) в 18-й кн. журнала, где М. Горький был ею обвинен в том, что «помогал большевикам в изъятии всяческих ценностей». Ей пришлось, извиняясь, заявить, что имелись в виду ценности духовные. С М. И. Цветаевой был связан второй (рано или поздно неизбежный) конфликт. Она жаловалась на бедность и «окончательное изгнание отовсюду» (письмо к Ю. П. Иваску, 1933), однако из 70-ти книжек стихи, проза и воспоминания Цветаевой опубликованы в 36-ти.

Журнал был прекращен с началом немецкой оккупации Франции (последний номер, почти полностью погибший под немцами и ставший раритетом, был в 1983 году факсимильно переиздан).

СЗ выпускали произведения своих авторов также и отдельными книгами.

Переполненный к концу 30-х годов портфель журнала вынудил открытие в достаточной степени параллельного издания «Русские записки» (1937—1939), в котором участвовали и которое редактировали те же лица.

Архивы *СЗ* и «Русских записок» были спасены и послужили основой для возрождения их в США под названием «Новый журнал» (1942), который выходит и по сей день.

Лит.: Г. П. С т р у в е. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956 (2-е изд., исправл. и доп.: Париж, 1984); М. В. В и ш н я к. Современные записки. Воспоминания редактора. Блумингтон, 1957; М. В. В и ш н я к. «Современные записки».— Русская литература в эмиграции. Сб. статей. Питтсбург, 1972; Минувшее. Исторический альманах, № 8. Париж, 1989.

Ив. Т.

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ» К ГАЗЕТЕ «РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Русская культура свершается там, где есть люди, любящие ее и понимающие в ней толк. Лучшее тому подтверждение — выходящее в Париже «Литературное приложение» к газете «Русская мысль». В самой *РМ* — общественно-политическом еженедельнике на 16—20 стр. (главный редактор — Ирина Алексеевна Иловайская) — также печатается много историко-литературных материалов, но в *ЛП* их не просто больше — они собраны здесь в ином качестве: как материалы по преимуществу научные, так что, имея газетную форму (от 8 до 16 стр. в номере), *ЛП* представляет собой научные сборники, посвященные всевозможным аспектам русской культуры XX века. И, как полагается научному литературно-историческому сборнику, имеет разделы «Статьи», «Архив», «Искусство», «Переводы», «Поэзия», «Коротко о книгах» и иногда другие.

ЛП выходит непериодично, в среднем — дважды в году (с янв. 1985-го по янв. 1990-го вышло 8 номеров). Поначалу в *ЛП* появлялся на открытие большой отрывок (из романов «Псалом» Фридриха Горенштейна — № 1 и «Наследство» Владимира Кормера — № 2), но с 3-го номера *ЛП* открывается материалом о том или ином «герое дня» (например, об Ахматовой, № 8: Яков Гордин — «Ахматова и Пушкин», Никита Струве — «Бог Ахматовой», Юрий Молок — «„Реквием“ для домашнего чтения» и др.; о Бродском, № 7: Жорж Нива — «Квадрат, в который вписан круг вечности», Виктор Кривулин — «Слово о нобелитете Иосифа Бродского», Рожис Рейро — «Еще о Бродском во Франции» и др.; или о Хлебникове, № 3/4: Жан Юбер — «Велимир Хлебников в Петербурге-Петрограде», Петр Митурич — «Как умирал Хлебников»; о Мандельштаме: Жан-Клод Ланн — «В поисках нового классицизма», Н[аталья] Г[орбаневская] — «Чаадаев, Мандельштам, Милош...»).

Раздел «Поэзия» представлен как продуманным составом — творчеством «семидесятников»: Сергей Стратановский, Елена Шварц, Тамара Буковская, Юрий Кублановский, Виктор Кривулин,— так и произвольными подборками: Валентин Соколов, И[да] Н[аппельбаум], Леонид Романков.

Помимо персонального раздела серьезный тон в *ЛП* задают разнообразные статьи, например: Мириам Пакраван — «Булгаков и Шагал»; Геннадий Шмаков — о Михаиле Кузмине; А. Л. Огиборский — об акад. Ф. И. Щербатском; Мишель Никё — о судьбе крестьянских поэтов; Жан-Филипп Жаккар — о первом советском издании «взрослого Хармса» и мн. др.

Художественные и теоретические материалы сами по себе не сделали бы «необщим» лицо *ЛП*. Издание характеризуется в первую очередь своим библиографическим характером: почти ни один материал не появляется здесь вхолостую, но обязательно взрывает тот или иной пласт истории нашей культуры,— в этой связи раздел «Архив» (понимаемый шире формально обозначенных рамок) представляется самым характерным для *ЛП:* воспоминания Сильвы Гитович о М. Зощенко (первая публикация), письма Николая Заболоцкого жене из заключения (первая публикация), письма Ильи Репина, Виктора Шкловского, Сергея Клычкова, неизвестные стихи Михаила Кузмина, Николая Клюева, Вадима Гарднера, из наследия Владимира Соловьева и т. д. Подход *ЛП:* никаких перепечаток, аналитичность и строгая фактография. В этом смысле *ЛП* можно расшифровать как «Литературный памятник»: это оправдано не только архивностью публикаций, но и участием в комментировании ведущих мировых специалистов: Рональда Вроона, Мишеля Окутюрье, Мишеля Никё, Константина Азадовского, Николая Котрелева, Михаила Мейлаха, Александра Парниса, Рейна Крууса, Жан-Клода Маркадэ и др. Здесь всё впервые: переводы (из Константина Кавафи, Галактиона Табидзе, Джорджа Орвелла и др.), рисунки (ахматовский коллаж Владимира Лебедева), фотографии (Михаила Кузмина, Анны Ахматовой), наконец, рецензии.

Рецензии в *ЛП* — самый продуктивный жанр: в 8 номерах их помещено более 50-ти, практически обо всех заметных явлениях искусства: на советские переводы Р. Музиля и Ф. Мориака, на американскую и советскую монографии о Цветаевой и на изданное в Италии исследование поэтики раннего Мандельштама, на сборник интервью Набокова и словарь-справочник «Ленинградский балет», на Стэнфордские исследования по славистике и на повесть Михаила Чулаки. В качестве рецензентов выступают слависты из стран Европы и Америки, а также русские авторы, в том числе и из Советского Союза. *ЛП* не приемлет рецензий описательных: здесь всегда анализ, заинтересованность, профессионализм специалиста.

Лицо *ЛП* определено редактором-составителем издания — Сергеем Владимировичем Дедюлиным, уроженцем нашего города. С. Дедюлин (р. 1950) окончил Ленинградский университет, по специальности — химик. Занимался библиографией и иконографией Анны Ахматовой, составлял биобиблиографический словарь советских правозащитников, участвовал в подготовке самиздатских журналов и научных сборников. После серии обысков и настойчивого предложения эмигрировать уехал во Францию (1981). Сейчас он — один из редакторов газеты «Русская мысль», на страницах которой поместил несколько сотен своих статей, заметок и рецензий. Параллельно принимал участие в подготовке русских изданий А. Ахматовой, Г. Струве, Евг. Шварца, Н. Мандельштам, И. Семенко, И. Терентьева и др. Вместе с Г. Суперфином составил «Ахматовский сборник» (Париж, 1989). В прошлом году был одним из организаторов международного Ахматовского коллоквиума в Париже.

В отличие от советской прессы, со страниц западных изданий постоянно звучал призыв к нашим ученым объединить исследовательские, редакторские и издательские усилия. «Бедные мы русские и французские переводчики! Почему нам нельзя постоянно советоваться друг с другом и обмениваться рукописями? Сколько досадных ошибок мы исправляли бы один у другого!» — восклицает на страницах *ЛП* Женевьева Жоанне. Сколько бы книг, добавим от себя, мы могли бы порекомендовать своему читателю и не завидовать, читая рецензию С. Дедюлина на парижский «Учебник правописания для русиста»: «Рецензенту остается признаться, что столь увлекательно написанных учебников ему еще не встречалось: хочется листать и вчитываться в книгу Сергея Асланова до изнеможения».

Один из самых интересных материалов в жанре рецензий помещен в № 7 — это букет внутренних отзывов, посвященных прохождению рукописи сборника И. Бродского «Зимняя почта» через издательство «Советский писатель» в 1966—1968 годах. Рецензии опубликованы к 20-летию *неиздания* книги. Как замечает публикатор (С. Дедюлин), некоторые из этих документов (отзывы Ильи Авраменко, С. Ботвинника, Вс. Рождественского) производят впечатление «черного юмора», суждений образованцев и убийственны скорее для их авторов, нежели для автора убитой книги. (Там же опубликованы положительные отзывы В. Альфонсова, В. Пановой, Л. Рахманова и В. Шефнера.) Не могу согласиться с С. Дедюлиным до конца, ибо доброжелателям в России постоянно приходится отстаивать перед вельможами не само искусство, но судьбу его; скоморошество — частый и горький удел именно интеллигента. Сказанное нисколько не должно умалять саму поставленную этой публикацией задачу: напомнить российским литераторам об исторической ответственности любого их шага,— и тут *ЛП* преодолевает свою критико-библиографическую направленность, обретая публицистическое звучание и превращаясь из издания для интеллектуалов в издание для интеллигентов.

Ив. Т.

Петро Григоренко

ВОСПОМИНАНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ УКРАИНСКИЙ

...Сражением у Чопа завершился первый период моего участия в боях за Карпаты. Странно это звучит по отношению к войне, где льется кровь, где гибнут твои боевые друзья, но время это оставило в моей душе светлые и теплые воспоминания. Взятие охватом с фланга почти без потерь мощного долговременного уала обороны противника наполняет душу торжеством. А дальше прямо-таки триумфальный марш. На путях наступления только разрозненные группы неприятеля. Только некоторые из них оказывают сопротивление, но делают это неорганизованно и без упорства. Из гор выходят и сдаются в плен одиночки и группы солдат и офицеров потерпевших поражение частей. И, наконец, капитуляция двух венгерских бригад. За весь период мы взяли более десятка тысяч пленных и богатые трофеи. Все это не могло не радовать.

Но еще сильнее действовало на нас отношение населения. Везде, где немцы разрушили мосты и дороги, к нашему подходу уже трудились, восстанавливая разрушенное, местные жители, как правило, под руководством священников. В разговорах выяснялось, что делали они это по призыву чехословацкого правительства из Лондона. При проходе наших войск через населенные пункты местные жители встречали их ликованием. Вот одна из картинок. Город Берегово был захвачен обходным маневром 151-го полка. Главные силы дивизии находились километрах в 20 от города. Командир полка подполковник Мельников, докладывая о взятии Берегово, в конце добавил:

— Вина здесь реки разливанные и на любой вкус. Заказывайте. К вашему прибытию приготовлю.

Я сразу понял опасность ситуации и прервал его шутки:

— Ценю вашу шутку насчет заказа, но вам я нешуточно говорю, что командир дивизии приказал: назначить вас комендантом Берегово. Главная ваша задача как коменданта — решительно пресечь любые попытки к пьянству, вплоть до применения оружия, и обеспечить полную неприкосновенность винных складов.

Через некоторое время Мельников снова вызвал меня на переговоры. Он доложил:

— От местных жителей нет отбою. Осаждают солдат и офицеров с вином и закусками. Хотят выпить вместе с ними. Что, мне и к ним оружие применять?!

— Не задавайте неразумных вопросов. Вы прекрасно понимаете, что делать. Разъясните, что выполняете боевую задачу и что выпивший может попасть под трибунал. Люди легче чувствуют ответственность за других. А людей не обижайте. Принимайте приношения в организованном порядке. Создайте для этого специальный приемный пункт. Да что я вас учить буду. Вы же сам учитель, директор школы. Вы что, в школе тоже звонили к начальству, просили указаний, что делать с учениками?

— Нет, сам справлялся. Да я, собственно, и здесь уже справился. Меня беспокоит другое. Из-за этого и докладываю. Вы идете дивизией тоже на Берегово. Если сюда ввалится вся дивизия, то мое командование «псу под хвост». В этом случае никто не преградит путь взаимному стремлению к попойке. Нельзя ли дивизией обойти Берегово или хоти бы не останавливать ее здесь?

Продолжение. См.: «Звезда», 1990. № 1—6.

Я согласился с ним. Сейчас же по частям было отдано распоряжение: в Берегово остановки не будет. Из колонн никому не выходить. Никаких подношений от местных жителей не принимать.

На практике же получилось вот что. Когда дивизия вошла в Берегово, центральная улица была заполнена народом. Люди стояли шпалерами по обе стороны проходящих колонн частей дивизии. Время от времени в воздухе проплывали корзинки, наполненные вином и снедью, и исчезали в колонне, а оттуда то и дело вылетали в обе стороны пустые бутылки и пустые корзины. Охрана колонн, которую мы заблаговременно организовали, ничего поделать не могла. Не стрелять же, в самом деле, по людям, выражающим свою радость и благожелательность. Я попытался воздействовать на народ лично. Двигаясь на «виллисе» рядом с колонной, я обращался к людям на их родном украинском языке с просьбой не давать «вонкам» вина. Но люди кричали: «Ура пану полковнику!» — и, продолжая снабжать колонну, грузили и в мой «виллис» бутылки с вином и разнообразные продукты, прежде всего различные фрукты и овощи. Пришлось бросить бесполезные уговоры и торопить колонну. Это было совершенно необходимо. Многие в колонне уже пошатывались, затевали хмельные песни, даже пританцовывали на ходу.

С трудом мы отошли от города километра на 4, и пришлось делать привал. Люди валились прямо на дороге и засыпали, благо погода была чудесиейшая. Такая погода сопровождала все наше сентябрьское наступление. И это тоже создавало подъем и праздничность настроения. В воздухе уже чувствовалось приближение победного конца. Как же этому не радоваться людям, прошагавшим от гор Кавказа до Карпат!

Проверив охранение, я вернулся в Берегово, где остановился штаб дивизии. Решил тоже отдохнуть. Пошли с Мельниковым по городу. Какие богатства дала карпатская земля труженикам этого местечка! Мы не переставали поражаться огромным винным погребам, заполненным винами, навалам фруктов и овощей, разнообразнейшей живности во дворах. Нам доставляло удовольствие знакомиться с трудолюбивыми и гостеприимными карпатскими украинцами. Радовали солнце, ощущение приближающейся победы и боевые успехи нашей дивизии. Думать о бедной жизни в нашей стране и сравнивать ее со здешней не хотелось, хотя фактов для сравнений уже набралось.

Я видел чудесно ухоженные карпатские леса. Говорил с лесниками и усвоил их разумный способ эксплуатации, при котором поколения людей рубят один и тот же лес, кормятся от этого, а лес как стоял, так и стоит, ни на одно деревцо не убывает. Теперь, когда карпатские леса фактически уничтожены и происходит необратимая эрозия горных почв, мне больно вспоминать о тогдашних разговорах с карпатскими лесниками и лесорубами.

Я говорил со многими сельскими тружениками. Жизнь их не была легкой. Карпатские почвы несравнимы с нашими таврическими черноземами. Но они трудятся с темна до темна и добиваются результатов. Насколько же зажиточнее, богаче живут они, чем мои односельчане — колхозники.

Жена прибыла в дивизию в середине сентября и работала медсестрой. Приехала не одна. Привезла моего старшего сына. Он грозился бегством на фронт, если его не отправят к отцу. Я определил его курсантом в учебную роту и дал ему испробовать все «прелести» фронтовой жизни в надежде на то, что он запросится вскоре к маме. Но мои предположения не оправдались. Он отлично учился, закончил команду снайперов и стал инструктором снайперского дела. Имел «личный счет» и был награжден орденом Славы III степени и медалью «За отвагу». После войны пошел в училище, закончил его, а впоследствии и Академию имени Фрунзе. В армии прослужил более 20 лет. Демобилизовался в звании полковника. Сейчас полковник запаса, живет под Москвой с женой, сыном и дочкой.

Недолго в этот раз повоевала жена. В начале декабря она по секрету сообщила врачу, что стала страшно бояться артиллерийских обстрелов, шума боя, воздушных налетов. Врач уверенно определила — беременность, хотя других признаков в то время еще не было. Но признаки появились. И перед самым Рождеством Христовым 1944 года она уехала, увозя от опасности нашего будущего сына. Вспоминая об этом, я впоследствии часто думал, как мудро устроен мир Божий. Жизнь своего плода для матери дороже, чем собственная жизнь. Ведь сколько раз она подвергалась смертельной опасности, а относилась к этому со спокойствием. Но вот в ней зародилась другая жизнь, и отдаленный орудийный выстрел начал вызывать страх. Страх не за собственную жизнь — страх за жизнь другого, еще неродившегося. Только Бог мог вселить это чувство. О, если бы люди научились так же, по-Божески, относиться к жизни ближнего своего, как прекрасен стал бы мир.

Но я забежал вперед. Дивизия в непрерывных боях набирается опыта, учится действовать в горах, привыкает к горам. Постепенно все командиры полков, батальонов, рот, взводов, младшие командиры и солдаты начинают понимать, что горы — наш союзник, что с нашим довольно слабым вооружением, при небольшой численности войск и недостатке боеприпасов, по дорогам выгодно двигаться, только когда противника нет или он

бежит. Теперь, как только противник в полосе дорог усиливается, части, не колеблясь, сворачивают в горы и начинают нажимать на его фланги и тыл.

К осени 1944 года запахло окончанием войны. На это указывал и характер прибывающих людских пополнений. Людей в стране уже не было. Готовилась мобилизация 1927 года, то есть 17-летних юнцов. Но нам и этого пополнения не обещали. От 4-го Украинского фронта требовали изыскания людских ресурсов на месте — мобилизации воюющих возрастов на Западной Украине, вербовки добровольцев в Закарпатье и возвращения в части выздоравливающих раненых и больных. Нехватка людей была столь ощутима, что мобилизацию превратили по сути в ловлю людей, как в свое время работорговцы ловили негров в Африке. Добровольчество было организовано по-советски, примерно так, как организуется 100-процентная «добровольная» явка советских граждан к избирательным урнам. По роду службы ни «мобилизацией», ни вербовкой «добровольцев» мне заниматься не приходилось, но из дивизии выделялись войска в распоряжение мобилизаторов и вербовщиков «добровольцев», и, возвращаясь обратно, офицеры и солдаты рассказывали о характере своих действий. Вот один из таких рассказов. «Мы оцепили село на рассвете. Было приказано в любого, кто попытается бежать из села, стрелять после первого предупреждения. Вслед за тем специальная команда входила в село и, обходя дома, выгоняла всех мужчин, независимо от возраста и здоровья, на площадь. Затем их конвоировали в специальные лагеря. Там проводился медицинский осмотр и изымались политически неблагонадежные лица. Одновременно шла интенсивная строевая муштра. После проверки и первичного военного обучения «мобилизованные» направлялись по частям: обязательно под конвоем, который высылался от тех частей, куда направлялись соответствующие группы. Набранное таким образом пополнение в дальнейшем обрабатывалось по частям. При этом была установлена строгая ответственность, вплоть до предания суду военного трибунала офицеров, из подразделений которых совершился побег. Поэтому надзор за «мобилизованными» западноукраинцами был чрезвычайно строгий. К тому же их удерживало от побегов то, что репрессиям подвергались и семьи «дезертиров». Мешала побегам и обстановка в прифронтовой полосе, где любой «болтающийся» задерживался. Удерживала и жестокость наказаний — дезертиров из числа «мобилизованных» и «добровольцев» расстреливали или направляли в штрафные роты.

«Добровольцев» вербовали несколько иначе. Их «приглашали» на «собрание». Приглашали так, чтоб никто не мог отказаться. Одновременно в населенном пункте проводились аресты. На собрании организовывались выступления тех, кто желает вступить в ряды Советской Армии. Того, кто высказывался против, понуждали объяснить, почему он отказывается, и за первое неудачно сказанное или специально извращенное слово объявляли врагом советской власти. В общем, многоопытные гэбисты любое такое «собрание» заканчивали тем, что никто не уходил домой свободным. Все оказывались либо «добровольцами», либо арестованными врагами советской власти. Дальше «добровольцы» обрабатывались так же, как и «мобилизованные». Наша дивизия получала пополнение из обоих этих источников. И, думаю, все понимают, что это пополнение не было достаточно надежным. Чтобы превратить «мобилизованных» западных украинцев и «добровольцев» из Закарпатья в надежных воинов, надо было не только обучить их и подчинить общей дисциплине, но и сплотить в боевой коллектив, дав им костяк из опытных и преданных Советскому Союзу воинов. Таковыми были наличный состав дивизии и пополнение, прибывающее из госпиталей. Последнее являлось нашим ценнейшим людским материалом, и его никогда не хватало. Чтобы выздоровевшие раненые и больные не оседали в тылах и не задерживались лишнее время в госпиталях, фронт устанавливал медслужбе, в какие сроки и сколько выздоровевших направить в боевые соединения фронта. За недовыполнение установленных норм или за опоздание с отправкой выздоровевших с медслужбы строго взыскивалось. Поэтому врачи в ряде случаев выписывали людей, которым надо было еще лечиться и лечиться. Эти люди прибывали обессилевшими — только что не на носилках.

Пополнение, поступающее из госпиталей, было настолько ценным, что встречали, осматривали и распределяли его лично командир дивизии, или я, или даже вместе. И в каждой партии обязательно находились люди, которых мы направляли в свой медсанбат для долечивания.

Однажды прибыла очередная партия пополнения из госпиталей. Я начал опрос, осмотр и распределение по частям. Представители частей тут же принимали выделенных им людей. Здесь же стоял хирург медсанбата, который осматривал ранения и решал, направить в часть или в медсанбат на долечивание. Еще при общем взгляде на двухшеренговый строй пополнения я обратил внимание на пожилого солдата, который как-то странно держал левое плечо. Человеку этому, как потом я выяснил, был 51 год, но для меня тогдашнего, 36-летнего подполковника, его вид представлялся чуть ли не стариковским. Перебирая одного за другим, я наконец дошел и до заинтересовавшего меня старика.

— Фамилия?

— Кожевников.

— А имя, отчество?

— Тимофей Иванович.

— Что у вас с плечом?

— Да это осколок его немного попортил.

— Вы откуда?

— Из-под Москвы.

— Давно воюете?

— Очень давно. Всю первую мировую войну провоевал. И в этой — в первый день пошел в ополчение, и вот до сегодняшнего дня.

— В каких войсках служили?

— Все время в пехоте. И в империалистическую, и теперь.

— Сколько раз ранены?

— Четыре раза в империалистическую. А в нынешнюю вот это,— двинул он головой в сторону левого плеча,— седьмая.

— Товарищ майор,— обратился я к хирургу,— осмотрите рану у Тимофея Ивановича.

Через некоторое время он доложил мне: «Рана еще открыта. Надо в медсанбат, минимум на месяц».

Закончив осмотр, я подошел к Тимофею Ивановичу.

— Я думаю, что вам уже хватит воевать в пехоте. Один из солдат моей личной охраны тяжело ранен и уже вряд ли вернется до конца войны. Если вы не возражаете, я сохраню эту должность для вас. Подлéчитесь и займете ее.

— Да если служить в штабе, то зачем мне медсанбат. И так заживет. Если вы берете меня в свою охрану, то я готов начать службу сейчас.

Я посмотрел на хирурга.

— Ну, что же. В штабе есть фельдшер. Значит, уход за раной будет обеспечен. А нести какую-нибудь службу мы заставляем и в команде выздоравливающих.

На том и порешили. Тимофей Иванович был направлен в комендантский взвод.

Сблизились мы с Кожевниковым очень быстро. Правда, близость эта была странной. Он молчун. Каждое слово из него, что называется, клещами тащить надо. Он ко мне был, безусловно, привязан, хотя ни в чем это обычно не выражалось. Я к нему тоже привязался. Но тут причина ясна. Меня привлекла его основательность в боевом отношении. Так получилось, что в первый же его выезд на передовую мы попали в сложную ситуацию. Наблюдательный пункт 129 полка, куда я поехал в сопровождении Тимофея Ивановича, был внезапно окружен венгерской частью. По дороге туда мы опасности не заметили. Тропу, по которой мы поднимались на довольно крутую гору, занимаемую наблюдательным пунктом полка, противник, к моменту нашего проезда, еще не перерезал.

Вскоре после нашего прибытия венгры пошли в атаку на высоту. Двигаясь вверх по крутому склону, они вели непрерывный огонь из автоматов разрывными пулями. Под горой трещали автоматы, наверху в нашем расположении — разрывные пули. Кто-то испуганно вскрикнул: сюда прорвались. Тимофей Иванович, который сосредоточенно распихивал по карманам обоймы патронов, буркнул: «А-а, детские игрушки. Хотят панику создать треском своих пулек». Потом обратился ко мне:

— Разрешите пойти в траншею — помочь. Там сейчас каждый человек нужен. А здесь делать нечего. Если они залезут в траншею, то тогда моя охрана мало пользы вам принесет.

— Много вы там пользы принесете со своей винтовкой. Автомата не захотели взять, а теперь с чем воевать? Берите хотя бы мой, а мне уж оставьте винтовку.

— Да зачем мне эта пукалка. Я с винтовкой в горах любую атаку отобью. Пока они будут царапаться на высоту, я на выбор всех перещелкаю.

В это время Александрову (командир 129-го полка) доложили, что венгры залегли, но накапливаются и явно готовятся к новой атаке. Александров поднялся: «Всем в траншею!» (Траншея была проложена вокруг всей высоты.) Он сам надел каску и взял автомат. Обратился ко мне:

— Разрешите мне идти. Для вашей охраны остаются кроме вашего солдата мой связист и разведчик.

— Нет, я тоже в траншею. Пойдемте, Тимофей Иванович!

Мы вышли. Кожевников уверенно повел меня. Выглядело, как будто он давно знает эту высоту. Интуиция это или он успел осмотреться, когда мы приехали, но мы с ним заняли удобнейшую позицию. Через несколько минут венгры поднялись и пошли вверх по склону.

— Ну вот, что вам делать с вашим автоматом? До противника не менее 200 метров. А я из своей винтовки вот того офицерика сейчас сниму.— И не успел я как следует рассмотреть фигуру, на которую он указывал, как она свалилась.

«А теперь вот этого... и вот этого... и еще этого...» За каждым выстрелом кто-то сваливался. Вставляя новую обойму, он как важнейший секрет сообщил мне: «Не успею дострелять эту обойму, как та часть цепи, что я обстреливаю, заляжет. Редкий винтовочный огонь нагоняет страх». И действительно, вторая обойма положила значительный участок цепи. Офицеры бегали вдоль нее, кричали, поднимали людей, но пошла в дело

третья обойма, и начали падать эти офицеры. Весь участок цепи, находящейся в зоне обстрела винтовки Кожевникова, вжался в землю.

— Сколько же вы, Тимофей Иванович, наделали сегодня вдоа и сирот...— раздумчиао произнес я.

— А ни одного.

— Как так?

— А я их не убивал. Я только подстреливаю. В ногу, в руку, в плечо. Зачем мне их убивать? Мне надо только, чтоб они ко мне ие шли, чтоб меня не убили. А сами пусть живут. Пуля штука нежная, чистая. Так что раны не тяжелые — быстро заживают.

И я понял — передо мной многоопытный солдат, который не только знает свое дело, но и смотрит на него как на всякий труд, с уважением и любовью, не шутит, не бравирует и не злоупотребляет своими возможностями (надо сделать так, чтобы меня не убили, а невольные враги мои пусть живут). Я почувствовал к нему огромное доверие и прямо-таки сыновнее почтение. Я проникся уверенностью — такой не подведет, в беде не оставит. После этого случая я уже никогда не выезжал на передовую без Тимофея Ивановича.

Я уверен, что истинная жизнь на войне и памятна прежде всего ситуациями критическими: для личной жизни и для жизни близких тебе людей. Для того чтобы описывать войну, или отдельные ее этапы и события, или боевые действия части, соединения, объединения, надо изучать архивы, воспоминания многих людей. Но я пишу не историю. Я рассказываю свою жизнь. Поэтому и поведаю прежде всего о случаях, в которых поставлена была в критические условия моя собственная жизнь.

Начну рассказ об этих эпизодах с событий на реке Ондава. Во всей полосе наступления 27 гв. корпуса эта река канализована. На участке нашей дивизии это выглядело так: само зеркало реки шириной около 60 метров. С обеих сторон река обвалована. Валы высотой около 5 метров, шириной до 15. Между каждым из валов и урезом воды — низменный, совершенно плоский пойменный берег, примерно по 30 метров шириной. За пределами валов в обе стороны от реки — мокрые луга. В нашу сторону около 3-х километров. Затем начинается лес. В сторону противника свыше 4-х километров. Далее у села Хардиште местность начинает повышаться. Мы подошли к Ондаве в середине ноября 1944 года и начали готовить форсирование. Своеобразие положения обеих сторон состояло в том, что боевые порядки полков первого эшелона могли располагаться только на валах и непосредственно за ними. Наш первый эшелон (129 и 310 полки) занимал вал восточного берега, противник — западного. Наш второй эшелон в лесу, противника — а деревне Хардиште. В этих условиях задача форсирования реки решалась захватом вала западного берега. Сбитый с вала противник будет сходить до Хардиште, зацепиться за мокрый луг он не сможет. И наоборот, если мы вал захватить не сможем, то вынуждены будем вернуться на свой берег, так как удержаться на 30-метровой полоске между валом и рекой невозможно. Сверху, с вала, вся эта полоса как на ладони, и оставшихся там людей противник перещелкает по одному, как куропаток. Исходя из этих соображений, мы составили план подготовки форсирования, рассчитанный на две ночи и один день. Само форсирование намечалось на рассвете после второй ночи. План был одобрен командармом, и работа началась.

Но вдруг, в тот же день, поздно вечером звонок Гастиловича Угрюмову. Меня предупредили, и я взял трубку.

— Угрюмов, твой сосед слева захватил плацдарм на Ондаве. Надо помочь.

— Чем? Перебросить артиллерию или стрелковый полк?

— Ты что, маленький? Разве так поддерживают при форсировании? Захватывают новые плацдармы, затем их соединяют. Сразу видно, что ты на Днепре не был.

«Сам-то ты ведь тоже не был,— подумал я.— А если бы был, то, может, понял, что Днепр это не Ондава».

— Товарищ командующий, — заговорил Угрюмов.— Мы готовим форсирование по утвержденному вами плану и форсируем реку в установленный срок без плацдармов.

— Перестань умничать. Я уже донес командующему войсками фронта о захвате плацдарма и указал, что боевые действия по захвату новых плацдармов развиваются. («Ах, вот в чем дело,— подумал я,— хотим, чтобы и у нас было, как на Днепре».) Так вот, немедленно передвинь полк Леусенко влево до своей левой границы. Там пройти всего 2 км. И на рассвете захвати плацдарм. Потом соединитесь с плацдармом левого соседа.

— Товарищ командующий, пройти там действительно 2 км, но мы же пришли только сегодня вечером и не проверили местность на минирование. Если начнут рваться мины, противник накроет нас минометным огнем, весь полк погубим. До противника всего 120—150 метров. При таком удалении успешно пройти перед его фронтом можно только в абсолютной тишине. А если люди начнут подрываться и стонать, минометы врага будут бить на звуки, потеряем весь полк.

— Вот если ты такой умный, все заранее знаешь, то пойдешь в полк сам и вместе с Леусенко организуешь дело так, чтоб переместить тихо и без потерь, а на рассвете захватить плацдарм.

— Но ведь и переправочные средства еще не прибыли!

— Ну вот, пойдешь и сам все организуешь. К утру плацдарм обеспечь.

Для меня абсолютно ясно — возражать Гастиловичу сейчас бесполезно. Единственный выход — показным повиновением затянуть время и найти какой-то разумный выход. И я включаюсь в разговор:

— Товарищ командующий, позвольте, я пойду к Леусенко. Как-никак, вы же знаете, я бывший сапер, так что форсирование по моей части.

Чувствую, он явно доволен моей просьбой. Видит в этом мое одобрение его приказа. Но себя не выдает. С видимым безразличием говорит:

— Ну, это там уж ваше дело, кому куда идти. Мне безразлично кто, но командир или начальник штаба обязан лично проследить за выполнением задачи.

Гастилович положил трубку. Угрюмов произнес: «Зайдите!»

Когда я пришел к нему, он спросил:

— Ну, что вы придумали?

— Ничего.

— А зачем же напросились?

— Чтобы придумать что-нибудь на месте. Теперь он считает меня своим союзником и с большим доверием отнесется к моим докладам и предложениям. А если б кончили разговор, не согласившись с ним, он бы ни одному нашему слову не поверил. Отдавайте распоряжение Леусенко.

По пути зашел в оперативное отделение, отдал необходимое распоряжение и пошел к себе. Жена встретила настороженным взглядом, но ни о чем не спросила.

— Вечером схожу в полк Леусенко,— сказала она.

Мы оба с большой симпатией относились к обоим Леусенкам. Они удивительно внешне подходили друг к другу, но не подходили к военной обстановке. Это были типичные украинские селяне, которых почему-то одели в военную форму. Иван — настоящий сельский «дядько», который, несмотря на молодые годы (около 30 лет), уже успел завоевать уважение своей хозяйственной сметкой. Среднего роста, широкоплечий, «кремезный», как говорят на Украине, он меньше всего подходил к карте и карандашу. Он во всем был основателен. Получив указание, долго выспрашивал о различных его деталях, как бы не веря в его целесообразность. Потом, не торопясь, обдумывал, советовался, но а сложной обстановке реагировал очень быстро, энергично, решительно. Буквально поражало его всегдашнее спокойствие. Я один раз его спросил:

— Вы когда-нибудь пугались чего-то?

— Було,— спокойно ответил он. И рассказал о том, как он с полком ходил а тыл противника и, обходя одну за другой позиции, занятые противником, наткнулся на позицию, которая не была занята, но охранялась собаками. Одна из собак совершенно неожиданно бросилась на него.

— Переляквавси (перепугался) насмерть,— говорил он.— Так переляквався, що аж руки тремтили май же пивгодины. (Так перепугался, что даже руки дрожали почти полчаса.)

— Ну и что же вы сделали с перепугу? — спросил я его.

— Собаку застрелив,— спокойно ответил он.

Полной его противоположностью была Вера. Представляя собой тоже характерный тип, она выглядела обычной цокотухой — не высокой, но очень плотной, грудастой. Это была украинская жена, у которой вся жизнь в муже и его хозяйстве. В полку многие ее не любили за то, что она докладывала мужу обо всех нарушениях дисциплины и непорядках, которые ей становились изаестными. Можно было слышать, например, такое: командир батальона докладывает Леусенко обстановку. Слышится вопрос: «А ты сам где находишься?» Несколько замявшись, тот докладывает. Вдруг арывается женский голос. «Не верь, Ваня! Он там-то и там...» — «Вера, уйди с волны! Я сам знаю, где он находится, и сейчас обучу его правильному ориентированию».

Веру, в связи с такими случаями, обвиняли во вмешательстве в дела полка. Партполитаппарат, недолюбливавший Ивана Михайловича, подбирал жалобы иа его жену, разбавлял их сплетнями. И все это шло а политдонесения. И чем дальше от передовой читались сии бумажки, тем страшнее выглядела обстановка в полку. Неоднократно Леусенко предписывалось из армии и фронта отправить жену в другую часть. Но Иван Михайлович был тверд. Бумажки эти подшивал, но не отвечал на них. Когда же с ним разговаривал кто-либо из высокого начальства, он отвечал: «Не понимаю, почему моей жене нельзя служить в одной части со мной. Она что, не выполняет свои должностные обязанности?» Но именно в этом ее обвинить было нельзя: она была высококвалифицированным, первоклассным радистом. Формально она не принадлежала к составу полка. Была радисткой батальона связи дивизии и как таковая была послана в полк для работы на радионаправлении дивизия — 310 сп. Связь она держала отлично. Полк неоднократно отрывался на большие расстояния, но радиосвязь действовала бесперебойно. Надо было слышать, как радисты дивизии, принимая телеграммы из 310 сп., любовно говорили: «Ну пишет! С Верой не пропадешь».

Но в одном — в постоянном стремлении защищать интересы мужа — она была неисправима. Моя жена тоже попыталась по-дружески посоветовать ей не касаться служебных дел мужа. Но она удивленно восклицала:

— Ну как же так! Полк Ванин, а Ваня мой! Как же я могу молчать, когда его обманывают?

— Ну, так вы делайте это, когда остаетесь вдвоем. А вы говорите при всех.

— А что мне скрывать! Что я, неправду говорю?

В общем, жена моя тоже потерпела поражение. Вера оставалась непреклонной в защите «семейных интересов», как были непреклонны ее предки по женской линии в защите своих семей и своего хозяйства. Я с самого начала пошел по другой линии. Никого ничему учить не стал, а занял позицию защиты этих двух любящих людей. Получив первое, после моего прибытия в дивизию, распоряжение об откомандировании Веры, я не стал его пересылать в полк, а пригласил заехать Леусенко. Мне надо было узнать его истинную позицию. Он твердо заявил, что без Веры в полку не останется. И я отписал в армию, что красноармеец Вера Леусенко в 310 полку не служит. Она — красноармеец — радист батальона связи. Тогда прислали распоряжение откомандироваать Веру из дивизии. Я отаетил, что она имеет высокую квалификацию, и батальон ее никуда откомандировать не желает. Прислали подтверждение, потом напоминание. Тогда я, воспользовавшись приездом в дивизию Гастиловича, рассказал ему об этой истории. Он раздраженно махнул рукой: «А это все брежневская братия. Любят под чужие простыни заглядывать. Не отвечали и не отвечайте в дальнейшем. А я там у себя в штабе скажу, чтоб прекратили». Больше напоминаний не было. И Вера продолжала заботиться о Ванином полке.

Вот и сейчас, едва я вошел в дом, занимаемый Леусенко, как Вера бросилась просвещать меня.

— Хватит, Вера,— промолвил Иван.— Бывало и похуже, и сейчас обойдется.

Не задерживаясь, мы с Иваном пошли.

— До чего же пакостно на душе. Больше всего не люблю рисковать жизнью без смысла,— проговорил Иван.

— Почему же без смысла? Очень даже со смыслом. Спасти десятки, а может, сотни людей.

— Да сам-то смысл бессмысленный, Петр Григорьевич, ведь можно же было не отдавать этот идиотский приказ о захвате плацдарма. Какие тут плацдармы, когда вся оборона 15 метров глубиной. Захватил вал, и всей обороне конец. Зачем же тут плацдарм? Да и где? Внизу под валом, у уреза воды?

— Ну, сейчас речь не об этом. Приказ уже есть. Надо найти способ его выполнения. С меньшим уроном для полка.

Пришли к реке. Батальоны, прижавшись вплотную к валу, отдыхают. На валу, в окопах, охранение. Противник все время настороже. Бросает ракеты, обстреливает из пулеметов и минометов. Полковые саперы продолжают проверку пути перегруппировки в новый район. Прибыла рота саперного батальона дивизии. С маршрута уже снято полковыми саперами большое количество мин. Но дивизионные снимают еще и еще. Вот взрыв. Потом еще и еще. На каждый взрыв противник дает минометный налет. Калечатся и гибнут люди. Ночное разминирование — горе. Перед рассветом решаем идти. Противник как будто успокоился. В полку настроение тревожное. Сообщаем, что путь разминирован. Леусенко заявляет — пойду в голове колонны. Люди больше поверят в надежность разминирования.

— Ну что ж, и я пойду с тобой. Если моя есть, то дождется меня, даже если пойду последним,— пытаюсь шутить я.

Когда уже построились, передали еще раз по колонне: «Тишина полная!»

Тимофей Иванович стал впереди меня:

— Будем идти, ставьте свою ногу точно в мой след! — прошептал он.

— Вам положено за мной идти. Вот вы и будете ставить в мой след.

Вмешался Леусенко. В конце концов решили — первым пойдет командир саперной роты, потом ординарец Леусенко, потом он сам, затем Тимофей Иванович и затем я. Передаем по колонне: ставить ногу в след впереди идущего, и пошли.

Удача сопутствовала нам. Пришли в новый район в абсолютной тишине. Вскоре прибыли три складные деревянные лодки. В предрассветной дымке незаметно для противника спустили на воду и бесшумно переправились. Пехота бросилась на вал, но поднялась тревога, и вражеский огонь прижал нашу пехоту к земле. Было ясно: вал без хорошей артподготовки не взять. Приказываю Леусенко:

— Давайте сигнал на общий отход.

— А как же с плацдармом? — сомневается он.

— Подумайте, как вывести всех, в том числе раненых и убитых. За остальное отвечаю я.

Доложил Угрюмову. Сказал, что плацдарм не стал захватывать на свою ответственность. Некоторое время спустя позвонил Гастилович. Довольно мирно и спокойно спросил: «Ну, что там у тебя?» Я рассказал ход событий. Закончил словами:

— Рассчитывал внезапно захватить хотя бы кусочек вала. Тогда бы зубами вцепились в него. Оставлять людей внизу под валом на истребление считал недопустимым. Перескочить на ту сторону ничего не стоит. В любой момент, если прикажете, перескочим, но оставаться там, если захватить вал, неаозможно.

— Что намерены делать?

— Мы вскрыли при первом броске огневую систему противника. Сейчас готовим прямую наводку и будем давить. Потом еще раз атакуем с целью захвата хотя бы небольшого участка вала противника.

— Ну что ж, действуйте! — спокойно и благожелательно согласился Гастилович.

Мы еще дважды побывали на том берегу, но оба раза вынуждены были возвратиться. Противник все время перебрасывал на этот участок новые силы. Все три наши лодки вышли из строя, но потери при трех форсированиях были не столь большие: 5—6 убитых и около двух десятков раненых. Я доложил о гибели всех наших переправочных средств, и около двух часов дня нам разрешили прекратить атаки и аозвратиться к своим штабам. Но прежде чем возвращаться, нам захотелось лично увидеть «плацдарм», который захватил сосед. Мы уже примерно знали, что там делается, так как наши туда уже ходили для связи. Теперь мы, сидя на НП комбата, увидели все воочию и услышали рассказ очевидца. Перед нами на узкой песчаной полоске между противоположным урезом воды и подножием вала серели несколько десятков лежащих человеческих фигур.

— Их переправилось 34,— говорил комбат.— Несколько погибли во время атаки вала. Остальных я мог вывезти, но... «Нет, ни в коем случае. На Днепре, если даже метр захватил от воды, то назад ни шагу». И вот видите. Все они перебиты. Вон... посмотрите... Только те двое подают признаки жизни. Остальных перебили.

Я с тоской смотрел на эти несчастные останки, свидетельства шаблона и бездушия, и думал: «Да, это действительно по-нашему». Как-то в одном из своих выступлений Сталин с гордостью говорил о том, что все советские люди прониклись идеей индустриализации, и приаел пример, как секретарь одной из сельскохозяйственных областей упрашивал в Госплане, чтоб в его области запланировали строительство хоть «маленького гиганта». Так вот, маленький гигантизм проник и в армию. Что было на Днепре, почему не быть у нас на Ондаве. Днепр — река, и Ондава — река, тоже течет в одну сторону. А местные условия — чепуха. Что с ними считаться! Они непривычные. Не звучат. Другое дело — плацдарм. Пусть гибнут люди без смысла, зато о нас начальство услышит.

С этими невеселыми мыслями мы и дошагали до командного пункта Ивана. Иван зашел первый, и Вера истошно закричала, бросившись к нему: «Ванечка, живой!!!» Иван выпил стакан водки и повалился на кроаать. К моему удивлению, здесь на КП была и моя жена. Узнав об операции, она пробиралась на передний край. Ее задержали. Кстати, она действноиала охлаждающе на Веру, которая была близка к истерике. Зина молча подошла ко мне, также молча я обхватил ее за вздрагивающие плечи и не так понял, как почувствовал, что́ пережила она за эти часы разлуки. Так и не сказав ни слова и не простившись с хозяевами, мы пошли к машине и поехали к себе. Я не зашел в штаб. Не доложил о прибытии Угрюмову. Но Николай Степанович понял меня, как поняли и подчиненные. Я возвращался к жизни. Жена встретила похороненного. Нам надо было ожить и почувствовать себя живыми. С этого дня зародилась и новая жизнь: наш сын Андрей. Мы и до сих пор в шутку его называем князь Ондавский или по названию населенного пункта, где тогда размещался штаб дивизии, князь Угор-Жиновский.

А с форсированием все разрешилось очень просто. Мы передали все переправочные средства 129 полку. На рассвете следующего дня он одним броском форсировал Ондаву и через час уже овладел Хардиште, отрезав пути отхода протианику, оборонявшемуся против 310 полка. На тех же переправочных средствах, вторым броском, переправился 151 полк. Саперы тем временем построили мост, и 310 полк, который теперь оказался во втором эшелоне, перешел по мосту. Плацдармы, как видим, никому ни для чего не были нужны.

Следующий эпизод я расскажу исключительно для того, чтобы показать, как складываются иногда судьбы на войне, как отмечаются не те, кто подвиги совершает, а те, кто сумеет себя «показать», заслужив покровительство начальства.

Когда я только прибыл в дивизию, начальник политотдела Паршин, информируя меня о политико-моральном состоянии частей, дал характеристику и начальникам штабов полков. Особенно неблагоприятно отозвался он о начальнике штаба 151 сп Якове Гольдштейне: «Еврей, был в плену у немцев и остался жив. Даже лечился в немецком госпитале. Партбилет, говорит, уничтожил, но доказательств нет. В партии не восстановлен. Политическим доверием не пользуется, но кто-то поддерживает, потому что, несмотря на наши политдонесения, остается начальником штаба полка. Советую тебе как следует присмотреться к нему. Подозрительная личность».

Естественно, что я настроился предвзято и был сухо официален при нашей первой встрече. Но странное дело, внутренней подозрительности у меня не возникло. Наоборот, от всего его внешнего вида, от его застенчивой улыбки на меня повеяло теплом. Весь он был мне симпатичен. Его красивое лицо с открытым прямым взглядом, его невысокий рост,

стройная подтянутая фигура, одесский говорок, краткие толковые ответы на мои вопросы и даже его инвалидность — левая рука вывернута полусогнутой ладонью назад — привлекали меня.

— Что у вас с рукой? — спросил я.

— Да это танк немецкий прошелся по ней,— смущенно ответил он.

— А что же, в госпитале не смогли ее хотя бы поставить в правильное положение?

— Да, видите ли, я долго не мог попасть в госпиталь, и все срослось без вмешательства хирурга. Потом врачи предлагали оперироваться, но обстановка была такая, что я отказался.

Я ушел с этой первой встречи, неся в груди своей противоречивые чувства. С одной стороны, действительно, еврей — и немцы не тронули и даже лечили в своем госпитале. Но, с другой стороны, весь опыт моего общения с людьми указывал на то, что если человека я с первого взгляда интуитивно воспринимаю с симпатией, то это хороший человек. Гольдштейн вел себя просто, без заискивания и подчеркнутой официальности. Он оставил тепло в моей душе. И с этим я не мог не считаться.

Не желая разгадывать шарады, я в тот же день зашел к начальнику отдела контрразведки СМЕРШ.

— Я хотел поговорить с вами о Гольдштейне. Если нельзя, и уйду. А если вы можете что-то сказать мне, то прошу.

— А что вы хотели бы узнать?

— Я хотел бы, чтобы вы сообщили мне все, какие вы имеете или какие можете сообщить компрометирующие данные на него.

— У нас таких данных нет.

— Ну, а как же плен? Еврей был в плену и жив.

— А вы знаете, как он попал в плен и как оттуда вышел?

— Нет, не знаю.

— Он фактически в плену не был. После разгрома штаба полка на реке Десне немцы подобрали всех наших тяжелораненых и убитых и свезли в Мозырь, а там сбросили в заброшенном сарае. Через два дня Мозырь заняли партизаны. Они осмотрели этот сарай и всех, кто еще был жив, свезли в партизанский госпиталь. Потом, когда они поднялись на ноги, передали нашим войскам. Среди этих спасенных партизанами был и Гольдштейн. Немцев он даже и не видел, хотя формально был в плену.

— Мне совсем иначе преподнесли.

— Кто? Паршин, наверное. Это простой подхалимаж. Паршин хочет угодить своему начальству, которое очень не любит евреев. Не обращайте внимания. Оснований для недоверия к Гольдштейну нет. Так что судите его только по работе.

Чтобы еще лучше разобраться в этой истории, я при очередной встрече попросил самого Гольдштейна рассказать о его пленении. И вот что я услышал.

151 полк форсировал Десну. Перебрался на ту сторону и командир полка со штабом. Вскоре начались немецкие танковые контратаки. Танки прорвались в район КП полка. Весь личный состав КП участвовал в отражении танков, и они были отбиты. Но был убит командир полка и тяжело ранен комиссар. Их отправили на исходный берег. В командование полком вступил Гольдштейн, пост комиссара занял секретарь партбюро. Гольдштейн доложил обстановку командиру дивизии, закончив доклад так: «Я отрезан от батальонов. Связи с ними не имею. Личного состава на КП, вместе со мной и комиссаром, 18 человек. Осталось всего 8 противотанковых гранат. Даже пустяковую танковую атаку отбить не сможем. Прошу разрешения эвакуироваться на исходный берег». Но командир дивизии отход категорически запретил.

— Умрите все, но к реке противника не подпускайте! — приказал он.

Получив такой приказ, Гольдштейн и новый комиссар начали готовиться к последнему бою. Комиссар собрал партийные билеты и предал их огню. Гольдштейн подозвал агитатора полка и, вручив ему приказ батальонам, приказал спуститься к воде и под прикрытием обрывистого берега пробежать полтора километра до 1-го батальона и передать ему приказ. Агитатор страшно струсил и, заикаясь, попросил дать ему кого-то в сопровождающие. Комиссар хотел прикрикнуть на агитатора, но Гольдштейн посочувствовал ему и разрешил взять своего ординарца. Вскоре после их ухода началась танковая атака. Гольдштейн был тяжело ранен. Через его левую руку прошла гусеница немецкого танка, и начался тот своеобразный плен. Гольдштейн говорил, что он помнит о своем пребывании в мозырском сарае только то, что ему страшно хотелось пить. И когда он приходил в себя, то он готов был пить даже мочу, но она почему-то не шла. Это его мучило и раздражало. Он думал: «Когда не нужно, так она идет часто, а теперь совсем нет».

Вернувшись в дивизию, он подал заявление о восстановлении в партии. И хотя исполнявший обязанности комиссара, давно уже восстановленный в партии, подтвердил, что вместе со своим и другими партбилетами управлении полка сжег и партбилет Гольдштейна (он как комиссар имел на это право), Гольдштейн не был восстановлен. В мотивировке отказа значилось и такое: «Гольдштейн имел полную возможность уйти от плена, о чем свидетельствует пример тов. Н. (агитатора полка), но не сделал этого и трусливо уничтожил партбилет». Отвечая, Гольдштейн сказал: «Я выполнял приказ. Уйти я действительно мог. Мы сидели над обрывом, и под нами стояли лодки, готовые к спуску на воду. Стоило спрыгнуть вниз, сесть в лодку и в добром здравии вернуться на свой берег. Но я имел приказ умереть, но не отходить. Я выполнил приказ. Был бы я трусом, если бы не сделал этого. А тов. Н., которого вы мне ставите в пример, моего приказа не выполнил. К сожалению, я не знаю, как у него там все произошло, но думаю, что не выполнил его по трусости». За это замечание Гольдштейну в формулировку отказа записано еще и такое: «Клевещет на коммуниста Н., обвиняя его в трусости». Но правда, бывает, проявляется совершенно неожиданно.

Принимаю как-то очередное пополнение из госпиталей. Иду от одного к другому, опрашиваю. Подхожу к очень живому парнишке лет 22-х.

— Фамилия?

— Гришанов.— Что-то знакомое звучит в этом слове. Я уже где-то слышал эту фамилию. Пытаюсь вспомнить. И задаю новые вопросы.

— Давно воюете?

— С первого дня.

— В каких частях служили?

— В пехоте. Служил и в этой дивизии.

— В каком полку?

— В 151-м. Был ординарцем у начальника штаба.— Так вот откуда мне известна эта фамилия. Гольдштейн называл.

— А почему вы ушли из ординарцев?

— Да так получилось. Начальник штаба убит. А потом и меня тяжело ранили.

— А как фамилия начальника штаба?

— Гольдштейн.

— Выйдите из строя. Я закончу осмотр, и поговорим.

Закончив осмотр, я позвал его с собой.

— Ну, так расскажите, как же это вы, оставив своего начальника умирать, пошли спасать свою шкуру.

— Я тут, товарищ полковник, ни при чем. Мне Гольдштейн приказал сопровождать агитатора полка с приказом в первый батальон. Когда мы спустились вниз, он мне приказывает спускать лодку на воду. Я выполнил и говорю: «Разрешите идти обратно?» А он направляет на меня автомат и говорит: «Садись на весла! Я приказываю! За невыполнение пристрелю». Пришлось грести. На том берегу я снова прошу: «Разрешите мне вернуться к начальнику»,— а он: «Идите вперед!» — и снова за автомат. Пришлось идти. Но вот зашли в лесок, я нырнул в кусты и обратно. Он не стрелял. Видно, шуму побоялся. Я добежал до переправы, сел в лодку и на ту сторону. Когда причалил, немецкие танки уже утюжили КП. Сам видел, что мой начальник уже лежал убитый и по нему танк прошел. Хотел дождаться, пока немцы уйдут, чтобы забрать начальника и похоронить по-человечески. Но к немцам пришли повозки, и они, побросав в них трупы, куда-то повезли. После этого я пробрался в 1-й батальон и там был тяжело ранен.

Я сказал ему, что Гольдштейн жив и по-прежнему начальник штаба в 151-м полку. Гришанов сразу же запросился к нему. Я сказал:

— Это мы посмотрим, захочет ли он тебя взять.

— Захочет, захочет! — закричал он.— Вот позвоните!

Я позвонил.

— Яша,— спросил я,— ты знаешь такого Гришанова?

— Ну как же, это мой ординарец.

— А как ты к нему относился?

— Да я просто любил этого мальчика.

— А почему же не разыскал?

— А разве я не говорил? Некого искать. Его убили в тот же день в 1-м батальоне.

— Он жив. Сидит вот напротив меня. Прибыл с пополнением.

— Отдайте мне его,— жалобно произнес он.— Буду вечным должником.

— Ладно, бери, но ему я поставлю условие.— Я повернулся к Гришанову и, держа микрофон у рта, сказал: — Вы собственноручно напишете то, что сейчас рассказали, и передадите мне завтра утром.

Получив запись гришановского рассказа, я подал заявление в армейскую партокомиссию с требованием исключить из партии как шкурника и труса бывшего агитатора полка, а ныне инструктора политотдела коммуниста Н. Но его дело так и не разбиралось. Вместо этого его куда-то перевели из дивизии. В том же заявлении я просил восстановить в партии Гольдштейна. Эта просьба, возможно, была бы удовлетворена, но требовалось личное заявление Гольдштейна, а он писать отказался.

Сработались мы с Гольдштейном великолепно. Он понимал меня буквально с полуслова и был незаменим как штабной работник. Но он был вместе с тем просто мужественным человеком.

Дивизия находилась во втором эшелоне армии. В конце дня был получен приказ

выдвинуться в первый эшелон на новом направлении. Произойти это должно было следующим образом. С востока на запад вдоль шоссе наступала 137 дивизия. От этого шоссе перпендикулярно на север отходили две дороги, расстояние между ними 10—12 км. Та, что восточнее, пройдя 10—12 км на север, упиралась в горную деревню и на этом заканчивалась. Вторая (западная), пройдя тоже 10—12 км на север, параллельно восточной, сворачивала под прямым углом в западном направлении и шла дальше, параллельно основному шоссе. Если пройтись карандашом по обеим этим дорогам и отрезку шоссе между ними, то пунктирная линия между северной окраиной горной деревни и поворотом 2-й перпендикулярной дороги на запад закроет правильный квадрат. Вот по этой пунктирной линии нам и приказано было за ночь выйти к западному повороту второй дороги и развить наступление вдоль нее на запад, то есть наступать параллельно 137-й дивизии. По карте все выглядело просто. На самом деле — задача была невыполнимой. Уже по карте было ясно, что местность, по которой мы проложили пунктирную линию, непроходима. Нагромождение крупных каменистых гор, обрывы, ущелья были неприемлемы для колес. Да и пешеходных троп не было ни одной. Это все было ясно, повторяю, и по карте. Опрос местных жителей дал еще более безрадостную картину. Все они в один голос заявляли, что без специального альпинистского снаряжения туда соваться нельзя. Даже с этим снаряжением прекрасно тренированным людям это переход на несколько дней. Соваться на такую местность ночью, да еще с артиллерией и обозами, было бы безумием.

Николай Степанович болел. Я позвонил ему в медсанбат и спросил, не сможет ли он приехать. Сказал, что дивизия попала в опасную ситуацию. Он приехал. Я рассказал и изложил, как, по-моему, выйти из положения. Я предлагал перед рассветом, когда людям особенно трудно не спать, пройти через боевые порядки 137-й дивизии, дойти до второй (западной) дороги, повернуть по ней на север и, следуя ее ходу, выйти на заданное нам направление. Николай Степанович усомнился в реальности такого плана. Слишком много препятствий. Может запротестовать 137 дивизия, а противник может просто не дать нам ходу. Прорывать же в чужой полосе, да еще без ведома командарма, невозможно. Я стоял на своем, утверждая — стабильного фронта нет, поэтому все дело в том, чтобы та наша часть, которая пойдет в голове, действовала решительно. В конце концов, я его убедил. Он сказал: «Ну, действуй. Отвечать все равно тебе. Но вот, кому вести голову?» Я считал, что от того, кто возглавляет расчистку дороги для движения дивизии, зависит 90 процентов успеха, и предложил поставить на это дело Гольдштейна.

Яша провел операцию классически. Развивалось все так. Впереди шел разведвзвод полка. За ним разматывался провод, конец которого был у Гольдштейна, который шел во главе роты, усиленной батареей 45-мм орудий. От Гольдштейна новый провод к батальону, усиленному артдивизионом. Затем остальные силы 151-го полка. Затем артполк дивизии и 310-й полк. И затем остальные силы дивизии.

Все произошло великолепно. У противника на дороге оказалось только два орудия и тяжелый пулемет с небольшим пехотным прикрытием. Разведчики, действуя финками, тихо сняли этот опорный пункт, и колонна двинулась. Самое удивительное в том, что огневые средства противника, прикрывавшие шоссе со скатов окружающих высот, огня не открывали, хотя утром оказали сопротивление 137-й дивизии. А эта последняя, не заметив, что через ее боевые порядки прошла другая дивизия, утром начала обычное наступление. Мы же к этому времени продвинулись в глубь расположения врага на 38 км, считая от горной деревни. Фактически же, считая по шоссе, 44 км. При этом взяли более 7 тысяч пленных. Сеял мелкий холодный дождик, и неприятельские войска набились в дома вдоль дороги. Оттуда их тепленьких и изымали наши части.

Гольдштейн дожил до конца войны. Демобилизовался. Куда уехал, я не знал. Но однажды на улице в Запорожье Яков встретил моего старшего брата Ивана и, обратившись к нему, спросил, нет ли у него брата Петра. Так я узнал адрес Гольдштейна. Бывая в Запорожье, заходил к нему. Но общих интересов уже не стало. Встречаясь, мы могли только выпить и вспомнить дни боевые. А этого недостаточно для прочной дружбы.

Расскажу о событиях, связанных с занятием чехословацкого города и важного железнодорожного узла Попрад.

Измотанная почти непрерывными боями дивизия не смогла преодолеть усилившееся сопротивление противника и перешла к временной обороне. Николай Степанович, в связи с открывшейся старой раной, убыл в медсанбат. Оставшись за командира дивизии, я сосредоточил все внимание на разведке. Фронта сплошного ни у нас, ни у противника не было. Фланги и тыл дивизии открытые, что чревато всякими неожиданностями. Чтобы их не допустить, разведка и обшаривала местность вокруг на большую глубину. Дошли и до Попрада и установили: у противника нет ни ближайших, ни глубоких резервов. Только войска, находящиеся в непосредственном соприкосновении с нами. Возникает идея совершить глубокий обход и захватить Попрад, где неприятельских войск тоже нет. Тем самым, мы полагали: противник, находящийся в боевой линии, будет отрезан от своих тылов и подвергнется разгрому. Поехал к Николаю Степановичу в медсанбат. Обсудили. Я ему рассказал о маршруте для обхода, сказал, что разведкой маршрут проверен, и я думаю, за двое суток мы его пройдем. Николай Степанович одобрил, но посоветовал не

зарываться. Если возникнет опасность тылу дивизии, то вернуться. А чтобы это можно было сделать, армию о своем намерении не информировать.

— А то, если Гастилович «заболеет» этой идеей, то погонит вперед, даже если возникнет угроза гибели дивизии.

На том и порешили. Двое суток, почти без сна, шла дивизия по горным тропам, таща с собой артиллерию и боевые обозы. 30 января 1945 года в середине дня Попрад был занят практически без боя. Немногочисленные тыловые подразделения немцев сдались в плен. Были захвачены огромнейшие трофеи: склады в городе и самые разнообразные ценности в вагонах. Железнодорожными эшелонами заставлены были все станционные пути и обе линии железнодорожного кольца вокруг Попрада. Комендантом города был назначен Леусенко, и ему было приказано взять под охрану трофеи и обеспечить порядок в населенном пункте. Охрана трофеев на железной дороге была возложена на 129-й полк. 151-му полку было приказано выдвинуться по шоссе на запад и занять населенный пункт Завадка, в 15 км от Попрада. Во все остальные стороны была выслана разведка. Артиллерия встала на огневые позиции. Только убедившись, что непосредственная опасность нам не угрожает, я вызвал Гастиловича и доложил, пользуясь кодированной картой, что занял Попрад.

— Постой! Я разберусь. Повтори еще раз.

Я повторил.

— Погоди! Мне надо карту развернуть. Этого у меня на карте нет. Ну вот, развернул. Повтори еще раз.

Я повторил.

— Не знаю, у меня какая-то чепуха получается. А ну, давай открытым текстом.

Это категорически запрещено. В крайних случаях можно применять открытую передачу, но нельзя одновременно давать и кодовое и открытое название местных предметов, так как это влечет за собой компрометацию кода. Но Гастиловичу возражать было бесполезно, поэтому я сказал:

— Сейчас дам, но только прошу приказать штабу немедленно сменить код.

— Хорошо. Давай!

— Занял Попрад.

Молчание. Потом с сомнением:

— А тебя не обманывают?

— Меня обмануть нельзя. Я говорю с вами из Попрада.

— А проехать к тебе можно?

— Можно. Надо проехать в мои тылы. А оттуда вас проводят.

Перед самым заходом солнца Гастилович приехал с группой штабных офицеров и с охраной. Приехал и сразу же:

— Надо к утру вот сюда выйти.

Я быстро прикинул — 60 км, не меньше.

— Люди очень утомлены. Двое с половиной суток без сна и отдыха.

— Петр Григорьевич, надо. Ты же посмотри. Шоссе идет по узости, чуть не по ущелью. Ротой закрыть можно. Надо, пока противник не опомнился, выйти сюда. Здесь, смотри, плато широкое начинается. Тут нас уже не задержать.

Но я и сам видел — Гастилович прав. Умница Гастилович всегда вперед смотрел. У него был незаурядный ум и военное дарование. Жаль, система все подпортила. Появилась наклонность к шаблону, а самое худшее, что перенял от вышестоящих, подстраиваясь под них, грубость, хамство. Но сейчас ему не перед кем было себя «проявлять», и он мягко, задушевно убеждал:

— Передай в полк, что выйдете к плато, и отдых. Я уже приказал 24 дивизии форсированным маршем выдвигаться за вами. Она вас и подменит. А вам неделя отдыха. И награды, конечно. Надо к утру выйти,— подчеркнул он еще раз.— Ведь сколько людей потеряем, если противник запрет узость.

— Хорошо, товарищ командующий, выйдем. Но кому мне передать охрану трофеев и наблюдение за порядком в городе?

— Не беспокойся об этом. Снимай все войска свои и иди. Здесь штаб армии позаботится.

Выйдя от командующего, я сразу позвонил в Завадку, приказал лично командиру полка выступать и к утру достигнуть плато. Он пожаловался на большую усталость людей. Я, как и Гастилович, сказал, что «надо», и пообещал отдых и ордена и еще раз потребовал немедленно выступать. Вскоре прибыли Александров и Леусенко. Поставил и им задачу: «Следуя справа (129) и слева (310) от шоссе по горным тропам, наблюдать за обстановкой на шоссе. Если подойдет противник и остановит продвижение 151-го полка, ударить противнику во фланг и тыл и освободить дорогу для беспрепятственного движения 151-го полка». Отпустил. Приказал выступать немедленно. У самого глаза слипаются. Думаю, солдаты не в лучшем состоянии, поэтому рекомендовал офицерам своим примером воздействовать на солдат, следуя в общих колоннах. Чтобы разогнать сон, помылся. Захотелось есть. Поужинал. И снова так спать хочется, что за час сна все бы отдал. Подкатывается

коварная мысль — а что, в самом деле, почему бы и не подремать часок, на машине быстро догоню. С трудом отгоняю эту мысль. Встряхиваюсь и выезжаю. Подъезжаю к Завадке. Два ряда домов прижались к единственной улице, отходящей под примым углом влево от шоссе. В селе абсолютная тишина. Хочу проехать мимо, считая, что там никого нет, все ушли. Но уже проехав, в темноте заметил идущего с котелком солдата. Развернул машину. Подъехал к солдату:

— Какого полка?

— Сто пятьдесят первого, товарищ подполковник.

— А где штаб полка, знаете?

— Вон там, в том доме,— показывает.

Подъезжаем. В первой комнате придвинутый торцом к окну продолговатый обеденный стол. Справа между столом и стеной деревянная крашеная кушетка. На столе полевой телефон. На кушетке, вытянувшись навзничь, в шинели и ремнях, подложив ушанку под голову, спит крепчайшим сном подполковник. Присматриваюсь при слабом свете керосиновой лампы — Тонконог, командир 151-го полка (назначенный вместо убывшего по ранению Мельникова). Бешенство охватывает меня. Отбрасываю один конец стола от кушетки. Подхожу к ней вплотную, хватаю спящего за концы воротника и рывком ставлю его на землю. «В трибунал захотели!» — выдыхаю я ему прямо в лицо, с которого сон как будто смыло.

Побелев до желтизны, он умоляюще произнес: «Простите, товарищ подполковник. Сам не знаю, как это произошло. Как в подземелье провалился после вашего звонка. Мы наверстаем, товарищ подполковник!»

Гнева моего как не бывало. Я вспомнил, что со мной самим было полчаса тому назад, и понял, как это произошло. Человек прошел грань возможного и упал в сон, а поднять, видимо, было некому. Спал не только командир полка, спал весь полк.

— Поднимайте людей, и быстрее вперед.

Полк выполнил свою задачу. Как и в предыдущие двое суток, когда части дивизии двигались к Попраду, я шел в общей колонне и видел, как тяжко давался этот путь. Многие засыпали на ходу и двигались с закрытыми глазами. Немцы появились перед колонной на джипе. Обстреляли и разбросали мины на дороге. Я видел, как шли люди, перешагивая через мины в полусонном состоянии. Но к утру на указанный рубеж части вышли.

Командный пункт дивизии развернули в помещичьем доме, напоминавшем крепость, километрах в трех от передовых подразделений 151-го полка. Дом большой. С толстыми стенами, сложенными из гранита. Комнаты в доме темные, мрачные. Но настроение у меня приподнятое, и я на это не обращаю внимания. Хочу помыться и проехать в части, посмотреть, в каком виде люди дошли, и сказать им теплое слово.

Есть за что. За трое суток мы прошли более 150 км.

В это время телефонный звонок. Наверно, командарм, думаю я. Доброе слово сказать хочет. Что же еще! О выполнении задачи и уже доложил начальнику штаба. Беру трубку, по трафарету произношу: «Восемнадцатый у телефона!»

— Григоренко? — Тоже и Колонин (член военного совета) берет пример с Гастиловича. Не считается ни с какими позывными.

— Я, товарищ член военного совета,— удовлетворенно отвечаю я, будучи уверенным, что сейчас услышу доброе слово. Кому же его и сказать, как не главному политработнику в армии. Кому, как не ему, отметить тяжелый ратный труд, выполненный так замечательно. Но вдруг слышу угрожающим тоном въедливо произнесенное:

— Ты знаешь, что у тебя в Попраде творится?

— Не знаю, что у вас в Попраде творится.

— А, так ты еще (мат-перемат) и умничать! Ты знаешь, что у тебя здесь местное население трофеи растаскивает!

— Я еще раз говорю: не знаю, что у вас в Попраде делается и кто там что тащит.

— Так ты еще (снова мат) и правым себя считаешь! В трибунал пойдешь!

— Не пойду!

— Пойдешь!

— Не пойду! А если пойду, то только вместе с вами. Вы трофейный батальон оставили с Сигете шкурки свои охранять, а я вам должен теперь трофеи беречь, вместо того чтобы боевые задачи решать. Делайте что хотите, передавайте дело в трибунал, а я с вами на эту тему и говорить не хочу! — И положил трубку.

Разволновался так, что руки дрожали. Не стал даже умываться, поехал в полк. Вернулся часа через два, так и не успокоившись окончательно. Василий Максимович ворчал: «Завтрак стынет». Умылся, сел за стол. В это время мимо окна — вжик-вжик-вжик — проскочили один за другим три «виллиса», и все свернули во двор. Ясно, какое-то начальство. Я схватил китель, вдел одну руку в рукав, и в это время открылась дверь — Мехлис (член военного совета фронта), сразу узнал я его, и быстро вдев второй рукав, начал застегиваться.

— Не одевайтесь, не одевайтесь! — подбежал он ко мне. Схватив мою правую руку, он

потряс ее и заговорил: — Вы завтракать собрались? Мы вас долго не задержим. Я специально приехал поблагодарить вас. Вы весь фронт выручили. У нас в районе Моравской Остравы неудача, и ваш успех здесь выручает весь фронт. Спасибо вам лично, и передайте благодарность командования фронта всей дивизии.

Я был тронут этой благодарностью. Но она же разворошила и обиду, недавно нанесенную Колониным.

— Спасибо вам, товарищ Мехлис, что вы за сотни километров принесли нам доброе слово. У нас в армии его не дождешься.— Я посмотрел, кто за Мехлисом: Колонин, Брежнев, Демин (начальник политотдела корпуса).— Вот вы меня благодарите, а меня здесь собираются в трибунал отдать.

— Кто? За что?

— А вот товарищ Колонин два часа тому грозился предать меня суду военного трибунала за то, что в Попраде местные жители растаскивают трофеи.

— Ну, товарищ Колонин, это не дело боевой дивизии — охранять трофеи. Это ваша задача,— сдержанно произнес Мехлис. Но за этой сдержанностью угадывалось бешенство. Несмотря на это, я решил продолжать:

— И вообще у нас в армии доброе слово не в почете. Его заменяет мат. Ну, о командарме и не буду говорить. Ему, может, по должности положено. Но ругаются и политработники. Вот и Колонин к этому часто прибегает. И Демин, горло у него здоровое, тоже на днях крыл меня из мата в мат. А вот за эту операцию у нас в армии никто спасибо не сказал.

— Это не дело, товарищ Колонин,— едва сдерживая бешенство, приглушенным голосом сказал Мехлис. И дальше, не сдерживаясь, выплеснул гнев на в общем-то не вредного человека, подполковника Демина: — Вы, товарищ Демин, должны извиниться перед командиром дивизии!

Но я еще не выговорился.

— Об отношении у нас в армии к людям вы можете судить, товарищ Мехлис, и вот по этому.— Я показал ему свое плечо.— Войну я начал подполковником и сегодня подполковник, хотя все время занимаю полковничьи и генеральские должности. И справляюсь с ними.

Колонин, глядя, как Мехлис воспринимает мои слова, побледнел. Все знали, что Мехлис очень несдержан и может рубануть сплеча, не разобравшись. И Колонин, боясь этого, заторопился, перебивая меня:

— Товарищ Мехлис, товарищ Мехлис, тут мы ни при чем. Я потом доложу, в чем дело. Но тут не наша вина. Мы уже несколько раз представляли товарища Григоренко. Но наши представления не проходят.

— Хорошо, товарищ Григоренко, я разберусь с этим. Очередное воинское звание вы получите.

Я, разумеется, знал, что армия не виновата в задержке мне воинского звания, но как иначе я мог поставить этот вопрос перед Мехлисом?

Колонин и Мехлис уехали. Брежнев и Демин остались. Причем Брежнев обратился к отъезжавшему Мехлису: «Мне разрешите остаться, оказать помощь командиру дивизии». Обращаться к Мехлису было совершенно необязательно, так как здесь был непосредственный начальник Брежнева — Колонин. Но Брежнев, надев на себя подобострастную улыбку, обратился к более высокому начальству, подчеркивая свою преданность и демонстрируя свое усердие остаться, чтобы оказать помощь. Эта помощь практически выразилась в том, что он спросил:

— А на меня ты ни за что не обиделся? Или просто не успел пожаловаться?

— Нет, не было причин.

— Ну, это хорошо. А ты, Демин, должен выполнить указание тов. Мехлиса — извиниться перед товарищем Григоренко.— Брежнев произнес это, надев на себя выражение строгой серьезности.

Демин, смущенно улыбнувшись, спросил меня:

— Ну, как перед тобой извиняться? Я, конечно, виноват...

— Считай, что извинился уже. И вообще, можешь ругаться, если потребуется. Я на тебя больше жаловаться не буду. Это так, под руку подвернулся, «в чужом пиру похмелье», как говорят в народе.

— Ну, вот и хорошо. Миром-то оно лучше,— в панибратском тоне, надев личину рубахи-парня, произнес Брежнев.

Я не случайно применяю к изменению выражения лица Брежнева слово «надевание». Стоило взглянуть, например, на его улыбку, как на ум невольно приходили улыбки марионеток в театре кукол. За 9 месяцев моей службы под партийным руководством Брежнева я видел следующие выражения его лица:

— угодливо-подобострастная улыбка; надевалась она в присутствии начальства и вмещалась между ушами, кончиком носа и подбородком, была как бы приклеена в этом районе: за какую-то веревочку дернешь — и она появится сразу в полном объеме, без каких бы то ни было переходов; дернешь второй раз — исчезнет;

— строго-назидательное; надевалось при поучении подчиненных и захватывало все

лицо, также без переходов, внезапным дерганием за веревочку; лицо вдруг вытягивалось и делалось строгим, но как-то не по-настоящему, деланно, как гримаса на лице куклы;

— рубахи-парня; надевалось время от времени, при разговоре с солдатами и младшими офицерами; в этом случае лицо, оставаясь неподвижным, оживлялось то и дело подмигиванием, полуулыбками, хитрым прищуром глаза. Все это тоже выглядело не настоящим, кукольным. Все, кто поближе его знал, воспринимали его как весьма недалекого простачка. За глаза в армии его называли — Леня, Ленечка, «наш политводитель». Думаю, что подобное отношение к нему сохранилось и в послевоенной жизни. Мне это подсказывает нижеследующий разговор. На выпуске академии в Кремле (1960 г.) я встретился с Деминым. Он уже был генерал-лейтенант, член военного совета Прибалтийского военного округа. Выпили за встречу. Поговорили, вспомнили прошлое. В разговоре он спросил:

— А у Лени бываешь?

— Да нет,— говорю,— я же его не так близко знаю, да, честно говоря, и не люблю надоедать высокому начальству. (Брежнев в то время занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР и числился в учениках и ближайших соратниках Хрущева.)

— Ну, напрасно,— сказал он.— Леня любит, когда его посещают одноармейцы. И попасть просто, только позвони, назовись, и тебе назначат время. Я всегда захожу, когда бываю в Москве. Пропустим по рюмашке. Повспоминаем.

— Ну, и как он?

— Да что тебе сказать! Леня есть Лени, на какую должность его ни поставь.

Описанная мною встреча с Брежневым была не первой и не последней. Но это был единственный случай, когда Брежнев при мне был так близко к переднему краю (3 км). Говорю это не в осуждение Брежневу. В конце концов, и в армии, как и вообще в жизни, каждый имеет свои обязанности. От Брежнева по его должности не требовалось бывать не только на переднем крае, но и на командном пункте армии. С командармом должен был находиться член военного совета, то есть начальник всех политработников армии, в том числе и Брежнева. Место начальника политотдела во втором эшелоне армии, там, где перевозятся партдокументы. Выезжать же в войска для встречи с коммунистами и вообще с личным составом следовало лишь тогда, когда люди не ведут боя. В бою начполитотдела армии может только мешать. Партбилеты подписать и выдать новым коммунистам — его дело, а подписывать боевые приказы — дело командарма и члена военного совета.

Когда рядового начальника политотдела армии — каких в Советских Вооруженных Силах были многие сотни, и все они не только не участвовали в управлении войсками, но и ничего не смыслили в этом деле (никто из них не сумел бы командовать не то что армией, но и отделением) — через 20 лет после войны начинают выдавать за великого стратега и приписывают ему чуть ли не решающую роль в победе над гитлеровской Германией (хотя его армия всю войну действовала на малозначительных направлениях и никогда на главном), то это такая чушь, которую даже опровергать стыдно. Но если такую чушь распространяют и если герой не только ее не опровергает, но с радостью воспринимает и даже начинает верить в свою выдающуюся роль, то это говорит как об умственных способностях «героя», так и о гнилости системы, допускающей такие геростратовы фальсификации в отношении людей, занимавших должности, совершенно ненужные для нормального функционирования войсковых оргвнизмов.

Ну в самом деле, зачем он приезжал сейчас? Поприсутствовал во время моего разговора с Мехлисом, надев угодливо-подобострастную улыбку, продемонстрировал Мехлису, с той же улыбкой, свое усердие, доложив, что останется «помогать» командиру дивизии, «помирил» меня с Деминым и на этом закончил свою миссию. Уезжая, сказал: «Оставляю тебе вот двух инструкторов политотдела, они помогут. Ты только обеспечь их транспортом и дай провожатых в полки». Вот и «помог», взвалив на меня еще и заботу о транспортировке и охране ненужных нам инструкторов.

Мехлис жалобу мою не забыл. 2 февраля я получил от него телеграмму: «Поздравляю званием полковника». А 5 февраля прибыл, датированный 2-м февраля, телеграфный приказ о присвоении мне полковника. Значит, Мехлис поздравлял меня в день подписания приказа. И это понятно. Мехлис член Оргбюро ЦК (то же самое, что теперь Секретариат) и поэтому мог просто по телефону «ВЧ» приказать Голикову (начальнику главного управления кадров): «Включи Григоренко в сегодняшний приказ на присвоение полковника. Номер приказа сообщить мне!» Таким образом выпадал этап проверки моей личности в аппарате. Как раз тот этап, на котором меня до сих пор и задерживали. Я понял это прекрасно. Но все же получение очередного воинского звания даже таким путем меня воодушевило.

Я решил подать заявление о снятии партийного взыскания. В заявлении я писал, что в начале войны допустил неправильное высказывание в связи с внезапным нападением гитлеровской Германии и за это получил «строгий выговор с предупреждением и занесением в учетную карточку». В конце я указал, что Алейников в своем заявлении писал, кроме того, будто я выражал сомнение в мудрости Сталина, но партийное расследование

не подтвердило этого. Я просил, ввиду давности совершенной мною ошибки и в связи с тем, что я ее осознал и всей своей деятельностью доказал преданность партии и товарищу Сталину, снять с меня партийное взыскание — «строгий выговор с предупреждением и с занесением в учетную карточку».

На заседании армейской партийной комиссии присутствовал Леонид Ильич. Я упоминаю об этом потому, что его присутствие на заседаниях парткомиссии не обязательно. Парткомиссия подчинена ему. На его обязанности лежит утверждение протоколов парткомиссии. Так что возможность принятия парткомиссией неугодного Брежневу решения, даже в его отсутствие, абсолютно исключена. И все же он присутствует.

Мое дело разбирали третьим. Первым шло дело заместителя командира полка по тылу. Он долгое время разворовывал ценнейшие продукты. Наворовал на многие сотни тысяч рублей. Его схватили за руку. Дело попало в трибунал. Пахло расстрельным приговором. Но вмешалось начальство, и дело было передано для рассмотрения в партийном порядке. Был объявлен «строгий выговор с предупреждением» (без занесения в учетную карточку). Прошло 6 месяцев. Это минимальный срок для постановки вопроса о снятии взыскания. Для меня абсолютно ясно, что воровать он не перестал, хотя бы для того, чтобы оплатить тех, кто спас его от суда. Ясно это и членам парткомиссии, и Брежневу, но решение единогласное: взыскание снять.

Вторым разбирается дело командира полка связи. Он получил «выговор» «за использование служебного положения в целях принуждения подчиненных к сожительству», то есть просто насиловал девушек-солдаток, связисток, которых доставляли, по его указанию, прислуживавшие ему дюжие молодцы. Я невольно представил, как этот «бугай» ломал слабеньких беззащитных девочек, находящихся в его полной власти, отодвинулся от него. Посмотрев в его толстое, тупое, бычье лицо и свиные глазки, я понял, что он не прекращал и не прекратит «использование». Но спасительные 6 месяцев прошли, и парткомиссия, которая тоже прекрасно понимает то, что понял я, решает: партийное взыскание снять. В общем, при следующем партийном разборе его дела он будет проходить как не имеющий взыскания. Брежнев во время разбора обоих этих дел сидит в углу комнаты, позади, справа от стола парткомиссии. Сидит с лицом каменного изваяния. Только брови, большие, похожие на усы, изредка шевелятся.

Начинается разбор моего дела. Секретарь парткомиссии зачитывает мое заявление. Дальнейший порядок до сих пор был таким: вопросы, выступления, предложения. Но вот закончено чтение моего заявления, и вдруг неожиданное: «Неуважение к товарищу Сталину?! Нет, за это пусть поносит! Пусть поносит! Пусть!» Лицо одето в маску строжайшей назидательности! Тычет в мою сторону. И я подумал: «Ну, артист! Ведь он же специально для этого пришел сюда. Пришел, чтобы продемонстрировать, как он печется об авторитете «великого Сталина», как он любит его». Но, как выяснилось впоследствии, даже любовь к Сталину не могла заставить его добросовестно потрудиться. Он считал самой полезной для себя работу «на показуху».

Второй раз я подал заявление о снятии взыскания в 1946 году. Месяца через полтора вызвал меня начальник политотдела Академии им. Фрунзе, где я проходил службу.

— Какое вам наложено взыскание? — спросил он.

— Я же написал: «Строгий выговор с предупреждением и занесением в учетную карточку».

— А прочтите это.

Читаю: «Центральный партийный архив сообщает, что решением фронтовой партийной комиссии Дальневосточного фронта на тов. Григоренко наложено партийное взыскание „выговор"».

— Так видите, никакого строгого, никакого предупреждения, никакого занесения. Поэтому ваше дело целиком во власти первичной парторганизации. Туда и обратитесь.— И он отдал мне мое заявление. Я невольно вспомнил Брежнева: «Пусть поносит!» Вспомнил и забыл, даже не подозревая, что судьбе угодно будет отбросить нас к противоположным полюсам жизни. Отбросить, а потом столкнуть неоднократно.

Обещание дать дивизии недельный отдых после Попрада Гастилович не выполнил. Но не по его злой воле мы отдыхали всего двое суток. Просто резко изменилась обстановка. Одну из танковых армий 1-го Украинского фронта, которая, развивая наступление на запад вдоль чехословацко-польской границы, в районе деревни Хыжне натолкнулась на сильное сопротивление противника, командование фронта перебросило на новое направление. Оставленную ею полосу передали 4-му Украинскому фронту, и всего быстрее в эту полосу могла войти наша дивизия. Совершив форсированный марш, мы заняли полосу на фронте протяженностью примерно 30 км, имея оба фланга открытыми. Однако фактически оборонять надо было всего два направления: вдоль шоссе, идущего от нас (с востока на запад) на село Хыжне (ширина этого направления по фронту около 10 км), и вдоль шоссе, идущего тоже с востока на запад через небольшой город Тртсэна (ширина этого направления 5—6 км). Между этими направлениями заболоченный лес, залитый весенней водой почти по всей его площади. Маневр между названными двумя направлениями затруднен. Можно двигаться только по дорогам, обходящим лес с востока и юга, а это свыше 60 км.

Мы приготовились долго обороняться, так как смешно было бы наступать дивизией там, где не имела успеха танковая армия. К тому же мы были в худшем положении, чем она. Танковая армия действовала на одном хыжненском направлении, а мы, как на пяльцах, растянуты между двумя направлениями, на 60-километровом фронте, да еще и с обоими открытыми флангами. Но разве Гастилович мог долго усидеть, не предпринимая активных действий? Из имевшихся у него в то время четырех дивизий (включая нашу), растянутых более чем на стокилометровом фронте, он умудряется создать ударную группировку для наступления на одном — трстэнском — направлении. С этой целью он перебрасывает сюда еще одну дивизию и все имеющиеся в армии средства усиления. Здесь же он приказывает сосредоточить и главные силы нашей дивизии, оставив на хыжненском направлении только один стрелковый полк, усиленный артиллерийско-пулеметным батальоном полевого укрепленного района. Перед оставленным на этом направлении 151-м полком и артпульбатом командарм поставил оборонительную задачу: не допустить прорыва противника на фланг и в тыл трстэнской группировки 18-й армии.

У нас, однако, возникла идея развернуть активные действия и на хыжненском направлении. Конечно, наступать стрелковым полкам по тому самому направлению, где не добилась успеха танковая армия, безумие, но мы недаром изучали оборону врага. Мы увидели ее ахиллесову пяту. Хыжне одним из своих торцов (южным) упирается в уже упоминавшийся заболоченный лес. Считая его непроходимым, противник ограничился созданием минно-ракетных заграждений между этим лесом и южным торцом села. Если бы удалось пройти через лес и преодолеть заграждения, то можно было бы начать сматывать неприятельскую оборону, идя одновременно по обоим рядам домов. Помочь селу из траншеи противник не смог бы. Развернуть большие силы в селе тоже нельзя. Фланговым огнем из домов мы могли пресечь любое движение по улице. Значит, противник, сколько бы у него ни было сил и средств, не смог бы развернуть их больше, чем мы. Чтобы использовать свое численное превосходство, ему пришлось бы контратаковать 151-й полк, двигаясь по плато между гребнем высоты и селом. На этот случай и должен был быть подготовлен артиллерийско-пулеметный батальон.

Эти мысли я высказал Николаю Степановичу.

— И на кой черт тебе эта морока,— сказал он.

— По двум причинам. В случае успеха на трстэнском направлении я не знаю, как нам можно будет свести дивизию в одно место. Нам придется оставить один полк совсем без нашего управления и либо передать его под управление армии, либо создавать вспомогательный пункт управления. Если же успеха не будет и противник перейдет в контрнаступление, то я вообще не представляю, как мы выкрутимся. Дивизию сразу же разорвут на две части, и что будет дальше, я и думать не хочу. А вот если мы залезем в Хыжне, нам тогда не страшно ни первое, ни второе. В случае успеха под Трстэной противник бой в Хыжне прекратит и отойдет. Следовательно, полк получит возможность присоединиться к дивизии. При неуспехе там противник все равно будет выбит из села, и мы получим возможность ударить по флангу трстэнской группировки врага.

— Гастиловичу я этого доказывать не буду. Он не согласится. Если хочешь, докладывай сам.

— Можно идти с артиллерией. Конечно, дело не из приятных: брести по пояс в воде, но грунт еще мерзлый, и полк пройдет. Это по докладу саперов.

— Ну, действуй. Докладывай. Но Гастилович не согласится.

— Посмотрим.

В тот же день командарм проводил рекогносцировку на трстэнском направлении. По окончании я попросил разрешения доложить предложение.

— Только очень прошу дослушать до конца. Вначале мое предложение может бредом показаться, но под конец, думаю, мнение изменится.

— Ладно, давай. Я сегодня добрый. Дослушаю,— улыбнулся он.

Я очень коротко доложил суть плана. Он сразу «взял быка за рога».

— А где ты полк возьмешь, чтобы попасть в Хыжне? У меня в запасе роты нет, не то что полка.

— А тот же полк, что вы уже дали,— 151-й.

— А кто мне спину прикрывать будет? Откроем дорогу противнику, пусть идет на тылы нашей трстэнской группировки?

— Пулеметно-артиллерийский батальон.

— А его кто прикроет?

— Артпульбат в пехотном прикрытии не нуждается. 12 орудий и 48 станковых пулеметов — его огневая сила, а прикрывают их сами расчеты.

Разговор затянулся. Гастилович явно колебался. Ему и не хотелось отбрасывать предложение, сулившее определенный выигрыш, и опасался он за трстэнскую группировку. Опасения, в конце концов, перевесили.

— Не будем, Петр Григорьевич, рисковать. Проект ваш смелый и разумный, но чересчур рискованный. Возьмем задачу поскромней, по нашим силам.

— Простите меня, товарищ командующий, но я хочу напоследок обратить ваше

внимание на следующее. Вы рассчитывали на успех и на пассивность противника. А что, если прорвать его оборону под Трстэной не удастся, и противник окажется активным, перейдет в наступление и из Трстэны, и из Хыжне? Я думаю, что план, исключающий такую возможность для противника, менее рискованный, чем тот, который это допускает.

— А почему вы думаете, что ваш план исключает активность противника?

— Потому что, не ликвидировав или, по крайней мере, не отбросив в лес полк, проникший в село Хыжне, невозможно начинать общую контратаку. Ликвидировать же или отбросить этот полк можно лишь контратакой по плато между гребнем и Хыжне. Но к моменту этой контратаки артпульбат весь выйдет на гребень. Вы представляете, что произойдет, когда на контратакующие цепи обрушится огонь 48-ми станкачей и 12-ти орудий? Это и будет кульминацией боя, началом разгрома противостоящей группировки.

— Но пойдет ли противник в такую контратаку?

— Пойдет! Обязательно пойдет! У него не будет другого выхода. Альтернатива контратаке — только общий отход. Нас вполне устраивает и это. Немцев — нет. Отходить с очень удобных позиций, не попытавшись восстановить положение, они не захотят. Нам надо только запастись терпением. У немцев его не хватит.

— Ну ладно, разрабатывайте план во всех деталях. Я согласия пока не даю. Обдумаю еще. Но вы работайте и, главное, проверьте, можно ли пустить полк через лес и болота. Сами пройдите его путь. Поверю только вашему личному наблюдению.

Однако мне было ясно, что он уже «заболел» моей идеей. И я, ничего не ожидая, начал готовить наступление на Хыжне. Действительно, вскоре Гастилович сообщил по телефону: «Ваше предложение одобряю. Подробный план представить мне лично». На следующий день я доложил план, и командарм его утвердил. Одновременно дал указание Угрюмову: «Григоренко от подготовки наступления на трстэнском направлении освободить. Пусть сосредоточится на подготовке наступления на Хыжне. Для руководства наступлением на Хыжне в дивизии создать кроме основного вспомогательный пункт управления под руководством Григоренко».

На рассвете второго марта саперы сняли минно-ракетные заграждения в районе между лесом и южной окраиной Хыжне. Но обеспечить полную бесшумность не удалось. Уже перед концом разминирования взлетела одна из настороженных ракет. Она осветила наши передовые подразделения. В связи с этим комполка решил атаковать, не ожидая урочного часа. Один батальон наступал вдоль восточного ряда домов, то есть справа от улицы, считая по ходу наступления. Второй — по левой (западной) стороне улицы, а третий спустился в пойму, чтобы, наступая по лесу у речки, прикрывать левый фланг полка от контратак противника из глубины. В лес на противоположную сторону речки ушла разведрота дивизии.

В первом же броске два батальона захватили по 3 дома в своих рядах и, в соответствии с ранее намеченным планом, начали закрепляться и готовиться к отражению неприятельских контратак. Я очень долго втолковывал Тонконогу и много раз повторил, что торопиться ему не надо. Продвигаться следует короткими бросками; после каждого броска закрепляться и ждать контратаки противника. Пока он не контратакует, дальше не двигаться. Отразив же контратаку, сразу провести хорошую огневую подготовку и совершить следующий бросок.

Третий батальон, тот, что ушел к речке, должен был действовать иначе. Если противника в лесочке нет или силы его малы, то продвигаться к шоссе, захватом мостика перерезать его, укрепиться и удерживаться до подхода наших войск, не допуская отхода противника по шоссе. Если же противник силен и активен, то закрепиться и взять под обстрел всю пойму правого берега, чтобы не допустить контратаки противника во фланг батальонам, наступающим по селу.

С началом наступления 151-го полка двинулся вперед и артпульбат. Противник открыл огонь из огневых сооружений, расположенных на гребне, но артпульбатовские артиллеристы, следуя в боевых порядках батальона, метким огнем прямой наводки подавили эти сооружения. Вражеское прикрытие, пользуясь уже отработанной тактикой, отошло за гребень и дальше — в траншею и село. Артпульбат вышел на гребень, но дальше, как предполагал противник, не пошел. Огневые средства артпульбата окопались и начали готовить данные для ведения огня. Командиру артпульбата была поставлена абсолютно простая задача: в случае контратаки противника в полосе между рубежом, который занял артпульбат, и селом Хыжне все контратакующие должны быть уничтожены огнем артпульбата.

Тонконог в селе помаленьку продвигался, чередуя броски с отражениями контратак. Его батальон, посланный к речке, захватил мостик на шоссе и перешел там к круговой обороне. Артпульбат продолжает совершенствовать огневую систему. Огня по траншее и селу, как ему и приказано, не ведет.

В общем, на хыжненском направлении царила атмосфера обычных местных перестрелок, а не наступления. В 10 часов я доложил обстановку Николаю Степановичу и в штаб армии. А через несколько минут раздался звонок. Я не успел назваться, как послышался голос Гастиловича:

— Григоренко, сколько тебе надо времени, чтобы доехать до меня?
— Полчаса.
— А ты разве знаешь, где я нахожусь? — явно удивленный моим ответом, спрашивает Гастилович.
— Очень хорошо знаю. Если надо, через полчаса буду у вас.
— Да, надо. Примешь командование дивизией. Я этого дуроплета отстранил за очковтирательство.
Трясись по ухабам лесной тропы и наблюдая, как «виллис», подобно катеру, рассекает воду на залитых участках тропы, я размышлял, что там могло произойти. Что Николай Степанович никаким очковтирательством заниматься не станет, в том не было у меня сомнений. Но что же случилось?
Прибыв на НП командарма, я направился прямо к нему. Доложил о прибытии.
— Иди принимай дивизию: разберись, что там делается, и доложишь. А то этот дуроплет думает, что я сижу на своем КП. А я сам наблюдал с первого выстрела и видел, что пехота Угрюмова с исходного положения не пошла. У Васильева хоть поднималась, но залегла, а у Угрюмова и не поднималась, а он свое: «Занял полустанок». Иди, наводи порядок.
— Есть! Навести порядок и доложить вам,— откозырял я и ушел.
Мне уже было все ясно. Но возражать командарму, когда он убежден в своей правоте, а я во время происшествия нахожусь в десятке километров, неразумно. А дело вот в чем. Место, где находится НП командарма, первым обнаружил я, когда искал НП дивизии. Место чудесное. Буквально с неограниченным обзором. Обе полосы наступления дивизий как на ладони до самой Трстэны. Но... одна странность. Исходное положение дивизии — в начале орошаемых полей. И идут эти поля на несколько километров. Я обратил внимание на них потому, что глубокие канавы и высокие гребни между канавами шли попутно нашему направлению наступления и могли быть использованы как защита от огня противника. А с НП ни канав, ни гребней не видно. Гладкая безжизненная равнина. Командарм вначале рассчитывал использовать для себя один из НП дивизий, но потом передумал. И поручил начальнику разведки армии выбрать и подготовить армейский НП. Я видел начальника армейской разведки накануне дня наступления и, узнав, где они расположили свой НП, сказал: «Всем хорош НП, но с него не просматривается оросительная система. А по ней наступает наша дивизия». Но тот не придал значения моим словам.
Результат — это недоразумение.
Я прибыл на НП дивизии. Николай Степанович с горькой улыбкой говорит:
— Ну, принимай. Давай прямо сюда, к стереотрубе, я покажу тебе солдат, которых «не видит» Гастилович.
Я приставляю глаза к окуляру. Ясно вижу движение по канавам и в районе полустанка. Наши солдаты.
— Я так и знал,— говорю я,— но ты все-таки расскажи, что произошло?
— Да что? Звонит Гастилович: «Где твоя пехота?» — «Наступает»,— говорю. «Не ври. Лежит в исходном положении». Я настаиваю: «Наступает». А он: «Перестань врать. Проверь, почему лежат, и доложишь. Даю час». Но не прошло и полчаса, как Александров доложил о занятии полустанка. Звоню ему: «Разобрался. 129-й полк занял полустанок». Что тут случилось, не приведи-веди. «Ты что же думаешь, что я на КП армии, за полсотни километров? Я на наблюдательном пункте, 250 метров от твоего, но выше и с лучшим обзором». Отвечаю: «Я знаю, где вы находитесь, но 129-й полк занял полустанок!» Тут как пошел мат, а потом: «Очковтирательство! Отстраню от должности! Какой, ты говоришь, полк занял полустанок? 129-й? Ну так вот, примешь 129-й полк и займешь полустанок, а после этого будем разбираться, что с тобой делать. Командование сдашь Григоренко. Я его сейчас вызову».
— Да-а... Хуже всего то, что он уверен в своей правоте. Надо искать выход. Если я ему начну доказывать, что он ошибся, то, пожалуй, и меня отстранит — скажет, под твою дудку пляшу. Надо как-то иначе действовать. Какой полк он тебе доверил? 129-й? Вот и будем выполнять его приказ. Отправляйся на полустанок. Но только не один. Возьми Завальнюка, связиста, сапера. Тех, кого мы всегда берем в первый эшелон КП при его смене. Придете на место, позвоните мне. Приду и и. В общем, командный пункт окажется на полустанке. Тогда и поговорим с Гастиловичем.
Минут через сорок позвонил Завальнюк.
— Прибыли!
Я тут же беру трубку и вызываю Гастиловича.
— Товарищ командующий! Я в основном разобрался. Войска все-таки продвинулись. И их уже не видно с этого НП. Позвольте сменить командный пункт. Завальнюк выбрал новое место. Он сам там находится и утверждает, что видит все наши войска.
Докладывая, я упорно избегаю называть место нового КП — полустанок. Боюсь, что это слово приобрело для Гастиловича значение красной тряпки для быка. Но он и не интересуется местом нового КП.
— Сколько времени потребуется для смены? — спросил он.

— Около 40 минут.
— Давайте!
Придя на полустанок, я сразу же предложил Угрюмову:
— Звоните Гастиловичу, представляетесь как комдив, потом докладываете обстановку, а в заключение скажите — сюда прибыл и начальник штаба дивизии.
— Я не буду с ним говорить.
— А вот это и неразумно. Тебе что, хочется быть отстраненным в боевой обстановке? Ведь даже если фронт не утвердит это отстранение, Гастилович добьется твоего перевода в другую армию и за тобой так и потянется хвост. Лучше сделай вид, что не принял всерьез его отстранение, и веди себя, как будто ничего не случилось,— и я протянул ему трубку.
Он вызвал Гастиловича: «Докладывает Угрюмов. Обстановка следующая...» И доложил обстановку за дивизию, а не за 129-й полк. Закончил словами: «Сюда прибыл начальник штаба и сообщил о вашем распоряжении сменить КП».
— Дайте трубку Григоренко,— буркнул Гастилович.
— Вы действительно на полустанке? — спросил он меня.
— Так точно. Здесь развитая оросительная система. Наши подразделения воспользовались оросительными канавами, и потому их не видно было с вашего НП. Сейчас передовые подразделения продвинулись километра на два, но остановлены командиром дивизии, так как противник накапливает на окраине Трстэна танки и самоходки, по-видимому, готовит контратаку. Поэтому пехоту решено задержать до подхода противотанковых огневых средств. Сейчас мимо нас как раз идет Васильев (истребительно-противотанковый дивизион).
Через некоторое время началась танковая контратака противника. Артиллеристы вели себя героически. Подбили четыре танка и две самоходки. Один из танков натолкнулся на орудийный снаряд в 20 метрах от нашего командного пункта. Взрыв танкового боезапаса сбросил башню, танк перевернулся на бок и загорелся. Я все время комментировал ход боя Гастиловичу, и он окончательно утвердился в продвижении нашей дивизии. В связи с этим перенес свои «заботы» на дивизию генерала Васильева, которая так пока что и не двинулась с исходного положения. Наши полки (129-й и 310-й), отразив танки врага, перешли в наступление и примерно к 13.30 подошли к окраине Трстэна, угрожая перерезать шоссе. В связи с этим противник начал отводить свои войска в полосе нашего левого соседа — 137 сд.
Сосредоточившись на бое за Трстэну, мы как-то забыли о Хыжне. Вдруг, часов около 14, оттуда раздался сплошной клекот пулеметов, непрерывно гремели орудия.
— Что там у вас в Хыжне творится? — подозвав меня к телефону, спросил Гастилович.
— Я еще донесения не имею, но полагаю, что кульминация наступила. Считал бы целесообразным возвратиться туда и лично руководить дальнейшими действиями.
— Вы командир дивизии, вы и решайте, где вам целесообразнее находиться.
— Есть! Решить этот вопрос с командиром дивизии,— сделал я вид, что не понял его, и положил трубку. С тревогой подождал, станет ли он меня поправлять. Телефон молчал.
— Николай Степанович! Разреши мне отправляться в Хыжне. Гастилович сказал, чтоб этот вопрос решал сам командир дивизии. Он в это дело не вмешивается.
Угрюмов согласился.
Часа через полтора мы прибыли в Хыжне. Село было уже очищено от противника. Такого количества убитых немцев я еще не видел. Все поле восточнее Хыжне усеяно трупами. Впоследствии по моему распоряжению был произведен подсчет. Насчитали восточнее Хыжне 832 трупа. Много трупов было также вдоль сельской улицы. Взято свыше 400 пленных и много вооружения, боеприпасов, продовольствия и других материальных ценностей. Я обошел все поле боя и, откровенно сознаюсь, любовался работой артпультбатовцев, с удовольствием слушал рассказ командира артпультбата и комментарии Тонконога. Командир артпультбата говорил: «Они вышли от шоссе с северной окраины села. Шли двумя густыми колоннами, почти вплотную, прижавшись к селу. Шли вначале как-то неуверенно, как будто опасаясь засады, потом осмелели, пошли быстрее, начали отклоняться от села, приближаться к траншее, потом одна колонна перешла траншею. Пошла восточнее ее. Потом начали развертываться в цепь. Тонконог уже забеспокоился. Говорит мне — что же ты смотришь? А я знаю, что смотрю: с северной окраины выходят все новые колонны. Думаю: пусть все выйдут. Чего их на развод оставлять? Вспоминаю ваше,— обращается он ко мне,— „больше выдержки. Выдержка — главное оружие уровца“ и думаю: „Обожду“. Наконец выходить из села закончили. А передние уже развернулись, ускоряют шаг. Тонконог кричит: „Они к тылам моим подходят!“ А я думаю — нет, еще не время. Немцы в атаку бегом идут, а эти шагают, хотя и скорым шагом. Но вот, наконец, побежали. Тут и я „спустил с цепи“ всех своих 48 „собачек“. Ну и залаяли же они. Душа возрадовалась. Никогда, за всю войну, не знал такой радости. А пулеметчики все аж дрожали. Глаза горят. „Вот это работа,— говорят,— за всю войну душу отвел“. Артиллеристы тоже не отставали. Беглым так били, как будто боялись, что у них изо рта отнимут. А противник! Он, видимо, о нас вообще забыл. Когда мы ударили

в одночас всей своей мощью, его как парализовало. Все замерло. Вместо того чтобы бежать в село, или нырять в траншею, или просто надать на землю, они остановились. Остановились по всему нолю, потом забегали, закрутились на месте. И только когда их уже наполовину проредили, бросились бежать, но не в каком-то разумном направлении, а во все стороны, набегая друг на друга, сталкиваясь и падая на бегу под огнем пулеметов и орудий. Мы так вычистили все еще до деревни, что когда поднялись и пошли вперед на соединение с полком, ни один выстрел не прозвучал нам навстречу».

Тонконог добавил: «Это был, наверное, полк из резерва дивизии. Они пришли из леса западнее Хыжне. Отбросили мой батальон, занимавший мостик на шоссе, и без остановки, в колоннах, пошли в контратаку восточнее Хыжне. Одновременно с ними пошли в контратаку те, что оборонились в селе. Они шли по улице и по огородам западного ряда домов в Хыжне. С этими пришлось справляться нам самим. И мы поработали тоже хорошо. Но это была обычная работа, не то что у уровцев праздник. Нам досталось. Для немцев в селе не было никакой неожиданности; они вели планомерное наступление, и если бы не уровский удар — нам было бы нелегко. Но огневой удар артпультбата парализовал противостоящие нам силы. Там началась паника, и мы перешли в наступление».

Я шел среди этих груд мертвецов и ничего не чувствовал, кроме удовлетворения. Мне не пришла в голову мысль, что это люди, у которых есть матери, жены, дети, что они о чем-то мечтали, чего-то ожидали, на что-то надеялись. Я не видел их лиц, не заметил застывшего на них ужаса, муки, боли. Для меня все это были бессодержательные, безымянные, безликие, безразличные мне единицы производства — просто трупы, как были бы, например, дрова, если бы я занимался производством дров. И чувства были, как у дровосека, который сумел заготовить невиданное количество дров. Я был горд собой, и мне больше всего хотелось похвастаться сделанным. Я позвонил Гастиловичу. Просил его посмотреть. Я сказал ему: «Такого вы не видели и никогда не увидите». От него приехал командующий артиллерией. Он, как и все, кто видел это, был восхищен «работой» артпультбатовцев. При этом сказал: «Подобное я видел только в первую мировую войну. Только трупы там были наши». Он оказался таким хорошим рассказчиком, что приехали смотреть не только Гастилович, но и все армейское руководство. Приезжали также из соседних дивизий. Своих представителей прислал даже Петров. Разговоры об этом бое, с преувеличениями, естественно, шли по всему фронту. Все полевые УРы (укрепленные районы) прислали своих представителей. Во все уровские части был разослан доклад командира нашего артпультбата, и было рекомендовано такой способ действий частей полевых УРов считать наиболее эффентивным для них.

Награды за этот бой я не получил. Но виноват в этом сам. Когда Гастилович спросил, какой бы орден я хотел получить за этот бой, я, не задумываясь, ответил:

— Конечно, полководческий. Считаю, что то, что сделано в Хыжне, соответствует статусу ордена Суворова: «Победа над большими силами противника, в результате которой достигнут перелом в операции». Против нас была дивизия, и мы ее победили полком. Перелом в операции тоже факт. Если бы наши войска не ворвались в Хыжне и не вытеснили оттуда противника, тот резерв дивизии, который был брошен против нас и лег костьми под Хыжне, контратаковал бы 129-й и 310-й полки под Трстэной и отбросил бы их, а значит, не имела бы успеха и 137-я дивизия.

Гастилович согласился, но при этом сказал:

— Не получишь ты этот орден. Полководческие ордена даются через Москву, а Москва никакого ордена тебе не даст. Я думаю, ты и сам это знаешь. Поэтому взял бы ты скромненькое «Красное Знамя». Это я тебе гарантирую. Петров по моему личному докладу подпишет немедленно.

— Нет, за эту операцию я должен получить полководческий,— уперся я.— Полководческий или никакого.

— Хорошо. Я представление напишу. Хорошее представление. И Петров его подпишет. Но кто у нас дает ордена по представлениям? В представление даже не заглядывают те, кто награждает. Смотрят на подписи. А подписи нашего фронта не очень авторитетны. Подпишет Жуков, Василевский, Рокоссовский — дадут. Подпишет Петров — неизвестно. Поэтому пеняй на себя, если ничего не получишь.

Так я ничего и не получил.

Тонконог и командир артпультбата, запросившие по моему примеру тоже полководческие ордена, оба получили «Александра Невского». Значит, дело было не только в подписи.

Для Тонконога это был последний бой в нашей дивизии. Через несколько дней его тяжело ранили, и он убыл в госпиталь. В командование полком вступил Володя Завальнюк. В сложную ситуацию попал Угрюмов. Снять его в бою, благодаря нашему пассивному сопротивлению, не удалось. Но и к командованию Гастилович его не допускал. Держал в медсанбате и добивался, как в прошлом в отношении Смирнова, перевода в другую армию. Спасла Угрюмова случайность. В связи с приближением конца войны сработало давнее представление. Угрюмову присвоили звание генерал-майора, Гастиловичу пришлось отступить. Мне он при встрече сказал: «Не был бы ты идиотом, давно бы дивизией

командовал». Я его понял, но на то, чего он ждал от меня, я не был способен. И не жалею. Наоборот, очень горжусь, что в условиях, когда нас сталкивали лбами, мы сумели сохранить солдатскую дружбу.

Вспоминая войну, я часто возвращаюсь мыслями и к этому бою. При этом диалюсь собственной бесчувственности. Сейчас у меня просыпается сочувствие к погибшим на войне вне зависимости от того, к какому из воюющих лагерей принадлежали они. Вражду я чувствую только к творцам войны.

Значение разума, хладнокровия, боевого опыта, предусмотрительности, в общем, личных качеств для выживания на войне трудно переоценить, но элемент мистики в боевой обстановке — вера в судьбу, в Провидение — не оставляет даже людей, которые заявляют себя убежденными безбожниками. Не избежал этого и я сам. Во-первых, мною владело чувство, что на войне я не погибну. Это убеждение было настолько сильным, что даже в самых опасных ситуациях страх за жизнь не появлялся. Я верил в то, что ничего со мной не произойдет, что я вернусь домой, увижу жену и ожидаемого нами «чехословацкого» сына. Эта вера была у меня, еще когда я ехал на фронт. События, ставившие жизнь мою на грань смерти, укрепили эту веру. В этих событиях я внутренним взором видел руку Провидения, хотя был тогда членом партии и искренне считал себя атеистом.

...Опасная ситуация сложилась в первый день мира. 7 мая вечером мы, как и другие советские соединения, передали противостоящим немецким войскам ультиматум — капитулировать к 24 часам. Часов около 10 вечера из передовых подразделений донесли, что в расположении противника взрывы и стрельба. В 24 часа, поскольку ответа на ультиматум не было, мы перешли в наступление. Противник оказал незначительное сопротивление и отошел. Почти сразу же за передним краем мы натолкнулись на страшные картины. Видел я убитых более чем достаточно, но эту картину никогда не забуду. Это жестокое необъяснимое убийство нельзя простить. На артиллерийских позициях рядом с подорванными орудиями лежали расстрелянные... лошади, огромные немецкие першероны. Это было сделано по приказу фельдмаршала фон Шернера, который отказался капитулировать. Весь следующий день мы наступали. Солдат посадили на повозки, и за день прошли с боями 84 километра. Уже в конце дня я догонял 129-й полк. Догнал штаб полка. Говорят, командир полка впереди. Поехали. Нагоняем батальон.

— Впереди есть кто?

— Да, наш второй батальон. И командир полка с ним.

— Ну, поехали.

Едем. Впереди колонна. Смело приближаемся. Остается метров 50 до ее хвоста. Вдруг водитель поворачивает голову ко мне — весь белый: «Немцы!»

— Не снижайте скорости! — прикрикнул я на него.— Дайте сигнал!

Я уже тоже видел: колонна действительно немецкая. В полном боевом. Но страху никакого. Даже шутливая мысль пронеслась: «После войны глупо быть убитым». Колонна уступает нам дорогу. Едем, смотрим на нее. Она тоже смотрит на нас, не то с любопытством, не то со страхом. Я снова шучу: «А вот тут, Тимофей Иванович, ваша винтовка совсем без пользы. Больше одного аряд ли удастся прикончить, пока они с вами расправятся. Советую у шофера занять автомат. Ему он, пока руль в руках, не нужен. А когда руль выбьют, тем более не нужен будет». Так мы и проехали колонну. Продолжаем двигаться дальше.

— Куда же мы теперь? — спрашивает шофер.

— Свернем на первую же дорогу.

— Снова колонна! — вдруг воскликнул Тимофей Иванович.

— Что делать? — совсем в страхе спросил шофер.

— Ну, теперь тем более догонять,— говорю я.— Не поворачивать же навстречу той.

Едем. Приближаемся. И в один голос: «Наши!»

Александров пошел навстречу машине. Поздоровались.

— Вы знаете, что за вами километрах а трех колонна немцев? — спросил я.

— Не знаю.

— Ну, рассказывать некогда. Быстренько засаду. Подпустить вплотную и обезоружить без крови.

Через несколько минут батальон исчез, как в воздухе растворился. Мы с Александровым укрылись в кустах, откуда хорошо видна дорога. Сидим, разговариваем. Наблюдаем за дорогой. По моим расчетам, немцы давно должны были появиться в поле видимости. Но нет. Прибегает связной от разведки, которая была выслана одновременно с организацией засады. Принес адресованную мне записку: «Достиг указанного Вами места. Немцев нет». Сажусь в машину. Беру Александрова и связного разведки. Догоняем разведку. Да, это то место, где мы обгоняли колонну. Немцев нигде нет. Я смотрю на Тимофея Ивановича и водителя.

— А немцы действительно были? Нам не привиделось?

— Хорошенькое «привиделось»! — ворчит Тимофей Иванович.— Я чуть в штаны не наложил. Никогда в жизни такого страху не переживал. А тут вы еще со своими шуточками о винтовке и автомате. Тут смерть явная хоть с бомбой, а не то что с автоматом, а вы...

— Да, но где же немцы?
— В лес ушли,— уверенно говорит Кожевников.— Надо поискать.
Все мы тихонько пошли по ходу колонны, внимательно осматривая местность по обе стороны от шоссе. И я как-то не заметил, что Тимофея Ивановича с нами нет. Вдруг раздался его далекий голос... Он звал нас. Оказалось, что Кожевников пошел не с нами, а в противоположную сторону. И теперь сигнализировал нам, что видит следы колонны. Мы подошли к нему. Он стоял у проселка, который отходил вправо от шоссе и убегал в лес. На проселке были ясно видны следы множества кованых немецких сапог.
— А вы почему пошли в эту сторону? — спросил я у него.
— Я видел этот проселок, когда мы подъезжали к колонне. И я сообразил, что если они решили уйти от нас, то они не пойдут вслед за нашей машиной, а скорее всего воспользуются проселком. Тем более что это очень просто — скомандовать колонне «кругом» и маршировать на проселок.
— Разведчикам прощупать опушку леса! — скомандовал я.
Через некоторое время сержант-начальник разведгруппы прокричал с опушки: «Есть колонна!»
И мы увидели ее. Вернее, зримый след. Немцы как шли в колонне по три, так остановились и... сняли с себя все. С немецкой аккуратностью на месте каждого солдата и офицера положены ранцы, на них сложены костюмы, рядом поставлены ботинки, положены автоматы. Не было только самих шедших в колонне людей.
— Как же они ушли? — воскликнул Александров.— Неужели в одном белье?
— Нет! — сказал я.— У них гражданское, видимо, было запасено пораньше. В ранцах носили. Обратите внимание — все ранцы пустые.
— А не убили они нас,— сказал Кожевников,— потому что шуму боялись. У них, значит, заранее было намечено, как лучше выйти из войны. А любой шум мог помешать этому. Вот они и сказали, глядя на нас,— пусть живут! Спасибо им за это.— И он поклонился вослед колонне.— Я желаю каждому из них благополучно добраться до дому.
Все слушали его молча, потупившись. Казалось, каждый посылал доброе напутствие ушедшим.
Последний эпизод, о котором я расскажу, был уже после войны, то есть 12 мая 1945 года. В этот день наша дивизия вела свой последний бой с войсками не капитулировавшей группировки фельдмаршала фон Шернера. Только что мы заняли без боя Пардубице, и полки устремились далее на запад — к Праге. Вскоре послышалась интенсивная орудийная перестрелка. С нашей стороны били 85-миллиметровки — полевые и зенитные. От немцев неслись звуки выстрелов из танков и самоходок. Я решил лично посмотреть, что там происходит. Сел в «виллис» и поехал. Дорога совершенно пустая. Ориентируюсь по выстрелам — до переднего края представляется еще далеко. Едем. Звуки боя быстро приблизились. Говорю шоферу: «Найди место — и с дороги в укрытие!» И он нашел. Вправо отходил проселок. Причем в каком-нибудь десятке метров он ныряет в довольно глубокую выемку. Я остановил машину и взбежал на откос. Осматриваюсь, а тем временем достаю бинокль. И вдруг перед глазами в каких-то трех-пяти десятках метров от меня зловещее кольцо — жерло орудия. Но я не вижу самого орудия. Передо мной только кольцо, которое медленно двигается, нацеливаясь на меня. Не успеваю ничего сообразить, придумать, что делать, как меня резким толчком кто-то сбивает с ног, и мы вместе катимся под обрыв, а в то место, где я только что стоял, ударяет болванка (противотанковый снаряд) и, противно взвизгнув, куда-то рикошетирует.
— Извините, пожалуйста! — поднимаясь и отряхиваясь, говорит мне младший лейтенант-артиллерист.— Но там была самоходка. Вы не успели бы уйти.
Я поблагодарил его. Но спросить фамилию не догадался. А после найти не удалось.
На этом закончилась война и для меня. Пришел приказ дивизию сосредоточить для отдыха в Цвиккау. На следующий день я подняться не смог. Температура была 40° Цельсия. Врач констатировал воспаление легких. В госпитале диагноз подтвердили, но дополнили: «На исходе». Иными словами, я перенес воспаление на ногах и не заметил, что болен. Подъем спал, и болезнь проявилась. Но она уже была на исходе. На третий день температура упала до нормальной, а на пятый меня выписали с заключением: рекомендуется отпуск на 20 дней для поправки здоровья.
Вернувшись из госпиталя, я попал прямо на страшное ЧП в дивизии. Начальник артиллерии и начальник инженерной службы 151-го полка стрелялись на дуэли. Не из-за чего. «По-дружески». Изрядно выпив, они сели в тачанку и поехали в соседний полк. По дороге кто-то из них предложил:
— Давай стреляться на дуэли.
— А где секунданты?
— Ездовой будет.
— Так он же один, а надо два.
— Ничего, он один будет на две стороны.
Спросили ездового, согласен ли он быть секундантом на две стороны. Тот, пьяный не менее своих пассажиров, согласился.

Отмерили расстояние, начали сходиться, открыли огонь. Оба выстрелили всю обойму. Начальник артиллерии вогнал в своего «противника» все 9 пуль. Тот дважды промахнулся. Оба получили тяжелые ранения. Закончив стрелять, оба начали кричать: «Санитаров!» Ездовой взялся и за эту роль. Взвалил их на тачанку и повез, минуя санитарную роту полка, прямо в медсанбат.
Впоследствии хирург утверждал, что если бы они не были так пьяны, то с их ранениями до медсанбата они бы не доехали. А если бы ездовой не догадался везти в медсанбат, где их немедленно оперировали, смертельный исход был бы неизбежен. Я навестил обоих. Они лежали в разных палатах — в одиночных. И возле каждого дежурила санитарка. Оба были очень слабенькие, но задать им по одному вопросу врач разрешил. Каждого я спросил: что заставило затеять дуэль? Оба ответили одинаково: «Скучно». Без орудийной стрельбы, без взрывов снарядов, без автоматного и пулеметного огня — тоска. В тот же день я поднял по тревоге 129-й полк. Два батальона пустил в марш-бросок на 20 км. В каждом из этих батальонов были оставлены по одному офицеру, остальной офицерский состав был собран вместе, и третий батальон провел для него показное учение с боевой стрельбой.
Учение простейшее. Создали упрощенную мишенную обстановку, и батальон атаковал после артподготовки, ведя огонь на ходу. Об учении говорить нечего. Проще, чем оно было проведено, организовать нельзя. Дело в другом. Когда батальон открыл огонь и пошел в атаку, офицеры полка, стоявшие передо мной и слушавшие мои пояснения, вдруг двинулись. Обходя меня и обгоняя друг друга, они с затуманенными глазами устремились туда, где огонь. Многие потянули пистолеты из кобур и тоже начали стрелять. И я понял, что, если этих людей не занять, они перестреляют друг друга, как те два дуэлянта. Доложил Николаю Степановичу программу боевой подготовки на месяц, рассчитанную на 10-часовой рабочий день. Он отнесся к моему предложению прохладно.
— Тебе, я вижу, еще не надоело воевать. Ну, воюй. Мешать не буду, но и участвовать тоже. Дивизии до расформирования считанные дни остались. Можем дожить и без боевой подготовки. Люди отдохнут.
— Бывает положение, когда отдых вреден.
— Ну, делай как знаешь. Я не против.
Программа была предельно простая — два часа строевой, через день два часа политзанятия, другой день в эти два часа уход за оружием и обмундированием. Два с половиной часа марш-бросок на 20 км и три с половиной часа стрелковая подготовка.
Через неделю дивизию просто не узнать. Личный состав подтянут. Отдают воинские приветствия, обмундирование опрятное, оружие в прекрасном состоянии, вид у людей бодрый, веселый, и никаких происшествий.
И вот в это время в Цвиккау, где мы тогда располагались, появился генерал-лейтенант. Высокий стройный брюнет с интеллигентной внешностью, умными и внимательными глазами. Он протянул мне удостоверение личности и сказал:
— Я командующий 52-й армией, в которую передаются соединения вашей армии. В порядке предварительного ознакомления объезжаю будущие войска своей армии.
Мы прошли к Угрюмову. Тот предложил закусить. Генерал сказал:
— У вас, пожалуй, соглашусь и закусить, и даже рюмку пропустить. Я проехал все дивизии вашей армии. Ваша дивизия первая, которая меня порадовала. Во всех частях напряженная учеба.
— А это моему начальнику штаба не спится. Это все его затеи. Не сегодня-завтра приедет приемочная комиссия, и он хочет кого-то чему-то научить,— сказал Угрюмов.
— Да дело же не в том, чтобы научить, а чтоб занять. Это главное. Хотя, конечно, чему-то и обучаются. Вот я прошел через весь этот городишко и не видел ни одного болтающегося военного. А тех, кого встречал, все аккуратно заправлены, подтянуты и честь отдают. В других дивизиях вашей армии, да и у себя тоже, я этого не наблюдал.
— Ну, это тоже заслуга начальника штаба,— сказал Николай Степанович.— Я, откровенно говоря, этим занятиям значения не придавал.
— И напрасно. Вот, например, скажите,— обратился он ко мне,— сколько у вас в дивизии ЧП с того дня, как вы начали занятия? Подождите, не отвечайте. Попробую угадать. Думаю, что нет, а если есть, то каких-нибудь одно-два.
— Нет! Совсем нет!
— Ну вот, товарищ генерал-майор,— обратился он к Угрюмову.— А в других дивизиях вашей армии, да и у меня, штабы не успевают писать внесрочные донесения. Приеду, закручу гайки. Да, кстати, по какой программе вы ведете занятия?
— Фактически без всякой программы. Просто я дал устные указания командирам частей.— И я изложил ему, чем мы заняты.
— Во! — воскликнул генерал-лейтенант.— Так вот где моя ошибка. Я приказал штабу разработать программу, руководствуясь довоенными программами. А нынешние офицеры умеют только воевать. Учить по-мирному не умеют. И потому не учат. Приеду, введу вашу упрощенную. На все время, пока втянутся. Продиктуйте мне, пожалуйста, вашу программу.— И тут же записал себе в блокнот.
Через два дня началась передача дивизии.

ВОЙНА ЗАКОНЧЕНА

Расскаэываи различные эпизоды войны и свои переживания, я хотел, чтобы читатель видел мою будничную жизнь на войне и понял, что перед ним отнюдь не протестант, не критик строя, не оппозиционер, а человек, преданный своему делу, любящий его, отдающий ему все свои силы и время. Все, что говорилось о Сталине, о партии, о стране, воспринималось мною как истина в первой инстанции. И сам я выступал горячим, убежденным агитатором. Меня не могло смутить ничто. В стране голодают? Так это же естественно — страна вынесла на своих плечах такую войну, перенесла невиданную разруху. Советских военнопленных эшелонами гонят в лагерь? А как же иначе, если они предали Родину в тяжелый час. Берут и гражданских, остававшихся на оккупированной территории? Естественно! Берут же не всех, а только тех, кто на подозрении. Проверят. Не виноват — выпустят. Вот же моего старшего брата Ивана взяли, продержали 2—3 месяца и без моего вмешательства выпустили. Значит, того, что было в 1937—1938 годах, нет. Сталин на Празднике Победы произнес тост за великий русский народ. Тост, который развязал руки великодержавно-шовинистическим элементам и унизил достоинство других народов, в том числе моего великого украинского народа, но я и это воспринял как естественное. В общем, никаких туч на моем политическом горизонте не просматривалось. Я с надеждой и оптимизмом смотрел в свое послевоенное будущее.

К концу мая 1945 года дивизию расформировали. Была расформирована и 18 армия. Те, кто решал это, были явно не на высоте. Расформировать армию, в которой служил такой великий политик и стратег, как Леонид Ильич Брежнев, явное недомыслие. Теперь в оправдание могут сказать, что его в то время в 18-й армии уже не было. Он под самый конец войны возглавил политотдел 14-го Украинского фронта. Но это не оправдание. Армию надо было оставить. Иначе где же создать мемориал? Откуда распространять свет «неповторимого стратегического гения»?

Я, честно говоря, тоже недооценил значения 18-й армии, отнесся к факту ее расформирования довольно равнодушно и, получив направление в отдел кадров 52-й армии, поглотившей бедную нашу 18-ю, зашел проститься к Гастиловичу. Принял он меня довольно тепло, выпили «на посошок». Но прежде чем уйти, я извлек из кармана заключение госпитальной медкомиссии о необходимости предоставления мне 20-дневного отпуска.

— Разрешите мне съездить на эти 20 дней в Москву.

— Как же я разрешу, когда ты уже не в моем подчинении?

— А вы только напишите: «Разрешаю 20 дней Москву» — и подпишите задним числом.

— А что это тебе даст?

Он вдруг сам понял и, пристально взглянув на меня, усмехнулся, начал писать резолюцию, потом еще раз глянул и говорит:

— А ты, оказывается, Бендер.

— Приходится,— ответил я,— жене скоро рожать. А война-то ведь закончилась, и офицеров в резерве больше чем достаточно.

20 дней пролетели как один миг. Со страхом и думал о расставании с женой. Слабенькая, бледная. Семья большая, питание очень плохое, а беременность тяжелая. И меня при родах не будет? Нет, не мог я уехать, оставить ее в таком тяжелом состоянии. Я, конечно, понимал, что ничем помочь ей не смогу. Но думал: сознание того, что я здесь, рядом, даст ей больше сил. И я решил — буду Бендером. Отпускные документы у меня были выписаны на бланках дивизии, и в Москве я их зарегистрировал у коменданта. За два дня до истечения срока моего отпуска пошел в ГУК, к направленцу Прикарпатского военного округа. Говорю:

— Я здесь в отпуске по болезни. Время выезжать, а я получил письмо, в котором мне сообщают, что наша дивизия расформирована. Куда же мне теперь ехать?

Подполковник куда-то сбегал и принес направление в резерв ГУКа. Через неделю вызвали — предложили несколько должностей. Я твердил одно и то же — пойду только комдивом, заведомо зная, что такую должность в условиях закончившейся войны, когда освободились сотни комдивов со стажем, никто мне не предложит. Но... предложили. Через несколько дней вызвали и направили к направленцу Дальнего Востока. Старый знакомый, теперь уже полковник — Анцыферов. Я его знал еще капитаном. Он предложил мне командиром дивизии в 5-ю армию. Посмотрел я на него, улыбнулся и говорю:

— Знаешь, Анцыферов, и когда уезжал оттуда в 1943 году, ей-богу, ничего не забыл.

Правда, я тогда не предполагал, что на Дальнем Востоке вспыхнет война. Если бы предполагал, ответ, возможно, был бы другим. Во всяком случае, когда боевые действия в Маньчжурии начались, я пожалел, что не принял предложения Анцыферова. Но тогда мы посмеялись, поговорили, и и снова вернулся к направленцу резерва. Тот смеется:

— Я вижу, вам не к спеху уезжать из Москвы?

— Да,— в том же тоне отвечаю я.— «Умрем же под Москвою, как наши братья умирали...»

— Но, видишь ли,— говорит он,— я деньги получаю за то, чтоб в резерве долго не сидели. Вот и тебя должен пристроить так, чтоб обоим нам было хорошо. Давай я тебя пошлю в прикомандирование к управлению по использованию опыта войны. Ты ведь окончил Академию Генштаба. Вот и потрудись над научными проблемами.

Начальник Главного управления Генштаба по использованию опыта войны генерал-полковник Шарохин Михаил Николаевич, мой однокашник по Академии Генерального штаба, принял меня очень тепло и сердечно сказал: «Я тебя пошлю в Уставное управление с дальним прицелом, с расчетом зачисления на штатную должность. Там у нас предвидится, но много времени на согласование уходит. Пока буду согласовывать, поработаешь как прикомандированный».

Через месяц со мной разговаривали большие чины. Предложили должность заместителя начальника Уставного управления. Я согласился. На этом замолкло. А отношение ко мне как-то изменилось. Через некоторое время начальник Уставного управления генерал-майор Есаулов, который уже начал было вести себя со мной как со своим заместителем, оставшись наедине, сказал: «К сожалению, мне с вами работать не придется. Это и говорю доверительно. Я не должен этого делать. Вам скажут об этом официально, через отдел кадров. Они там придумают формулу отказа, но я вам скажу, что не пропустила вас контрразведка, из-за жены,— подчеркнул он. („Из-за ее биографии",— подумал я.) — Но это между нами. Мне очень жаль, что так получилось. Вы мне очень подходите».

Таким образом, мне пришлось еще один раз возвращаться к своему старому знакомому — направленцу резерва.

— Что же это ты там не пришелся ко двору? — встретил он меня вопросом.

— Не знаю. Во всяком случае, не по моей вине. Работал добросовестно.

— Да, все шло хорошо. Твое начальство благодарило меня. Хвалили твою работу, и вдруг «откомандировываем». Ну, куда же мне тебя направить?

— А в академиях мест случайно нет?

— В академиях? А ты пойдешь?

— Конечно.

— Так что же ты молчал? Мест в академиях сколько угодно. Туда не идут. Отказываются. Поэтому я и тебе не предлагал. В какую ты хочешь? В Академию Генштаба или Академию имени Фрунзе?

— В Академию имени Фрунзе.

Через несколько минут у меня в руках было направление на согласование.

Заместителем начальника академии по научной и учебной работе был в это время мой старый добрый знакомый Сухомлин Александр Васильевич.

— Я безусловно «за»,— сказал он,— но не будем обходить начальника оперативно-тактического цикла.

Должность эту занимал генерал-полковник Герой Советского Союза Боголюбов Николай Николаевич — брат известного советского академика А. Н. Боголюбова. Николая Николаевича я знал еще с Академии Генерального штаба. Он был из первого набора. Когда я учился на первом курсе, он учился на втором.

— Григоренко? Откуда? Какими судьбами? Заходите! Садитесь! Рассказывайте!

Я сказал, что пришел согласовываться на преподавательскую работу.

— На какую кафедру? Оперативного искусства? Общей тактики?

— Хочу начать с общей тактики.

— А почему не пошли в Академию Генштаба?

— Именно потому, что хочу заняться общей тактикой. Хочу обобщить и осмыслить собственный опыт.

— Думаю, что это правильно. Давайте вашу бумажку. Подпишу. И скорее приходите. Работы много. Поработаем.

И мы начали работать. 8 декабря 1945 года я вошел в Военную академию имени Фрунзе уже как старший преподаватель кафедры общей тактики. Начался мой 16-летний творческий путь в военной науке и педагогике. И одновременно начался тот путь, который вел меня и не мог не привести к сегодняшнему.

Я часто спрашиваю себя, почему мною был избран путь, ведущий в академию, в то время как жизнь меня толкала на другое и сам я стремился к другому. Карьера преподавателя меня никогда не прельщала. Меня влекла командная карьера. И вдруг, когда она стала абсолютной реальностью, я от нее уклонился, а затем сам выбрал преподавательскую карьеру. Знал же, что в смысле должностного роста и получения высоких званий она совершенно бесперспективна. Понимал я также, что предложение командарма 52-й дает возможность встать на путь стремительного продвижения. Получить дивизию в 38 лет — это площадка для самого высокого взлета. И вот я с сожалением, но отказываюсь. Ну, пусть отказался, когда кончался отпуск. Была причина — желание быть рядом с женой в трудных для нее родах. Но судьба дала мне возможность вернуться на тот путь. В сентябре я встретил в ГУКе генерала Соколова. Он оформился в запас. Он мне сказал, что командарм 52-й запросил в ГУКе меня на должность комдива. Я проверил. Да, запрос ГУК получил, но ответил, что я имею предназначение на должность в Генштабе. Жена к тому времени уже родила, и эта нить меня не держала. Стоило мне послать телеграмму

командарму и заявить в ГУК о том, что отказываюсь от должности в Генштабе, и я получил бы дивизию. И сегодня был бы в Советских Вооруженных Силах еще один мало ведомый генерал-полковник или генерал армии, а то так и Маршал Советского Союза, но для этого полковнику Григоренко пришлось бы начать свой послевоенный путь с преступления. Дивизия, которая предназначалась в мое командование, участвовала в подавлении повстанческого движения на Украине. Мои бывшие подчиненные (по 8-й дивизии) заезжали ко мне в Москву и с возмущением и болью рассказывали, как они жгли и разрушали дома заподозренных в помощи повстанцам, как вывозили в Сибирь семьи из этих домов, женщин и детишек, как выбрасывали население из сел и хуторов, как устраивали облавы на повстанцев.

Во время одного из моих выступлений уже здесь, в США, мне задали вопрос — воевал ли и против УПА. Я ответил: «Бог уберег». И это действительно так. Это действительно чудо, что я не занял должность, которую очень хотел занять и которую мне буквально в руки давали. Если бы я ее занял, то, безусловно, воевал бы и против УПА и против мирных земляков своих. Я, тогдашний, был способен на это.

Я не верю, что человек безвольно движется по твердо указанному Богом пути, как записано в Книге судеб. Человеку все время приходится делать выбор, решать, куда пойти и какие действия предпринять. Я не избежал этого. Много раз мне в моей жизни приходилось выбирать. Послевоенный выбор едва ли не самый ответственный. И хотя я и не понимаю, как я смог сделать правильный выбор, но догадываюсь, что Бог не оставил меня своим Промыслом, потому что я все же предпочел добро. Во мне самом победила любовь к жене, к недавно родившемуся сыну, к своей семье. Ради них я отказался от пути тщеславия. И Бог благословил этот выбор, повел меня на путь правды и добра.

РЕШАЮЩИЙ ПОВОРОТ

Военная академия имени Фрунзе

8 декабря 1945 года я буду помнить до конца дней моих. Когда я, сдав в отдел кадров академии свое предписание, направился на кафедру, мною овладело удивительное торжественное чувство.

С этим чувством я и вошел в кабинет начальника кафедры. Самого его не было... Здесь находился работавший в этом же кабинете заместитель начальника кафедры генерал-лейтенант Сергацков. Брови, примерно такой же толщины, как и у Брежнева, срослись в одну линию, и это придавало ему суровый, грозный вид. Брюнет — сказать о нем было бы слишком слабо. О таких говорят — черный. «Черный, как цыган»,— подумал я. Ему бы цыганскую рубаху и шаровары, да кнут в руки, и никто бы не догадался, что это советский генерал. Каково же было мое удивление, когда я вскоре узнал, что Сергацков действительно цыган. Выходило, что не генерала можно замаскировать под цыгана, как я подумал, а цыгана нельзя скрыть и под генеральской формой. Кстати, оказался он совсем не таким грозным, как выглядел. Был добрым, заботливым и весельчак, как истый цыган. Мы с ним поговорили. Потом он проводил меня в преподавательскую первого курса и познакомил с находившимися там преподавателями.

Там я и дождался появления начальника кафедры генерал-лейтенанта Шмыго Ивана Степановича. Невысокий шатен, он буквально лучился добротой. Весь его вид был какимто домашним и... академичным, что ли. Это, однако, не мешало ему, как я потом убедился, твердо держать в руках всю свою огромную кафедру — свыше сотни преподавателей. На всех остальных кафедрах вместе взятых, а их свыше двух десятков, было меньше преподавателей, чем у Шмыго на кафедре общей тактики. В связи с такой большой численностью кафедры преподаватели были разбиты на несколько групп, которыми руководили старшие тактические руководители. Меня Шмыго определил в группу генерал-майора Простякова — на первый курс.

Первый курс в том году был первым еще и в особом значении. С него начиналось возрождение нормального учебного процесса. В войну академия работала как курсы усовершенствования, по краткосрочной программе. Теперь набрали состав для нормального трехгодичного обучения. И набрали очень разумно. Набор назывался «сталинская тысяча». В конце войны Сталин распорядился набрать в Академию имени Фрунзе тысячу тех, кто до войны закончил гражданские высшие учебные заведения, а за войну дослужился не ниже, чем до майора. Таких кандидатов фронты представили 1300 с чем-то. Всех и зачислили.

Занятия в академии, как обычно в советских вузах, начинались 1 сентября. Поэтому мне приходилось вступать в работу на ходу. А так как я с преподаванием в академии дела не имел, то первой встречи с группой ждал с волнением. Но все оказалось проще. Опытные фронтовики с критическим складом ума были мне близки и понятны. Творческий контакт с группой установился с первого же занятия. Я увлекся этой работой и с головой ушел в нее.

И все же я не владел этим искусством. Моя жена часто указывала на длинноты в моих обоснованиях, на ненужную повторяемость. Мешал и мой украинский акцент. Истинное мое призвание выявилось не в преподавании.

По собственной инициативе я взялся за кандидатскую диссертацию «Наступательный бой дивизии в горно-лесистой местности». Официально об этом никому не заявил. Начальство, не зная этого, но, по-видимому, заметив исследовательский склад моего ума, включило меня в состав авторского коллектива, получившего задание написать пособие «Стрелковый полк в основных видах боя». Я горячо взялся и за эту работу. Настолько горячо, что выполнил свое задание, когда остальные еще и не приступали. Руководитель коллектива — генерал-лейтенант Сергацков — возложил на меня дополнительное задание. Кончилось тем, что я написал все это пособие полностью. Одновременно я начал сотрудничать в военных журналах и разрабатывать задания для занятий по общей тактике.

Писание статей и разработка заданий имели и материальный стимул. Они оплачивались гонорарами. А это для меня было немаловажно. Семья численностью в 9 человек — 5 сыновей, родители, я и жена, почти у всех иждивенческие и детские карточки, на которые давали только 450 граммов хлеба, и больше ничего. Надо было что-то подкупать с рынка (хотя бы картофель) и из коммерческих магазинов. А в магазинах этих цены в десятки раз выше, чем по карточкам. Одного жалованья на эти закупки не хватало. Вот и приходилось подрабатывать. А на это нужно было время.

Время нужно и на очереди: за своим пайком (в военторге) и за закупками в коммерческих магазинах. И там, и там полковникам продавали вне очереди. Но дело в том, что из полковников тоже создавались очереди. И немалые. Вот рабочий день и складывался — из занятий со слушателями, выполнения других служебных заданий, стояния в очередях коммерческих магазинов и военторга. Для диссертации и дополнительного заработка оставались, естественно, только ночи. Жена, больная и с грудным ребенком, заезженная, раздражалась моими ночными бдениями и тем, что я ей не помогаю. А я не мог даже возразить, сказать, что без этой моей работы мы будем просто голодать. Не мог, потому что это выглядело бы как упрек с моей стороны: «Я-де вас кормлю, а вы не понимаете этого». Не мог я бросить такого упрека, потому что в семье все взрослые делали все, чтобы облегчить положение: моя жена и ее мать обслуживали семью, а жена, кроме того, время от времени брала шить за деньги и умудрялась выполнять и эту работу. Ее отец чинил обувь соседям и что-то зарабатывал на этом для семьи. Не мог я бросить упрек этим людям и потому отмалчивался или отругивался на замечания жены.

Это было страшно тяжелое время. Но задним числом я говорю: «Хорошо, что мы его пережили». Если бы я принял назначение в 52-ю армию, мы бы с женой и детьми уехали в военный городок и материально были бы обеспечены даже выше своего круга. Не знали бы никаких очередей. Не знали бы, что беспомощные старики, даже имея деньги, не могли пойти в коммерческие магазины, которые осаждались буквально морем людей, в котором калечили и душили даже молодых здоровых мужчин. Живя в военном городке, мы бы не только не испробовали ту тяжелую жизнь, но и не видели бы, как живут простые советские граждане. На это и рассчитана советская корпоративная система. Человек, принадлежащий к определенному общественному слою, трудится среди людей этого слоя, живет среди них, бывает в магазинах только с ними, ходит в гости и принимает гостей того же круга, что и сам.

Со мной вышло иначе. Я поселился в доме, куда жена моя пришла еще девочкой, где она выходила впервые замуж, откуда в 1936 году забрали на мучения и смерть ее первого мужа, из этого дома уводили и ее в тюрьму. Все в доме, населенном более чем двумя тысячами рабочих и низших служащих с их семьями, знали мою жену, поэтому, естественно, приняли и меня как своего. Я оказался как бы членом их корпорации. Они могли разговаривать со мной столь же откровенно, как и с людьми своего круга. Мы так слились с этой средой, что, когда мне предложили более просторную и благоустроенную квартиру в доме для профессорско-преподавательского состава академии, моя жена категорически отказалась переезжать.

Итак, попал я в условия нормального развития — интеллектуально высокий служебный коллектив и возможность беспрепятственного общения с простыми трудящимися во внеслужебное время. Но мне повезло и в другом отношении. Вскоре по прибытии в Москву я познакомился, а потом и подружился, с двумя замечательными людьми, многолетними друзьями моей жены. Это Василь Иванович Тесля и Митя (Моисей) Черненко.

Первый из них был старше меня года на 4—5. Участник гражданской войны. Затем партийный работник. Друг Зинаиды и ее первого мужа стал и моим другом. Василь Иванович часто бывал в нашем доме.

— Как ты думаешь, Зинаида, где я больше обедал, у вас или у себя? — шутя спрашивал Василь Иванович. И сам отвечал: — Пожалуй, у тебя больше.

Когда начались аресты в 1936 году среди его друзей по ИКП, он работал в г. Свердловске. Может, его бы и обошла волна репрессий, но он выступил на защиту своих друзей и был арестован. Пытали его страшно.

Василь Иванович выжил, но стал полным инвалидом и в таком виде был доставлен в Москву в 1941 году, где обвинения с него сняли.

Но он не принадлежал к тем, кого охватил телячий восторг по поводу той «справедливости», которая распространилась на него. Он не перестал, правда, верить в коммунизм. Идейно он оставался коммунистом, но зато пришел к твердому выводу, что никакого коммунизма в советской стране нет, что люди, правящие страной, обычные гангстеры, заботящиеся только о сохранении своей власти, готовые ради этого пойти на любое преступление.

Я любил говорить с Василем Ивановичем. То, что выше сказано о его взглядах, он не выложил сразу, в открытую. Понимая, что я сталинец, он вел мои мысли к критике существующего весьма осторожно. Прекрасно зная Ленина, он поднимал то один, то другой вопрос из теории ленинизма и сравнивал теорию с существующей практикой. Под его влиянием я и сам начал критически анализировать ленинское теоретическое наследие. Тем самым я становился на тот единственный путь, каким идут в диссидентство люди с коммунистическими убеждениями.

Противоречия можно найти в марксизме-ленинизме буквально на каждом шагу. Можно прочитать такое, что будет характеризовать марксизм-ленинизм как самое демократическое, самое человечное движение, но в том же марксизме-ленинизме до предела развиты тоталитарные, диктаторские, античеловеческие, черносотенные теории и утверждения. Человек как-то так устроен, что, читая, замечает лишь то, что импонирует ему. Человек добрый, с демократическим настроем, находит все это и в ленинизме. Но Сталин, утверждающий, что он один правильно понимает и толкует Ленина, не лжет. Он находит в ленинизме подтверждение всем своим мыслям, оправдание всем своим действиям. Людям с коммунистическими убеждениями, чтобы выйти из идеологических цепей, надо прежде всего увидеть эти противоречия. Задуматься над ними. Потом взглянуть без шор на жизнь. И тогда они поймут, что противоречий нет. Есть стройное учение крайней диктатуры, крайнего тоталитаризма, в котором демократические и гуманистические отступления служат лишь маскировкой демагогии, истинной сути, применяются для обмана масс. Каждый рассказ Василя Ивановича о том или ином жизненном случае оставил след не только в моей памяти, но и в душе. В это время Тесля был директором совхоза, и, естественно, больше всего рассказывал он о том, что происходит в сельском хозяйстве, однако затрагивались и другие темы, среди них и тюремно-лагерные воспоминания. И вот однажды, когда мы как-то коснулись вопроса фашистских зверств, я сказал:

— Какими же зверями, нет, не зверями... растленными типами надо быть, чтобы додуматься до душегубок.

В ответ Василь Иванович, поколебавшись, произнес:

— А вы знаете, Петр Григорьевич... душегубки изобрели у нас... для так называемых кулаков... для крестьян.

И он рассказал мне такую историю.

Однажды в омской тюрьме его подозвал к окну, выходящему во двор тюрьмы, сосед по камере. На окне был «намордник». Но в этом «наморднике» была щель, через которую видна была дверь в другое тюремное здание.

«Понаблюдай со мною»,— сказал сокамерник.

Через некоторое время подошел «черный ворон». Дверь в здании открылась, и охрана погнала людей бегом в открытые двери автомашины. Он насчитал 27 человек — потом забыл считать, хотел понять, что за люди и зачем их набивают в «воронок», стоя, вплотную друг к другу. Наконец закрыли двери, прижимая их плечами, и машина отъехала. Хотел отойти, но сосед сказал: «Подожди. Они скоро вернутся». И действительно, вернулись они очень быстро. Когда двери открыли, оттуда повалил черный дым и посыпались трупы людей. Тех, что не вывалились, охрана повытаскивала крючьями... Затем все трупы спустили в подвальный люк, прежде им не замеченный. Почти в течение недели наблюдали они такую картину. Корпус тот назывался «кулацким». Да и по одежде видно было, что это крестьяне.

Слушал я этот рассказ с ужасом и омерзением. И все время видел среди тех крестьянских лиц лицо дяди Александра. Ведь он же, по сообщению, которое я получил, умер в омской тюрьме. Вполне возможно, что умер именно в душегубке.

С Митей Черненко я впервые встретился в квартире у Зинаиды еще до войны, но мимоходом. Когда же встретились после войны, то сошлись сразу, с первой же встречи. Разговаривать с ним было легко и просто. Это истый труженик пера. Из тех, кто понимает, что «плетью обуха не перешибешь», но не делает из этого вывода, что надо всецело подчиниться власти и служить только ей. Такие, как Митя, стараются писать о том, что важно народу и можно сообщить ему, не прибегая ко лжи. Таких людей за их мастерство и ум терпят, но им никогда полностью не доверяют. Митя длительное время работал корреспондентом «Комсомольской правды», затем перешел в «Правду». Особенно отличился он как корреспондент при описании «папанинской» эпопеи. Затем писал воспоминания Папанину и тем заслужил его поддержку.

Как вдумчивый газетчик Митя знал страну не понаслышке, а по личным наблюдениям

и рассказам тех, кто действительно знает обстановку в стране. Беседуя со мной, он и меня учил понимать происходящее, постигать правду, читая в советской печати между строк.

Митя избегал доводить разговоры до конца. Не хотел делать окончательные выводы. Он ставил вопросы, давая тебе возможность подумать самому. От этих дум пухла голова, тяжело становилось на сердце, и я гнал их от себя, погружаясь в свою академическую, научную и учебную работу.

Иначе, чем Василь Иванович, вел себя Митя и в отношении Сталина. Он тоже никогда не выдвигал каких бы то ни было обвинений «великому вождю», но задавал мне вопросы, по которым чувствовалось, что у него есть сомнения насчет полководческого гения Сталина. Мне нет смысла описывать, что я отвечал тогда. То, что я был в то время сталинцем, само указывает на характер моих тогдашних ответов, но мне хочется, пользуясь случаем, высказать свое сегодняшнее отношение к этому вопросу.

С легкой руки Н. С. Хрущева получила распространение мысль о военной бесталанности Сталина, о том, что Сталин был только номинальным Главнокомандующим, а выполнял эту роль фактически кто-то другой. Причем на Западе широко распространено убеждение, что Главкомом фактически был Жуков. Чтобы согласиться с этим, надо совсем не принимать во внимание личностные данные и Сталина, и Жукова. В самом деле, можно ли представить себе, чтобы Сталин терпел, в его положении неограниченного диктатора, человека, который стоит над ним, над Сталиным. Достаточно только поставить этот вопрос, чтобы тут же твердо сказать, что Жуков не только не стоял над Сталиным, но и не пытался встать, ибо если бы он такую попытку сделал, то исчез бы не только из армии, но и из жизни. Теперь посмотрим на эти личности с точки зрения их военной подготовки. Оказывается, в этом отношении они похожи друг на друга. Ни тот, ни другой военного образования не имеют. То, что Жуков командовал в мирное время полком, дивизией, корпусом и округом,— военного образования заменить не может. И Халхин-Гол это продемонстрировал. Жуков делал там такие детские ошибки, что даже разбирать их неудобно. Еще более беспомощным он оказался в роли начальника Генерального штаба перед войной и в начале войны. Отличился он, когда, по поручению Сталина, принял командование Западным направлением и добился стабилизации фронта под Москвой. Но сделал он это не какими-либо оригинальными оперативными замыслами и планами, а вводом в бой все новых сил и беспримерной жестокостью. Сталину последнее импонировало больше всего, и он «возлюбил» Жукова, оказал ему полное доверие и в течение всей войны использовал как дубинку, бросая на все решающие направления как представителя Ставки.

Жуков, быть может, и талантливее других маршалов, но над их общим уровнем не поднимался. Он не мог быть Главнокомандующим. Война была коалиционная, и для такой войны у Жукова просто кругозора не хватало. Главнокомандование включало не только битву под Москвой, сражение под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге, но и Тегеранское, Ялтинское и Потсдамское совещания. Это тоже были «битвы». И Жуков в них не участвовал. Получение вооружения и стратегического сырья — это тоже забота, притом одна из важнейших забот Главнокомандующего, но Жуков никогда этим не занимался. А Сталин занимался. Да еще как! Возьмите два, изданных в СССР, тома переписки Сталина с Рузвельтом и Черчиллем, и вы увидите, что это был один из решающих участков руководства войной.

К несчастью для Запада, а может, и для всего человечества, Сталин, растерявшись в начале войны и выронив власть на короткое время, после того, как подобрал ее снова, проявил себя блестящим учеником событий. Пережив панический страх за свою жизнь и угрозу полной потери власти, он понял, что для ведения войны нужны специалисты, и в поисках их обратился даже к местам заключения. Из лагерей и тюрем были освобождены и направлены на высокие командные посты Рокоссовский, Горбатов и другие. Этим, конечно, проблема не решалась. Нельзя было отдельными кирпичиками закрыть ту огромную брешь, которую пробил сам Сталин своей безумной террористической деятельностью. И до конца войны не была полностью закрыта эта брешь, и ее влияние сказывалось и на ходе войны, и, особенно, на потерях. Однако Сталину все же удалось подобрать минимальное количество достойных исполнителей. Именно Сталин нашел в скромном работнике Генштаба генерал-майоре Василевском А. М. выдающегося начальника Генштаба — будущего Маршала Советского Союза Василевского Александра Михайловича. Он же определил наиболее подходящую роль маршалу Жукову, посылая его как своего уполномоченного туда, где проводились решающие операции. Под его руководством была подобрана плеяда командующих фронтами и армиями, подготовлены и обучены командные кадры всех степеней.

Оперативные и стратегические решения, начиная с разгрома немцев под Москвой, согласование усилий фронтов, родов войск и авиации — вне серьезной критики. То, безусловно, не заслуга одного Сталина. Но нельзя также сказать, что это делалось без него. Да, не он создавал замыслы операций и, тем более, не он их планировал. На то есть Генеральный штаб. Для этого же Сталин вызывал, перед началом соответствующих операций, командующих фронтами с группами штабных работников. Это было действительно коллективное творчество. Сталин, в конце концов, усвоил не только необходимость военных

специалистов, но и научился прислушиваться к ним, ценить их мнение. Но при этом сам от участия в оперативно-стратегической деятельности не уклонялся. Его участие чувствуется в разработке всех операций. На них на всех лежит тень его черного ума. Все они велись под его бесчеловечным девизом: «людей не жалеть». Весь путь наступления советских войск усеян телами наших людей, залит их кровью.

Не Сталин войну выиграл. Но Главнокомандующим был он. И не только по форме, по существу. Он не военный? Да, не военный, хотя и напялил на себя мундир генералиссимуса и пытался утвердить за собой славу «великого полководца», приписать себе все заслуги в организации побед Советских Вооруженных Сил. А Рузвельт военный? А Гитлер? Таковы теперь войны. Ведутся они народами, всем государством. И приходится главное командование принимать на себя руководителям государств, а не военным.

Такова истина. Я могу ненавидеть (и ненавижу) Сталина всеми фибрами своей души. Я знаю, что народу моему он принес только смерть, муки, страдания, голод, рабство. Мне известно, что своим бездарным руководством он поставил в 1941 году страну под угрозу полного разгрома. Но я не могу не видеть, что блестящие наступательные операции советских войск являют собой образцы военного искусства. Многие поколения военных во всем мире будут изучать эти операции, и никому не придет в голову доказывать, что они готовились и проводились без участия Сталина или, тем более, вопреки его воле. Историки будут поражаться и тому искусству, с каким Сталин понудил своих союзников не только вести военные действия наиболее выгодным для себя образом, но и работать на укрепление сталинской диктатуры (например, выдача Сталину на расправу советских военнопленных) и содействовать занятию советскими войсками выгодного стратегического положения в Европе и Азии. Таковы мои сегодняшние суждения о Сталине и его делах.

Но не о нем мои главные думы. Мой рассказ о людях, оставивших след в моей жизни. Именно поэтому я не могу не рассказать здесь еще об одном дорогом нашей семье человеке.

Высокий, широкоплечий, слегка сутулый подполковник медицинской службы появился в квартире Зинаиды в 1942 году.

— Я хочу видеть тетю Мальвы,— сказал вошедший подполковник. (Мальва — дочь старшей сестры Зинаиды, погибшей в сталинских лагерях.)

— Я тетя Мальвы,— ответила Зинаида.

Он весело рассмеялся, подхватил ее на руки и закрутился.

— Так вот она какая, тетушка!

Зина — тоненькая, хрупкая и выглядевшая в свои 33 года двадцатилетней девушкой — только собралась обидеться на такую фамильярность со стороны незнакомого человека, как он, осторожно поставив ее на пол, сказал:

— Ну, а я — ваш племянничек. Моя жена — сестра Кости. (Мужа Мальвы.)

Так с тех пор он и шел у нас под псевдонимом «племянничек». У него даже глаз был медицински наметан. Чуть только в нашей огромной семье нездоровится кому, он сразу придет, осмотрит, даст совет, выпишет рецепт. И только после этого сядет поговорить.

Григорий Александрович Павлов был человеком глубоко, убежденно верующим. Зная мои атеистические взгляды, он в наших разговорах никогда вопросов веры не касался. Я, уважая его религиозные чувства, тоже обходил эти вопросы. Только иногда я, зная отношение властей к верующим, задавал вопросы такого порядка: знают ли о его вере, не притесняют ли, не пытаются ли перевоспитывать? На это он, мягко улыбаясь, отвечал: «Нет, у нас длительное перемирие». И я понимал его начальство. Вера Григория Александровича была настолько глубока и искренна, что нормальный человек не мог ее не уважать. И я сам ощущал это уважение, понимая, какое мужество надо было иметь в те годы, чтобы открыто заявлять себя верующим. Он меня глубоко занимал, прежде всего как верующий. Ни разу не сказав мне слова о Боге, он уже тогда вел меня к Нему. Впоследствии же сыграл решающую роль в возвращении меня в лоно Христианской Православной Церкви.

Но сейчас пока что — мои первые годы в академии: обучение слушателей, собственная учеба, научная работа. Я увлечен всем этим, влюблен в свой коллектив, оптимистично смотрю в будущее своей страны. Послевоенная девальвация, в результате которой ограблены массы людей, особенно в селе, была воспринята мною как мудрость партии и ее кормчего Сталина. Я не подумал о том, что все последствия инфляции целиком взвалены на плечи трудящихся. Вся огромная бумажная масса госбанковской продукции военного времени была попросту признана несуществующей. Особенно тяжко ударило это по крестьянству.

Рабочий и мелкий служащий вряд ли имели много денег в запасе. И горечь их потери с лихвой покрывалась тем, что сразу же после реформы они начинали получать свое жалованье в устойчивой валюте. Крестьянин же, скопивший деньги за войну продажей продукции со своего огорода, после девальвации оставался без единой копейки в кармане и без надежды получить какую-то сумму, так как колхозы тогда не платили колхознику за их труд. Но, повторяю, над этим я не задумывался, а жизни села попросту не знал.

Я знал только то, что видел собственными глазами и слышал от окружающих. А слышал я даже в собственном доме, то есть от рабочих, мелких служащих, пенсионеров и их семей, только хорошее. И не удивительно. Люди наголодались. Продукты по карточкам отпускались в мизерных количествах, а коммерческие цены превышали карточные в 20, 40 и даже в 60 раз. Регулярно покупать эти продукты на мизерную зарплату рабочих и служащих было невозможно. Покупали лишь изредка и в небольших количествах, как гостинец. Да еще за этим «гостинцем» надо было постоять в очередях. Теперь же ввели продажу без карточек, по единым ценам — средним, как говорилось в постановлении правительства, между слишком высокими коммерческими и слишком низкими карточными.

На самом деле это не были средние цены. Это были цены пониженные в сравнении с коммерческими в 2—4 раза и превышающие карточные в 5—10 раз. Например, килограмм самого дешевого хлеба по карточкам стоил 3 копейки, а по новым, так называемым средним ценам — 16 копеек, то есть в 5 раз дороже. По другим продовольственным товарам повышение было гораздо больше. Скрыть столь огромное повышение цен невозможно. Зато можно несколько затушевать происшедшее невероятное повышение цен при замороженной зарплате. Для этого ввели хлебную надбавку к зарплате (60 рублей).

Эта надбавка ни в какой мере не покрывала рост цен на продовольствие, но служила агитационным козырем в руках властей. Притом агитаторы, разумеется, не затрагивали ни вопроса соответствия надбавки потерям от повышения цен, ни несправедливости принципа самой надбавки: давалась она только работающим — и одиночке, и имеющему 3—5 иждивенцев; ее не получали пенсионеры, то есть как раз те, кто был наименее обеспечен. Несмотря на все это, трудящиеся городов в основном были довольны проведенной реформой.

Стало лучше, чем было: необходимых продовольственных товаров в достатке, таких диких очередей, какие были в коммерческих магазинах, нет, валюта стала устойчивой и заработка хватает на то, чтобы не голодать. Я сам слышал, как одинокая старая женщина, получающая 30 рублей пенсии, говорила — и говорила она искренне: «Спасибо товарищу Сталину, подумал о нас, стариках. Живу я сейчас — дай Бог каждому. 30 копеек килограмм белого хлеба. Да мне килограмма и не надо. И 800 граммов хватает. Куплю еще сахару, заварочки и попиваю чаек вприкусочку целый день. Белый хлеб с чайком, с сахаром, чего еще старому человеку надо. Мы этого белого хлеба почитай с самого начала войны не видели. Да и черного не очень-то хватало. А теперь 30 копеек отдала — и ешь вволю. А еще 70 копеек на день — и на чай, и на сахар, и еще чего-нибудь купить...»

Вот так и благодарили Сталина за кусок хлеба, за то, что оставил жить на хлебе и воде — не уморил голодом. Не уморил в городе, а деревня продолжала голодать и жить впроголодь. И долго еще так ей жить. До самой смерти «великого и мудрого». Пройдут годы и годы, и вдруг среди тех, кто терпел нужду и голод по воле «мудрого вождя», раздадутся голоса: «Но при нем был порядок! Каждый год цены снижали». Забыто, что цены были сразу подняты на 500—1000 процентов, а потом четыре года подряд снижались ежегодно на 3—4 процента, то есть всего снизились не более чем на 20 процентов. Так вот, эти 20 процентов снижения помнятся, а те 1000 процентов повышения забыты. Что это, странности памяти народной или такова форма протеста против деятельности нынешних правителей, против того нищенского существования, которое они навязывают трудящимся?

Я тогда прошел мимо всех этих экономических вопросов довольно равнодушно. Оставалось только ощущение, что в стране все идет к лучшему. А это вместе с полной удовлетворенностью работой создавало чувство спокойствия и счастья.

Первые удары послевоенная жизнь нанесла мне в 1948 году. Неприятности с диссертацией, смерть большого моего друга — отца Зинаиды — Михаила Ивановича Егорова и встреча лицом к лицу с антисемитизмом разрушили ту «башню», которую я создал своим воображением, придя после войны в академию.

Весь академический коллектив мне казался дружным и доброжелательным. Я считал невозможным, чтобы кто-то среди нас смог подставить подножку товарищу. Я полагал, что если кто с чем не согласен, то он может выступить открыто, но дружелюбно, не понимая, что те, кому нечего возразить, не обязательно соглашаются с тобой, а могут таить злобу и при первой возможности чем-либо навредить тебе. Возможность представилась в связи с моей диссертацией, которую я написал, пропустил через обсуждение на кафедре и сдал в совет академии на защиту. Был уже назначен и день защиты. И вот, примерно за месяц до этого дня, приходит ко мне товарищ.

— Я случайно слышал, что завтра на партийной конференции академии в докладе начальника политотдела разбираются какие-то отрицательные стороны твоей диссертации. Я советую тебе сходить и выяснить.

Я пошел к начальнику политотдела генерал-майору Билыку. Он сразу же мне показал соответствующее место в докладе: «А некоторые наши коммунисты так увлеклись наукой, что забывают о партийности, идут учиться к царским генералам. Так товарищ Григоренко — в перечне основных источников для диссертации — указывает таких „корифеев науки“, как царские генералы Свечин и Верховский».

Это был удар под дых. С такой характеристикой диссертация гибла на корню. Но меня

не это взволновало больше всего. Тот, кто написал эту характеристику, понимал истинную суть дела, но со злобой написал такое.

— Видите ли, товарищ генерал-майор, Свечин и Верховский основные авторы для второй главы, которая называется «Критика современных теорий ведения боя в горах». В частности, я показываю, что некоторые современные теории опираются на исследования Свечина, Верховского и других авторов прошлого и в силу этого являются отсталыми. Я взял и Свечина и Верховского для критики, а не для того, чтобы проповедовать их теории.

— Ну, это другое дело,— заявил он и пообещал, что исключит это место из доклада. Но то ли забыл, то ли кто-то из старших посоветовал не исключать, и на партконференции это обвинение прозвучало.

На следующий день меня вызвал начальник академии — генерал-полковник Цветаев.

— Вашу диссертацию в таком виде я поставить на защиту не могу. Во второй главе вы критикуете уважаемых людей и тем подрываете их авторитет. Выбросьте эту главу, иначе я вашу диссертацию не допущу к защите.

И как я ни пытался доказать, что критика устарелых теорий не может подорвать авторитет людей, Цветаев оставался при своем мнении. Я тоже стоял на своем: без второй главы защищать не буду.

Уходил я от Цветаева возмущенным.

После того памятного разговора с начальником академии я забросил диссертацию и старался вообще о ней не думать и не вспоминать.

Годом позже зашел ко мне возвратившийся из длительной командировки Алеша Глушко, которого в то время я считал одним из самых близких своих друзей. Он спросил: «А как у тебя с диссертацией?» Мне захотелось «вылить душу». Я рассказал все, с подробностями, особенно возмущаясь тем, как могли интересами науки пожертвовать ради личных амбиций начальников. Он очень внимательно слушал, не перебивал, а когда я кончил, ошеломил меня вопросом:

— Ты чего хочешь? Ученую степень получить или научное открытие совершить?

— По-моему, одно с другим совпадает,— растерялся я.

— Э, нет. И близко не сходится. Ты сначала «остепенись», а потом научные открытия будешь совершать. Это же надо быть идиотом — целый год держать в ящике готовую диссертацию. Ведь ты же целый год творил бы. А ты запер собственные возможности. Завтра же иди и слезно проси немедленно ставить на защиту без той чертовой главы.

Я так и поступил. Через неделю, в апреле 49-го, я защищался. Видимо, членам совета понравилось мое отступление. Защита шла под неоднократные аплодисменты. Когда же объявили результаты голосования — «единогласно», раздались бурные аплодисменты.

Однако, несмотря на этот триумф и на доброе послезащитное возлияние, торжественности я не чувствовал. Интерес мой к диссертации был полностью утрачен.

Я столкнулся с фактами, крушившими мои устоявшиеся взгляды. Конечно, я и раньше встречался с подобными явлениями, но только теперь, под их давлением, начали рушиться мои идеалистические оценки людей и событий. Люди не всегда такие, какими выглядят,— показала мне диссертация. Внешне добропорядочные, бывает, не прочь «дать подножку» идеалистам. Последние же всегда в проигрыше.

Вот и покойник Михаил Иванович — типичный идеалист. Он идеализировал прежде всего коммунистическую партию. Войдя в революционное движение еще в 1904 году, он и после Октябрьской революции продолжал оставаться простым тружеником и рядовым партии. Он и детей воспитал такими же идеалистами: два его сына и четыре дочери вступили в партию. И она, партия, достойно «вознаградила» отца. Старший сын в 1934 г. застрелен на Дальнем Востоке. Второй сын был вынужден скрываться во время массовых арестов 1936—38 гг. Два зятя были арестованы в 1936 году. Один убит на следствии, другой расстрелян. Старшая дочь погибла в лагере. Еще одна дочь (моя жена) долгие месяцы провела в тюрьме. И, несмотря на это, он продолжал верить в идеалы партии и очень любил людей.

Он покорял меня своей наивной, я бы сказал, святой верой в людей, в коих видел своих соратников.

Теперь он умер. Имея в свои 77 лет совершенно светлый разум, он умирал мужественно. Он знал о своей болезни. Знал даже сроки свои земные, но мог спокойно обсуждать бытовые и политические темы.

Он умер, и из-под меня будто вывалилась какая-то важная идейная подпорка. Хотя я и не был таким идеалистом, как он, но я не мог не уважать его беззаветной преданности тому, с чего начинал он жизнь.

И третье событие приплюсовалось к двум вышеописанным. На партбюро кафедр оперативно-тактического цикла, в состав которого входил и я, разбиралось дело моего товарища по кафедре — полковника Вайсберга — «за клеветнические высказывания по еврейскому вопросу». Суть была в том, что Вайсберг в разговоре с товарищами утверждал, что в Советском Союзе процветает антисемитизм и борьба с ним не ведется, что антисемитские мероприятия проводятся и поощряются сверху. При разборе вопроса на бюро

Вайсберга буквально терроризировали. Задаваемые ему вопросы, реплики и выступления толкали его на «раскаяние», на то, чтобы он признал клеветнический и ошибочный характер своих высказываний. Я тоже участвовал в этой атаке на Вайсберга, будучи глубоко убежденным, что он заблуждается, что он видит факты в кривом зеркале и националистически истолковывает их. Об этом я и говорил в своем горячем, убежденном выступлении. Под нашим дружным нажимом Вайсберг в конце концов «раскаялся» и получил «за ошибочные высказывания по национальному вопросу» «строгий выговор».

Но я, наблюдая за Вайсбергом, видел, что он не осознал свои ошибки, что он «раскаялся» только под страхом исключения. И я решил помочь ему понять всю глубину его заблуждений, доказать конкретными фактами, какую счастливую жизнь устроила советская власть евреям.

Захваченный этим желанием, я пошел после бюро с Вайсбергом. Когда мы остались вдвоем, я начал разговор. Но инициатива очень быстро перешла к Вайсбергу. Факты и примеры, которые он приводил, я опровергнуть не мог. Мы ходили по Москве несколько часов. Теперь я был переполнен неопровержимыми доказательствами наличия в СССР самого густопсового антисемитизма.

— Надо письмо в ЦК,— наконец сказал я.— Все эти факты надо довести до сведения товарища Сталина.

— А ты думаешь, там это неизвестно? Брось! Все это знают. Напишем, заставят покаяться. А может, и похуже. Я, во всяком случае, ничего писать не буду. И свидетелем не выступлю, если ты напишешь. Я рассказывал только потому, что видел — ты действительно веришь в то, что говоришь.

На следующий день я встретил своего секретаря. Он крепко пожал и потряс мою руку.

— Ну, здорово ты вчера прочистил этого жидка.

Я, будучи еще под впечатлением вчерашнего разговора с Вайсбергом, рассвирепел, обозвал секретаря антисемитом и написал заявление на него в политотдел. Но все это оказалось напрасным. Секретаря заставили извиниться передо мною. Это ли мне было нужно? А факты антисемитизма я начал замечать теперь и без посторонней помощи. Поэтому вскоре начавшееся «дело врачей» не было для меня неожиданным. Кампания борьбы с космополитизмом и «дело врачей» явно указывали на подготовку крупной антиеврейской акции. Это я уже сознавал и с тревогой ждал дальнейших событий. Но смерть Сталина прекратила это дело. Расправа с «виновниками» организации «дела врачей» создала впечатление наступившей справедливости. Меня это тоже успокоило. И я снова перестал присматриваться к антисемитским действиям властей. А они продолжались.

Евреи были вычищены из партийного аппарата, из министерств иностранных дел и внешней торговли, из органов подавления народа (КГБ, МВД, прокуратуры, судебные органы), постепенно они удалялись из армии; в высших учебных заведениях для них установлена процентная норма и т. д.

Три описанных события слились для меня в одно действие. Наносился удар моим наивно-социологическим взглядам на людей. До сих пор все было просто. Рабочий — идеал, носитель самой высокой морали. Кулак — зверь, злодей, уголовник. Капиталист — кровопийца, кровосос, эксплуататор, тунеядец. Коммунистическая партия — единственный творец и носитель новой морали, единственной общечеловеческой правды. И хотя я видел в жизни немало отклонений от этих правил, в душе жило убеждение, что это случайности, а в идеале именно так.

Смерть Михаила Ивановича отняла у меня единственный наглядный пример коммуниста-идеалиста, а на диссертации и антисемитизме проявились столь отвратительные черты человеческой природы, что даже думать об этом не хотелось. Однако думалось: ведь это же исходит от тех, кто должен являть собой пример высокой морали. И впервые, неосознанно, прорезывается мысль, что об отдельном человеке надо судить по нему самому, по его поступкам, а не по принадлежности к той или иной социальной группе. Но еще много времени пройдет, пока эта мысль созреет и утвердится в моем сознании.

Уезжая в отпуск летом 1949 г., я дал согласие на назначение меня на должность ординарного профессора кафедры общей тактики. Возвратившись в конце августа, получил выписку из приказа министра обороны о назначении меня на должность... заместителя начальника научно-исследовательского отдела (НИО). Я категорически отказался принять это назначение.

Через некоторое время вызвал меня генерал-полковник Боголюбов.

— Петр Григорьевич! Моя вина в том, что я вас не запросил хотя бы телеграфом. Но я опасался, что вы, не зная содержания этой работы, дадите отказ. А это ломало весь план перемещений. И я решил не запрашивать вас, тем более что должность заместителя начальника НИО во всем соответствует должности ординарного профессора кафедры, на которую вы согласились.

— Нет, не во всем. Для профессора кафедры его научная работа составляет основную часть всей деятельности, а научно-исследовательский отдел никаких исследований не ведет, занимается организационными вопросами науки и фактически является научно-организационным отделом.

— Ну, содержание работы зависит от людей. По названию и по штатам — это научно-исследовательский отдел, вот и сделайте его таковым.

Было ясно, что попытка добиться перемены приказа успехом не увенчается. 3 сентября 1949 года я принял дела начальника НИО от генерал-лейтенанта Вечного Петра Пантелеймоновича, который уходил на должность ученого секретаря совета академии. Вновь назначенный начальник НИО — генерал-майор Марков Георгий Михайлович — находился в творческом отпуске по редактированию крупного коллективного военно-теоретического труда и в должность не вступал.

Я его знал по работе на кафедре. Мыслил и говорил он штампами. Он умел так «обкатать» любую работу, что она, не содержа ни одной живой мысли, читалась относительно гладко, и хотя не давала знаний, но не вызывала и возражений «партийно мыслящих» цензоров, что для тех времен было очень важно. Вот поэтому его и назначили ответственным редактором военно-научного труда с одновременным назначением на должность начальника НИО. Надо было написать теоретический труд, в котором не было бы военной теории, и превратить НИО в орган, затыкающий все щели для живой военно-научной мысли академии. Марков для обеих этих ролей был наиболее подходящей кандидатурой.

Но нельзя, как говорил мой старый тактический руководитель генерал-майор Простяков, все схватить одной рукой. Так и получилось, что, пока Марков (почти год) редактировал, я твердо и настойчиво поворачивал НИО как раз на тот путь, который Марков, предполагалось, должен был полностью закрыть. А к тому времени, когда Марков наконец пришел в отдел, академию возглавлял уже другой человек. Безвозвратно миновали времена, когда начальник академии генерал-полковник Цветаев озлился даже на никчемно мизерный научный план и поучал меня с высоты своей должности: «Поймите, наша академия не Академия наук, а учебное заведение».

Генерал-полковник (впоследствии генерал армии) Жадов Иван Семенович, сам человек творческого характера, воспринял проводимую мною перестройку как естественную, начал ее поторапливать и углублять. Поэтому, когда Марков попытался возвратиться к старому, то оказался в конфликте не со мною, а с начальником академии.

Конфликт развивался очень быстро. Задания Жадова Марков встречал возражениями: «Некому делать! Вопрос не разработанный. Срок нереальный» и т. п.

В общем, его мысли были направлены не на поиски путей выполнения, а на оправдывание невыполнения. Это делало конфликт непримиримым. Жадов, переполненный замыслами и идеями, нуждался не в таком помощнике. Тем более что здесь, в академии, он уже видел иную работу. Две очень важные разработки были выполнены в невероятные сроки: в сутки и в двое. В каждом из этих случаев был подобран работоспособный творческий коллектив (в основе старшие научные сотрудники НИО), который, работая без сна — не спал и сам Жадов,— выполнил работу в установленный срок. Марков на это не был способен и, естественно, должен был уйти. Он был уволен в отставку.

И вот я начальник НИО, не только фактически, но и формально. И ведь что интересно — три года я был начальником НИО фактически, меня признавали таковым, общались со мною, выполняли мои указания, и никто не удивлялся этому, а как бы даже не замечал. Но вот приказ министра обороны — и всех, включая моих подчиненных, охватило удивление, а кое-кого и возмущение.

Но кто бы что ни говорил и ни думал, руки у меня были теперь свободными. Я мог смело, ни на кого не оглядываясь, творить намеченную перестройку. Путь, разумеется, не розами был усеян. Пришлось больше шипов почувствовать. И все же 1952 год остался в памяти временем радостного творчества.

Вместе с тем, год этот отмечен и событием, которое, будучи само по себе совершенно незначительным, в силу обстоятельств оказалось использованным против меня спустя 22 года.

Летом 1952 года, находясь в военном санатории в Гурзуфе, я заболел опоясывающим лишаем с одновременным парезом правого лицевого нерва. Несколько суток не мог ни спать, ни надеть на себя одежду. Мучительнейшие боли совершенно измочалили меня. К счастью, эта болезнь проходит. Прошла и у меня. Но под умелой рукой фальсификаторов из института им. Сербского мой опоясывающий лишай через 22 года превратился в инсульт, а парез правого лицевого нерва — в поражение левой стороны туловища, с параличом левой руки и нарушением речи. «В связи с этим более двух месяцев лечился в невропатологическом отделении военного госпиталя. Стал раздражителен, и начались неуспехи по службе». Так было написано в моей истории болезни, составленной институтом им. Сербского в 1973 году для показа иностранным психиатрам взамен действительной истории болезни, описанной в том же институте в 1964 году во время первой моей психиатрической экспертизы.

1953 год — год смерти Сталина. Для НИО он ознаменовался огромным взлетом научной работы. Наилучшим образом это характеризуется изданием «Трудов академии». В 1949 году — год начала моей работы в НИО — не вышло ни одного номера «Трудов», а за предыдущие послевоенные годы, то есть с 1945 по 1949 год, вышло два номера. В 1950 году мы с трудом издали один номер, в 1951-м — два, в 1952-м — 4, а в 1953-м — 11. Это, несомненно, сказывалась перестройка работы НИО, но, как я понимаю теперь, анализируя то время, немалую роль сыграла и смерть Сталина. Сам факт ухода с политической арены его зловещей фигуры снял огромный груз, давивший на науку. Уже одно то, что не надо было опасаться за «недостаточный показ», что еще хуже, за «недооценку роли вождя» в разработке исследуемого вопроса, освобождало творческий дух авторов, и результативность их работы росла.

В то время я этого не понимал. Смерть Сталина я воспринял как большую личную трагедию. С тревогой думал, что будет с нашей страной без него. Я не полез для прощания с его телом в ту свалку, которая была устроена верующими в него гражданами при содействии органов «правопорядка». В свалку, в которой были задушены и покалечены многие сотни людей. Но не полез не потому, что не хотел почтить «вождя», а потому, что нас, его «верных учеников», организованно доставили к увешанному орденами трупу.

Время шло. И хотя мы еще не понимали, что смерть Сталина открыла доступ свежему воздуху, пусть даже через небольшие щели, но результаты этого ощущали уже на самих себе. Правда, приписывали мы это не смерти Сталина, а тому, что ликвидирована бериевщина вместе с самим Берией и его окружением, в составе которого оказались и мои дальневосточные знакомцы Гоглидзе и Никишов. Сталина такие, как я, еще не осуждали. Его мы продолжали считать непогрешимым, хотя звуки происходившего в страшные годы сталинского террора стали все более громко доходить до нас. Работала комиссия ЦК под руководством генерал-лейтенанта Тодорского, которая пересматривала дела репрессированных военных. На свободу выходили многие из тех, кто, пройдя Архипелаг ГУЛАГ, остался жив. От них постепенно распространялись сведения о пережитых ужасах. Но мы упорно продолжали оправдывать Сталина. Мы готовы были обвинить и ныне здравствующих соратников Сталина, но только не его.

Но вот прошумел XX съезд. Глухо прокатился слух о закрытом заседании съезда. А вот и сам доклад дошел до нас. Все коммунисты академии собрались в самом большом академическом помещении — в 928-й аудитории. Доклад был прослушан в гробовом молчании. Окончилось чтение. Тишина. Потом начали подниматься, уходить. Расходилась многосотенная масса, а у меня было чувство, что иду я один по пустыне.

Я не пошел ни к лифту, ни на эскалатор. Начал спускаться по лестнице. Наверное, она была заполнена шагающими друзьями по партии, но я по-прежнему был «один в пустыне». Поэтому, когда при повороте на второй марш спуска я почувствовал чью-то руку на плече, то даже вздрогнул. Оглянулся — Вечный Петр Пантелеймонович, генерал-лейтенант, ученый секретарь совета академии, добряк и умница. Среднего роста, широкоплечий, плотный, но не толстый. Голова большая, глаза добрые, умные. Приметы? Вижу этого человека как живого, люблю его, а примет в нем самом не нахожу. Примета есть, но не в нем, а при нем. Курит он (к сожалению, правильнее сказать «курил», так как Петр Пантелеймонович давно покинул мир сей) махорку, завертывая из газеты огромную цигарку, толщиной в палец и длиною 10—15 сантиметров. Сейчас он положил мне руку на плечо и, глядя на меня вдруг глубоко запавшими, очень печальными глазами, сказал:

— Что, Петро, плохо?

— Очень плохо!

— А мне как! Может, там, в докладе, и правда, но я-то знал Иосифа Виссарионовича другим.

Мы пошли вместе. И уже по пути Петр Пантелеймонович начал рассказывать. Зашли ко мне в кабинет. Уселись в кресла возле круглого газетного столика. Я сразу же принес из приемной пепельницу. Он закрутил свою сногсшибательную цигарку. Она мне на сей раз показалась особенно чудовищной, и я невольно сказал: «Ого!» — и покрутил головой. Он невесело улыбнулся и сказал:

— Вот так же отреагировал на мою цигарку и Иосиф Виссарионович, когда увидел первый раз.— И рассказал: — Мы сидели над боевым уставом пехоты — Сталин, Василевский и я. Начали работать ровно в 12 ночи. Когда Василевский объявил, что на устав поступило несколько тысяч замечаний, поправок, дополнений, Сталин был поражен, но Василевский, упреждая его реплику, сказал, что замечаний и предложений по существу несколько больше сотни, а серьезных — чуть больше двух десятков; остальные редакционного характера. На это Сталин воскликнул:

— Да что же, его неграмотные писали?

— Ну, не неграмотные,— возразил Василевский,— но чтобы писать боевой устав, надо иметь большой войсковой опыт, а у таких опытных военных грамотность бывает не на высоте.

— Это естественно,— согласился Сталин.

Мы просидели уже больше двух часов,— продолжал Вечный.— При этом Сталин все время посасывает трубку, а Василевский закуривает время от времени, а у меня уже «уши опухли» без курева. Терпел, терпел я и наконец не выдержал: «Товарищ Сталин, позвольте и мне закурить».

— Да ради бога! — двинул он ко мне свою пачку «Герцеговины Флор».

— Нет, я свои предпочитаю.— И я завернул себе, пожалуй, еще большую цигарку, чем сейчас. И вот тогда-то Сталин и сказал с удивлением свое «ого!». И добавил:

— А я думал, что вы не курите. Я что-то не видел, чтоб вы курили на Кировской. (Кировская — это станция московского метро, где в начале войны располагались ставка Верховного Главнокомандования, Генеральный штаб.)

— Выходит,— продолжал Петр Пантелеймонович,— Сталин заметил, что я не курил на Кировской. А я курил. Только был, наверно, дисциплинированнее других. Мы там договорились при Сталине не курить. И я не курил не только при нем, но, тем более, и на глазах у него.

Закончили мы с уставом, разобрав все поступившие замечания и предложения, часа в 4 ночи. Сталин откинулся на спинку кресла:

— Ну все? Теперь побыстрее печатать — и в войска.

— Есть еще один вопрос,— сказал Василевский.— Большинство офицеров, работавших над уставом, предлагают засекретить его. Боятся, что устав очень скоро попадет в руки немцев и им станет известна наша тактика.

— А вы как думаете, товарищи? Вы лично? — обратился он к Василевскому.

— Видите ли, Иосиф Виссарионович, засекретить бы неплохо. Но как его будут изучать наши войска и как пользоваться уставом командиру взвода, роты? Ведь у них секретной части нет.

— А вы? — повернулся Сталин к Вечному.

— Я думаю, что секретный устав, хоть один экземпляр, попадет к немцам так же быстро, как и не секретный. После этого немцы выпустят его в свет не секретным изданием, и их офицеры будут знать наш устав, а наши нет.

— Вот именно! — подхватил мысль Сталин.— Уставы либо не секретные, либо их не знают.

(Но то, что было ясно Сталину в 1942 году, не ясно до сегодняшнего дня многим большим начальникам. После войны, недолго и бесславно, Вооруженные Силы возглавлял не разбирающийся даже в азбуке военного дела маршал-алкоголик Булганин. За время своей деятельности он успел засекретить полевой устав. Все маршалы, генералы и офицеры были возмущены этим. Но после Булганина Вооруженные Силы возглавляли Василевский, Жуков, Малиновский, Гречко — люди, которые понимали, что секретить уставы нельзя, и возмущались засекречиванием до того, как сами становились во главе Вооруженных Сил. Рассекретить же никто не рискнул. Срабатывал бюрократический принцип перестраховки. А вдруг кому-то покажется, что после рассекречивания «важные тайны сами собой полились в сейфы вражеских разведок», и весьма «грамотное» Политбюро потребует: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина, который рассекретил уставы». В секретной системе переусердствовать можно. За усердие не по разуму никому ничего не будет. Отменить сущее — даже явную несуразицу — невозможно. Никто не рискнет взять на себя ответственность.)

Сталин имел достаточно здравого смысла, чтобы не создавать ненужные трудности.

— Нет, товарищ Василевский, секретить уставы не будем,— сказал он.— Немцы все равно воевать будут не по нашим, а по своим уставам. А тактику раскрыть по уставам нельзя, так как тактика конкретного боя должна исходить из конкретной обстановки. Но только...— он положил руку на устав,— вот беда... поразбросают наши командиры уставы по полям боя. Не напасешься... А знаете что, товарищ Василевский, давайте установим поэкземплярную нумерацию. И выдавать как имущество, вместе с полевой сумкой. И в вещевую ведомость записывать, и проверять наличие, и взыскивать за потерю — материально и дисциплинарно.

Так всю войну и делалось. Но после войны кому-то показалось непорядком, что литература числится за вещевым отделом. Перевели в библиотеку. А так как уставы имеют поэкземплярную нумерацию, то их присоединили к литературе «для служебного пользования». Затем пришло время, когда литература «для служебного пользования» была уравнена с секретной. Так и боевой устав пехоты стал секретным. Разумная мера превращена бюрократами в глупость.

Вспоминая хрущевское утверждение о военной неграмотности Сталина, Петр Пантелеймонович говорил: «Нет, Петро, это неправда, что Сталин не разбирался в военном деле. Ротой он, может, и не сумел бы командовать, но на своем месте он понимал лучше, чем кто-нибудь из нас, его окружавших».

Мы до позднего вечера сидели, беседуя. Лился и лился рассказ не о вожде, а о человеке. Я не могу все пересказать. Я хочу лишь показать читателю, какими мы подошли к XX съезду. Мы только что прослушали доклад о преступлениях Сталина и, несмотря на это, сидели и с увлечением вспоминали о нем только хорошее, стремились снять с души тяжкий осадок от страшного доклада.

Подлинный перелом в моем мышлении начался после этого съезда. Уже на следующий день я пошел к Колесниченко и попросил доклад Хрущева на руки. Получив его на 2 часа, я уселся работать. Я не торопился — перечитывал важные места, делал выписки в рабочую тетрадь. Потом мне было разрешено задержать доклад до утра следующего дня.

Поэтому я смог основательно усвоить его содержание. Оно потрясло меня, охватило ужасом и отвращением. Но так сильно было партийное воспитание, так укоренились традиции сталинщины, что я, не споря против оценки событий, еще долго продолжал утверждать, что ЦК не имел права выносить все это на народ. «Нельзя устраивать канкан на могиле великого человека,— говорил я.— Нельзя оплевывать собственное знамя. Пусть ЦК постепенно устраняет допущенные беззакония, исправляет ошибки, но зачем этот неприличный галас. Ведь шум этот дойдет до беспартийных и будет использован врагами коммунизма, врагами нашей партии». Потребовалось значительное время и ряд бесед с Василием Ивановичем Теслей и с Митей Черпенко, особенно с последним, пока до меня наконец начало доходить, что такие беззакония в тиши не исправляются, что именно в тиши они родятся, развиваются, растут. Чтобы такого произвола больше не было, надо, чтобы руководящие партийные и государственные органы находились под гласным контролем масс.

Большое влияние в этом смысле оказала на меня и возвратившаяся из Архипелага ГУЛАГ старая подруга Зинаиды Аня Зубкова. Ее муж в 30-е годы работал заместителем по науке директора Научно-исследовательского института ортопедии и травматологии в Москве. В 1937 году он был арестован и погиб на следствии. Аня была арестована как член семьи врага народа и получила 10 лет по ОСО. Затем ей добавили, потом дали ссылку. Так что вернулась она в Москву лишь в 1956 году. Стоило только поражаться жизнелюбию этой милой женщины. Красивая, веселая, жизнерадостная, несмотря на свои без малого 60 лет, на все пережитое и тяжелый сердечный недуг, который вскоре и свел ее в могилу.

Она не читала мне лекций. Она и вообще не любила ни разговоров о лагере, ни рассуждений о политике. Она с радостью вернулась к дружбе с Зинаидой, подружилась со мной, полюбила наших детей, бывала у нас в семье и всегда несла в нее бодрость, оптимизм, веселье и смех. И еще я учился у нее. Учился на примере ее жизни. Чем мог быть опасен советской власти тихий человек, врач, всю жизнь отдавший людям? И все же она была опасна. Это я понял, хотя и потребовалось мне для этого самого себя перевернуть. Поставить свое мышление с головы на ноги. Да, она опасна — и именно тем, чем покорила меня и покоряла других: своим жизнелюбием, оптимизмом, любовью к людям и верностью правде жизни. Она, как источник света, освещала темные души советских властителей, черноту застенков, лжецов и палачей.

Учила она меня и своими действиями. Приведу пример. Ей потребовалась характеристика на мужа. То ли для пенсии ей, то ли для реабилитации его — точно не помню. И она пошла в Институт ортопедии и травматологии, где продолжал директорствовать тот же человек, что и во время ареста мужа Ани. Обратилась она за характеристикой к этому директору — академику (стал он академиком после больших арестов среди академиков) Академии медицинских наук Приорову Н. Н. Но тот хмуро заявил: «Я такого не знаю». Так и уйти бы бедной Ане ни с чем. Но кабинет в это время убирала санитарка. Слыша этот разговор, она вдруг вмешалась.

— Да как же это вы, Николай Николаевич, не знаете Федора Федоровича? Да кто же это у нас в институте не знает дядю Федю?

И Приорову пришлось вспомнить.

Когда Аня рассказывала об этом у нас дома, в моем мозгу будто молния сверкнула, связав два события. Незадолго перед этим приказом Жукова было объявлено постановление Совета Министров о разжаловании в рядовые и увольнении из армии генерал-полковника инженерных войск Галицкого. За что? По просьбе дочерей бывшего начальника инженерных войск Московского военного округа, которые добивались реабилитации отца, арестованного в 1937 году и расстрелянного по ОСО, генерал-полковник Галицкий, который был в то время заместителем начинжа войск округа, выдал весьма положительную характеристику расстрелянному. В ответ на это КГБ выслал министру обороны копию заявления Галицкого от 1937 года. Арест начинжокруга был произведен по этому заявлению, в котором начинж обвинялся во вредительстве.

Я читал приказ с чувством удовлетворения и с уважением думал о Жукове как о принципиальном человеке, который взялся за разоблачение провокаторов, не считаясь со званием. Теперь мне подумалось иное. Это не разоблачение. Это сигнал для всех подобных — «попал в дерьмо, так не чирикай». До Приорова этот сигнал дошел столь убедительно, что он даже «забыл» собственного заместителя. И когда пришлось «вспомнить», то он только и написал, что помнит его как заместителя. Что приказ Жукова был сигналом, можно судить и по тому, что очень скоро насчет Галицкого был издан другой приказ (теперь без публикации), в котором предыдущий приказ изменялся — не разжаловать, а снизить в звании до генерал-лейтенанта и уволить в запас. Ведь не диссидент же какой-нибудь. Ну, малость ошибся. Думал, все покрыто временем, а оказалось, у КГБ все сберегается. Ему это показали и малость посекли. Но не убивать же за ошибку. Свой все же человек.

И вообще, я думаю, Запад напрасно ищет в Жукове особые качества и предполагает за ним чуть ли не замыслы на низвержение существующего строя. И по уровню знаний, и по

психическому складу он не отличается от военачальников его круга. Он прошел удачно 30-е годы. Чем это объяснить — случаем или чьим-то покровительством? Сказать трудно. Твердо мы знаем только, что круг его сослуживцев был прочищен очень основательно. Известно также, что за 2 года перед войной он совершил головокружительный взлет. Опять-таки случайность или покровительство? Во всяком случае, каких-то заслуг в эти годы за ним не обнаруживалось. А взлет был. Люди, поверхностно знающие жизнь Жукова, утверждают, что он взлетел во время войны. Но это неверно. Высший служебный взлет у него начался перед войной. 1939 год — командующий армией (Монголия), затем командующий Киевским особым военным округом, то есть фронтом, а в 1940 году уже начальник Генерального штаба. Это был потолок его взлета, который он никогда при жизни Сталина не перешагивал. Наоборот, с началом войны опустился на ступень — стал командующим фронтом.

После смерти Сталина и ликвидации Берии Жуков — министр обороны. Но судьба его была решена на «историческом» заседании Политбюро, когда Хрущев, Микоян и Суслов оказались большинством, а все остальные (7) члены Политбюро попали в меньшинство. Даже «примкнувший к ним Шепилов» не смог поднять их вес.

Кризис наступил, когда Хрущев запротестовал против голосования на том основании, что Первого секретаря избирает Пленум ЦК. Ему возразили, что Политбюро имеет право готовить вопрос к Пленуму, и собрались голосовать. Тогда поднялся Жуков, бывший в то время кандидатом в члены Политбюро, и заявил, что если вопрос будет решен на Политбюро, а не на Пленуме, то он, Жуков, выведет войска на улицы. Это был блеф. Я утверждаю, что армия за Жуковым не пошла бы. Но ставшие в оппозицию Хрущеву члены Политбюро не знали этого и поддались на блеф. Это и решило дело в пользу Хрущева; но этим же решилась и судьба самого Жукова. Он не политик и не понимал, что блефовать в политике небезопасно. Хрущев тоже поверил в то, что Жуков может повести за собой войска. Следовательно, для Хрущева, после ликвидации оппозиции, Жуков представлялся не соратником, а самым опасным врагом. Терпеть рядом человека, который способен поднять Вооруженные Силы, Хрущев не мог.

И вскоре Жуков был отстранен от должности министра обороны. Насколько Хрущев верил в реальность возможностей Жукова, можно судить по обстоятельствам его отстранения. Снятие произведено как антивоенный переворот. Жуков отрешен от должности во время нахождения его в Югославии. Когда он возвратился, в здание министерства обороны его не впустили, очевидно, предполагая, что, войдя туда, он встретится со своими единомышленниками. Ему было предложено отправиться домой и не покидать своего дома. Политорганам всех военных округов была дана директива на следующий день провести партийные активы, на которых обсудить «состояние партийно-воспитательной работы в войсках». Устно были даны указания подвергнуть неограниченной критике деятельность Жукова как министра обороны и командующих войсками округов, особенно тех, кого можно было считать ставленниками Жукова.

Таким путем рассчитывали выявить возможных его единомышленников и скомпрометировать его самого и всех, на кого он попытался бы опереться.

Насколько опасались выступлений против устранения Жукова, можно судить по такому факту. Командующий Среднеазиатским военным округом генерал армии Лучинский — перестраховщик и заискивающий перед партийными органами — находился в это время в санатории. Член военного совета округа сообщил ему о созываемом партактиве. Лучинский, еще не знавший о снятии Жукова, но любивший при всяком удобном и неудобном случае демонстрировать свою особую приверженность к партийно-политической работе, ответил телеграммой: «Актив отложить моего приезда». Член военного совета сообщил об этой телеграмме в Главпур. Немедленно последовал приказ: «Лучинский отстраняется от должности. Актив проводить в указанный срок». Лучинский, узнав об этом, в панике помчался в Москву, покинув санаторий. Долго ему пришлось «каяться» в политической недальновидности, пока наконец начальство разобралось, что телеграмма выражала его особую преданность партии, желание самому быть на активе, а не попытку защищать Жукова.

Партийные активы нередко используются высшей инстанцией именно для того, чтобы нанести удар по авторитету отдельных партийных руководителей, чтобы легче было убрать их с руководящей работы или устрашить и сбить спесь с критикуемых, показать им непрочность их положения, их зависимость от начальства. Бывает, что критика на партактиве затронет кого-то и из тех, кем начальство довольно. Ну что ж, такой поблагодарит за критику, пообещает учесть, а потом покажет «кузькину мать» критиканам.

Нынешние партактивы «критиковали» Жукова и командующих войсками округов «за недооценку партийно-политической работы и за пренебрежение партийно-политическим аппаратом». Жукову, в частности, было поставлено в вину, что он ликвидировал Институт политруков рот, хотя всем было очевидно, что без согласия ЦК он этого сделать не мог. Об этом свидетельствует, в частности, и то, что, несмотря на критику, этот институт так и не был восстановлен. Результатом всей связанной со снятием Жукова кампании стал перелом в сторону большей зависимости командиров от политработников. Хрущев и его

окружение, напуганные призраком военного переворота, спустили с цепи своего верного сторожевого пса — политсостав армии. Активы сделали такой перелом не только возможным, но как бы и необходимым.

Слишком долго был зажат рот у армейской общественности. Не только Сталин душил все живое, всякое проявление живой мысли или хоть слабенького протеста. Были бесконтрольными всяческие «князьки» — большие и малые. Живя в мире с начальством, они буквально измывались над подчиненными. И когда людям дали заговорить — прорвалось. Разгорались драматические споры. Особенно бурно проходил актив в Киевском военном округе. Два дня шли люди к трибуне и говорили только об одном: о грубости, бестактности, мстительности и хамстве командующего округом Маршала Советского Союза Чуйкова Василия Ивановича. Один из выступавших полковников под гром аплодисментов и крики: «Верно! Правильно!» — закончил свое выступление так: «На войне год службы засчитывался за три. У нас в округе надо засчитывать не меньше, чем за пять. Да и то добровольно никто не захочет испытывать те издевательства, то хамство, которые идут от нашего командующего».

Чуйкова в связи с этим вызывал Хрущев для беседы. Но что он мог с ним поделать? Чуйков из его кадров. Верный слуга. Поэтому результатом беседы было лишь то, что мата стало чуть поменьше, но зато расправа с критиками развернулась вовсю.

Два года спустя, когда Чуйков, забыв уроки актива, окончательно распоясался, попытался унять его министр обороны Малиновский Р. Я. Проводились маневры в Киевском военном округе. Посредником при Чуйкове был начальник Академии Фрунзе генерал-полковник Курочкин П. А. Я был назначен посредником при штабе Чуйкова. Курочкин, получивший указания от Малиновского, сказал мне: «Оценки давать без всяких скидок на авторитеты». Ну, я и постарался. Общаясь со штабными офицерами, я видел, как командующий дергает штаб и дезорганизует его работу. Офицеры также рассказывали об обычных условиях работы. Все это я сводил, тщательно анализировал и обобщал. Получилась всесторонне обоснованная характеристика оперативно-стратегических знаний командующего, его способности управлять операцией, общаться с людьми и с пользой использовать их опыт и знания. Много внимания было уделено грубости, бестактности, хамству Чуйкова. Все доклады по ходу учения были насыщены фактами и убедительно мотивированы. Малиновский остался доволен, заявив Курочкину: «Это то, что мне надо».

Доклад попал к Хрущеву, и он снова вызвал Чуйкова и сказал ему: «На округе вас оставлять нельзя. Люди недовольны. Поэтому я решил переместить вас... (слушайте! слушайте!) на должность главкома сухопутных войск».

Так я, желая помочь подчиненным Чуйкова, помог ему самому подняться выше. Все доклады писал я. Курочкин, не исправив ни одной запятой, подписывал их. Я не стал бы говорить об этом, но дело получило дальнейшее и неожиданное развитие. Прибыв в штаб сухопутных войск уже как главком, Чуйков потребовал документы посредников, нашел доклады главного посредника и, резонно заключив, что автор не в подписи на лицевой стороне, а на оборотной, взглянул туда и, прочтя: «Исполнители: г-м Григоренко и п-к Тетяев р/т НН», сказал: «Посмотрим этих писателей».

Вскоре Тетяев был уволен, хотя вся его вина состояла в том, что я пользовался его рабочей тетрадью, когда сдавал свою машинистке. Но откуда Чуйкову было знать это? И как я мог догадаться, что невинным заимствованием рабочей тетради навлеку на человека такую беду? Теперь я воочию убедился, как Чуйков расправляется с «критиками».

Но другие командующие, у кого не было такой мощной защиты, как у Чуйкова, после партактива «уши поприжали», а партполитаппарат, наоборот, повсеместно поднял голову. Пришлось это почувствовать и мне. Наш начальник политотдела генерал-майор Колесниченко, видимо, руководствуясь какими-то указаниями свыше, тоже решил показать силу партполитаппарата. И объектом избрал меня.

В НИО пришел инструктор политотдела подполковник Григорьян «для проверки, по поручению начальника политотдела, состояния партийной работы в НИО». Секретарь нашей партийной организации майор Анисимов Николай Иванович, сам в недавнем прошлом политработник, сразу заподозрил неладное.

Прошло недели две. Начальник политотдела генерал-майор Колесниченко вызвал Анисимова и, вручив ему акт Григорьяна, сказал, что вечером будет обсуждение этого акта в политотделе. Анисимов пришел ко мне с актом.

Я внимательно изучил акт. Да, Анисимов был прав. Он весь против меня лично. По духу и по стилю — сборник сплетен.

Вот, например: обвинение меня в зажиме критики. Обвинение по видимости серьезное, но построено оно на комической основе и потому рассыпалось при первом же прикосновении. Когда зачитали этот пункт, я спросил Григорьяна:

— В чем выражался зажим критики с моей стороны?

— Многие люди на кафедрах жалуются, что когда на собраниях кто-нибудь выскажет что-то, с чем вы не согласны, то вы так разделаете, что другой раз не захочешь выступать,— пробубнил Григорьян.

— Этот пункт надо исключить из акта,— шепчет себе под нос Колесниченко.

Остальные обвинения были еще никчемнее.

Было, например, такое: «Григоренко не дает возможности публиковаться молодым научным кадрам».

Базировалось оно на моем предложении автору п/п Мирошниченко доработать «сырую» статью. В результате вызванный на разбор Мирошниченко оказался в смешном положении.

Обвинение в национализме Колесниченко попытался снять самостоятельно, не привлекая внимания к этому вопросу. Но я с этим не согласился.

— Нет! — сказал я.— Григорьян должен быть наказан в партийном порядке, так как он не просто обвинил в национализме, а совершенно сознательно пытался разжечь национальную рознь в отделе.

По этому вопросу, после продолжительной перепалки, в протокол записали: «Обвинение Григоренко в национализме ни на чем не основано. Материалы, послужившие основанием для такого вывода, подобраны тенденциозно и фальсифицированы. Партийная организация НИО настаивает на привлечении тов. Григорьяна к партийной ответственности за попытку раздуть антиукраинские настроения».

Когда дошла очередь до Червонобаба, он, проученный моей беседой с Мирошниченко, не стал ожидать вопросов, а сам обратился к Колесниченко:

— Товарищ генерал-майор, Григорьян меня совершенно неправильно записал. У меня в «Военной мысли» текст приняли после того, как я, переделав по замечаниям Петра Григорьевича, показал ему еще раз. Он прочитал и собственноручно все исправил.

Пришлось Колесниченко и этот пункт изымать из акта.

Плохо кончилось для самого Колесниченко.

Начальник академии генерал-полковник Курочкин Павел Алексеевич был полностью в курсе политотдельской проверки. Впрочем, это было нетрудно. Дело велось так, что вся академия была в курсе дела. Один из наиболее близких к Курочкину начальников кафедры сказал ему:

— Надо бы вмешаться, Павел Алексеевич, а то ведь съесть могут парня.

— Ничего,— ответил Курочкин,— не съедят! Он зубастый.

Но дело было не в моей зубастости, а в том, что Курочкин не любил рисковать. Он ни за кого не вступится, пока не ясен исход борьбы. Он не был доволен переменами в поведении Колесниченко после активов, ознаменовавших снятие Жукова. Предупредительный по отношению к начальнику академии и проявлявший уважение к его более высокому воинскому званию, Колесниченко в последнее время стал самоуверенным и даже развязным. Теперь он мог зайти к начальнику академии, не спросив предварительно разрешения. Зайти, несмотря на присутствие в кабинете других посетителей, подойти к Курочкину, сунуть ему руку, а затем усесться в кресло и небрежно бросить: «Мне надо будет поговорить с вами, когда закончите». Курочкину все это не нравилось, но не такой он человек, чтоб пойти на открытый конфликт. Он предпочитает подождать удобного момента, чтобы ударить чужой рукой.

На следующий же день, после совещания у Колесниченко, он приказал мне письменно доложить о случившемся. Я изложил суть дела на одной страничке, подтвердив изложенное актом и протоколом, подписанным самим Колесниченко. Курочкин прочитал и положил в свой портфель. Оказывается, он ожидал приема у министра обороны и на всякий случай приготовил и мой материал. Во время приема зашел разговор о том, что политработники стали слишком залезать в дела командиров, подрывая единоначалие. И Курочкин привел пример со мною, сделав упор на то, что под видом проверки партийной работы, без ведома начальника академии, затеяли поход против начальника НИО. При этом широко использовали ложь, фальсификацию, клевету, сплетню. Малиновский, который сам был очень недоволен расширительным толкованием политработниками прав политорганов, решил на этом примере дать урок. Судьба Колесниченко была решена. Через несколько дней вместо него прибыл генерал-лейтенант Пупышев Николай Васильевич.

С Пупышевым, тогда бригадным комиссаром, я встретился впервые в 1939 году, во время событий на р. Халхин-Гол. Он был заместителем начальника политотдела фронтовой группы. Встречи того времени оставили хорошую память по себе. Человек он общительный, веселый, остроумный.

Теперь обстановка толкнула нас на еще большее сближение. Приближалась 40-я годовщина академии. Ее празднованию придавалось особое значение, и начальник академии поручил мне лично возглавить подготовку. Пупышев, прибыв в академию, включился в это дело. Мне это очень понравилось. После праздника мы, довольные, от души поздравили друг друга.

В это время вышло постановление ЦК КПСС «О техническом прогрессе». И политотдел начал соответствующую кампанию, в которой я был кровно заинтересован.

Еще в 1953 году я впервые услышал о работах Винера по исследованию операций в Вооруженных Силах. И хотя кибернетика была объявлена «буржуазной лженаукой», я направил часть сил НИО на изучение всего связанного с этой «лженаукой». Было создано переводческое бюро, получившее указание прежде всего реферировать работы по кибернетике и исследованию операций. Лично я установил связь с академиками А. И. Бергом и А. Н. Колмогоровым. Стал набираться конкретных знаний. Помогало нам и Главное разведывательное управление Генерального штаба. В общем, НИО взял это направление и вел его, постепенно накопляя все больше данных, пока не подвел дело к созданию в 1959 году кафедры военной кибернетики.

Мне незачем объяснять, что кибернетика — это новые современные методы управления, опирающиеся на новую электронную технику. Поэтому я, естественно, включился в кампанию за технический прогресс, имея целью привлечь внимание и слушателей, и руководства к новой технике управления войсками. Так мы снова очутились в одной упряжке с Пупышевым. Но кампании в СССР кончаются быстро. Пошумят, пошумят и, оставив все по-старому, хватаются за что-то еще. Мне же нужны были результаты. Чтобы новая кафедра встала на ноги и заняла подобающее ей место в учебном процессе и в науке, ей не кампания была нужна, а постоянное внимание.

Пупышев же жил кампаниями. Это была его стихия. И я понял, что он не только не союзник, но враг нового. Участие в бесполезных кампаниях могут принимать только те, кто имеет время вертеться на глазах у начальства и угождать ему. Все такие люди и группировались вокруг политотдела и были его опорой. И если бы они только свои кампании никчемные устраивали, на них можно было бы махнуть рукой. Но нет, они этим ограничиться не хотели. Борясь за существование, они ставили преграды новому, распускали сплетни, выступали против вызываемых жизнью изменений. В общем, я постепенно отошел от политотдела, а потом стал все чаще приходить во враждебные столкновения с ним.

Продолжение следует

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

МЕМОРИАЛ СОВЕСТИ

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

КРИТИКА

КНИЖНЫЙ УГОЛ

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов не возвращаются.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

В 1991 году редколлегия журнала «Звезда» предполагает опубликовать следующие произведения:

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Март Семнадцатого. Завершающая книга романа.
Борис РОЩИН. Железный люк в потолке. Роман.
Дмитрий СЕРГЕЕВ. Запасной полк. Роман.
Владимир ЛЯЛЕНКОВ. Побочные мысли раздетого гражданина. Повесть.
Марина РАЧКО. Через не могу. Повесть.
Курт ВОННЕГУТ. Мать тьма. Роман (с английского).
Норман МЕЙЛЕР. Американская мечта. Роман (с английского).
Вольфганг КЁППЕН. Путешествие в Россию. Фрагменты из книги (с немецкого).

Рассказы Р. ПОГОДИНА, С. ДОВЛАТОВА, В. ПОПОВА, Г. ГОРЫШИНА, М. ЧУЛАКИ, Ю. МАМЛЕЕВА, А. ОБРАЗЦОВА, Н. ШАДРУНОВА.

Стихи Иосифа БРОДСКОГО, Константина ВАНШЕНКИНА, Глеба ГОРБОВСКОГО, Михаила ДУДИНА, Александра КУШНЕРА, Бориса ЧИЧИБАБИНА, Вадима ШЕФНЕРА и др.

Экология и политика: Виталий КРЖИШТАЛОВИЧ. Лабиринт; Михаил ИВИН. Отнять у детей спички.

Философские чтения: А. ЛЮБИЩЕВ. Мысли о Нюрнбергском процессе; В. ПЕТРИЦКИЙ. Вселенная Альберта Швейцера; Б. КАГАНОВИЧ. Д. И. Шаховской о философских письмах Чаадаева.

Неопубликованные работы русских философов В. РОЗАНОВА, Е. ТРУБЕЦКОГО, А. ЛОСЕВА.

Публицистические выступления народных депутатов СССР Б. НИКОЛЬСКОГО, А. СОБЧАКА.

Беседы академика А. Д. САХАРОВА с иностранными корреспондентами.

Воспоминания А. ЗОРОХОВИЧА, Х. ВОЛОВИЧ-АДМОЕВСКОЙ.

Неизвестные страницы Анны АХМАТОВОЙ, Ивана БУНИНА, Зинаиды ГИППИУС, Ольги БЕРГГОЛЬЦ, Льва КАРСАВИНА, Николая КЛЮЕВА, Осипа МАНДЕЛЬШТАМА, Марины ЦВЕТАЕВОЙ. Воспоминания Елены ТАГЕР о Мандельштаме. Статьи и публикации Константина АЗАДОВСКОГО, Владимира БРИТАНИШСКОГО, Петра ВАЙЛЯ и Александра ГЕНИСА, Михаила ЗОЛОТОНОСОВА, Самуила ЛУРЬЕ, Бориса ПАРАМОНОВА, Ефима ЭТКИНДА.